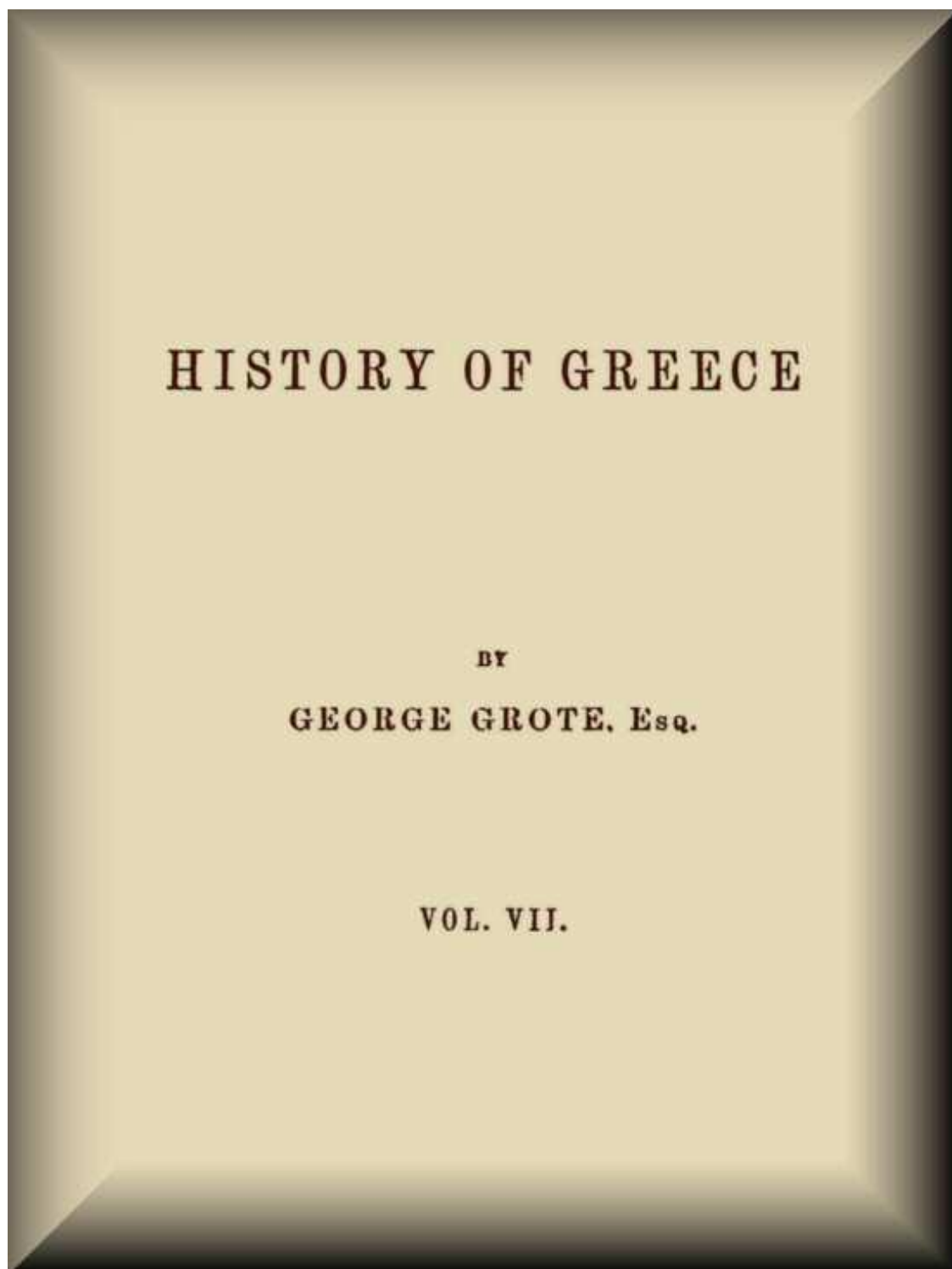


История Греции, том 07 (из 12)

Джордж Гроут



The Project Gutenberg eBook of История Греции, том 07 (из 12).

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: История Греции, том 07 (из 12)

Автор: Джордж Гроут

Дата выхода: 11 февраля 2016 [eBook #51181].

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Продюсеры: Адриан Мастронарди, Рамон Пахарес Бокс и Команда онлайн-распределенной корректуры на сайте <http://www.pgdp.net>.
(Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных Интернет-архивом/Американскими библиотеками).

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK HISTORY OF GREECE, VOLUME 07 (OF 12) ***

[Примечание транскриптора](#)

[Оглавление](#)

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ.

BY GEORGE GROTE, Esq.

VOL. VII.

ПЕРЕПЕЧАТАНО С ЛОНДОНСКОГО ИЗДАНИЯ

НЬЮ-ЙОРК:
ИЗДАТЕЛЬСТВО "ХАРПЕР И БРАТЯ".
329 И 331 PEARL STREET.

СОДЕРЖАНИЕ.

VOL. VII.

ЧАСТЬ II.

ГЛАВА LV.

ОТ НИКЕЙСКОГО МИРА ДО ОЛИМПийСКОГО ПРАЗДНИКА 90 ГОДА.

Переговоры о мире зимой после битвы при Амфиполе. - Мир под названием Никиасский мир - заключен в марте 421 года до н. э. Условия мира. - Мир принят в Спарте большинством членов Пелопоннесского союза. - Наиболее влиятельные члены союза отказываются принять перемирие - беотийцы, мегаряне, коринфяне и элейцы. - Позиция и чувства лакедемонян - их большая тревога за мир - их неопределенные отношения с Аргосом. - Шаги, предпринятые лакедемонянами для исполнения мира - Амфиполь не возвращен Афинам - великие союзники Спарты не принимают мир. - Между Спартой и Афинами заключен отдельный союз для взаимной обороны. - Условия союза. - Афины восстанавливают спартанских пленников. - Неправильное управление политическими интересами Афин со стороны Никиаса и партии мира. - По условиям союза Афины отказались от всех преимуществ своего положения по отношению к лакедемонянам - они не получили ни одной из тех уступок, на которые рассчитывали, в то время как они получили существенные выгоды. - Недовольство и протесты афинян против Спарты в связи с невыполнением условий - они раскаиваются в том, что отдали пленников - оправдания Спарты. - Новые комбинации в Пелопоннесе - подозрение в соглашении между Спартой и Афинами - Аргос занимает видное место - состояние Аргоса - в городе сформирован тысячный аристократический полк. - Коринфяне убеждают Аргос выступить во главе нового пелопоннесского союза. - Съезд раскольнических пелопоннесских союзников в Коринфе - мантинейцы присоединяются к Аргосу - государство Аркадия - соперничество Тегеи и Мантинеи. - Напоминания лакедемонских посланников на съезде в Коринфе - перезащита коринфян - притворство религиозного скудоумия. - Беотийцы и мегаряне отказываются порвать со Спартой или вступить в союз с Аргосом - коринфяне не решаются присоединиться к Аргосу. - Элейцы становятся союзниками Аргоса - их причины - отношения с Лепреем - коринфяне также присоединяются к Аргосу. - Отказ Тегеи отделиться от Спарты. - Коринфяне разочарованы - их обращение через беотийцев в Афины. - Лакедемоняне освобождают аркадских подданных Мантинеи - они сажают брасидских гелотов в Лепреуме. - Обращение со спартанскими пленниками после их освобождения из Афин и возвращения в Спарту - они лишены права голоса на некоторое время и в квалифицированном порядке. - Афиняне захватывают Скион - предадут смерти всех взрослых мужчин. - Политические отношения в Пелопоннесе - смена эфоров в Спарте - новые эфоры враждебны Афинам. - Конгресс в Спарте - присутствуют афинские, беотийские и коринфские депутаты - долгие дебаты, но не достигнуто решение ни одного из спорных вопросов - интриги антиафинских эфоров - Клеобула и Ксенареса. - Эти эфоры пытаются подпольно заключить союз между Спартой и Аргосом через беотийцев - проект проваливается. - Лакедемоняне заключают особый союз с беотийцами, нарушая тем самым свой союз с Афинами - беотийцы разрушают Панактум до основания. - Обращение аргейцев к Спарте с просьбой возобновить истекающий договор. Проект возобновленного договора согласован. Любопытная оговорка о боях чемпионов, чтобы сохранить открытым вопрос о титуле на Тирею. - Лакедемонские посланники отправляются сначала в Беотию, затем в Афины - они находят Панактум разрушенным - они просят уступить Афинам Пилос. - Посланников плохо принимают в Афинах - гневные чувства против лакедемонян. - Алкивиад выдвигается в качестве лидера партии. Его образование и характер. - Большая энергия и способности Алкивиада в государственных делах - его безрассудные траты - беззаконный нрав - беспринципный характер, внушающий

подозрения и тревогу - военная служба. - Алкивиад - Сократес - софисты. - Противоречивые чувства, испытываемые к Алкивиаду, - его огромная энергия и способности. Восхищение, страх, ненависть и ревность, которые он внушает. - Алкивиад пытается возобновить древнюю, но прерванную связь своих предков с Лакедемоном, как проксены. - Спартанцы отвергают его попытки, он выступает против них, меняет свою политику и становится их врагом в Афинах. - Он пытается привлечь Афины к союзу с Аргосом. - Он побуждает аргейцев отправить посланников в Афины - аргейцы охотно принимают это предложение и прекращают переговоры со Спартой. - Посольство лакедемонян в Афины, чтобы убедить афинян не отказываться от союза. Посланники приняты благосклонно. - Уловка, с помощью которой Алкивиад обманывает и позорит посланников и срывает лакедемонский проект. Возмущение афинян против Спарты. - Никиас уговаривает собрание отправить себя и других посланников в Спарту, чтобы устранить неловкость. - Неудача посольства Никиаса в Спарту - Афины заключают союз с Аргосом, Элидой и Мантинеей. - Условия этого договора и союза. - Сложные отношения между греческими государствами по поводу договора и союза. - Олимпийский праздник 90-й Олимпиады, июль 420 г. до н. э., его памятный характер. - Первое появление Афин на олимпийском празднике с начала войны. Грандиозное представление Алкивиада в гонках на колесницах. - Элейцы отстраняют спартанскую священную делегацию от участия в олимпийском празднике из-за предполагаемого нарушения олимпийского перемирия. - На празднике ощущается тревога, чтобы спартанцы не пришли с оружием в руках. - Пониженная оценка Спарты во всей Греции - Гераклея.

1-61

ГЛАВА LVI.

ОТ ПРАЗДНИКА ОЛИМПИАДЫ 90 ДО БИТВЫ ПРИ МАНТИНЕЕ.

Новая политика Афин, предпринятая Алкивиадом. - Экспедиция Алкивиада в глубь Пелопоннеса. - Нападение на Эпидавр со стороны Аргоса и Афин. - Движение спартанцев и аргейцев. - Священный месяц Карней - хитрость аргейцев с их календарем - конгресс в Мантинее с целью заключения мира - переговоры оказываются безрезультатными. - Афинская владычица моря - союз между Афинами и Спартой продолжается под именем, но косвенно нарушается обеими сторонами. - Вторжение в Аргос Агиса с лакедемонянами, беотийцами и коринфянами. - Приближение захватчиков к Аргосу по разным маршрутам. - Превосходящие силы и выгодное положение захватчиков - опасность Аргоса - Агис принимает решение заключить перемирие с аргейцами и отводит армию - недовольство союзников. - Суровое порицание Агиса по возвращении в Спарту. - Запоздалое прибытие Алкивиада, Лахеса и др. с афинским контингентом в Аргос - экспедиция афинян, элейцев, мантинейцев и аргейцев против аркадского города Орхомен. - Планы против Тегеи - элейцы возвращаются домой. - Опасность Тегеи - Агис и лакедемоняне идут на помощь. - Маневры Агиса, чтобы вызвать сражение на честном поле. - Передовой марш и новая позиция аргейцев. - Лакедемоняне удивлены: их внезапное и готовое построение в боевой порядок. - Градация командования и ответственности, характерная для лакедемонской армии. - Лакедемонская линия: привилегированный пост скиритов слева. - Неопределенная численность обеих армий. - Предварительные обращения к солдатам. - Битва при Мантинее. - Движение, приказанное Агисом за мгновение до битвы; его приказ не выполняется. Его левое крыло разбито. - Полная окончательная победа лакедемонян. - Великие последствия победы для восстановления репутации Спарты. - Действия аргейцев, элейцев и др. под Эпидавром. - Политические перемены в Аргосе, вызванные битвой при Мантинее. - Олигархический заговор Тысячного полка в Аргосе в согласии с лакедемонянами. - Мирный договор между Спартой и Аргосом. - Союзный договор между Спартой и Аргосом -

расторжение союза Аргоса с Афинами, Мантинеей и Элидой. - Подчинение Мантинеи Спарте. - Олигархический переворот, осуществленный в Аргосе Тысячей в согласии с лакедемонянами. - Олигархия в Сикионе и городах Ахайи. - Насилия Тысячи в Аргосе: контрреволюция в городе: восстановление демократии. - Заседания восстановленного аргейского демоса: опоздание Спарты. - Алкивиад в Аргосе: меры по защите демократии. - Номинальный мир, но неустойчивые отношения между Афинами и Спартой. - Отношения Афин с Пердиккасом Македонским. - Небрежность Афин в отношении Амфиполя: импровизация Никиаса и партии мира: авантурные рассуждения Алкивиада. - Предполагаемый спор об остракизме между Никиасом и Алкивиадом. Предложение, поддержанное Гиперболом. - Постепенное ослабление остракизма, поскольку демократия стала уверенной. - Осада афинянами города Маклос. - Диалог, изложенный Фукидидом, между афинскими посланниками и исполнительным советом Меклоса. - Язык, которого, по мнению Фукидида, придерживались афинские посланники - с ответами мелийцев. - Отказ мелийцев подчиниться. - Осада и взятие Мелоса. - Замечания по поводу этого события. - Взгляд Фукидида на этот инцидент. - Место, которое оно занимает в общей исторической концепции Фукидида.

61-118

ГЛАВА LVII.

СИЦИЛИЙСКИЕ ДЕЛА ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ДИНАСТИИ ГЕЛОНОВ.

Изгнание династии Гелонов из Сиракуз и других деспотов из других сицилийских городов. - Большая смена жителей - последствия этого факта. - Относительное могущество и состояние сицилийских городов. Политические разногласия в Сиракузах. Попытки остракизма и отказ от них. - Могущество и внешние подвиги Сиракуз. - Сикелы во внутренних районах Сицилии - сикельский князь Дукетий - основание им нового сикельского города Палика. - Подвиги Дукетия - он терпит поражение и попадает в плен к сиракузянам, которые щадят его и отправляют в Коринф. - Дукетий нарушает условия досрочного освобождения и возвращается в Сицилию. - Завоевания Сиракуз во внутренних районах Сицилии - смерть Дукетия. - Процветание и могущество Агригентума. - Интеллектуальное движение в Сицилии - Эмпедокл - Тисий - Коракс - Горгий. - Сицилийские города - их состояние и дела при первом начале Пелопоннесской войны, 431 г. до н. э. - Отношения Сицилии к Афинам и Спарте - измененные ссорой между Коринфом и Коркирой и вмешательством Афин. - Ожидание Спартой помощи от сицилийских дорийцев в начале Пелопоннесской войны. Ожидания не оправдались. - Дорийские города в Сицилии нападают на ионийские города в Сицилии. - Ионические города в Сицилии просят помощи у Афин - первая афинская экспедиция в Сицилию под командованием Лахеса. - Вторая экспедиция под командованием Пифодара. - Нерешительные операции под Мессеной и Региумом. - Разгром мессенцев наксийцами и сикелами у Наксоса. - Эвримедон и Софокл с большим афинским флотом прибывают в Сицилию. - Съезд сицилийских городов в Геле. Выступление Гермократеса. - Заключен общий мир между сицилийскими городами. Эвримедон соглашается на мир и выводит афинский флот. - Недовольство афинян против Эвримедона и его коллег. - Междоусобные распри в Леонтинах - изгнание леонтийского демоса при помощи Сиракуз. - Обращение леонтинского демоса за помощью к Афинам. Афиняне отправляют Феракса на для наблюдений. - Леонтины обезлюдели - демос изгнан - леонтийские изгнанники в Афинах. - Война между Селином и Эгестом - последний обращается за помощью к Афинам. - Обещания эгестян: мотивы, предложенные Афинам для вмешательства в Сицилию. - Алкивиад горячо поддерживает их дело и советует вмешаться. - Уполномоченные, посланные афинянами в Эгесту, - обман эгестейцев, чтобы ввести их в заблуждение. -

Возвращение комиссаров в Афины - впечатление, произведенное их докладом. Принято решение отправить экспедицию в Сицилию. - Смушение Никиаса как противника экспедиции. - Речь Никиаса на втором собрании афинян. - Ответ Алкивиада. - Собрание, благосклонное к взглядам Алкивиада, придерживается решения отплыть в Сицилию. - Вторая речь Никиаса - преувеличение трудностей и опасностей экспедиции и требование наибольшего напряжения сил. - Эффект от этой речи - усиление рвения собрания к экспедиции - порядок и единодушие в отношении плана. - Волнение в городе среди всех классов - большое увеличение масштабов, в которых планировалась экспедиция. - Большие приготовления к экспедиции. - Обзор этих предварительных действий по подготовке сицилийской экспедиции. - Советы и влияние Никиаса. - Советы и влияние Алкивиада. - Афины считали себя вправе быть хозяйкой как островов, так и моря.

118-162

ГЛАВА LVIII.

ОТ РЕШЕНИЯ АФИНЯН НАПАСТЬ НА СИРАКУЗЫ ДО ПЕРВОЙ ЗИМЫ ПОСЛЕ ИХ ПРИБЫТИЯ В СИЦИЛИЮ.

Подготовка к экспедиции в Сицилию - всеобщий энтузиазм и сангвинические надежды в Афинах. - Изобилие в афинской казне - демонстрация богатства, а также силы в вооружении. - Повреждение Гермеса в Афинах. Численность и святость Гермеса. - Сильное волнение и религиозная тревога, вызванные этим актом в Афинах. - Авторы акта неизвестны - но он, несомненно, был совершен по замыслу и в результате заговора. - Различные стороны подозревали - заранее была велика вероятность, что это побудит афинян отказаться от экспедиции или отложить ее. - Политические враги Алкивиада воспользовались царящим волнением, чтобы попытаться погубить его. - Афиняне стремятся обнаружить и наказать заговорщиков - за информацию предлагается вознаграждение. - Поступившие сведения - назначены следственные комиссары. - Первое обвинение Алкивиада в том, что он осквернил и разгласил Элевсинские таинства. - Бурные речи в собрании против Алкивиада были восприняты неблагоприятно. - Он отрицает обвинение и требует немедленного суда - его требование ускользает от врагов. - Отплытие войска из Пирея - пышность и захватывающий характер зрелища. - Торжественные проводы, на корабле и у воды. - Полный сбор вооружения в Коркире - продвижение к Регию - холодный прием итальянских городов. - Ощущения в Сиракузах по поводу приближающегося вооружения - склонность недооценивать его величину и даже сомневаться в его назначении. - Настойчивые призывы Гермократа быть готовым. - Темперамент и партии в сиракузском собрании. - Ответ Афинагора, популярного оратора. - Вмешательство стратегов, чтобы умерить жестокость спора. - Относительное положение Афинагора и других партий в Сиракузах. - Тихоокеанская диспозиция Афинагора. - Его общие обличения олигархической молодежи были вполне обоснованными. - Активные приготовления в Сиракузах к приближению афинского войска. - Уныние афинян в Регии после того, как они узнали правду о бедности Эгесты. - Афинские генералы обсуждают план действий - мнение Никиаса. - Мнение Алкивиада. - Мнение Ламаха. - Проницательность Ламаха - план Алкивиада предпочтительнее. - Алкивиад в Мессене - Наксос присоединяется к афинянам. Пустой показ вооружения. - Алкивиад у Катаны - афиняне становятся хозяевами Катаны - они устанавливают там свою станцию. Отказ Камарины. - Алкивиада вызывают домой на суд. - Чувства и дела в Афинах после отплытия вооружения. - Число граждан, заключенных в тюрьму по подозрению, - усиление агонии общественного мнения. - Пейсандр и Хариклес - комиссары по расследованию. - Информация Диоклейдеса. - Арестовано больше заключенных - усиление террора в городе - Андокидес среди заключенных. - Сокамерники просят Андокидеса выйти вперед и дать

информацию - он соглашается. - Андокидес называет авторов убийства Гермеса - следствие его откровений. - Сомнительный авторитет Андокидеса в отношении того, что он сам действительно сообщил. - Вера афинян в его информацию - ее успокаивающее воздействие. - Возобновление тревоги и беспокойства по поводу лиц, причастных к осквернению Элевсинских тайн. - Возобновление обвинения против Алкивиада. - Обвинение, представленное Фессалом, сыном Кимона, против Алкивиада. - Решение отправить Алкивиада из Сицилии на родину для суда. - Алкивиад уходит из армии, как бы возвращаясь домой: совершает побег в Фурии и удаляется в Пелопоннес. - Поведение афинской общественности в отношении Алкивиада - насколько он заслуживает порицания. Поведение его врагов. - Вред для Афин от изгнания Алкивиада. Вялые действия сицилийского войска под командованием Никиаса. - Рост уверенности и приготовлений в Сиракузах, вызванный задержками Никиаса. - Маневр Никиаса из Катаны - он высаживает свои войска в Большой гавани Сиракуз. - Возвращение сиракузской армии из Катаны в Великую гавань - подготовка к бою с Никиасом. - Чувства древнего воина. - Выступление Никиаса. - Битва у Олимпиона - победа афинян. - Непокоримая уверенность сиракузян - они гарнизируют Олимпион - Никиас вновь собирает войско и возвращается в Катану. - Он решает расположиться в Катане на зимний период и отправляется в Афины за конным подкреплением. - Неудача в Мессене из-за предательства Алкивиада. - Полезный урок для сиракузян, вытекающий из недавнего поражения - беды афинян от промедления Никиаса. - Уверенность афинян дома в Никиасе - их добрый нрав - они посылают ему требуемые подкрепления. - Решительные настроения в Сиракузах - улучшение мер по обороне - рекомендации Гермократа. - Расширение укреплений Сиракуз. Улучшение их положения. Увеличение трудностей Никиаса. - Гермократес и Эвфем - контрпризывники в Камарине. - Речь Евфема. - Камаринцы сохраняют практический нейтралитет. - Зимние дела Никиаса из его покоев в Катане. - Сиракузские посланники отправляются просить помощи у Коринфа и Спарты. - Алкивиад в Спарте - его сильная враждебность к Афинам. - Выступление Алкивиада в лакедемонском собрании. - Большое влияние его речи на пелопоннесцев. - Искажения, содержащиеся в речи. - Резолюции спартанцев. - Лакедемоняне отправляют Гилиппа в Сиракузы.

163-243

ГЛАВА LIX.

ОТ НАЧАЛА ОСАДЫ СИРАКУЗ НИКИАСОМ ДО ВТОРОЙ АФИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ДЕМОСФЕНА И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ВОЙНЫ.

Передвижения Никиаса ранней весной. - Местное состояние и укрепления Сиракуз к моменту прибытия Никиаса. - Внутренний и внешний город. - Местность без стены Внешний город - Эпиполе. - Возможности осады, когда Никиас только прибыл в Сицилию - увеличение трудностей из-за его задержки. - Возросшее значение верхней земли Эпиполя. Намерение сиракузян занять вершину Эпиполя. - Афиняне застают вершину врасплох. - Успех этого сюрприза был необходим для эффективного продолжения осады. - Первые операции осады. - Центральное сооружение афинян на Эпиполе, названное Кругом. - Первая контрстена сиракузян. - Ее направление на юг от афинского круга - завершение. - Афиняне штурмуют, берут и разрушают ее. - Никиас занимает южный утес - и продолжает свою линию блокады к югу от круга. - Второй контрфорс сиракузян - через болото, к югу от Эпиполя, к реке Анапус. - Этот контрфорс атакован и взят Ламахом - генеральное сражение - смерть Ламаха. - Опасность афинского круга и Никиаса - победа афинян. - Вход афинского флота в Великую гавань. - Южная часть блокадной стены через болото в Великую гавань продолжается и почти закончена. - Сиракузяне не создают дальнейших препятствий - уныние в Сиракузах - все более тесная осада. - Порядок осадных операций, последовательно предпринятых

афинянами. - Триумфальные перспективы афинян. Расположение сикелов и итальянских греков в их пользу. - Поведение Никиаса - его корреспонденты в глубине Сиракуз. - Уверенность Никиаса - сравнительная вялость его операций. - Приближение Гилиппа - он отчаивается освободить Сиракузы. - Прогресс Гилиппа, несмотря на неутешительные сообщения. - О приближении Гилиппа становится известно Никиасу. Возможность помешать его дальнейшему продвижению - Никиас презирует его и оставляет его без помех. Он высаживается в Гимере на Сицилии. - Слепота Никиаса - вопиющая ошибка, когда он впускает Гилиппа. - Гилипп собирает армию и идет по Сицилии от Гимеры до Сиракуз. - Коринфянин Гоггилус достигает Сиракуз раньше Гилиппа - как раз вовремя, чтобы помешать городу капитулировать. - Гилипп с новыми силами входит в Сиракузы без сопротивления. - Безотчетное бездействие Никиаса. - Энергичные и агрессивные действия Гилиппа сразу после прибытия. - Гилипп удивляет и захватывает афинский форт Лабдалум. - Он начинает строительство третьей крепостной стены на северной стороне афинского круга. - Никиас укрепляет мыс Племмирий. - Неудобства Племмириума как морской станции - вред, причиняемый афинскому флоту. - Операции Гилиппа в поле - его поражение. - Его решительная победа - афиняне заперты в своих рядах. Сиракузская контр-стена доходит до того, что перерезает афинскую линию блокады. - Дальняя оборона Гилиппа, соединяющая возвышенную часть Эпиполя с городской стеной. - Уверенность Гилиппа и сиракузян - агрессивные планы против афинян, даже на море. - Уныние Никиаса и афинян. - Никиас отправляет в Афины депешу с просьбой о подкреплении. - Депеша Никиаса афинскому народу. - Решение афинян послать Демосфена со вторым вооружением. - Замечания по поводу депеши Никиаса. - Предыдущие депеши Никиаса. - Влияние его депеши на афинян. - Обращение афинян с Никиасом. - Капитальная ошибка, допущенная афинянами. - Враждебные действия со стороны Спарты, несомненные и неизбежные. - Решение Спарты немедленно вторгнуться в Аттику и отправить подкрепление в Сицилию.

243-286

ГЛАВА LX.

ОТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЯМЫХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ АФИНАМИ И СПАРТОЙ ДО УНИЧТОЖЕНИЯ АФИНСКИХ ВООРУЖЕНИЙ В СИЦИЛИИ.

Активные военные приготовления по всей Греции зимой 414-413 гг. до н. э. - вторжение в Аттику Агиса и пелопоннесских войск - укрепление Декелеи. - Вторая экспедиция из Афин против Сиракуз под командованием Демосфена. - Операции Гилиппа в Сиракузах. Он решает атаковать афинян на море. - Морской бой в гавани Сиракуз - афиняне одерживают победу. - Гилипп удивляет и берет Племмирий. - Важные последствия захвата. - Повышение духа и уверенности сиракузян, даже для морского боя. - Усилия сиракузян по получению дальнейших подкреплений из сицилийских городов. - Конфликты между афинянами и сиракузянами в Великой гавани. - Разгром сицилийского подкрепления, шедшего на помощь Сиракузам - Возобновление атаки Гилиппа на афинян. - Недостатки афинского флота в гавани. Их военно-морская тактика невозможна в узком пространстве. - Усовершенствование сиракузских кораблей, подходящих для узкого пространства. - Сиракузяне угрожают нападением на афинскую военно-морскую станцию. - Дополнительные приготовления Никиаса - сражение возобновлено. - Полное поражение афинян. - Опасность для афинского вооружения - прибытие Демосфена со вторым вооружением. - Путешествие Демосфена из Коркиры - впечатляющий эффект от его входа в Великую гавань. - Возрожденное мужество афинян. Продуманные и решительные решения Демосфена. - Позиция и планы Демосфена. - Ночной поход Демосфена с целью застать врасплох Эпиполь и переломить линию обороны сиракузян. - Частичный успех вначале -

полное и губительное поражение в конце. - Расстройство афинян - большие потери при бегстве. - Приподнятое настроение и новые агрессивные планы сиракузян. - Размышления и разные мнения афинских полководцев. - Демосфенес настаивает на отступлении из Сицилии - Никиас возражает ему. - Демосфенес настаивает хотя бы на том, чтобы удалиться из Великой гавани. - Никиас отказывается дать согласие на такое удаление. - Вооружение остается в Великой гавани, не действуя и не отступая. - Увлечение Никиаса. - Увеличение силы и уверенности в Сиракузах. - Никиас в конце концов соглашается отступить. Приказы об отступлении распространяются в частном порядке. - Затмение луны - отступление афинян откладывается. - Затмения считаются знамениями - разные толкования - мнение Филохора. - Возобновление атак сиракузян - поражение афинского флота в Великой гавани. - Частичный успех на берегу против Гилиппа. - Сиракузяне решают заблокировать устье гавани и уничтожить или захватить в плен все афинское вооружение. - Крупные выступления сиракузян против Афинской державы - новые опасности, открывшиеся теперь для этой державы. - Огромное количество и разное происхождение бойцов, участвующих в сражении за или против Сиракуз. - Сиракузяне блокируют устье гавани. - Афиняне решают силой пробиться к выходу - приготовления генералов. - Увещевания Никиаса о необходимости посадить экипажи на корабли. - Агония Никиаса - его попытки ободрить офицеров. - Смелые и оживленные речи Гилиппа в адрес сиракузского флота. - Сиракузские приготовления. Состояние Великой гавани - сочувствующее население вокруг нее. - Попытка афинского флота вырваться - сражение в Великой гавани. - Продолжительная и отчаянная борьба - сильные эмоции - полное поражение афинян. - Военные действия древних времен - сильные эмоции, сопровождавшие их. - Причины поражения афинян. - Чувства победителей и побежденных после битвы. - Решение Демосфена и Никиаса предпринять вторую попытку - вооружение слишком обескуражено, чтобы подчиниться. - Афиняне решают отступать по суше - они откладывают отступление, получив ложные сообщения из Сиракуз. - Сиракузяне перекрывают дороги, чтобы помешать их отступлению. - Отступление афинян - плачевное состояние армии. - Несчастье, вызванное отказом от больных и раненых. - Попытка генералов сохранить порядок - энергия Никиаса. - Увещевания Никиаса к страдающей армии. - Начало отступления - преследования и препятствия со стороны сиракузян. - Продолжение конфликта - отступающая армия не продвигается. - Сильная буря - эффект, произведенный на обе стороны - изменение настроения за последние два года. - Ночной марш афинян в измененном направлении, к южному морю. - Разделение двух дивизий под командованием Никиаса и Демосфена. Первая дивизия под командованием Никиаса переправляется через реку Эриней. - Задний отряд под командованием Демосфена преследуют, догоняют и заставляют сдаться. - Гилипп догоняет и атакует дивизию Никиаса. - Никиас добирается до реки Асинарус - нестерпимая жажда и страдания солдат - он и его дивизия попадают в плен. - Общее число пленных. - Тяжелое обращение и страдания афинских пленников в Сиракузах. - Обращение с Никием и Демосфеном - разногласия между завоевателями. - Влияние коринфян - усилия Гилиппа - оба полководца убиты. - Опала Никиаса после его смерти в Афинах - сохранение уважения к памяти Демосфена. - Мнение Фукидида о Никиасе. - Насколько справедливо это мнение. - Мнение афинян о Никии - их устойчивая чрезмерная уверенность в себе и чрезмерное уважение к нему, проистекающее из его почтенного и религиозного характера. - Чрезмерное доверие к Никиасу было величайшей личной ошибкой, которую когда-либо совершало афинское общество.

287-352

ГЛАВА LXI.

ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ АФИНСКОГО ВООРУЖЕНИЯ В СИЦИЛИИ ДО ОЛИГАРХИЧЕСКОГО ЗАГОВОРА ЧЕТЫРЕХСОТ В АФИНАХ.

Последствия гибели афинского вооружения в Сицилии. - Захват Декелеи лакедемонянами - губительные последствия для Афин. - Афины становятся военным постом - на граждан налагается тяжелая повинность по вооружению. - Финансовое давление. - Афины увольняют своих фракийских наемников - резня в Микалексе. - Фракийцы отброшены назад фиванцами с резней. - Афинская станция в Наупакте - упадок военно-морского превосходства Афин. - Морское сражение у Наупакта - нерешительный результат. - Последние известия афинян из Сиракуз - о гибели тамошней армии им официально не сообщили. - Нежелание афинян верить в полную правду. - Ужас и страдания в Афинах. - Энергичные решения, принятые афинянами - правление Пробулия. - Внушительный эффект катастрофы на всех греков - врагов и союзников Афин, а также нейтралов - и даже на персов. - Ходатайства царя Агиса. - Эвбейцы обращаются к Агису за помощью в восстании из Афин - Лесбии также обращаются, и им отдают предпочтение. - Хиане с той же целью обращаются в Спарту. - Одновременно в Спарту прибывают посланцы от Тиссафернеса и Фарнабаза. - Алкивиад в Спарте - его рекомендации побуждают лакедемонян послать помощь на Хиос. - Синод пелопоннесских союзников в Коринфе - меры решены. - Истмийский фестиваль - угрызения совести коринфян - задержка на Хиосе - подозрения Афин. - Пелопоннесский флот из Коринфа на Хиос - его разбивают афиняне. - Из Спарты отправляется небольшая эскадра под командованием Халкидея и Алкивиада, чтобы идти на Хиос. - Энергичные советы Алкивиада - его большая польза для Спарты. - Прибытие Алкивиада на Хиос - восстание острова против Афин. - Население Хиоса было не склонно к восстанию против Афин. - Афины огорчены восстанием Хиоса - афиняне освобождают и присваивают свой резервный фонд. - Афинские войска отправляются на Хиос под командованием Стромбихидеса. - Деятельность хиосцев по содействию восстанию других афинских союзников - Алкивиад подстрекает Милет к восстанию. - Первый союз между пелопоннессцами и Тиссафернесом, заключенный Халкидеем в Милете. - Бесчестные и невыгодные условия договора. - Энергичные усилия Афин - демократическая революция на Самосе. - Пелопоннесский флот в Кенхреях - Астиох отправляется в качестве спартанского адмирала в Ионию. - Экспедиция хианцев против Лесбоса. - Неудачные действия хианцев - Лесбос удерживается афинянами. - Опасные операции афинян против Хиоса. - Трудности, перенесенные хиосцами - процветание острова до этого времени. - Свежие силы из Афин - победа афинян у Милета. - Прибытие свежих пелопоннесских сил - афиняне отступают по настоятельной рекомендации Фриниха. - Пелопоннессцы захватывают Иасус - богатая добыча - Аморгес попадает в плен. - Тиссафернес начинает выплачивать жалованье пелопоннесскому флоту. Он снижает размер жалованья на будущее. - Мощный афинский флот у Самоса - неожиданное обновление афинского флота. - Астиох на Хиосе и на противоположном побережье. - Педарит, лакедемонский губернатор на Хиосе - разногласия между ним и Астиохом. - Астиох покидает Хиос и возвращается в Милет - несчастный случай, в результате которого он спасся от афинского флота. - Афиняне устанавливают укрепленный пост на Хиосе, чтобы опустошить остров. - Доризей прибывает на азиатское побережье с эскадрой из Фурий, чтобы присоединиться к Астиоху - морские состязания у Книда. - Второй Пелопоннесский договор с Тиссафернесом, заключенный Астиохом и Фераменесом. - Сравнение второго договора с первым. - Прибытие свежей пелопоннесской эскадры под командованием Антистенеса в Каунус - Лихас выходит в качестве спартанского комиссара. - Астиох отправляется с флотом из Милета на соединение с вновь прибывшей эскадрой - он разбивает афинскую эскадру под командованием Хармина. - Пелопоннесский флот у Книда - двойное дело Тиссафернеса - разрыв между ним и Лихасом. - Пелопоннесский флот захватывает Родос и обосновывается

на острове. - Долгое бездействие флота на Родосе - парализующие интриги Тиссафернеса - разложение лакедемонских офицеров.

353-402

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ.

ЧАСТЬ II.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГРЕЦИИ.

ГЛАВА LV. ОТ НИКИЙСКОГО МИРА ДО ОЛИМПИЙСКОГО ПРАЗДНИКА ДЕВЯНОСТЫХ ГОДОВ.

Моя последняя глава и последний том заканчиваются миром под названием Никиасский мир, заключенным в марте 421 года до н. э. между Афинами и спартанской конфедерацией на пятьдесят лет.

Этот мир, заключенный осенью и зимой после поражения афинян при Амфиполе, где были убиты Клеон и Брасидас, стал результатом отчасти чрезвычайного стремления спартанцев вернуть своих пленников, взятых при Сфактерии, отчасти - обескураженности афинян, заставившей их прислушаться к сторонникам мира, действовавшим вместе с Никиасом. Общий принцип, принятый для заключения мира, заключался в возвращении обеими сторонами того, что было приобретено в результате войны, но с исключением тех мест, которые были сданы в результате капитуляции: в соответствии с этим резервом афиняне, не имея возможности вернуть Платею, продолжали удерживать Ниссею, гавань Мегары. Лакедемоняне обязались вернуть Амфиполь Афинам и отказаться от связи с восставшими союзниками Афин во Фракии, то есть Аргилусом, Стагирусом, Акантом, Сколусом, Олинфом и Спартолусом. Эти шесть городов, однако, не должны были записываться в союзники Афин, если только они не решат добровольно стать таковыми, а только платить Афинам дань, первоначально установленную Аристеидесом, в качестве своего рода вознаграждения за защиту Эгейского моря от частных войн или пиратства. Любой житель Амфиполя или других городов, решивший покинуть их, был волен сделать это и забрать с собой свое имущество. Кроме того, лакедемоняне обязались вернуть Панактум Афинам вместе со всеми афинскими пленниками, находившимися в их владениях. Что касается Скионки, Торонки и Сермила, то афиняне были объявлены свободными в принятии собственных мер. Со своей стороны, они обязывались отпустить всех пленных, попавших в их руки, как из Спарты, так и от ее союзников; восстановить Пилус, Китеру, Метону, Птелеон и Аталанту; освободить всех пелопоннесских и бразильских солдат, находящихся сейчас в блокаде в Скионе.

Кроме того, специальными статьями предусматривалось, что все греки должны иметь свободный доступ к священным панэллинским празднествам, как по суше, так и по морю, и что автономия Дельфийского храма должна быть гарантирована.

Договаривающиеся стороны поклялись в будущем воздерживаться от нанесения друг другу ущерба и решать все возникающие споры полюбовно[1].

Наконец, предусматривалось, что если впоследствии какой-либо вопрос окажется забытым, афиняне и лакедемоняне могут по взаимному согласию внести в договор изменения, которые сочтут нужными. Подготовленные таким образом клятвы были переданы семнадцати главным афинянам и стольким же главным лакедемонянам.

Как ни склонялась Спарта к заключению мира и как ни ратифицировала его большинством голосов среди своих единомышленников, все же нашлось влиятельное меньшинство, которое не только не согласилось, но и решительно протестовало против его условий. Коринфяне были недовольны тем, что не получили обратно Соллиум и Анакторий; мегаряне - тем, что не вернули себе Нисей; беотийцы - тем, что Панактум должен был быть возвращен Афинам; элейцы - еще по каким-то причинам, о которых мы точно не знаем. Все они, кроме того, обиделись на статью, которая предусматривала, что Афины и Спарта могут по взаимному согласию и без консультаций с союзниками вносить в договор любые изменения, которые сочтут нужными.[2] Хотя мир был подписан, самые могущественные члены спартанской конфедерации все еще не согласились с ним.

Однако интересы самих спартанцев были настолько сильны, что, получив поддержку большинства, они решили провести мир в жизнь, даже рискуя распасть конфедерацию. Помимо искреннего желания вернуть своих пленников у афинян, их тревожило и то, что тридцатилетнее перемирие, заключенное с Аргосом, истекало. Они действительно обращались в Аргос с просьбой о его продлении через спартанского проксена Лихаса. Но аргивяне отказались, кроме как на недопустимом условии, что им будет уступлена пограничная территория Кинурии: были основания опасаться, что эта новая и мощная сила может быть брошена на растерзание Афинам, если война будет продолжаться[3].

Поэтому не успел мир быть подписанным, как спартанцы приступили к выполнению его условий. По жребию, который должен был определить, кто первым сделает требуемые уступки - Спарта или Афины, - афинянам выпал благоприятный жребий: преимущество было настолько велико в данных обстоятельствах, что Теофраст утверждал, будто Никиас получил это очко путем подкупа. Нет никаких оснований верить такому предполагаемому подкупу; тем более что в скором времени мы увидим, как Никиас безвозмездно отбрасывает большую часть преимущества, которое давал счастливый жребий[4].

Спартанцы приступили к выполнению своих обязательств, немедленно отпустив всех афинских пленников, попавших в их руки, и отправив Исфагора с двумя другими посланниками в Амфиполь и фракийские города. Этим посланникам было поручено объявить о мире, а также обеспечить его соблюдение во фракийских городах, и особенно приказать Клиариду, спартанскому полководцу в Амфиполе, чтобы он сдал город афинянам. Но, прибыв во Фракию, эти посланники не встретили ничего, кроме единодушного сопротивления: так энергичны были уговоры халкидян, как в Амфиполе, так и за его пределами, что даже Клиарид отказался подчиниться своему правительству, притворившись, что он не настолько силен, чтобы сдать город против сопротивления халкидян. Потерпев полное поражение, посланники вернулись в Спарту, где Клиарид счел благоразумным сопровождать их, отчасти чтобы объяснить свое поведение, отчасти в надежде добиться изменения условий. Но это оказалось невозможным, и его отправили обратно в Амфиполь с императивным приказом сдать город афинянам, если это возможно сделать; если же это окажется не под силу, то уйти и привести домой всех пелопоннесских солдат из гарнизона. Возможно, капитуляция была действительно невыполнима для сил, не

превышающих те, которыми командовал Клирид, поскольку нежелание населения, несомненно, было упрямым. Во всяком случае, он представил ее невыполнимой: войска вернулись домой, но афиняне по-прежнему оставались вне Амфиполя, и все условия мира в отношении фракийских городов оставались невыполненными. Но и это было еще не все. Посланцы от раскольников меньшинства (коринфяне и другие), отправившись домой за инструкциями, теперь вернулись в Спарту с еще большим неприятием и протестом против несправедливости мира, так что все усилия спартанцев склонить их к соблюдению были бесплодны[5].

Теперь последние оказались в серьезном затруднении. Не выполнив свою часть договора, они не могли требовать от Афин выполнения своей: им грозило двойное несчастье - лишиться доверия союзников, не получив ни одного из преимуществ договора. В этой дилемме они решили вступить в более тесные и отдельные отношения с Афинами, рискуя обидеть своих союзников. Враждебности Аргоса, если бы он не получил помощи от Афин, они почти не опасались; между тем момент был благоприятен для союза с Афинами, как по решительным мирным тенденциям, царившим с обеих сторон, так и по известным фило-лаконским настроениям вождей Никиаса и Лахеса. Афинские посланники оставались в Спарте с момента заключения мира, ожидая выполнения его условий; среди них, вероятно, были Никиас или Лахес, один или оба. Когда они увидели, что Спарта не в состоянии выполнить свои обязательства, и договор может быть расторгнут, они, несомненно, поддержали бы и, возможно, даже предложили бы идею отдельного союза между Спартой и Афинами, как единственную возможность покрыть недостаток; пообещав, что в рамках этого союза спартанские пленники будут восстановлены. Таким образом, между ними был заключен договор на пятьдесят лет, не просто мир, а оборонительный союз. Каждая сторона обязывалась помогать в отражении любых захватчиков территории другой стороны, относиться к ним как к врагам и не заключать с ними мир без согласия другой стороны. Это было единственное положение союза с одним дополнением, однако, не менее важным, для безопасности Лакедемонии. Афиняне обязались оказать самую энергичную помощь в подавлении любого восстания гелотов, которое может произойти в Лаконии. Такое положение убедительно свидетельствует о беспокойстве, которое испытывали лакедемоняне по поводу своего крепостного населения: но в данный момент оно имело для них особую ценность, поскольку обязывало афинян сдерживать, если не выводить, мессенский гарнизон Пилоса, размещенный там ими самими с явной целью спровоцировать восстание гелотов.

Союз с такими простыми и немногочисленными условиями не требовал много времени для обсуждения. Он был заключен очень быстро после возвращения посланников из Амфиполя, вероятно, не более чем через месяц или два после заключения прежнего мира. Клятву принесли одни и те же лица с обеих сторон, с аналогичным заявлением, что клятва должна ежегодно возобновляться, а также с аналогичной оговоркой, что Спарта и Афины могут по взаимному согласию либо расширить, либо сократить условия, не нарушая клятвы.[6] Кроме того, договор было приказано начертать на двух колоннах: одну установить в храме Аполлона в Амikle, другую - в храме Афины, в акрополе.

Самым важным результатом этого нового союза стало нечто, не оговоренное в его положениях, но, как мы можем быть уверены, понятное спартанским эфорам и Никиасу в момент его заключения. Все спартанские пленники в Афинах были немедленно восстановлены[7].

Ничто не может более убедительно продемонстрировать умиротворенность и попустительство, царившие в Афинах, а также сильные фило-лаконские наклонности ее

ведущих людей (в этот момент Алкивиад соперничал с Никиасом за расположение Спарты, о чем будет сказано ниже), чем условия этого союза, обязывавшие Афины помогать в сдерживании гелотов, и еще более важное последующее условие - восстановление спартанских пленников. Таким образом, Афины безвозвратно расставались со своей лучшей картой и обещали отказаться от своей второй лучшей, не получив ни малейшего эквивалента сверх того, что содержалось в клятве Спарты стать ее союзницей. В течение последних трех с половиной лет, с момента взятия Сфактерии, обладание этими пленниками ставило Спарту в выгодное положение по отношению к ее главному врагу; впрочем, это преимущество было в определенной степени сведено на нет последующими потерями. Такое положение вещей было достаточно справедливо представлено в мирном договоре, который тщательно обсуждался в течение зимы и был подписан в начале весны и по которому обе стороны получили ряд уступок, взаимных и уравнивающих друг друга. Более того, Афинам при жеребьевке посчастливилось дожидаться фактического выполнения спартамцами этих уступок, прежде чем заключить свой собственный. Спартамцы же до сих пор не выполнили ни одной из обещанных уступок, более того, пытаясь сделать это, они проявляли такое отсутствие силы или воли, что было ясно, что ничто, кроме самой жесткой необходимости, не сможет превратить их обещания в реальность. И все же под влиянием этих признаков Никиас убеждает своих соотечественников заключить второй договор, который практически аннулирует первый и безвозмездно гарантирует спартамцам все основные выгоды первого, почти не принося соответствующих жертв. Союз Спарты вряд ли можно назвать соображением: ведь этот союз в данный момент, в условиях неопределенных отношений с Аргосом, был не менее ценен для самой Спарты, чем для Афин. Можно не сомневаться, что при благоразумной игре Афины могли бы вернуть Амфиполь в обмен на пленников: ведь неспособность Клиаридаса захватить это место, даже если признать ее реальным фактом, а не симуляцией, могла быть устранена решительным сотрудничеством Спарты с афинским войском, посланным для занятия этого места. На самом деле, то, что Афины были вынуждены предоставить сейчас, было именно тем первоначальным предложением, которое передали ей лакедемоняне за четыре года до этого, когда гоплиты впервые оказались в Сфактерии, но до фактического захвата. Тогда они не предложили никакого эквивалента, а просто сказали через своих посланников: "Отдайте нам людей на острове, а взамен примите мир и наш союз"[8] В тот момент были некоторые убедительные причины для удовлетворения этого предложения: но даже тогда аргументы Клеона против были также убедительными и вескими, когда он утверждал, что Афины имеют право на более выгодную сделку. Но *теперь* не было ни одной причины в пользу этого предложения, и было сильное совпадение причин против него. Союз со спартамцами не представлял для Афин большой ценности: для нее был важен мир; но мир уже был заключен с обеих сторон после тщательного обсуждения, и теперь требовалось только привести его в исполнение. Равные взаимные уступки, дававшие наилучшие шансы на постоянный результат, были согласованы, и судьба обеспечила ей привилегию получить деньги за покупку до того, как она передаст товар. Зачем же отказываться от столь выгодного положения, принимая взамен пустой и бесплодный союз, под обязательство передать свой самый ценный товар в кредит, причем кредит столь же обманчивый в обещаниях, сколь и непродуктивный в действительности? Союз, по сути, не позволил заключить мир: он стал, как признает сам Фукидид[9], не миром, а простой приостановкой прямых военных действий.

Фукидид неоднократно заявляет, да и сам Никиас считает, что в момент заключения мира, носящего его имя, положение Спарты было невыгодным и позорным по отношению к Афинам;[10] имея в виду главным образом пленников, находившихся в руках последних; что касается других вопросов, то поражения в Делиуме и Амфиполе, а также серьезные потери во Фракии с лихвой перекрывали приобретения Ниссеи, Пилуса, Китеры и Метона. Однако

философско-лаконские наклонности Никиаса и тех, кто теперь пользовался доверием Афин, были столь неосмотрительны и недалекосудны, что они отбросили это преимущество, лишили Афины всех тех надежд, которые сами возлагали на мир, и тем не менее безвозмездно уступили Спарте все основные пункты, которых она желала. Насколько нам известно, никогда еще ни одна публичная рекомендация Клеона не была столь разорительно бестактной, как этот союз со Спартой и сдача пленных, в котором с ним согласились и Никиас, и Алкивиад. Вероятно, спартанские эфоры забавляли Никиаса, а он забавлял афинское собрание обманчивыми заверениями в повиновении во Фракии якобы императивным приказам, отданным Клириду. И теперь, когда пылкий кожевник с его криминальным красноречием ушел из жизни, сменившись лишь более низким преемником, ламповщиком[11] Гиперболом, оставив афинское общество под неоспоримым руководством выдающихся по рождению и положению граждан, происходящих от богов и героев, некому было убедительно разоблачить тщетность подобных заверений или претворить в жизнь урок простого и очевидного благоразумия: "Подождите, как вы вправе подождать, пока спартанцы не выполнят обременительную часть своего договора, прежде чем вы выполните обременительную часть своего. Или, если вы решите смягчить некоторые уступки, которые они поклялись сделать, во всяком случае, придерживайтесь главного пункта и поставьте перед ними непреложную альтернативу - Амфиполь в обмен на пленников".

Отдав пленников, афиняне не сразу поняли, насколько полностью они утратили преимущество своего положения и главное средство принуждения; это дало Спарте такую свободу действий, какой она не пользовалась со времен первой блокады Сфактерии. Тем не менее, кажется, что при нынешних эфорах Спарта не была виновна ни в одном преднамеренном или позитивном действии, которое можно было бы назвать нарушением веры. Она отдала приказ Клириду сдать Амфиполь, если он сможет; если нет, эвакуировать его и вернуть пелопоннесские войска домой. Конечно, Амфиполь не был сдан афинянам, но был эвакуирован, и тогда она сочла, что выполнила свой долг перед Афинами в отношении Амфиполя, хотя поклялась вернуть его, и клятва осталась невыполненной. 12 Другие фракийские города были так же глухи к ее уговорам и так же упорны в своей враждебности к Афинам. Беотийцы, коринфяне, мегаряне и элейцы тоже не остались в стороне, но беотийцы, отказавшись от перемирия со Спартой, заключили с Афинами отдельное соглашение или перемирие, которое могло быть расторгнуто за десять дней с каждой стороны[13].

При таком положении вещей, хотя между Афинами и Пелопоннесом установились видимые мирные отношения и свободная взаимная связь, недовольство афинян, а также жалобы их посланников в Спарте вскоре стали серьезными. Лакедемоняне поклялись за себя и своих союзников, но самые могущественные из них и те, чья вражда была наиболее важна для Афин, продолжали отказываться. Ни Панактум, ни афинские пленники в Беотии еще не были возвращены Афинам; фракийские города также еще не подчинились миру. В ответ на уговоры афинских посланников лакедемоняне заявили, что они уже выдали всех афинских пленников в свои руки и вывели свои войска из Фракии, что, по их словам, было всецело в их власти, так как они не были хозяевами Амфиполя и не могли принудить фракийские города против их воли. Что касается беотийцев и коринфян, то лакедемоняне зашли так далеко, что заявили о готовности взять в руки оружие вместе с Афинами[14], чтобы заставить их принять мир, и даже говорили о том, чтобы назвать день, после которого эти отрекшиеся государства должны быть объявлены общими врагами и Спарты, и Афин. Но их предложения всегда сводились к туманным словам, и они не соглашались связать себя каким-либо письменным или императивным документом. Тем не менее, они были настолько уверены либо в

достаточности этих заверений, либо в надежности Никиаса, что решились потребовать от Афин сдачи Пилуса или, по крайней мере, вывода оттуда мессенского гарнизона с дезертирами-гелотами, оставив в нем только местных афинских солдат, пока не будет достигнут дальнейший прогресс в заключении мира. Но чувства афинян теперь серьезно изменились, и они восприняли это требование с заметной холодностью. Ни одно из условий договора в их пользу еще не было выполнено, и даже казалось, что оно не будет выполнено, так что теперь они начали подозревать Спарту в нечестности и обмане и глубоко сожалели о своей неосмотрительной сдаче пленников.[15] Их уговоры к Спарте, часто повторявшиеся в течение лета, не дали никакого положительного эффекта: тем не менее, их удалось убедить вывести мессенцев и гелотов из Пилуса в Кефаллению, заменив их афинским гарнизоном[16].

У афинян, несомненно, были веские основания жаловаться на Спарту. Но люди, на которых они имели еще больше оснований жаловаться, были Никиас и их собственные фило-лаконские лидеры; которые сначала приняли от Спарты обещания, сомнительные с точки зрения исполнения, а затем - хотя им выпал жребий в отношении приоритета уступки, и таким образом они получили доказательства того, что Спарта либо не хочет, либо не может выполнить свои обещания - отказались от всех этих преимуществ, и почти безвозмездно получили для Спарты единственное благо, о котором она серьезно заботилась. Многочисленные критики греческой истории, которые не считают ни одно слово слишком суровым для демагога Клеона, должны по справедливости сравнить его политические советы с советами его соперников и посмотреть, кто из них проявил большую предусмотрительность в управлении внешними отношениями Афин. Амфиполь был однажды потерян из-за неосторожных действий Фукидида и Эвклеса, теперь он был снова потерян из-за неосторожных уступок Никиаса.

Пелопоннесский союз был настолько расшатан количеством государств, отказавшихся от мира, и настолько ослаблено было на время господство Спарты, что на полуострове стали возникать новые комбинации. Уже упоминалось, что срок перемирия между Аргосом и Спартой истекал: Аргос, таким образом, был свободен, со своими старыми притязаниями на главенство в Пелопоннесе, подкрепленными не уменьшившимся богатством, властью и населением. Не принимая непосредственного участия в изнурительной войне, она даже зарабатывала деньги, периодически оказывая помощь обеим сторонам;[17] а ее военные силы только сейчас еще больше укрепились благодаря шагу, имевшему весьма важное значение. Недавно она выделила тысячу отборных гоплитов, состоящих из молодых людей с достатком и положением, для постоянного военного обучения за государственный счет и зачисления в отдельный полк, отдельно от остальных граждан.[18] Для демократического правительства, каким был Аргос, такое учреждение было внутренне опасно и чревато бедами, которые будут описаны далее. Но в данный момент демократические лидеры Аргоса, похоже, думали только о внешних связях своего города, поскольку срок перемирия со Спартой истекал, а дезорганизованное состояние спартанской конфедерации открывало новые возможности для ее стремления вернуть себе что-то вроде главенства в Пелопоннесе.

Недовольство раскольнических пелопоннесских союзников побуждало их обратить внимание на Аргос как на нового вождя. Они и до заключения мира с недоверием относились к Спарте, прекрасно понимая, что у нее есть свои интересы, отличные от интересов конфедерации, вызванные желанием вернуть пленников: в условиях мира, казалось, учитывались интересы только Спарты и Афин, а интересы остальных союзников, особенно Фракии, были упущены из виду. Более того, статья мирного договора, в которой предусматривалось, что Афины и Спарта могут по взаимному согласию добавить или

исключить любую статью по своему усмотрению, не советуясь с союзниками, вызвала всеобщую тревогу, как будто Спарта замышляет вместе с Афинами какую-то измену конфедерации. ^{19]} А тревога, разгоревшись, еще более усилилась последовавшим так близко за этим отдельным союзным договором между Спартой и Афинами, а также восстановлением спартанских пленников.

Такое общее недовольство пелопоннесских государств неожиданным сочетанием афинян и лакедемонян, усиленное в случае каждого отдельного государства собственными частными интересами, впервые открыто проявилось через коринфян. По окончании конференции в Спарте, где только что стало известно о недавнем союзе между афинянами и спартанцами и где последние тщетно пытались убедить своих союзников принять мир, коринфяне сразу же отправились в Аргос, чтобы сообщить о случившемся и попросить о вмешательстве. Они предложили ведущим людям этого города, что теперь Аргос обязан выступить в роли спасителя Пелопоннеса, который лакедемоняне открыто предали общему врагу, и пригласить для этой цели в союз для взаимной защиты каждое автономное эллинское государство, которое обязуется дать и получить дружеское удовлетворение во всех пунктах разногласий. Они утверждали, что многие города из ненависти к Спарте с радостью примут такое приглашение; особенно если будет назначен совет уполномоченных в небольшом количестве, наделенный всеми полномочиями принимать всех подходящих претендентов, чтобы в случае отказа, по крайней мере, не пришлось предстать перед общественным собранием в аргейской демократии. Это предложение, в частном порядке высказанное коринфянами, которые сразу же после этого вернулись домой, было с готовностью принято как руководителями, так и жителями Аргоса, поскольку оно сулило реализацию их давних притязаний на главенство. В соответствии с этим были назначены двенадцать комиссаров, наделенных правом принимать в союзники всех, кого они сочтут подходящим, кроме Афин и Спарты. Ни с одним из этих двух городов нельзя было заключить договор без формальной санкции общественного собрания^[20].

Тем временем коринфяне, хотя и были первыми, кто привел в движение аргейцев, все же сочли правильным, прежде чем публично записать себя в новый союз, пригласить в Коринф съезд пелопоннесских недовольных. Именно мантинейцы подали первое заявление в Аргос в соответствии с только что опубликованным уведомлением. И здесь мы получаем частичное представление об отношениях между второстепенными и внутренними государствами Пелопоннеса. Мантинея и Тегея, будучи сопредельными, а также двумя наиболее значительными государствами Аркадии, находились в вечном соперничестве, которое проявилось всего за полтора года до этого в кровавой, но нерешительной битве.^[21] Тегея, расположенная на границах Лаконии и управляемая олигархически, была крепко привязана к Спарте; Мантинея же по этой причине, а также из-за демократического характера ее правительства, была менее привязана к ней, хотя все еще была включена в состав Пелопоннесской конфедерации и действовала как ее член. Недавно она завоевала для себя^[22] небольшую империю по соседству, состоящую из деревенских округов в Аркадии, которые считались ее союзниками и товарищами по последней битве с Тегеей. Это завоевание было сделано еще во время войны с Афинами; в тот период, когда меньшие государства Пелопоннеса в целом, и даже подвластные государства по отношению к своим собственным имперским государствам, находились под гарантией конфедерации, которой они должны были оказывать неоплачиваемую службу против общего врага; поэтому она опасалась вмешательства лакедемонян по просьбе и для освобождения этих подданных, которые, к тому же, находились недалеко от границ Лаконии. На такое вмешательство, вероятно, пришлось бы ссылаться и раньше, только Спарта находилась в затруднительном положении и, кроме того, не собирала общего конфедеративного собрания против Афин - со

времени катастрофы в Сфактерии. Но теперь у нее были свободные руки и хороший предлог, а также мотив для вмешательства.

Поддерживать автономию всех мелких государств и не допускать их посредничества или объединения под главенством более крупных - такова была общая политика Спарты; тем более что ее собственное влияние как главного лидера усиливалось за счет обеспечения каждому мелкому государству существенного голоса на собраниях конфедерации. ²³ Кроме того, соперничество Тегеи могло послужить здесь вспомогательным мотивом против Мантинеи. Под влиянием таких опасений мантинейцы поспешили заручиться союзом и защитой Аргоса, с которым они пользовались дополнительной симпатией общей демократии. Такое восстание из Спарты^[24] (так оно считалось) вызвало большой резонанс во всем Пелопоннесе, и среди царившего тогда недовольства было немало желающих последовать его примеру.

В частности, это способствовало повышению значимости конгресса в Коринфе, куда лакедемоняне сочли нужным отправить специальных посланников, чтобы противостоять интригам, ведущимся против них. Их посланник обратился к коринфянам с решительным предостережением и даже упреком за ту ведущую роль, которую они сыграли в разжигании розни среди старых конфедератов и организации новой конфедерации под председательством Аргоса. "Таким образом, они (коринфяне) усугубляли свою вину и лжесвидетельство, которые они совершили, поставив на ноль официальное голосование большинства конфедерации и отказавшись принять мир, - ведь это была закаятая и основополагающая максима конфедерации, что решение большинства должно быть обязательным для всех, за исключением случаев, связанных с оскорблением богов или героев." Ободренные присутствием многих сочувствующих депутатов, беотийцев, мегарян, халкидян из Фракии,^[25] и т. д., коринфяне ответили твердо. Но они не сочли за благо объявить о своей истинной причине отказа от мира, а именно о том, что он не обеспечил им восстановление Соллиума и Анакториума: во-первых, это был вопрос, в котором их союзники не были заинтересованы; во-вторых, он не давал никакого веского повода для сопротивления голосованию большинства. Поэтому они заняли свою позицию под предлогом одновременно великодушным и религиозным; под предлогом оговорки о религиозных угрызениях, которую сам лакедемонский посланник признал и которую, конечно, каждый член должен был истолковать в соответствии со своими благочестивыми чувствами. "Именно религиозное препятствие (утверждали коринфяне) помешало нам заключить мир с Афинами, несмотря на голосование большинства; ведь мы ранее обменялись клятвами, отдельно от конфедерации, с халкидянами Фракии в то время, когда они восстали от Афин; и мы должны были бы нарушить эти отдельные клятвы, если бы приняли мирный договор, в котором эти халкидяне были бы оставлены. Что касается союза с Аргосом, то мы считаем себя вправе принять любое решение, которое сочтем подходящим, посоветовавшись с нашими друзьями, присутствующими здесь". Получив такой неудовлетворительный ответ, лакедемонские посланники были вынуждены вернуться домой. Аргейские посланники, также присутствовавшие на собрании с целью убедить коринфян немедленно реализовать надежды на союз, которые они возлагали на Аргос, так и не смогли добиться положительного ответа, и им было предложено прийти на следующее собрание^[26].

Хотя коринфяне сами выдвинули идею новой аргейской конфедерации и скомпрометировали Аргос открытым провозглашением, теперь они колебались по поводу осуществления своего плана. Отчасти их сдерживала горечь лакедемонских упреков, ведь

открытое завершение этого восстания, помимо серьезных политических последствий, потрясло целую плеяду старых чувств, но еще больше - открытие того, что их друзья, которые были согласны с ними в отказе от мира, решительно отказывались от открытого восстания против Спарты и союза с Аргосом. К этой категории относились беотийцы и мегаряне. Оба эти государства, оставленные лакедемонянами на произвол судьбы, не обратившимися к ним с каким-либо призывом, как это было с коринфянами, спонтанно отвернулись от Аргоса не столько из-за неприятия аргейской демократии, сколько из-за симпатии к олигархии в Спарте: [27] их связывала общность интересов, не только как соседей и ярых врагов Аттики, но и как обладателей демократических изгнанников, которые, возможно, могли найти поддержку в Аргосе. Обескураженные сопротивлением этих двух важных союзников, коринфяне откладывали посещение Аргоса, пока их не подтолкнул новый случайный импульс - обращение элейцев; которые, с готовностью приняв новый проект, отправили посланников сначала заключить союз с коринфянами, а затем продолжить и зачислить Элиду в союзники Аргоса. Этот инцидент настолько утвердил коринфян в их прежней схеме, что они вместе с халкидянами из Фракии быстро отправились в Аргос, чтобы присоединиться к новой конфедерации.

Поведение Элиды, как и Мантинеи, восставшей против Спарты, было продиктовано частными причинами, возникшими из-за отношений с их зависимым союзником Лепреем. Лепреи попали в зависимость от Элиды за некоторое время до начала Пелопоннесской войны, в обмен на помощь, оказанную элейцами для их освобождения от опасной войны с некоторыми аркадскими врагами. Чтобы купить эту помощь, они обязались уступить элейцам половину своей территории, но оставались жить и занимать ее с условием ежегодной выплаты одного таланта в качестве дани олимпийскому Зевсу, то есть элейцам как его управителям. Когда началась Пелопоннесская война [28] и лакедемоняне стали призывать на неоплачиваемую службу против Афин все пелопоннесские города, как малые, так и большие, лепреаты, по постоянному соглашению конфедерации, были на время освобождены от уплаты дани в Элиду. Это освобождение прекратилось вместе с войной; по ее окончании Элида получила право, согласно тому же соглашению, возобновить приостановленную выплату дани. Она потребовала возобновить выплату, но лепреаты отказались, а когда она прибегла к силе, бросились на защиту Спарты, чьего решения элейцы сначала согласились придерживаться, имея общее согласие конфедерации в свою пользу. Но вскоре выяснилось, что Спарта была более склонна проводить в жизнь свою общую систему поощрения автономии меньших государств, чем добиваться выполнения положительного соглашения конфедерации. Поэтому элейцы, обвинив ее в несправедливом пристрастии, отказались от ее полномочий арбитра и послали военные силы, чтобы занять Лепреум. Тем не менее, спартанцы упорствовали в своем решении, объявили Лепреум автономным и послали своих гоплитов защищать его от элейцев. Последние громко протестовали против такого решения и объявили лакедемонян лишившими их одной из зависимых территорий, вопреки соглашению, принятому всеобщей конфедерацией в начале войны, согласно которому каждый имперский город должен получить в конце войны обратно все зависимые территории, которыми он обладал в начале, при условии отказа от дани и военной службы с них до тех пор, пока длится война. После бесплодных уговоров Спарты элейцы с готовностью ухватились за представившуюся возможность восстать против нее и присоединиться к новой лиге с Коринфом и Аргосом [29].

Эта новая лига, включавшая Аргос, Коринф, Элиду и Мантинею, приобрела такую силу и уверенность, что аргейцы и коринфяне отправились с совместным посольством в Тегею, чтобы добиться присоединения этого города, казавшегося самым могущественным в Пелопоннесе после Спарты и Аргоса. Какие у них были основания рассчитывать на успех, мы

не знаем. Сам факт присоединения Мантинеи к Аргосу, казалось бы, должен был удержать Тегею, как соперничающую аркадскую державу, от подобного шага: так и вышло, ведь тегейцы решительно отказались от предложения, не преминув при этом заявить, что они во всем будут поддерживать Спарту. Коринфяне были сильно удручены этим отпором, которого они никак не ожидали, будучи настолько введены в заблуждение общими выражениями недовольства Спартой, что полагали, будто смогут перевести в Аргос почти весь состав конфедератов. Но теперь они начали отчаиваться в дальнейшем распространении аргейского владычества и даже считать свое собственное положение ненадежным на стороне Афин, с которыми они не были в мире, а присоединившись к Аргосу, они потеряли свои притязания на Спарту и всю ее конфедерацию, включая Беотию и Мегару. В таком затруднительном положении они обратились к беотийцам, которых снова стали уговаривать присоединиться к ним в аргейском союзе: просьба, уже однажды отвергнутая, и вряд ли теперь удовлетворенная, но призванная послужить предвестником другой просьбы, предпочтительной в то же самое время. Беотийцев просили сопровождать коринфян в Афины и добиться от афинян перемирия, заключаемого за десять дней, подобного тому, которое они заключили для себя. В случае отказа им также предлагалось отказаться от своего собственного соглашения и не заключать никакого другого без согласия коринфян. Беотийцы пошли на это, отправившись вместе с коринфянами в Афины и поддержав их просьбу о перемирии, которую афиняне отказались удовлетворить, заявив, что коринфяне уже включены в общий мир, если они являются союзниками Спарты. Получив такой ответ, коринфяне обратились к беотийцам с просьбой, считая это обязательством, отказаться от перемирия и заключить общий договор на будущее. Но эта просьба была решительно отвергнута. Беотийцы сохранили десятидневное перемирие, и коринфяне были вынуждены согласиться с существующим состоянием мира *де-факто*, хотя и не гарантированного никакими афинскими обещаниями[30].

Тем временем лакедемоняне не забывали об оскорблении, нанесенном им восстанием Мантинеи и Элиса. По просьбе паррасийцев, аркадских подданных Мантинеи, они под командованием царя Плейстоанакса отправились на эту территорию и заставили мантинейцев покинуть крепость, которую они возвели внутри города; последние не смогли ее защитить, хотя и получили аргейские войска для охраны своего города, что позволило им направить все свои силы на угрожаемое место. Помимо освобождения аркадских подданных Мантинеи, лакедемоняне также разместили дополнительный корпус гелотов и неодамодов в Лергеит, в качестве защиты и средства наблюдения за границами Элиса. 31] Это были брасидские солдаты, которых Клирид привел из Фракии. В награду за это гелиоты были отпущены на волю, и им было позволено жить там, где они пожелают. Но поскольку они усвоили уроки храбрости под руководством своего выдающегося командира, их присутствие, несомненно, было бы опасным среди крепостных Лаконии: поэтому лакедемоняне решили их выселить. Вспомним, что незадолго до этого они тайно убили две тысячи самых воинственных гелотов, не имея никаких оснований для подозрений против этих жертв лично, но просто из страха перед всем телом и, конечно, из страха перед самыми храбрыми[32].

Лакедемоняне должны были защищаться не только от опасности со стороны возвращающихся брасидских гелотов, но и от реальной или мнимой опасности со стороны своих собственных спартанских пленников, освобожденных Афинами при заключении недавнего союза. Хотя сдача Сфактерия не была запятнана никаким бесчестьем, тем не

менее, в глазах спартанской гордости эти люди не могли не считаться униженными; или, по крайней мере, им могло казаться, что на них так смотрят, и от этого они становились недовольными. Некоторые из них уже исполняли различные обязанности, когда у эфоров возникли подозрения относительно их замыслов, и они приговорили их всех к временному лишению права занимать любые официальные должности, передав все их имущество в доверительное управление и запретив им, как несовершеннолетним, совершать любые действия, связанные с покупкой или продажей.^[33] Этот вид лишения прав продолжался в течение значительного времени; но в конце концов страдальцы были освобождены от него, поскольку считалось, что опасность миновала. Характер интердикта подтверждает то, что мы знаем непосредственно от Фукидида, - многие из этих пленников принадлежали к первым и самым богатым семьям государства, и эфоры могли опасаться, что они используют свое богатство для приобретения партизан и организации восстания среди гелотов. Мы не располагаем фактами, которые позволили бы нам оценить ситуацию; но неблагородный дух постановления, примененного к храбрым воинам, недавно вернувшимся домой после долгого заключения, на что справедливо указывают современные историки, не должен был сильно волновать эфоров при любых симптомах общественной опасности.

О действиях афинян в течение этого лета мы ничего не слышим, кроме того, что город Скионес в конце концов сдался им после долгой блокады, и что они предали смерти мужское население военного возраста, продав женщин и детей в рабство. Однообразие предложения этой жестокой резолюции за два с половиной года до этого принадлежит Клеону, а исполнение ее, спустя почти год после его смерти, - сменившим его лидерам и его соотечественникам в целом. Читатель, однако, теперь достаточно привык к греческим законам войны, чтобы не удивляться такому обращению с восставшими и вновь завоеванными подданными. Скион и его территория были переданы платейским беженцам. Коренное население Делоса, которое в течение предыдущего года было удалено с этого священного места под предлогом того, что оно слишком нечисто для исполнения священнических обязанностей, теперь было возвращено на свой остров. Последующее поражение Амфиполя породило в Афинах убеждение, что это удаление оскорбило богов; под этим впечатлением, подтвержденным дельфийским оракулом, афиняне теперь продемонстрировали свое раскаяние, восстановив делийских изгнанников.^[34] Они также потеряли города Фиссус на полуострове Афон и Мекиберну на Ситонийском заливе, которые были захвачены халкидянами из Фракии.^[35]

Между тем политические отношения во всех могущественных греческих государствах оставались временными и неопределенными. Между Спартой и Афинами все еще сохранялся союз, но со стороны последних постоянно раздавались жалобы на невыполнение ранее заключенного договора. Члены спартанской конфедерации были недовольны; некоторые из них отделились, а другие, похоже, собирались сделать то же самое; Аргос же, стремясь вытеснить Спарту, пытался поставить себя во главе новой конфедерации, хотя пока и с весьма частичным успехом. Однако до сих пор власти Спарты - как царь Плейстоанакс, так и эфоры года - искренне желали сохранить афинский союз, насколько это можно было сделать без жертв и без реального применения силы против рекуссантов, о чем они только говорили, чтобы развлечь афинян. Кроме того, огромное преимущество, которое они получили, вернув пленных, несомненно, сделало их очень популярными на родине и еще сильнее привязало их к своей собственной мере. Но в конце лета - кажется, в конце сентября или начале октября 421 года до н. э. - год правления этих эфоров истек, и на следующий год были назначены новые эфоры. При существующем положении вещей это был важный переворот: ведь из пяти новых эфоров двое - Клеобул и Ксенарес - были решительно настроены против мира с Афинами, а остальные трое были явно

безразличны.[36] И мы можем здесь заметить, что эти колебания и нестабильность государственной политики, которые часто осуждаются как особый признак демократии, происходят в той же степени при конституционной монархии Спарты, наименее популярном правительстве в Греции, как в принципе, так и в деталях.

Новые эфоры созвали в Спарте специальный конгресс для урегулирования оставшихся разногласий, на котором присутствовали афинские, беотийские и коринфские посланники. Но после продолжительных споров к соглашению так и не удалось прийти; съезд был уже на грани срыва, когда Клеобул и Ксенарес вместе со многими своими сторонниками[37] затеяли, в согласии с беотийскими и коринфскими депутатами, ряд частных тайных маневров для расторжения афинского союза. Это должно было произойти путем заключения сепаратного союза между Аргосом и Спартой, чего спартанцы искренне желали и за что предпочли бы ухватиться, утверждали эти эфоры, даже если бы это стоило им разрыва новой связи с Афинами. Беотийцам было предложено сначала самим стать союзниками Аргоса, а затем привлечь Аргос к союзу со Спартой. Но еще важнее было, чтобы они уступили Спарте Панактум, чтобы его можно было отдать афинянам в обмен на Пилос; ведь Спарте было нелегко вступить с ними в войну, пока они оставались хозяевами последнего[38].

Таковы были планы, которые Клеобул и Ксенарес изложили коринфским и беотийским депутатам, и которые последние отправились домой, готовые к исполнению. Случай, казалось, сразу же благоприятствовал этой цели: по дороге домой к ним обратились два аргейца, сенаторы их собственного города, которые выразили искреннее желание заключить союз между беотийцами и Аргосом. Беотийские депутаты, горячо поддержав эту идею, призвали аргейцев отправить посланников в Фивы в качестве сторонников союза и по прибытии домой сообщили беотархам как о планах спартанских эфоров, так и о желаниях этих аргейцев. Беотархи также приняли участие во всей этой затее; они приняли аргейских посланников с заметной благосклонностью и пообещали, как только получат необходимую санкцию, отправить своих посланников и попросить союза с Аргосом.

Эту санкцию должны были получить "четыре сената беотийцев" - органы, о составе которых ничего не известно. Но обычно они оказывались настолько пассивными и покладистыми, что беотархи, рассчитывая на их согласие как на нечто само собой разумеющееся, даже без полного изложения причин, строили все свои планы соответствующим образом.[39] Они предложили этим четырем сенатам резолюцию в общих выражениях, уполномочивающую их от имени Беотийской федерации обмениваться клятвами о союзе с любым греческим городом, который может быть готов заключить договор на взаимовыгодных условиях: их конкретная цель, как они заявили, заключить союз с коринфянами, мегарянами и халкидянами Фракии для взаимной защиты и для войны, а также мира с другими только по общему согласию. Для достижения этой цели они не ожидали сопротивления со стороны сенатов, поскольку их связь с Коринфом всегда была тесной, а положение четырех названных партий было одинаковым: все они были раскольниками недавнего мира. Однако решение было сформулировано в самых общих выражениях, чтобы уполномочить их впоследствии пойти дальше и заключить союз беотийцев и мегарян с Аргосом; однако эта цель пока откладывалась, поскольку союз с Аргосом был новшеством, которое могло удивить и встревожить сенат. Этот маневр, искусно придуманный для того, чтобы заманить эти органы в ловушку и заставить их одобрить меры, о которых они никогда не думали, иллюстрирует то, как олигархическая исполнительная власть может ускользнуть от сдержек, разработанных для контроля ее деятельности. Но, к своему изумлению, беотархи потерпели поражение с самого начала: сенат даже не хотел слышать о союзе с Коринфом, так сильно

они боялись оскорбить Спарту какой-либо особой связью с городом, который восстал против нее. Не сочли бётархи безопасным и разглашать свои связи с Клеобулом и Ксенаресом, а также знакомить сенат с тем, что весь этот план исходит от влиятельной партии в самой Спарте. Соответственно, при таком формальном отказе сената никаких дальнейших действий предпринято быть не могло. Коринфские и халкидские посланники покинули Фивы, а обещание отправить беотийских посланников в Аргос осталось невыполненным[40].

Но антиафинские эфоры в Спарте, хотя и потерпели неудачу в своих планах по заключению аргейского союза через посредничество беотийцев, не менее упорно продолжали придерживаться своих взглядов на Панактум. Это место - пограничная крепость в горной цепи между Аттикой и Беотией, очевидно, на беотийской стороне Фил, на прямой дороге из Афин в Фивы, которая вела через Филы, или рядом с ней[41] - было афинским владением до шести месяцев перед заключением мира, когда оно было предательски передано беотийцам.[Специальное положение договора между Афинами и Спартой предписывало вернуть его Афинам; и лакедемонские посланники были отправлены с экспресс-миссией в Беотию, чтобы потребовать от беотийцев выдачи Панактума и афинских пленников, чтобы, передав их Афинам, побудить их сдать Пилос. Беотийцы отказались выполнить эту просьбу, но только при условии, что Спарта вступит с ними в особый союз, как это было с афинянами. Теперь спартанцы обязались по своему договору с последними, либо по его условиям, либо по его признанному значению, не вступать ни в какой новый союз без их согласия. Но они страстно желали овладеть Панактумом, а перспектива разрыва с Афинами, отнюдь не являясь сдерживающим мотивом, была именно тем, чего желали Клеобул и Ксенарес. Под влиянием этих чувств лакедемоняне согласились и поклялись заключить особый союз с Беотией. Но беотийцы, вместо того чтобы передать Панактум для сдачи, как они обещали, немедленно разрушили крепость до основания, под предлогом древних клятв, которыми обменялись их предки с афинянами, о том, что местность вокруг нее всегда должна оставаться без жителей, как нейтральная пограничная полоса и под общим пастбищем.

Эти переговоры, продолжавшиеся всю зиму, завершились заключением союза и разрушением Панактума в начале весны или примерно в середине марта. И пока лакедемонские эфоры, казалось, отстаивали свою точку зрения на стороне Беотии, они были приятно удивлены неожиданной поддержкой своих взглядов с другой стороны. В Спарту прибыло посольство из Аргоса с просьбой о возобновлении только что истекшего мира. Аргейцы обнаружили, что не добились никакого прогресса в расширении своей новообразованной конфедерации, а недавнее разочарование с беотийцами заставило их отчаиваться в реализации своих амбициозных проектов по установлению главенства в Пелопоннесе. Но когда они узнали, что лакедемоняне заключили отдельный союз с беотийцами и что Панактум был разрушен, их разочарование переросло в положительную тревогу за будущее. Естественно предполагая, что этот новый союз не был бы заключен иначе, как в согласии с Афинами, они истолковали все происходящее как указание на то, что Спарта убедила беотийцев принять мир с Афинами, а разрушение Панактума было задумано как компромисс, чтобы избежать споров о владении. Поддавшись такому убеждению, которое само по себе было неразумным, поскольку оба договаривающихся правительства, оба олигархические и оба тайные, не представили никаких дополнительных доказательств, объясняющих их истинные намерения, аргейцы увидели себя исключенными из союза не только с Беотией, Спартой и Тегеей, но и с Афинами; последний город они до сих пор рассматривали как надежное средство в случае вражды со Спартой. Не откладывая ни на минуту, они отправили Евстрофа и Исона, двух аргейцев, которых очень уважали в Спарте, а возможно, и проксени этого города, чтобы добиться возобновления истекающего перемирия со спартанцами и получить наилучшие условия.

Для лакедемонских эфоров это заявление было вполне приемлемым, именно то событие, которое они скрытно лавировали, чтобы приблизить. Начались переговоры, в ходе которых аргейские посланники сначала предложили передать спорное владение Тиреей на арбитраж. Но на это требование они ответили категорическим отказом: лакедемоняне отказались вступать в дискуссию и настаивали на простом возобновлении мира, который уже закончился. Наконец аргейские посланники, страстно желая, чтобы вопрос о Тирее так или иначе оставался открытым, убедили лакедемонян согласиться на следующее необычное соглашение. Мир между Афинами и Спартой заключался на пятьдесят лет; но если в течение этого срока, исключая периоды эпидемии или войны, одна из сторон сочтет нужным вызвать бой равных по численности отборных бойцов для определения права на Тирею, то ей будет предоставлена полная свобода; бой должен состояться на территории самой Тиреи, а победителям будет запрещено преследовать побежденных за пределами неоспоримой границы обеих территорий. Следует вспомнить, что примерно за сто двадцать лет до этого произошел подобный бой с участием трехсот чемпионов с каждой стороны, в котором, после отчаянной доблести с обеих сторон, победа, как и спорное право, так и остались неопределенными. Предложение аргейцев было возрождением этой старой практики судебного поединка: тем не менее, греческий ум так изменился за это время, что теперь оно казалось совершенным абсурдом даже в глазах лакедемонян, самых старомодных людей в Греции.^[43] Но поскольку они практически ничем не рисковали, делая столь неопределенную уступку, и очень хотели наладить отношения с Аргосом в преддверии разрыва с Афинами, они наконец согласились на это условие, составили договор и передали его в руки посланников, чтобы те отвезли его в Аргос. Для придания ему юридической силы требовалось официальное принятие и ратификация аргейским общественным собранием: в случае положительного решения посланникам предлагалось вернуться в Спарту на праздник Гиакинфа и там пройти через торжественную процедуру принесения клятв.

На фоне такого странного пересечения целей и интересов спартанские эфоры, казалось, уже выполнили все свои планы: дружба с Аргосом, разрыв с Афинами, а еще средство - через обладание Панактумом - добиться от Афин уступки Пилоса. Но они еще не стояли на твердой почве. Когда их помощники, Андромедес с двумя коллегами, прибыли в Беотию, чтобы отправиться в Афины и продолжить переговоры о Панактуме, в то время как Евстроф и Исон вели свои переговоры в Спарте, они впервые обнаружили, что беотийцы, вместо того чтобы выполнить свое обещание передать Панактум, разрушили его до основания. Это был серьезный удар по их шансам на успех в Афинах: тем не менее, Андромедес отправился туда, взяв с собой всех афинских пленников в Беотию. Он восстановил их в Афинах, одновременно объявив о разрушении Панактума как о свершившемся факте: Панактум, как и пленники, был *восстановлен*, как он утверждал, поскольку афиняне теперь не найдут в этом месте ни одного врага; в обмен он потребовал уступки Пилоса^[44].

Но вскоре он обнаружил, что окончательный срок подчинения афинян уже наступил. Вероятно, именно по этому случаю в Афинах впервые узнали об отдельном союзе, заключенном между Спартой и беотийцами, поскольку не только дела этих олигархических правительств обычно были тайными, но и существовал особый мотив для сокрытия этого союза до тех пор, пока не завершилось обсуждение Панактума и Пилоса. И этот союз, и разрушение Панактума вызвали у афинян сильнейшее отвращение и гнев; их скорее усугубило, чем смягчило возражение Андромедека, что разрушение форта, равносильное реституции и исключаящее дальнейшее владение им врагом, было существенным удовлетворением договора; и еще более усугубило воспоминание о всех других невыполненных пунктах договора. Прошел уже целый год, и, выражаясь современным языком, среди частых нот и протоколов не было выполнено ни одно из условий, выгодных

Афинам, кроме возвращения пленных, которых, судя по всему, было не так уж много; в то время как она со своей стороны уступила Спарте столицу, от которой зависело почти все. Долго копившееся негодование, доведенное до предела этой миссией Андромеды, вылилось в самое суровое увольнение и обличение его самого и его коллег[45].

Даже Никиас, Лахес и другие ведущие люди, чьей неосмотрительной предусмотрительности и просчетам было обязано смущение момента, вероятно, не сильно отставали от широкой публики в восклицаниях против спартанского вероломства, если это было только для того, чтобы отвлечь внимание от их собственной ошибки. Но один из них - Алкивиад, сын Клейниаса, - воспользовался случаем, чтобы поставить себя во главе яростных антилаконских настроений, которые теперь будоражили эkkлeсию, и придать им предметную цель.

Это первый случай, когда мы слышим об этом выдающемся человеке, принимавшем заметное участие в общественной жизни. Ему было около тридцати одного или тридцати двух лет, что в Греции считалось ранним возрастом для занятия важной должности. Но таковы были великолепие, богатство и древность его семьи, происходившей из рода Эакидов через героев Эврисакеса и Аякса, и таково было влияние этого рода на демократическую афинскую общественность[46], что он быстро и легко занял видное положение. Принадлежа через свою мать Дейномаху к роду Алкмаeонидов, он был в родстве с Периклесом, который стал его опекуном, когда он остался сиротой в возрасте около пяти лет, вместе со своим младшим братом Клейниасом. Именно в это время их отец Клейниас был убит в битве при Коронее, уже с честью отслужив на своей триреме в морском сражении с персами при Артемисиуме. Спартанская кормилица по имени Амикла была предоставлена юному Алкивиаду, а раб по имени Зопир был выбран его выдающимся опекуном, чтобы присматривать за ним; но даже в детстве он был совершенно неуправляем, и Афины были полны его причуд и беззаконий, к неутешительному сожалению Перикла и его брата Арифрона.[Бурные страсти, любовь к наслаждениям, стремление к преобладанию и наглость по отношению к другим[48] проявились в раннем возрасте и не покидали его всю жизнь. Его законченная красота как в детстве, так и в юности и зрелом возрасте стала причиной того, что за ним часто бегали женщины[49], причем даже женщины сдержанных взглядов. Более того, еще до того возраста, когда подобные соблазны становятся обычными, красота его ранней юности, пока он проходил обычную гимнастическую подготовку, обеспечивала ему усердные ласки, комплименты и всевозможные просьбы со стороны ведущих афинян, которые часто посещали общественные палестры. Эти люди не только терпели его заискивания, но даже были польщены, когда он снисходил до того, чтобы одаривать их. Среди такого всеобщего восхищения и снисхождения, среди развращающего влияния, оказываемого из стольких мест и с самого раннего возраста, в сочетании с огромным богатством и высоким положением, вряд ли самоограничение или забота о благе других могли когда-либо развиться в уме Алкивиада. Анекдоты, которыми наполнена его биография, свидетельствуют о полном отсутствии обоих этих составных элементов морали; и хотя в отношении отдельных историй, несомненно, следует сделать поправку на скандал и преувеличение, все же общий тип характера четко обозначен и в достаточной степени установлен во всех.

Беспутная жизнь и неумеренная любовь к удовольствиям во всех их формах - это то, что мы могли бы естественно ожидать от молодого человека в таком положении; и похоже, что он потакал этим вкусам с оскорбительной оглаской, которая разрушила комфорт его жены Гиппаретки, дочери Гиппоника, убитого в битве при Делиуме. Она принесла ему большое приданое в десять талантов: когда она попросила развода, как позволял афинский закон,

Алкивиад жестоко вмешался, чтобы помешать ей получить выгоду от закона, и силой вернул ее в свой дом даже из присутствия магистрата. Именно эта жестокость эгоистической страсти и безрассудное пренебрежение общественными обязательствами по отношению ко всем, что составляет особенность Алкивиада. Он бьет школьного учителя, в чьем доме не оказалось экземпляра Гомера; он бьет Тауреаса,[50] соперника-хорега, в публичном театре, во время представления; он бьет Гиппоника, который впоследствии стал его тестем, на спор по простому распутству, а затем успокаивает его, принося обильные извинения; Он защищает тасийского поэта Хегемона, против которого было выдвинуто официальное обвинение перед архонтом, вычеркнув его своей рукой из опубликованного списка в общественном здании, называемом Метроном; бросая вызов как магистрату, так и обвинителю, чтобы добиться продолжения судебного разбирательства.[51] Не похоже, чтобы какой-либо пострадавший когда-либо осмелился привлечь Алкивиада к суду в дикастерии, хотя мы с изумлением читаем о ткани беззакония[52], которой была отмечена его личная жизнь; сочетание наглости и показного поведения с иногда подлым обманом, когда это соответствовало его цели. Но среди совершенного юридического, судебного и конституционного равенства, царившего среди афинских граждан, все еще оставалось большое социальное неравенство между людьми, передававшееся со времен, предшествовавших демократии: неравенство, которое демократические институты ограничивали в своих практических бедах, но никогда не стирали и не дискредитировали, и которое признавалось как изменяющие элементы в текущей, бессознательной жиле настроений и критики как теми, кого они ранили, так и теми, кому они благоприятствовали. В речи, которую Фукидид[53] приписывает Алкивиаду перед афинским общественным собранием, мы видим, что наглость богатства и высокого социального положения не только признается как факт, но и обосновывается как справедливая мораль; а история его жизни, как и многие другие факты в афинском обществе, показывают, что если она не одобрялась, то, по крайней мере, была терпима на практике в серьезной степени, несмотря на сдерживающие факторы демократии.

На фоне таких беспринципных непомерных поступков Алкивиад отличался личной храбростью. Он служил гоплитом в армии под командованием Формиона при осаде Потидеи в 432 году до н. э. Хотя ему тогда не было и двадцати лет, он был среди самых передовых солдат в битве, получил тяжелую рану и оказался в большой опасности; он остался жив только благодаря усилиям Сократеса, который служил вместе с ним в строю. Через восемь лет после этого Алкивиад также с честью служил в коннице в битве при Делиуме и имел возможность отплатить Сократесу за его долг, защитив его от преследователей-беотийцев. Как богатому молодому человеку, ему также полагались хорегия и триерархия - дорогостоящие обязанности, которые, как и следовало ожидать, он выполнял не только с достатком, но и с показной пышностью. На самом деле, расходы такого рода, хотя и обязательные до определенного момента для всех богатых людей, настолько полно окупались для всех, кто имел хоть малейшие амбиции, в виде популярности и влияния, что большинство из них спонтанно выходило за рамки необходимого минимума, чтобы показать себя. Первое появление Алкивиада в общественной жизни, как говорят, было в качестве жертвователя на какие-то особые цели в экклесии, когда различные граждане сдавали свои взносы: громкие аплодисменты, которые вызвала его подписка, были в то время настолько новыми и возбуждающими для него, что ему пришлось выпустить прирученную перепелку, которую он носил в своей груди. Этот инцидент вызвал веселье и сочувствие среди присутствующих граждан: птица была поймана и возвращена ему Антиохом, который с того времени приобрел его расположение, а в последующие дни стал его лоцманом и доверенным лейтенантом[54].

Для такого молодого человека, как Алкивиад, жаждущего власти и преобладания, определенная степень риторического мастерства и убедительной силы была просто необходима. Чтобы приобрести эти знания, он часто посещал общество различных софистов и учителей риторики,[55] Продикуса, Протагора и других, но больше всего - Сократеса. Его близость с Сократесом стала знаменитой по многим причинам, и о ней вспоминают как Платон, так и Ксенофонт, хотя, к сожалению, с меньшими наставлениями, чем мы могли бы пожелать. Мы охотно верим Ксенофону, когда он говорит нам, что Алкивиада, как и олигархического Крития, о котором нам предстоит еще многое сказать, привлекли к Сократесу его непревзойденное мастерство диалектической беседы, его внушающее влияние на умы слушателей, вызывающее новые мысли и комбинации, его мастерское владение уместными и домашними иллюстрациями, его способность заранее предвидеть конец долгого перекрестного допроса, его ироническое притворство невежества, благодаря которому унижение оппонентов становилось еще более полным, когда их уличали в непоследовательности и противоречии из их собственных ответов. Проявления такой изобретательности сами по себе были весьма интересны и стимулировали умственную деятельность слушателей, а сам навык представлял особую ценность для тех, кто собирался играть ведущую роль в публичных дебатах; с этой целью оба этих честлюбивых молодых человека пытались перенять мастерство у Сократеса[56] и скопировать его грозную серию допросов. Оба они, несомненно, невольно уважали бедного, самодостаточного, честного, умеренного и храброго гражданина, в котором жил этот выдающийся талант; особенно Алкивиад, который не только был обязан своей жизнью великодушной доблести Сократеса в Потидее, но и научился на этой службе восхищаться железным физическим каркасом философа в его доспехах, переносящего голод, холод и лишения.[57] Но не следует думать, что кто-то из них пришел к Сократесу с целью выслушать и исполнить его наставления по вопросам долга или получить от него новый план жизни. Они пришли отчасти для того, чтобы удовлетворить интеллектуальный аппетит, отчасти для того, чтобы приобрести запас слов и идей, а также умение аргументировано их излагать, пригодное для их последующего предназначения в качестве ораторов. Предметы моральные, политические и интеллектуальные служили темой то для разговоров, то для дискуссий в обществе всех этих софистов, Продикуса и Протагора не меньше, чем Сократеса; ведь в афинском понимании этого слова Сократес был софистом, как и остальные; а для богатой афинской молодежи, такой как Алкивиад и Критий, такое общество было весьма полезным.[58] Оно придавало их амбициям более благородную цель, включая умственные достижения, а также политический успех: оно расширяло диапазон их понимания и открывало им такую широкую жилу литературы и критики, какую только могла позволить эпоха: Оно приучало их к обсуждению человеческого поведения, причин и препятствий на пути к благополучию людей, как общественных, так и частных: оно даже косвенно подсказывало им уроки долга и благоразумия, от которых их социальное положение, как правило, отдаляло их, и которые они вряд ли согласились бы услышать, кроме как из уст того, кем они интеллектуально восхищались. Научившись говорить, они были вынуждены в большей или меньшей степени научиться думать, а также ознакомиться с разницей между истиной и заблуждением: красноречивый лектор не смог бы затронуть их чувства в таких великих темах, как мораль и политика. Таким образом, их жажда умственных стимулов и риторических достижений в той мере, в какой это было возможно, оказывала морализирующее воздействие, хотя это редко было их целью"[59].

Алкивиад, полный порывов и амбиций любого рода, наслаждался беседой со всеми выдающимися ораторами и лекторами, которых можно было найти в Афинах, но больше

всего и чаще всего - с Сократесом. Философ очень привязался к нему и, несомненно, не упускал случая преподавать ему полезные уроки, насколько это можно было сделать, не задевая гордости надменного и испорченного юноши, рассчитывавшего на известность в общественной жизни. Но, к несчастью, его уроки так и не принесли серьезного результата, а в конце концов стали даже неприятны ученику. Вся жизнь Алкивиада свидетельствует о том, насколько слабо в его сознании укоренилось чувство долга, общественного или личного; насколько цели, которые он преследовал, были продиктованы властным тщеславием и любовью к возвеличиванию. В конце жизни Сократес был отмечен своими врагами как учитель Алкивида и Крития. И если бы мы могли быть настолько несправедливы, чтобы судить о нравственности учителя по нравственности этих двух учеников, то, несомненно, причислили бы его к худшим из афинских софистов.

В возрасте тридцати одного или тридцати двух лет, то есть раньше, чем можно было рассчитывать на восходящее положение в общественной жизни, Алкивиад выдвинулся, имея репутацию, запятнанную частными преступлениями, и множество врагов, созданных его наглым поведением. Но это не помешало ему занять то положение, на которое его вывели его звание, связи и клуб приверженцев; он также не замедлил проявить свою необычайную энергию, решительность и способность командовать. С самого начала и до конца своей богатой событиями политической жизни он демонстрировал сочетание смелости в замыслах, изобретательности в планах и энергичности в исполнении, не превзойденное ни одним из современных ему греков: от всех его отличала необычайная гибкость характера^[60] и превосходная способность приспосабливаться к новым привычкам, новым нуждам и новым людям, когда того требовали обстоятельства. Как и Фемистоклес, на которого он походил как способностями и энергичностью, так и отсутствием общественных принципов и безрассудством в отношении средств, Алкивиад был, по сути, человеком действия. Красноречие было для него вторичным качеством, подчиненным действию; и хотя он обладал им в достаточной мере для своих целей, его речи отличались лишь уместностью изложения, часто несовершенного, по крайней мере, по высоким афинским стандартам.^[61] Но его карьера представляет собой незабываемый пример великолепных качеств, как для действия, так и для командования, которые были разрушены и превращены в орудия зла из-за полного отсутствия морали, общественной и личной. Против него поднялась мощная волна индивидуальной ненависти, как со стороны средних граждан, которых он оскорблял, так и со стороны богачей, которых затмевала его разорительная показуха. Ибо его непомерные добровольные расходы на общественные празднества, превышающие меру частного состояния, убеждали проницательных людей, что он возместит свои расходы за счет грабежа общества и даже, если представится возможность, свергнет конституцию, чтобы стать хозяином лиц и имущества своих сограждан. Он никогда не внушал никому доверия и уважения, и рано или поздно среди такой публики, как афинская, столько накопленного одиоза и подозрительности обязательно приведет государственного человека к краху, несмотря на самое сильное восхищение его способностями. Он всегда был объектом самых противоречивых чувств: "Афиняне желали его, ненавидели его, но все равно хотели иметь его", - сказал в последние годы его жизни один из современных поэтов; кроме того, мы находим еще одно язвительное наставление, произнесенное в его адрес: "Не следует держать в своем городе львиного детеныша; но если ты решил оставить его, то должен подчиниться его поведению"^[63]. Афинам пришлось ощутить силу его энергии, как изгнанника и врага, но большой вред он нанес ей в качестве советника, пробудив в своих соотечественниках ту же жажду к показному, хищному, неопределенному, опасному обогащению, которая диктовала его собственные личные действия.

Упомянув Алкивиада впервые, я несколько предвосхитил будущие главы, чтобы дать общее представление о его характере, которое впоследствии будет проиллюстрировано. Но в тот момент, к которому мы подошли (март 420 года до н. э.), львиный отпрыск был еще молод, не обрел всей своей силы и не раскрыл выросших когтей.

Он начал выдвигать себя в качестве лидера партии, по-видимому, незадолго до Никиасского мира. Наследственные политические традиции его семьи, как и его родственника Перикла, были демократическими: его дед Алкивиад был ярким противником Писистратидов и даже впоследствии публично отказался от установленной гостеприимной связи с лакедемонским правительством из сильной антипатии к нему по политическим мотивам. Но сам Алкивиад, начав политическую жизнь, отошел от этой семейной традиции и предстал как сторонник олигархических и фило-лаконских настроений, несомненно, более созвучных его природному нраву, чем демократические. Таким образом, он оказался в одной партии с Никиасом и Фессалом, сыном Кимона, которые впоследствии стали его злейшими противниками; отчасти, вероятно, чтобы поставить себя в один ряд с ними, он предпринял заметный шаг, пытаясь возродить древние семейные узы гостеприимства со Спартой, которые разорвал его дед^[64].

Для достижения этой цели он проявил особую заботу о хорошем обращении со спартанскими пленниками во время их содержания в Афинах. Многие из них были высокопоставленными родственниками в Спарте, и он, естественно, рассчитывал на их благодарность, а также на благосклонность их соотечественников, когда они будут восстановлены. Он выступал за мир и союз со Спартой, а также за восстановление ее пленников; более того, он не только выступал за эти меры, но и предлагал свои услуги и стремился быть нанятым в качестве агента Спарты для их осуществления в Афинах. Из этих корыстных надежд в отношении Спарты, а особенно из ожидания получить через посредство возвращенных пленников титул Проксена Спартанского, Алкивиад стал сторонником слепых и безвозмездных фило-лаконских уступок Никиаса. Но пленники по возвращении либо не смогли, либо не захотели добиться желаемого, а власти Спарты отвергли все его предложения, не без презрительной усмешки отнесясь к идее доверить важные политические интересы заботам юноши, известного в основном своей показностью, распутством и наглостью. То, что спартанцы рассудили именно так, ничуть не удивительно, учитывая их крайнее почтение как к старости, так и к строгой дисциплине. Они, естественно, отдали предпочтение Никиасу и Лахесу, чье благоразумие, если бы оно изначально не предполагало их недоверие к новому претенденту. Алкивиад еще не проявил того могучего движения, на которое был способен. Но этот пренебрежительный отказ спартанцев так уязвил его, что, совершив полный переворот в своем политическом курсе,^[65] он немедленно бросился в антилаконскую политику с энергией и способностями, о которых раньше не было известно.

После недавней смерти Клеона наступил благоприятный момент для того, чтобы новый политический лидер встал на эту сторону; еще более благоприятным его сделало поведение лакедемонян. Месяц проходил за месяцем, направлялись протесты за протестами, но ни одна из реституций, предписанных договором в пользу Афин, так и не была выполнена. Поэтому у Алкивиада был достаточный повод изменить свой тон по отношению к спартанцам и обличить их как обманщиков, нарушивших торжественную клятву и злоупотребивших великодушным доверием Афин. При нынешних антипатиях его внимание, естественно, обратилось к Аргосу, в котором у него было несколько влиятельных друзей и родственников. Состояние этого города, ставшего свободным по истечении срока мира со Спартой, открывало возможность соединения с Афинами, и эту политику настоятельно рекомендовал

Алкивиад, настаивая на том, что Спарта играет с афинянами в ложь только для того, чтобы держать их руки связанными, пока она не нападет на Аргос и не уничтожит его отдельно. Этот аргумент теряет силу, когда видно, что Аргос приобрел новых и сильных союзников - Мантинею, Элиду и Коринф; но, с другой стороны, такие приобретения делали Аргос положительно более ценным союзником для афинян.

Однако не столько склонность к Аргосу, сколько растущий гнев против Спарты способствовал осуществлению фило-аргейских планов Алкивиада; и когда лакедемонский посланник Андромедес прибыл в Афины из Беотии, предложив афинянам в обмен на Пилос лишь развалины Панактума; Когда далее стало известно, что спартанцы уже заключили особый союз с беотийцами, не посоветовавшись с Афинами, безмерное выражение неудовольствия в афинской эkkлeсии показало Алкивиаду, что настало время для принятия решения по существу. Своим голосом он усилил недовольство Спартой, но в то же время направил частное послание своим корреспондентам в Аргосе, в котором убеждал их под заверениями в успехе и обещанием своей энергичной помощи без промедления отправить в Афины посольство вместе с мантинейцами и элейцами с просьбой принять их в союзники Афин. Аргейцы получили это уведомление в тот самый момент, когда их граждане Евстроф и Исон вели в Спарте переговоры о возобновлении мира, будучи посланными туда в большой тревоге, чтобы Аргос не остался без союзников и не вступил в единоборство с лакедемонянами. Но не успели они воспользоваться неожиданной возможностью союза с Афинами, бывшим другом, демократией, подобной их собственной, имперским государством на море, но не мешающим их собственному первенству в Пелопоннесе, как они, не обращая внимания на Евстрофа и Исона, немедленно отправили в Афины посольство, которое им посоветовали. Это было совместное посольство, аргейское, элейское и мантинейское: [66] союз между этими тремя городами уже стал более тесным благодаря второму договору, заключенному после этого договора, участником которого был Коринф; но Коринф отказался от всякого участия во втором договоре [67].

Но спартанцы уже были встревожены резким отпором своего посланника Андромеды и, вероятно, предупреждены сообщениями Никиаса и других своих афинских друзей о надвигающемся кризисе в отношении союза между Афинами и Аргосом. Поэтому они без промедления отправили трех граждан, чрезвычайно популярных в Афинах, - Филохарида, Леона и Эндия - с полными полномочиями уладить все разногласия. Посланникам было поручено отказать Афинам в союзе с Аргосом, объяснить, что союз Спарты с Беотией был заключен без всякой цели или возможности зла для Афин, и в то же время возобновить требование, чтобы Пилос был вновь сохранен для них в обмен на разрушенный Панактум. Лакедемоняне были настолько уверены в силе согласия в Афинах, что не отчаивались получить утвердительный ответ даже на это неравноценное предложение: когда три посланника под руководством и по совету Никиаса впервые беседовали с афинским сенатом, готовясь к аудиенции перед общественным собранием, впечатление, которое они произвели, заявив, что прибыли с полным правом на урегулирование, было весьма благоприятным. Оно было настолько благоприятным, что Алкивиад забеспокоился: если они сделают такое же заявление в общественном собрании, сохраняя перспективу незначительных уступок, фило-лаконская партия может заставить общественное чувство согласиться на компромисс и тем самым исключить всякую мысль о союзе с Аргосом.

Чтобы предотвратить такое поражение своих планов, он прибег к необычному маневру. Один из лакедемонских посланников, Эндий, был его личным гостем, благодаря древней и особой близости, существовавшей между их двумя семьями. [69] Это, вероятно, помогло ему получить тайную беседу с посланниками и позволило ему обратиться к ним с большим

эффектом, за день до встречи общественного собрания и без ведома Никиаса. Он обратился к ним в тоне друга Спарты, желая, чтобы их предложение увенчалось успехом; но он намекнул, что они найдут народное собрание бурным и сердитым, совсем не похожим на спокойное поведение сената: если они объявят, что пришли с полными полномочиями для урегулирования, народ разразится яростью, чтобы действовать на свой страх и запугивать их, добиваясь экстравагантных уступок. Поэтому он настоятельно советовал им объявить, что они пришли не с полномочиями, а просто для того, чтобы объяснить, обсудить и доложить: тогда народ поймет, что запугиванием ничего не добьется, объяснения будут выслушаны, спорные моменты обсуждены сдержанно, а он (Алкивиад) решительно выскажется в их пользу. Он посоветует афинянам восстановить Пилос - шаг, который до сих пор предотвращала его оппозиция, и уверен, что сможет убедить их в этом. Он дал им торжественное обещание, подтвержденное клятвой, согласно Плутарху, что он будет действовать так, если они прислушаются к его совету.[70] Посланники были поражены очевидной проницательностью этих предложений[71] и еще больше обрадовались, обнаружив, что человек, от которого они ожидали самого грозного сопротивления, готов говорить в их пользу. Его речь вызвала у них, вероятно, тем большее одобрение и доверие, что всего за несколько месяцев до этого он добровольно предложил свои услуги в качестве политического агента Спарты, и, похоже, теперь он просто возобновил эту политику. Они были уверены в поддержке Никиаса и его партии при любых обстоятельствах; если, выполнив рекомендацию Алкивиада, они смогут заручиться и его энергичной поддержкой и влиянием, то, как им казалось, их дело обязательно увенчается успехом. Поэтому они согласились действовать в соответствии с его предложением, не только не посоветовавшись, но даже не предупредив Никиаса, что было именно тем, чего желал Алкивиад и, вероятно, требовал от них обещания.

На следующий день собралось общественное собрание, и посланники были представлены, после чего сам Алкивиад в тоне особой мягкости задал им вопрос, на каких основаниях они прибыли,[72] какие полномочия они привезли с собой? Они сразу же заявили, что не принесли с собой никаких полномочий для лечения и урегулирования, а пришли только для того, чтобы объяснить и обсудить. Ничто не могло превзойти изумления, с которым было выслушано это заявление. Присутствующие сенаторы, которым эти посланники за день или два до того публично заявили прямо противоположное, собравшийся народ, который, зная об этом предыдущем заявлении, пришел, чтобы услышать ультиматум Спарты из их уст, и, наконец, больше всех сам Никиас, - их доверенное лицо и, вероятно, хозяин в Афинах, - который, несомненно, объявил их полномочными представителями и согласовал с ними ведение их дел перед собранием, - все были одинаково поражены, и никто не знал, что делать с только что услышанными словами. Но возмущение народа не уступало его изумлению: раздался единодушный взрыв гнева против постоянной верности и двуличия лакедемонян, никогда не говоривших одно и то же два дня подряд. В довершение всего сам Алкивиад разделил удивление толпы и даже громче всех разразился ругательствами в адрес посланников, обличая лакедемонское вероломство и злые замыслы в выражениях куда более горьких, чем он когда-либо использовал прежде. Но и это было еще не все: воспользовавшись бурным одобрением, которое вызвали эти ругательства, он предложил вызвать аргейских посланников и немедленно заключить союз с Аргосом. И это, несомненно, было бы сделано, если бы не произошло удивительное явление - землетрясение, которое помешало этому; из-за этого собрание было перенесено на следующий день, в соответствии с религиозными предрассудками, признанными в то время главными.

Этот замечательный анекдот во всех его основных обстоятельствах происходит от Фукидида. Он ярко иллюстрирует тот беспринципный характер, который, как выясняется, был присущ Алкивиаду на протяжении всей жизни, и представляет собой поистине неприкрытое сочетание наглости и мошенничества, которое мы не можем описать лучше, чем сказав, что оно в точности соответствует "Джонатану Уайльду" Филдинга. Изображая Клеона и Гипербола, историки наперебой подчеркивают наглость, которая, как говорят, была их характерной чертой. Сейчас у нас нет конкретных фактов, чтобы оценить долю правды в этом, хотя как общее обвинение оно достаточно правдоподобно. Но мы можем с полной уверенностью утверждать, что ни один из афинских демагогов - ни один из тех продавцов кож, ламп, овец, веревок, пылицы и других товаров, над которыми Аристофан отпускает столько превосходных шуток, - не превзошел, если вообще превзошел, наглость этого потомка Эака и Зевса в его манере перечить и позорить лакедемонских посланников. Эти последние, следует добавить, проявляют беспечность в отношении общественной веры и последовательности, умение публично отказаться от того, что они незадолго до этого публично сказали, и вероломство по отношению к своему собственному доверенному лицу, что поистине удивительно и в значительной степени оправдывает общее обвинение в привычном двуличии, так часто выдвигаемое против лакедемонского характера[74].

Опозоренные посланники, несомненно, немедленно покинули Афины, но это своевременное землетрясение дало Никиасу несколько часов, чтобы оправиться от неожиданного поражения. На следующий день в собрании он по-прежнему утверждал, что дружба Спарты предпочтительнее дружбы Аргоса, и настаивал на благоразумии отложить заключение договора с последним до тех пор, пока не прояснятся истинные намерения Спарты, столь противоречивые и необъяснимые. Он утверждал, что положение Афин в отношении мира и союза было почетным и выгодным, а положение Спарты - сравнительно позорным: Таким образом, Афины были больше, чем Спарта, заинтересованы в сохранении заключенного мира. Но в то же время он признал, что от Спарты необходимо потребовать четких и решительных объяснений относительно ее намерений, и попросил народ послать его самого с другими коллегами, чтобы потребовать этого. Лакедемонянам следовало сообщить, что аргейские посланники уже находятся в Афинах с предложениями и что афиняне могли бы уже заключить этот союз, если бы могли позволить себе поступить неправильно по отношению к существующему союзу со Спартой. Но лакедемоняне, если их намерения благородны, должны немедленно показать это: 1. Восстановить Панактум, не разрушенный, а стоящий. 2. Восстановив также Амфиполь. 3. Отказавшись от особого союза с беотийцами, если только беотийцы со своей стороны не пожелают стать участниками мира с Афинами"[75].

Афинское собрание, согласившись с рекомендацией Никиаса, вручило ему требуемое поручение - замечательное доказательство того, что после сокрушительного поражения предыдущего дня он все еще сохранял над ними власть и искренне желал поддерживать наилучшие отношения со Спартой. Это был последний шанс, предоставленный Никиасу и его политике; шанс совершенно справедливый, поскольку все, что требовалось от Спарты, было справедливо; но он вынуждал его довести дело до решительного разрыва с ней и пресекал все дальнейшие уклонения. Его миссия в Спарту полностью провалилась: влияние Клеобула и Ксенареса, антиафинских эфоров, оказалось преобладающим, так что ни одно из его требований не было выполнено. И даже когда он официально объявил, что если Спарта не откажется от особого союза с беотийцами или не заставит беотийцев принять мир с Афинами, афиняне немедленно заключат союз с Аргосом, угроза не возымела действия. Он смог добиться лишь того, что клятвы в их прежнем виде были формально возобновлены, - пустая уступка, которая лишь слабо прикрывала унижение, вызванное его отступлением в

Афины. Афинское собрание выслушало его доклад с сильным негодованием против лакедемонян и с заметным неудовольствием даже против него самого, как великого автора и гаранта этого неисполненного договора; Алкивиаду было позволено представить посланников - уже находившихся в городе - из Аргоса, Мантинеи и Элиды, с которыми сразу же был заключен договор[76].

Слова этого договора, которые Фукидид передает нам, несомненно, по записи на общественной колонне, состоят из двух обязательств: одно - о мире, другое - о союзе.

Афиняне, аргейцы, мантинейцы и элейцы заключили договор о мире на море и на суше, без обмана и злоупотреблений, каждый для себя и для союзников, над которыми каждый осуществляет империю[77] (Заслуживают внимания выражения, в которых эти государства объявляют себя имперскими государствами, а своих союзников - зависимыми. В договоре между Афинами и Лакедемоном таких слов нет. Я уже упоминал, что основная причина недовольства Мантинеи и Элиды по отношению к Спарте была связана с их императорской властью].

Ни один из них не будет носить оружие против другого с целью нанесения ущерба.

Афиняне, аргейцы, мантинейцы и элейцы должны быть союзниками друг друга в течение ста лет. Если какой-либо враг вторгнется в Аттику, три договаривающихся города по приглашению Афин окажут самую энергичную помощь, какая только в их силах. Если войска вторгшегося города нанесут ущерб Аттике, а затем отступят, все три города объявят этот город своим врагом и нападут на него: ни один из четырех городов в таком случае не приостановит войну без согласия остальных.

Взаимные обязательства, налагаемые на Афины в случае нападения на Аргос, Мантинею или Элиду.

Ни одна из четырех договаривающихся держав не будет предоставлять войскам проход через свою территорию или территорию союзников, над которыми они могут в это время осуществлять командование, ни по суше, ни по морю, кроме как по совместному решению[78].

Если по настоящему договору потребуются и будут посланы вспомогательные войска, то посылающий город будет обеспечивать их содержание в течение тридцати дней со дня их вступления на территорию требующего города. Если их услуги потребуются на более длительный срок, то город, требующий их, будет обеспечивать их содержание из расчета три эгинейских обол за каждого гоплита, легковооруженного или лучника и одна эгинейская драхма или шесть обол за каждого всадника в день. Командовать будет тот город, который требует, до тех пор, пока требуемая служба будет проходить на его территории. Но если какая-либо экспедиция будет предпринята по совместному решению, то командование будет разделено поровну между всеми".

Таковы были основные условия нового союза. Затем были оговорены клятвы - кем? где? когда? какими словами? как часто? они должны были приноситься. Афины должны были поклясться от своего имени и от имени своих союзников; Аргос, Элида и Мантинея с их соответствующими союзниками должны были поклясться отдельными городами. Клятвы должны были возобновляться каждые четыре года; Афины - за тридцать дней до каждого олимпийского праздника в Аргосе, Элисе и Мантинее; эти три города - в Афинах за десять дней до каждого праздника Большой Панафиней. "Слова договора о мире и союзе и клятвы

должны быть высечены на каменных колоннах и установлены в храмах каждого из четырех городов; а также на медной колонне, которая будет установлена на совместные средства в Олимпии в честь приближающегося праздника".

"Четыре города могут по общему согласию вносить в положения этого договора любые изменения, какие им заблагорассудится, не нарушая своих клятв"[79].

Заключение этого нового договора внесло в группировку и объединение греческих городов больше сложностей, чем было известно ранее. Древняя спартанская конфедерация и Афинская империя все еще существовали. Между ними был заключен мир, ратифицированный официальным голосованием большинства конфедератов, но не принятый некоторыми из меньшинства. Между Афинами и Спартой был заключен не только мир, но и особый союз, а между Спартой и Беотией - особый союз. Коринф, член спартанской конфедерации, был также членом оборонительного союза с Аргосом, Мантиней и Элидой; эти три государства заключили более тесный союз, сначала друг с другом (без Коринфа), а теперь недавно с Афинами. Однако и Афины, и Спарта сохранили заключенный между собой союз[80] без формального разрыва с обеих сторон, хотя Афины все еще жаловались, что договор не был выполнен. Между Аргосом и Спартой не существовало никаких отношений. Между Афинами и Беотией действовало перемирие, которое могло быть расторгнуто по истечении десяти дней. Наконец, несмотря на неоднократные просьбы аргейцев, Коринф не смог присоединиться к новому союзу Афин с Аргосом, так что между Коринфом и Афинами не было никаких отношений, а коринфяне начали, хотя и слабо, возобновлять свои прежние склонности к Спарте[81].

Союз между Афинами и Аргосом, о котором мы только что рассказали, был заключен незадолго до Олимпийского фестиваля 90-й Олимпиады, или 420 г. до н. э.: фестиваль проходил в начале июля, договор мог быть заключен в мае.[82] Этот фестиваль был памятным не только по одной причине. Это был первый праздник после заключения мира, главный пункт которого гарантировал всем грекам свободный доступ в великие панэллинские храмы, возможность приносить жертвы, обращаться к оракулам и наблюдать за поединками. В течение последних одиннадцати лет, включая два олимпийских праздника, Афины и, по-видимому, все многочисленные союзники Афин были лишены возможности присылать свои торжественные делегации, или теории, и присутствовать в качестве зрителей на Олимпийских играх.[83] Теперь, когда это исключение было снято, и когда элейские глашатаи (пришедшие объявить о приближении игр и связанного с ними перемирия) снова ступили на землю Аттики, - визит афинян был воспринят и ими самими, и другими как новинка. Некоторое любопытство вызывало желание посмотреть, какой показ и пышность покажет афинская феерия. Не обошлось и без злобных слухов о том, что Афины настолько обеднели в результате войны, что не смогли предстать с подобающим великолепием перед алтарем и в присутствии Зевса Олимпийского.

Алкивиад гордился тем, что заставил замолчать эти догадки, а также прославил свое имя и свою персону, продемонстрировав нечто более впечатляющее, чем то, что ему доводилось видеть ранее. Он уже отличился на местных праздниках и литургиях в Афинах, превосходя афинских соперников по пышности: теперь он чувствовал себя защитником и лидером Афин перед Грецией. Он дискредитировал своего политического соперника Никиаса, придал новое направление афинской политике, заключив Аргейский союз, и собирался начать ряд внутривосточных операций против лакедемонян. Исходя из всего этого, он решил, что его первое появление на равнине Олимпии должно произвести впечатление на всех зрителей. Афинский театр, членом которого он был, был устроен с первоклассным великолепием, с великолепной демонстрацией золотых убрусов, кадильниц и т. д. Но когда

начались гонки на колесницах, Алкивиад сам выступил в качестве участника за свой счет, причем не просто с одной хорошо оснащенной колесницей и четырьмя, которые до сих пор считались у богатейших греков обычным достоянием славы, а с огромным количеством семи отдельных колесниц, каждая с упряжкой из четырех лошадей. И так превосходны были их качества, что одна из его колесниц получила первый приз, а другая - второй, так что Алкивиад дважды был увенчан веточками священного оливкового дерева и дважды провозглашен глашатаем. Еще одна из семи его колесниц также пришла четвертой: но ни одна корона или провозглашение, похоже, не были присуждены никому после второй по порядку. Мы должны помнить, что у него были соперники со всех концов Греции, и не только частные лица, но даже деспоты и правительства. Но и это еще не все. Палатка, которую афинские театры предоставили своим соотечественникам, посетителям игр, была красиво украшена; но отдельная палатка, которую Алкивиад сам предоставил для публичного банкета в честь своего триумфа, вместе с самим банкетом, была установлена с еще более величественным и дорогим размахом. Богатые союзники Афин - Эфес, Хиос и Лесбос - как говорят, оказали ему помощь в организации этого зрелища. Вполне вероятно, что они были рады заручиться его благосклонностью, ведь он стал одним из первых людей в Афинах и находился на подъеме. Кроме того, следует помнить, что они, как и Афины, были отстранены от участия в Олимпийском фестивале, так что их собственные чувства по возвращении вполне могли побудить их проявить неподдельный интерес к этому впечатляющему повторному появлению ионической расы в общем святилище Эллады.

Пять лет спустя, во время важной дискуссии, которая будет описана далее, Алкивиад публично заявил перед афинским собранием, что его беспримерное олимпийское представление произвело на греков благотворное для Афин воздействие;^[85] рассеяло подозрения в том, что она была разрушена войной, и неопровержимо доказало ее огромное богатство и могущество. Несомненно, он был в значительной степени прав, хотя и не настолько, чтобы отвести от себя обвинения, которые он должен был выдвинуть, как в чрезмерном личном тщеславии, так и в безрассудных тратах, которые он был бы вынужден пытаться покрыть путем казнокрадства или насилия за государственный счет. Все неблагоприятные впечатления, которые наводила на благоразумных афинян его предыдущая жизнь, усугублялись этой грандиозной демонстрацией; гораздо больше, конечно, ревности и ненависти к личным конкурентам. И это чувство было не менее реальным, хотя как политический деятель он теперь находился в полной власти общественного благоволения.

Если праздник 90-й Олимпиады отличался особым появлением афинян и тех, кто был с ними связан, то он был отмечен еще одним новшеством, еще более поразительным, - исключением лакедемонян. Это исключение было следствием новых политических интересов элейцев в сочетании с их возросшим сознанием силы, возникшим в результате недавнего союза с Аргосом, Афинами и Мантинеей. Уже упоминалось, что после заключения мира с Афинами лакедемоняне, выступая в качестве арбитров в деле Лепреума, на который элейцы претендовали как на свою зависимость, объявили его автономным и послали войска для его защиты. Вероятно, элейцы недавно возобновили свои нападения на этот район после соединения со своими новыми союзниками, так как лакедемоняне отрядили туда свежий отряд из тысячи гоплитов непосредственно перед Олимпийским праздником. Из миссии этого нового отряда и возникло предложение об исключении. Элейцы были привилегированными администраторами праздника, регулируя детали самой церемонии и официально провозглашая глашатаями начало олимпийского перемирия, во время которого любое нарушение элейской территории вооруженной силой считалось грехом против величия Зевса. В данном случае они утверждали, что лакедемоняне послали тысячу гоплитов в Лепреум и захватили крепость Фирку, оба элейских владения, после объявления

перемирия. В связи с этим они наложили на Спарту штраф, предписанный "олимпийским законом", - по две мины с каждого человека, всего две тысячи мин; часть - Зевсу Олимпийскому, часть - самим элейцам. В промежутке между объявлением перемирия и началом праздника лакедемоняне прислали протест против этого штрафа, который, по их мнению, был наложен несправедливо, поскольку глашатаи еще не объявили о перемирии в Спарте, когда гоплиты достигли Лепреума. Элейцы ответили, что в то время перемирие уже было объявлено между ними (ведь они всегда объявляли его сначала у себя дома, прежде чем их глашатаи пересекали границы), поэтому *им* запрещались любые военные действия, чем и воспользовались лакедемонские гоплиты для совершения своих последних агрессий. На это лакедемоняне возразили, что поведение самих элейцев противоречит их собственному утверждению, так как они послали элейских глашатаев в Спарту объявить перемирие после того, как узнали об отправке гоплитов, тем самым показав, что они не считают перемирие уже нарушенным. Лакедемоняне добавили, что после того, как глашатай достиг Спарты, они не предпринимали никаких дальнейших военных мер. Какова была истина в этом спорном вопросе, мы не можем решить. Но элейцы отвергли это объяснение, хотя и предложили, если лакедемоняне вернут им Лепреум, отказаться от той части штрафа, которая причиталась бы им самим, и выплатить из своей казны от имени лакедемонян ту часть, которая принадлежала богу. Это новое предложение было отвергнуто, но элейцы снова изменили его. Они намекнули, что будут удовлетворены, если лакедемоняне, вместо того чтобы сразу выплатить штраф, публично на алтаре в Олимпии, в присутствии собравшихся греков, дадут клятву выплатить его в будущем. Но лакедемоняне не стали слушать ни предложение об уплате, ни обещание. Тогда элейцы, как судьи по олимпийскому закону, запретили им посещать храм Зевса Олимпийского, приносить там жертвы, присутствовать на играх и участвовать в соревнованиях, то есть присутствовать в виде священной легации, называемой теорией, занимая формальное и признанное место на торжествах[86].

Поскольку все остальные греческие государства, за исключением Лепрея, присутствовали на играх как своими теориями[87], так и отдельными зрителями, спартанская теория "блистала своим отсутствием", что было болезненно и оскорбительно заметно. Столь крайним было оскорбление, нанесенное лакедемонянам, связанным с Олимпией древними, своеобразными и никогда еще не разорванными узами; столь явным было свидетельство сравнительной деградации, в которую они впали из-за мира с Афинами, наступившего после сфактерианской катастрофы,[88] что считалось, что они могут бросить вызов исключению и провести своих теоров в храм Олимпии для жертвоприношения под охраной вооруженной силы. Элейцы даже сочли необходимым поставить под ружье своих младших гоплитов и призвать на помощь тысячу гоплитов из Мантинеи и столько же из Аргоса, чтобы отразить это вероятное нападение; в то время как отряд афинской конницы во время праздника находился в Аргосе, чтобы оказать помощь в случае необходимости. Тревога, царившая среди зрителей праздника, была очень серьезной и значительно усугубилась инцидентом, произошедшим после гонок на колесницах. Лихас,[89] лакедемонянин с большим богатством и знатностью, выставил колесницу в списках, которые он был вынужден составить не от своего имени, а от имени Беотийской федерации. Приговор об исключении не позволял ему принимать никакого видимого участия, но не мешал присутствовать в качестве зрителя; и когда он увидел, что его колесница провозглашена победителем под именем беотийской, его нетерпение заявить о себе стало неконтролируемым *lable*. Он вышел в середину списков и возложил на голову возницы чашу, тем самым объявив себя хозяином. Это было вопиющим неприличием и известным нарушением порядка праздника: поэтому официальные служители с посохами немедленно вмешались в исполнение своего долга, наказали и ударами загнали его на место.[90] Отсюда возникли опасения вооруженного

вмешательства лакедемонян. Однако ничего подобного не произошло: лакедемоняне в первый и последний раз в своей истории принесли олимпийскую жертву дома, и праздник прошел без перерыва.^[91] Смелость элейцев, нанесших это оскорбление самому могущественному государству Греции, настолько поразительна, что мы вряд ли ошибемся, если предположим, что их действия были подсказаны Алкивиадом и поощрены вооруженной помощью союзников. В этот момент он не менее демонстративно унижал Спарту, чем выставлял напоказ Афины.

О том, что влияние и авторитет Спарты упали, вскоре доказала судьба ее колонии, трахинийской Ираклии, основанной вблизи Фермопилеи на третьем году войны. Эта колония - хотя поначалу она состояла из множества поселенцев из-за всеобщего доверия к лакедемонской власти и всегда находилась под управлением лакедемонского гармоста - никогда не процветала. С самого начала он подвергался гонениям со стороны соседних племен, а его правители управляли им с жестокостью и казнокрадством. Основание города с самого начала рассматривалось соседями, особенно фессалийцами, как вторжение на их территорию; их враждебные действия, всегда досадные, в зиму, последовавшую за только что описанным олимпийским праздником, достигли еще большего накала, чем прежде. Они разгромили гераклеотов в разрушительной битве и убили лакедемонского правителя Ксенареса. Но хотя положение Спарты настолько ухудшилось, что она не могла поддерживать себя без иностранной помощи, она была слишком стеснена пелопоннесскими врагами и отступниками, чтобы быть в состоянии оказать ей помощь; и беотийцы, видя ее неспособность, стали опасаться, что вмешательство Афин будет востребовано. Поэтому они сочли разумным занять Гераклею с беотийскими войсками, уволив лакедемонского наместника Гегесиппида за якобы неподобающее поведение. Лакедемоняне не смогли воспрепятствовать этому шагу, хотя он вызвал их возмущенные протесты^[92].

ГЛАВА LVI. ОТ ПРАЗДНИКА ОЛИМПИАДЫ ДЕВЯНОСТО ДО БИТВЫ ПРИ МАНТИНЕЕ.

Вскоре после знаменательных событий олимпийского праздника, описанных в моей последней главе, аргейцы и их союзники отправили новое посольство, чтобы пригласить коринфян присоединиться к ним. Они считали, что после оскорбления, нанесенного Спарте, это многообещающая возможность убедить коринфян покинуть ее: но спартанские посланники тоже присутствовали, и, хотя переговоры сильно затянулись, нового решения принято не было. Землетрясение - возможно, не настоящее, а симулированное для удобства - прервало конгресс. Коринфяне, хотя и не доверяли Аргосу, который теперь объединился с Афинами, и склонялись скорее к Спарте, не хотели высказываться в пользу одного из них, чтобы нажить себе врага в лице другого^[93].

Несмотря на эту первую неудачу, новый союз Афин и Аргоса активно проявил свои плоды весной следующего года. Под вдохновением Алкивиада Афины собирались предпринять новый эксперимент - попытаться получить внутripелопоннесских сторонников и влияние. В начале войны под руководством Перикла она была морской, оборонительной и просто консервативной. После событий в Сфактерии она воспользовалась этим большим преимуществом, чтобы попытаться вернуть Мегару и Беотию, от которых она была вынуждена

отказаться по рекомендации Клеона в результате тридцатилетнего перемирия. На эту попытку она потратила восьмой год войны, но с большим успехом; в то время как Брасидас в этот период распахнул ворота ее морской империи и лишил ее многих важных зависимых территорий. Тогда главной целью Афин стало возвращение этих утраченных зависимых территорий, особенно Амфиполя: Никиас и его сторонники пытались добиться такого восстановления путем заключения мира, в то время как Клеон и его сторонники настаивали на том, что этого нельзя добиться иначе, как военными усилиями. Экспедиция Клеона против Амфиполя провалилась, мир, заключенный Никиасом, тоже не удался: Афины сдали свою столицу, не вернув себе Амфиполь; и если она хотела вернуть его, то у нее не было другого выхода, кроме как повторить неудачную попытку, предпринятую при Клеоне. И, возможно, она так бы и поступила, как мы увидим в течение примерно четырех лет, если бы не то, что, во-первых, афинские умы были теперь, вероятно, больны и удручены Амфиполем из-за позора, которому он недавно подвергся; Затем, что Алкивиад, новый главный советник или премьер-министр Афин - если нам будет позволено использовать неточное выражение, которое, тем не менее, указывает на реальность дела - был побужден своими личными импульсами направить поток афинского пыла в другое русло. Полный антипатии к Спарте, он рассматривал внутренние районы Пелопоннеса как ее наиболее уязвимое место, особенно при нынешних разобщенных отношениях составляющих ее городов. Кроме того, его личная жажда славы была лучше удовлетворена в центре греческой жизни, чем экспедицией в далекий и варварский регион: наконец, он, вероятно, с неприязнью вспоминал лишения и сильный холод, невыносимые для всех, кроме железного каркаса Сократа, которые он сам перенес во время блокады Потидеи за двенадцать лет до этого[94] и через которые должно было снова пройти любое войско, предназначенное для завоевания Амфиполя. Именно под этим впечатлением он начал форсировать свои внутривосточные операции против Лакедемонии, намереваясь организовать под Аргосом контрсоюз, достаточный для того, чтобы сдержать ее и, во всяком случае, свести на нет ее способность к вторжению за перешеек. Все это должно было быть сделано без видимого нарушения мира и союза между Афинами и Лакедемоном, которые были начертаны на столбах, воздвигнутых в обоих городах.

Прибыв в Аргос во главе нескольких афинских гоплитов и лучников, подкрепленных пелопоннесскими союзниками, Алкивиад представил зрелище афинского полководца, пересекающего внутренние районы полуострова и устанавливающего свои порядки в различных кварталах, - зрелище в тот момент новое и поразительное.[95] Сначала он обратил внимание на ахейские города на северо-западе, где убедил жителей Патрэ вступить в союз с Афинами и даже взять на себя труд соединить свой город с морем с помощью длинных стен, чтобы оказаться под защитой Афин с моря. Кроме того, он предполагал возвести форт и создать военно-морскую станцию на крайней точке мыса Риум, у узкого входа в Коринфский залив; таким образом, афиняне, уже владевшие противоположным берегом через Наупакт, стали бы хозяевами торговли в заливе. Но коринфяне и сикионцы, для которых это было бы серьезной бедой, прислали достаточно сил, чтобы помешать осуществлению этого плана, а также, вероятно, помешать возведению стен в Патре. 96] Однако поход Алкивиада, несомненно, усилил антилаконские настроения на всем ахейском побережье.

Затем он вернулся, чтобы вместе с аргейцами принять участие в войне против Эпидавра. Овладение этим городом значительно облегчило бы сообщение между Афинами и Аргосом, поскольку он не только находился прямо напротив острова Эгина, ныне занятого афинянами, но и открывал последним доступ по суше, избавляя их от необходимости обходить мыс Скиллеум, юго-восточную точку Аргейского и Эпидаврского полуостровов, всякий раз, когда

они отправляли войска в Аргос. Кроме того, территория Эпидавра граничила на севере с территорией Коринфа, так что обладание ею стало бы дополнительной гарантией нейтралитета коринфян. Поэтому было решено напасть на Эпидавр, для чего легко нашелся предлог. Будучи председателем и управляющим храма Аполлона Пифея (расположенного в стенах Аргоса), аргейцы пользовались своего рода религиозным превосходством над Эпидавром и другими соседними городами, по-видимому, остатком того обширного господства, как политического, так и религиозного, которое принадлежало им в ранние времена.[97] Эпидавры были обязаны этому храму определенными жертвоприношениями и другими церемониальными обязательствами, одно из которых, возникшее в силу каких-то непонятных нам обстоятельств, теперь было причитающимся и неисполненным: по крайней мере, так утверждали аргейцы. Такое невыполнение налагало на них обязанность собрать военный отряд, чтобы напасть на эпидавров и принудить их к исполнению обязательства.

Однако их захватнический поход был на время приостановлен известием о том, что царь Агис со всеми силами Лакедемонии и ее союзников продвинулся до Лейктры, одного из пограничных городов Лаконии на северо-западе, к горе Ликей и аркадским Паррасиям. Что означало это движение, было известно только самому Агису, который даже не объяснил цель ни своим солдатам, ни офицерам, ни союзникам.[98] Но жертва, постоянно приносимая перед прохождением границы, была признана настолько неблагоприятной, что он отказался от похода на время и вернулся домой. Наступил месяц Карней, период перемирия и религиозных праздников в дорийских государствах, и он приказал союзникам быть готовыми к походу, как только этот месяц истечет.

Получив известие о том, что Агис распустил свои войска, аргейцы приготовились к вторжению в Эпидавр. День, когда они отправились в путь, был уже двадцать шестым числом месяца, предшествовавшего карнейскому, так что до начала последнего месяца с его священным перемирием, обязательным для религиозных чувств дорийских государств, к которым принадлежали Аргос, Спарта и Эпидавр, оставалось всего три дня. Но аргейцы воспользовались именно этой особенностью сезона, которая, как считалось, должна была удержать их дома, чтобы облегчить свой план, сыграв с календарем и объявив одно из тех произвольных вмешательств в отсчет времени, которые греки иногда использовали, чтобы исправить постоянно повторяющуюся путаницу своей лунной системы. Начав свой поход двадцать шестого числа месяца до Карнея, аргейцы называли каждый последующий день все тем же двадцать шестым, не считаясь с истечением времени и делая вид, что карнейский месяц еще не начался. Этому способствовало и то обстоятельство, что их союзники - Афины, Элида и Мантинея, не будучи дорийцами, не были обязаны соблюдать карнейское перемирие. Поэтому армия выступила из Аргоса на территорию Эпидавра и потратила, кажется, две или три недели на его опустошение; все это время, по подсчетам других дорийских государств, было частью Карнейского перемирия, которое аргейцы, приняв свое собственное произвольное исчисление времени, утверждали, что не нарушают. Эпидавры, не имея возможности сразиться с ними в одиночку в поле, призвали на помощь своих союзников, которые, однако, уже были созваны Спартой на следующий месяц и не решились, как спартанцы, действовать в течение самого карнейского месяца. Некоторые союзники, возможно, коринфяне, дошли до эпидаврской границы, но не сочли себя достаточно сильными, чтобы оказать помощь, вступив на эту территорию в одиночку[99].

Тем временем афиняне созвали еще один съезд депутатов в Мантинее, чтобы обсудить предложения о мире: возможно, это был пункт, который Никиас проводил в Афинах, несмотря на Алкивиада. Какие еще депутаты присутствовали на , нам не известно; но

Евфамид, прибывший в качестве посланника из Коринфа, еще в самом начале дебатов высказался по поводу нецелесообразности сбора мирного конгресса в то время, когда на территории Эпидавра идет война. Это замечание настолько поразило афинских депутатов, что они удалились, убедили аргейцев отступить из Эпидавра, а затем вернулись, чтобы возобновить переговоры. Однако притязания обеих сторон оказались непримиримыми, и конгресс распался; после этого аргейцы снова вернулись, чтобы возобновить опустошения в Эпидавре, а лакедемоняне, сразу по истечении карнейского месяца, снова выступили в поход, вплоть до своего пограничного города Кариеса, но были снова задержаны и вынуждены вернуться из-за неблагоприятных пограничных жертв. Известие об их отходе, однако, было передано в Афины, и Алкивиад во главе тысячи афинских гоплитов был отправлен на соединение с аргейцами. Но прежде чем он прибыл, лакедемонская армия была уже распущена, так что его услуги больше не требовались, и аргейцы опустошили треть территории Эпидавра, прежде чем окончательно его покинуть[100].

Эпидавры были усилены в конце сентября отрядом из трехсот лакедемонских гоплитов под командованием Агесиппида, отправленным морем без ведома афинян. Аргейцы предпочли громкие жалобы в Афины; у них были все основания осудить небрежность афинян как союзников за то, что они не следили лучше за морским пространством в соседней Эгине и позволили врагу войти в гавань Эпидавра. Но у них был и другой повод для жалобы, несколько примечательный. В союзе между Афинами, Аргосом, Элидой и Мантинеей было оговорено, что ни одна из этих четырех стран не должна пропускать войска через свою территорию без общего согласия всех. Теперь море считалось частью афинской территории, поэтому афиняне нарушили этот пункт договора, разрешив лакедемонянам посылать войска морем в Эпидавр. И теперь аргейцы потребовали от Афин в качестве компенсации за это нарушение вернуть мессенцев и гелотов из Кефаллении в Пилос и позволить им разорять Лаконию. Афиняне, по убеждению Алкивиада, выполнили их требование, написав у подножия столба, на котором был запечатлен их союз со Спартой, что лакедемоняне не соблюдали своих клятв. Тем не менее, они все еще воздерживались от официального разрыва договора с Лакедемоном или нарушения его каким-либо другим способом.[101] Таким образом, отношения между Афинами и Спартой оставались под названием мира и союза, если говорить о прямых действиях против территории друг друга; в действительности же - враждебные действия, а также враждебные маневры друг против друга, как союзников соответственно третьих сторон.

Аргейцы, продержавшись всю осень на эпидаврской территории, зимой предприняли безуспешную попытку взять штурмом сам город. Хотя значительных действий не было, а была лишь череда отчаянных атак, в некоторых из которых эпидавры даже имели преимущество, они все же терпели серьезные лишения и настойчиво добивались сочувствия Спарты. Получив такую поддержку и будучи не только обеспокоены, но и встревожены растущим отступничеством или холодностью, которые они теперь испытывали по всему Пелопоннесу, лакедемоняне решили в течение следующего лета энергично приложить свои силы и отвоевать утраченные позиции[102].

В июне (418 г. до н. э.) они выступили в поход против Аргоса со всеми своими силами, как свободными, так и гелотами, под командованием царя Агиса. Тегейцы и другие аркадские союзники присоединились к ним в походе, в то время как другие их союзники в районе перешейка - беотийцы, мегарийцы, коринфяне, сикионцы, флиасийцы и т. д. - получили приказ собраться в Флиусе. Число этих последних союзников было весьма значительным, так как мы слышим о пяти тысячах беотийских гоплитов и двух тысячах коринфских: беотийцы

имели с собой также пять тысяч легковооруженных, пятьсот всадников и пятьсот пеших воинов, которые бежали рядом с всадниками. Численность остальных или самих спартанцев нам неизвестна; вероятно, ее не знал и сам Фукидид, поскольку в другом месте он отмечает непроницаемую скрытность лакедемонян во всех государственных делах, ссылаясь на численность в последующей битве при Мантинее. Такой сбор лакедемонян не был секретом для аргейцев, которые, отправившись сначала в Мантинею и собрав там силы этого города, а также три тысячи элейских гоплитов, прибывших к ним, встретили лакедемонян в их походе у Метидрии в Аркадии. Обе армии расположились на противоположных холмах, и аргейцы решили напасть на Агиса на следующий день, чтобы помешать ему присоединиться к своим союзникам у Флиуса. Но он избежал этой отдельной стычки, бежав ночью, добрался до Флиуса и провел свой переход в безопасности. Мы не слышим, чтобы в лакедемонской армии был хоть один командир лоха, который, подражая неразумному punctilio Амомфарета перед битвой при Платее, отказался подчиниться приказу об отступлении перед врагом, подвергая неминуемому риску всю армию. И тот факт, что сейчас не произошло ни одного подобного инцидента, может служить доказательством того, что лакедемоняне стали лучше разбираться в тонкостях ведения войны.

Как только утром стало известно об отступлении лакедемонян, аргейцы тоже оставили свои позиции и вместе с союзниками двинулись сначала к самому Аргосу, а затем к Немее, по обычной дороге из Коринфа и Флиуса в Аргос, по которой, как они предполагали, должны были подойти захватчики. Но Агис действовал иначе. Распределив свои силы на три части, он сам с лакедемонянами и аркадянами, по короткой, но очень изрезанной и трудной дороге, перевалил через горный хребет и спустился прямо на равнину у Аргоса. Коринфянам, пелленянам и флиасийцам было предписано следовать другой горной дорогой, которая выходила на ту же равнину в другом месте; в то время как беотийцы, коринфяне и сикионцы шли более длинным, ровным и обычным путем, через Немею. Этот путь, хотя, очевидно, часто посещаемый и удобный, вел на значительное расстояние вдоль узкого оврага, называемого Трет, ограниченного с каждой стороны горами. Объединенная армия под командованием Агиса значительно превосходила аргейцев по численности, но если бы все шли в одном строю по часто посещаемому маршруту через узкий Трет, их численное превосходство было бы малоэффективным, а аргейцы заняли бы позицию, весьма благоприятную для их обороны. Разделив свои силы и направив свою дивизию по горной дороге, Агис вышел на равнину Аргоса в тылу аргейской позиции у Неми. Он рассчитывал, что аргейцы, увидев, как он опустошает их владения у города, немедленно покинут выгодную позицию у Неми, чтобы напасть на него на равнине: таким образом, беотийская дивизия найдет дорогу через Немею и Трет и сможет без сопротивления выйти на равнину Аргоса, где их многочисленная конница будет эффективно действовать против аргейцев, атакующих Агиса. Этот тройной марш был осуществлен. Агис со своей дивизией и коринфяне со своей ночью перебрались через горы на аргейскую равнину; аргейцы же, [\[103\]](#) услышав на рассвете, что он находится возле их города, опустошая Саминф и другие места, оставили свои позиции в Немее, чтобы спуститься на равнину и напасть на него. На марше у них произошла небольшая стычка с коринфской дивизией, которая заняла возвышенность прямо над Аргейской равниной и лежала почти на дороге. Но эта стычка была нерешительной, и вскоре они оказались на равнине рядом с Агисом и лакедемонянами, которые лежали между ними и их городом.

С обеих сторон были собраны армии и приняты меры к сражению. Но положение аргейцев на самом деле было не менее чем отчаянным: пока они держали Агиса и его дивизию перед собой, коринфский отряд был достаточно близко, чтобы обойти их с фланга, а беотийцы, шедшие по необорудованной дороге через Трет, напали бы на них с тыла. Беотийская

конница также могла бы с полным эффектом действовать против них на равнине, так как ни Аргос, ни Элида, ни Мантинея, похоже, не имели всадников; по описанию силы должны были быть посланы из Афин, хотя по какой-то неясной причине афинский контингент еще не прибыл. Тем не менее, несмотря на такое критическое положение, и аргейцы, и их союзники были полны уверенности и с нетерпением ждали битвы; они думали только об Агисе, который находился прямо перед ними и, казалось, был заключен между ними и их городом, и не обращали внимания на других грозных врагов во фланг и тыл. Но аргейские полководцы лучше своих солдат понимали реальную опасность; и как раз в тот момент, когда обе армии собирались атаковать, Алкифрон, проксен лакедемонян в Аргосе, сопровождал Фрасилла, одного из пяти полководцев аргейцев, на отдельное совещание с Агисом, без малейших консультаций или участия их собственной армии. Они убеждали Агиса не форсировать сражение, заверяя его, что аргейцы готовы как дать, так и получить справедливое удовлетворение по всем вопросам, которые лакедемоняне могут выдвинуть против них, и заключить справедливый мир на будущее. Агис, сразу же согласившись с этим предложением, предоставил им перемирие на четыре месяца, чтобы выполнить обещанное. Со своей стороны он также сделал этот шаг, не посоветовавшись ни с армией, ни с союзниками, просто перекинувшись несколькими словами в конфиденциальной беседе с одним из приближенных к нему официальных спартанцев. Тут же он отдал приказ об отступлении, и армия, вместо того чтобы идти в бой, была выведена с территории Аргеи через Немейскую дорогу, по которой только что шли беотийцы. Но потребовалась вся привычная дисциплина лакедемонских солдат, чтобы заставить их подчиниться этому приказу спартанского царя, столь же неожиданному и нежеланному. ^[104] Ведь армия в полной мере осознавала и огромные преимущества своего положения, и подавляющую силу вторгшегося войска, так что все три подразделения громко обличали Агиса и проникались стыдом при мысли о столь позорном отступлении. А когда все они увидели себя в едином теле в Немее, перед тем как расстаться и разойтись по домам, - так, чтобы иметь перед глазами свою собственную полную численность и полное снаряжение одной из лучших эллинских армий, которые когда-либо были собраны, - аргейские союзники, перед которыми они теперь отступали, показались презренными в сравнении с ними, и они разошлись с еще более горячим и всеобщим негодованием против царя, который предал их дело.

Вернувшись домой, Агис подвергся не меньшему порицанию со стороны спартанских властей, чем со стороны своей собственной армии, за то, что упустил столь восхитительную возможность покорить Аргос. Это, конечно, было не больше, чем он заслуживал: но мы с немалым удивлением читаем, что аргейцы и их союзники по возвращении еще больше разгневались на Фрасилла, ^[105] которого они обвиняли в том, что он предательски упустил победу. По сложившейся практике они действительно имели все основания порицать его за то, что он заключил перемирие, не посоветовавшись с народом. У них был обычай, возвращаясь из похода, устраивать публичный военный суд перед входом в город, в месте, называемом Харадрус, или зимний поток у стен, для вынесения приговора по преступлениям и проступкам, совершенным в армии. В этот раз они так разгневались на Фрасилла, что едва уговорили его отдать под суд, а начали побивать камнями. Он был вынужден искать личной безопасности у алтаря; солдаты судили его, и он был приговорен к конфискации имущества ^[106].

Вскоре после этого прибыл ожидаемый афинский контингент, который, вероятно, должен был прибыть раньше: тысяча гоплитов с тремя сотнями всадников под командованием Лакхеса и Никострата. Алкивиад прибыл в качестве посла и, вероятно, служил солдатом среди всадников. Аргейцы, несмотря на свое недовольство Фрасилием, все же сочли себя обязанными соблюдать заключенное им перемирие, и их магистраты, соответственно,

пожелали вновь прибывшим афинянам удалиться. Алкивиаду не разрешили даже подойти к общественному собранию и обратиться к нему, пока союзники мантинейцев и элейцев не настояли на том, что не следует отказывать ему хотя бы в этом. Тогда было созвано собрание, в котором приняли участие эти союзники вместе с аргейцами. Алкивиад упорно доказывал, что недавнее перемирие с лакедемонянами недействительно, поскольку было заключено без участия всех союзников, что явно противоречит условиям союза. Поэтому он призвал их немедленно возобновить военные действия в сочетании с прибывшим подкреплением. Его речь настолько убедила собрание, что мантинейцы и элейцы сразу же согласились присоединиться к нему в экспедиции против аркадского города Орхомен; аргейцы, хотя сначала и неохотно, очень быстро последовали за ними. Орхомен был важным местом не только потому, что его территория примыкала к Мантинее на севере, но и потому, что лакедемоняне разместили в нем заложников, которых они взяли в аркадских городах и деревнях в качестве гарантии верности. Однако стены города были в плохом состоянии, и его жители после недолгого сопротивления капитулировали. Они согласились стать союзниками Мантиinei, предоставить заложников за верность этому союзу и отдать заложников, переданных им Спартой[107].

Воодушевленные первым успехом, союзники стали обсуждать, что им делать дальше: элейцы упорно выступали за поход на Лепрей, а мантинейцы стремились напасть на своего врага и соседа Тегею. Аргейцы и афиняне отдали предпочтение последнему, несравненно более важному предприятию из двух: но элейцы были так возмущены отказом от своего предложения, что совсем оставили армию и отправились домой. Однако, несмотря на их дезертирство, оставшиеся союзники продолжали вместе находиться в Мантинее, организуя нападение на Тегею, в которой у них была сильная благоприятная партия, уже разработавшая свои планы и готовая объявить о восстании города против Спарты,[108] когда фило-лаконцы-тегейцы только что спаслись, отправив в Спарту срочное послание и получив быструю помощь. Лакедемоняне, охваченные негодованием при известии о сдаче Орхомена, вновь обрушили все свое недовольство на Агиса, которому теперь угрожали суровым наказанием - разрушением его дома и штрафом в сто тысяч драхм, или около двадцати семи и двух третей аттических талантов. Он настоятельно просил предоставить ему возможность искупить каким-нибудь храбрым поступком дурную славу, которую он приобрел: если ему это не удастся, то они могут наложить на него любое наказание по своему усмотрению. Наказание было отменено, но теперь на власть царя было наложено новое для спартанской конституции ограничение. Прежде он имел право вести войско в одиночку и по собственному усмотрению, но теперь был назначен совет из десяти человек, без согласия которого он не мог пользоваться такой властью[109].

К большому счастью Агиса, пришло срочное сообщение о готовящемся восстании Тегеи, важнейшего союзника Спарты, расположенного в непосредственной близости от ее границ. Это известие вызвало такую тревогу, что все военные немедленно отправились на выручку, возглавляя Агис, - самое быстрое движение, которое когда-либо совершали лакедемонские солдаты. 110] Когда они прибыли в Орестею в Аркадии, на своем пути, возможно, услышав, что опасность несколько менее серьезная, они отправили обратно в Спарту одну шестую часть сил для защиты дома, как самых старых, так и самых молодых людей. Остальные отправились в Тегею, где к ним быстро присоединились их аркадские союзники. Далее они отправили послания коринфянам и беотийцам, а также фокийцам и локрийцам, требуя немедленного присутствия этих отрядов на территории Мантиinei. Однако прибытие таких подкреплений, даже при всем возможном усердии содействующих городов, нельзя было ожидать без некоторого промежутка времени; тем более что, как оказалось, они могли попасть на территорию Мантиinei только через Аргос,[111] а это было невозможно, пока все

они не соединятся. Поэтому Агис, желая исправить свою репутацию, сразу же отправился с лакедемонянами и аркадскими союзниками на территорию Мантинеи и занял позицию возле Гераклеяона, или храма Геракла[112], откуда начал опустошать соседние земли. Вскоре аргейцы и их союзники выступили из Мантинеи, расположились неподалеку от него, но на очень пересеченной и труднодоступной местности, и таким образом предложили ему сражение. Ничуть не обескураженный трудностями положения, он собрал свою армию и повел ее в атаку. Его опрометчивость в этом случае могла бы привести к таким же бедам, как и его неосмотрительная уступка Фрасиллу под Аргосом, если бы один древний спартанец не указал ему на то, что сейчас он просто "лечит беду за бедой". На Агиса произвело столь сильное впечатление то ли это своевременное предупреждение, то ли более близкое рассмотрение позиции, которую он взялся штурмовать, что он внезапно остановил армию и отдал приказ об отступлении, хотя на самом деле находился на расстоянии не более броска копья от противника[113].

Теперь его поход был направлен на то, чтобы отвлечь аргейцев от труднодоступной местности, которую они занимали. На границе между Мантинеей и Тегеей - обе они располагались на возвышенной, но замкнутой равнине, осушаемой только катоботрами, или естественными подземными каналами в горах, - находился исток воды, регулярный приток которой, похоже, поддерживался совместными действиями обоих городов для их взаимной выгоды. Агис направил туда свою армию, чтобы повернуть воду в сторону Мантинеи, где она могла бы нанести серьезный ущерб; он рассчитывал, что мантинейцы и их союзники непременно сойдут со своих позиций, чтобы помешать этому. Однако не потребовалось никаких ухищрений, чтобы побудить последних принять это решение. Как только они увидели, что лакедемоняне, продвинувшись к подножию холма, сначала внезапно остановились, затем отступили и, наконец, исчезли, их удивление было очень велико, и это удивление вскоре превратилось в презрительную уверенность и нетерпение преследовать убегающего врага. Генералы, не разделяя такой уверенности, сначала не решались покинуть свою безопасную позицию: тогда войска подняли шум и громко осудили их за измену, позволив лакедемонянам во второй раз спокойно уйти, как они уже сделали это под Аргосом. Эти генералы, вероятно, не были бы похожи на тех, кто незадолго до этого подвергся столь незаслуженному порицанию за свою сделку с Агисом: но ропот по этому поводу, едва ли менее необоснованный, заставил их, не без стыда и смятения, отдать приказ о наступлении. Они оставили холм, спустились на равнину, чтобы подойти к лакедемонянам, и весь следующий день посвятили приведению себя в боевой порядок, чтобы быть готовыми к бою в любой момент.

Между тем, судя по всему, Агис разочаровался в своих операциях на воде. Он либо не причинил столько вреда, либо не навел такого ужаса, как ожидал, и поэтому отступил, снова выступив в поход, чтобы занять позицию у Ираклиона, и полагая, что его враги все еще сохраняют позиции на холме. Но во время этого марша он неожиданно наткнулся на армию аргейцев и их союзников там, где он несколько не ожидал их увидеть: они были не только на равнине, но уже выстроились в идеальный боевой порядок. Мантинеи занимали правое крыло, почетный пост, потому что земля находилась на их территории: рядом с ними стояли их зависимые аркадские союзники: затем отборный Тысячный полк Аргоса, граждане богатые и семейные, обученные оружию за счет государства: рядом с ними оставшиеся аргейские гоплиты с зависимыми от них союзниками из Клеона и Орнея: последними, на левом крыле, стояли афиняне, их гоплиты, а также их всадники.

Агис и его войско с величайшим удивлением смотрели на это неожиданное явление. У любого другого грека, кроме лакедемонян, внезапное появление грозного врага вызвало бы чувство ужаса, от которого им было бы трудно оправиться; и даже лакедемоняне по этому случаю испытали мгновенный шок, не имевший аналогов в их предыдущем опыте.^[114] Но теперь они в полной мере ощутили преимущества своей суровой подготовки и привычки к военному повиновению, а также той субординации офицеров, которая была свойственна Греции. В других греческих армиях приказы объявлялись войскам громким голосом глашатая, который получал их лично от генерала: у каждого *таксиса*, или роты, действительно был свой таксиарх, но последний не получал своих приказов отдельно от генерала и, похоже, не нес личной ответственности за их исполнение своими солдатами. Подчиненная и ответственная военная власть не признавалась. Среди лакедемонян, напротив, существовала регулярная градация военной и ответственной власти, "командиры командиров", каждый из которых нес особую ответственность за исполнение приказов.^[115] Каждый приказ исходил от спартанского царя, когда он присутствовал, и передавался полемархам (каждый из которых командовал морой, крупнейшим военным подразделением), которые сообщали о нем лохагам, или полковникам, соответствующих лохий. Затем они передавали приказ каждому пентеконтеру, или капитану пентекосты, и, наконец, эномотарху, который командовал самым низким подразделением, называемым эномотой. Таким образом, солдат не получал никаких непосредственных приказов, кроме как от эномотарха, который в первую очередь отвечал за свою эномотию; но пентеконтер и лохаг также отвечали каждый за свое более крупное подразделение; пентекостия включала четыре эномотии, а лохаг - четыре пентекостии, по крайней мере, так было в данном случае. Все различные военные маневры были знакомы лакедемонянам по их постоянным тренировкам, так что их армии пользовались преимуществом более быстрого повиновения наряду с более систематическим командованием. Поэтому, будучи застигнутыми врасплох и призванные впервые в жизни построиться в присутствии врага, они проявили лишь большую оперативность^[116] и тревожную поспешность, повинаясь приказам Агиса, переданным через регулярный ряд офицеров. Боевая расстановка была достигнута с регулярностью и быстротой.

Крайний левый фланг лакедемонской линии принадлежал по древней привилегии скиритам, горцам из пограничного района Лаконии, огибающим аркадские Паррасии, кажется, к востоку от Евротаса, у его самого раннего и высокого течения. Эти люди, изначально аркадяне, теперь составляли разновидность лаконских переизгов, с особыми обязанностями и привилегиями. Будучи одними из самых храбрых и активных людей в Пелопоннесе, они обычно составляли авангард в наступающем марше; спартанцы обвиняют их в том, что они подвергали их опасности и труду с неподобающим безрассудством.^[117] Рядом со скиритами, которых было шестьсот человек, стояли бесправные гелоты, недавно вернувшиеся со службы у Брасида во Фракии, и неодамоды, которые, вероятно, были вызваны домой из Лепреума, где, как нам уже говорили, они были посажены. За ними, в центре всей линии, шли лакедемонские лохи, числом семь, а рядом с ними - аркадские союзники, геренцы и меналийцы. Наконец, на правом фланге стояли тегейцы, а крайний правый фланг занимало небольшое подразделение лакедемонян, занимавшее почетное место. На каждом фланге стояло по несколько лакедемонских всадников^[118].

Фукидид с откровенностью, которая повышает ценность его свидетельств везде, где он дает их положительно, сообщает нам, что не может претендовать на то, чтобы определить численность обеих армий. Очевидно, что это молчание объясняется не тем, что его не расспрашивали; но ни один из полученных ответов не показался ему заслуживающим доверия: крайняя секретность лакедемонской политики не позволяла с уверенностью

говорить об их численности, а пустые численные хвастовства других греков были не менее обманчивы. В отсутствие достоверной информации о численности населения историк дает нам некоторые общие сведения, доступные каждому любознательному человеку, и некоторые факты, заметные зрителю. На основании его языка д-р Тирлуолл и другие с некоторой долей вероятности предполагают, что он сам присутствовал на битве, хотя в каком качестве, мы не можем определить, поскольку он был изгнанником из своей страны. Во-первых, он утверждает, что лакедемонское войско *оказалось* более многочисленным, чем вражеское. Далее он сообщает, что, независимо от скиритов слева, которых было шестьсот человек, остальной фронт лакедемонян, вплоть до крайнего правого крыла, состоял из четырехсот сорока восьми человек, причем в каждой эномотии было по четыре человека впереди. Что касается глубины, то различные эномотии не все были одинаковы, но в основном они имели по восемь человек в глубину. Всего было семь лохий (не считая скиритов); каждая лохия состояла из четырех пентекостий, каждая пентекостия - из четырех эномотий.^[119] Если умножить четыреста сорок четыре на восемь и добавить шестьсот скиритов, то всего получится четыре тысячи сто восемьдесят четыре гоплита, кроме нескольких всадников на каждом фланге. О легковооруженных ничего не сказано. У меня нет уверенности в такой оценке, но общее число меньше, чем мы могли бы ожидать, учитывая, что лакедемоняне вышли из Спарты со всеми своими силами по срочному делу и отправили домой только шестую часть от общего числа, своих самых старых и самых молодых солдат.

Судя по всему, аргейские полководцы не предпринимали попыток атаковать, пока лакедемонский боевой порядок был еще неполным. Согласно греческой практике, они должны были подбодрить мужество своих воинов словами назидания и ободрения, и прежде чем они были закончены, лакедемоняне, вероятно, достигли своего порядка. Мантинейские офицеры напомнили своим соотечественникам, что предстоящая битва решит, должна ли Мантинея оставаться свободным и имперским городом с собственными аркадскими владениями, как сейчас, или же снова превратится в зависимое от Лакедемонии государство. Аргейские вожди говорили о том, что Аргос имеет возможность вернуть себе утраченное превосходство в Пелопоннесе и отомстить своему злейшему врагу и соседу. Афинские войска призывали показать себя достойными многих храбрых союзников, с которыми они теперь связаны, а также защитить свою собственную территорию и империю, победив своего врага в Пелопоннесе.

Это убедительно показывает особенность лакедемонского характера, что к ним не обращались с подобными словами ободрения ни Агис, ни кто-либо из офицеров. "Они знали (говорит историк^[120]), что долгая практика в военном деле - лучшее средство, чем прекрасные речи, произнесенные в нужный момент". Как и среди профессиональных солдат, храбрость принималась как нечто само собой разумеющееся, без особых увещеваний: но среди них раздавались взаимные предложения, чтобы довести до совершенства их боевой порядок и позицию, которые поначалу, вероятно, не были таковыми из-за внезапности и спешки, в которой они были вынуждены формироваться. Кроме того, в строю распевались различные военные песни, возможно, песни Тиртея. Наконец было дано слово атаковать: многочисленные волынщики - наследственная каста в Спарте - начали играть, а медленный, торжественный и ровный марш войска подстраивался под время, отведенное этими инструментами, без каких-либо разрывов или колебаний в строю. Разительный контраст с этим нарочитым шагом представляли враги: не имея ни волынщиков, ни других музыкальных инструментов, они бросились вперед на зарядку шагом пылким и даже яростным,^[121] еще не оправившись от только что обращенных к ним увещеваний.

Естественной тенденцией всех греческих армий, вступающих в бой, было идти не прямо вперед, а несколько наискось вправо. Воины, находившиеся на крайнем правом фланге обеих армий, подавали пример такого наклона, чтобы не обнажать свою незащищенную сторону; по той же причине каждый человек вдоль линии заботился о том, чтобы держаться ближе к щиту своего соседа справа. Отсюда мы видим, что при равном количестве людей правая сторона была не только почетной, но и сравнительно безопасной. Так оказалось и в данном случае, причем даже лакедемонская дисциплина ничуть не пострадала от этой причины беспорядков. Хотя фронт лакедемонян, благодаря их численному превосходству, был более растянут, чем фронт противника, все же их правые части не считали себя в безопасности, не отклонившись еще дальше вправо, и таким образом сильно обошли афинян на противоположном левом фланге; в то время как на противоположной стороне мантинейцы, составлявшие правое крыло, из-за того же стремления держать левое плечо вперед, обошли, хотя и не в такой степени, скиритов и брасидеев слева от лакедемонян. Царь Агис, чей пост с лохами находился в центре, ясно видел, что, когда армии сомкнутся, его левая сторона будет непременно захвачена во фланг и, возможно, даже в тыл. Поэтому он счел необходимым изменить диспозицию даже в этот критический момент, рассчитывая на то, что это удастся сделать благодаря точной дисциплине, отработанным движениям и медленному маршу своих солдат.

Естественным способом борьбы с надвигающейся опасностью было бы перебросить дивизию с крайнего правого фланга, где ее можно было пощадить, на крайний левый против наступающих мантинейцев. Но древняя привилегия скиритов, которые всегда сражались сами по себе на крайнем левом фланге, не позволяла отдать такой приказ.^[122] Тогда Агис дал сигнал брасидеям и скиритам сделать фланговое движение влево, чтобы поравняться с мантинейцами; а чтобы заполнить образовавшуюся вакансию в своей линии, он послал приказ двум полемархам Аристоклусу и Гиппоноиду, которые занимали свои лохи на крайнем правом фланге линии, отойти в тыл и занять позицию справа от брасидеев, чтобы снова сомкнуть линию. Но эти два полемарха, занимавшие самое безопасное и победоносное место в линии, предпочли сохранить его, не подчинившись его прямому приказу, так что Агис, увидев, что они не двигаются, был вынужден послать второй приказ, отменяющий фланговое движение скиритов и предписывающий им вклиниться в центр, вернувшись на свое прежнее место. Но теперь уже было слишком поздно исполнять этот второй приказ до того, как вражеские армии сомкнулись, и скириты и брасидеи были атакованы в беспорядке и отрезаны от своего центра. Мантиinei, обнаружив их в таком состоянии, разгромили и отбросили назад, а избранная тысяча аргосцев, ворвавшись на свободное пространство между брасидеями и центром лакедемонян, обошла их с правого фланга и довершила их поражение. Они были разбиты и преследовались до лакедемонских повозок в тылу; некоторые из старших воинов, охранявших повозки, были убиты, а все левое крыло лакедемонян рассеяно.

Но победоносные мантинейцы и их товарищи, думая только о том, что было непосредственно перед ними, теряли драгоценное время, когда их помощь была крайне необходима в другом месте. Совсем иначе обстояли дела в центре и справа от лакедемонян, где Агис со своим телохранителем из трехсот отборных юношей Гиппеем и спартанскими лохами оказался в лобовом столкновении с центром и слева от противника; с аргейцами, их пожилыми войсками и так называемыми пятью лохами, с клеонцами и орнеатами, зависимыми союзниками Аргоса, и с афинянами. Над всеми этими войсками они одержали полную победу, после недолгого сопротивления, а в некоторых местах и вовсе без сопротивления. Столь грозным был вид и имя лакедемонян, что противостоящие им войска сдавались, не скрестив копий, и даже в такой панике, что, стремясь спастись, попирали друг друга.^{123]} В

то время как были разбиты спереди, они были взяты во фланг тегейцами и лакедемонянами справа от армии Агиса, и афиняне подверглись серьезной опасности быть рассеченными на части, если бы им не помогла их собственная конница, находившаяся поблизости. К тому же Агис, решительно разбив и оттеснив их, не столько стремился преследовать их, сколько вернуться на помощь своему собственному разбитому левому крылу; так что даже афиняне, оказавшиеся беззащитными как во фланг, так и во фронт, смогли спокойно отступить. Мантиinei и аргейская тысяча, хотя и одержали победу на своем участке, но, видя, что остатки их армии беспорядочно бегут, не имели особого желания возобновлять бой с Агисом и покоренными лакедемонянами. Они стремились только к отступлению, которое, однако, не могло быть осуществлено без тяжелых потерь, особенно со стороны мантинейцев, и которое Агис мог бы полностью предотвратить, если бы лакедемонская система, навязанная в этом случае советами древнего спартанца по имени Фаракс, не воздерживалась от длительного преследования побежденного врага[124].

В этой битве пало семьсот человек из аргейцев, клеонцев и орнеатов, двести афинян вместе с полководцами Лахесом и Никостратом и двести мантинейцев. Потери лакедемонян, хотя они никогда не были точно известны из-за привычной скрытности их публичных действий, оценивались примерно в триста человек. Они разделились с вражескими мертвецами, разложив на виду приобретенное оружие и выбрав несколько трофеев; затем подобрали своих собственных мертвецов и отнесли их для погребения в Тегею, предоставив побежденному врагу обычную погребальную туру. Плейстоанакс, другой спартанский царь, дошел до Тегеи с подкреплением, состоявшим из старших и младших граждан; но, узнав о победе, он вернулся домой[125].

Такова была важная битва при Мантинее, состоявшаяся в июне 418 года до н. э. Ее последствия для всей Греции были огромны. Численность сражавшихся с обеих сторон была очень значительной для греческой армии того времени, хотя, казалось бы, не такой большой, как в битве при Делиуме за пять лет до этого: количество и величие государств, чьи войска участвовали в сражении, были, однако, больше, чем при Делиуме. Но особую ценность битве придавало то, что она сразу же стерла с существовавшее ранее пятно на чести Спарты. Катастрофа в Сфактерии, разочаровавшая все предыдущие ожидания, навлекла на нее обвинения в трусости; были и другие действия, которые с гораздо большим основанием называли глупыми и отсталыми. Но победа при Мантинее заставила умолкнуть всю эту пренебрежительную критику и вернула Спарте ее прежнее военное превосходство на глазах у всей Греции. Победа оказалась тем более сильной, что она была целиком плодом лакедемонской храбрости, без особой помощи того особого мастерства и тактики, которые обычно считаются сопутствующими, но в данном случае оказались сравнительно недостаточными. Непродуманный маневр Агиса, направленный на расширение левого крыла, провалился из-за неповиновения двух несговорчивых полемархов, но в таком случае позор неудачи в большей или меньшей степени ложится на все заинтересованные стороны; ни полководец, ни солдаты не могут считаться проявившими в Мантинее профессиональную сноровку, из-за которой лакедемонян называли "художниками военного дела". Тем более ярко проявилось лакедемонское мужество. После того как левое крыло было разбито, а аргейская тысяча проникла на свободное пространство между левым и центральным флангами, так что они могли взять центр во фланг, и должны были это сделать, если бы были хорошо продуманы, войска в центре, вместо того чтобы быть обескураженными, как поступило бы большинство греческих солдат, пошли вперед против врагов, стоящих перед ними, и одержали полную победу. Таким образом, последствия битвы были огромны, чтобы восстановить репутацию лакедемонян и вновь возвысить их до древнего достоинства вождей Пелопоннеса[126].

Мы не удивляемся, узнав, что два полемарха, Аристоклюс и Гиппоноид, непослушание которых едва не привело к гибели армии, по возвращении в Спарту были преданы суду и осуждены на изгнание как трусы[127].

Рассматривая битву с точки зрения другой стороны, можно отметить, что поражение в значительной степени было вызвано эгоистичным капризом элейцев, которые отозвали свои три тысячи человек непосредственно перед битвой, поскольку другие союзники вместо похода на Лепреум предпочли взять гораздо более важный город Тегею: дополнительная иллюстрация к замечанию Перикла в начале войны, что многочисленные и равные союзники никогда не могут находиться в гармоничном взаимодействии.[128] Вскоре после поражения три тысячи элейцев вернулись на помощь Мантинее, вероятно, сожалея о своем несправедливом отъезде, вместе с подкреплением в тысячу афинян. Кроме того, начался месяц карнеи - время года, которое лакедемоняне свято соблюдали; они даже отправили гонцов, чтобы отменить действия своих внепелопоннесских союзников, на которых они ссылались перед последней битвой[129], а сами оставались на своей территории, чтобы на время освободить поле для действий побежденного врага. Таким образом, эпидавры, хотя и вторглись на территорию Аргоса во время отсутствия главных сил аргейцев во время последней битвы и добились частичного успеха, теперь оказались на своей территории под натиском объединенных элейцев, мантинейцев и афинян, которые были достаточно смелы, чтобы даже начать строительство обводной стены вокруг самого города Эпидавра. Вся работа была распределена между ними, но превосходство афинян в активности и настойчивости проявилось в полной мере. В то время как порученная им часть работы - укрепление мыса, на котором находился Герай или храм Геры, - неустанно выполнялась и быстро доводилась до конца, их союзники, как элейцы, так и мантинейцы, с нетерпением и отвращением отказались от выполнения возложенных на них задач. По этой причине от идеи обхода отказались, в новом форте на мысе Гереум был оставлен совместный гарнизон, после чего союзники эвакуировались с эпидаврской территории[130].

До сих пор лакедемоняне, казалось, не извлекли особой пользы из своей поздней победы, но вскоре ее плоды проявились в самом центре сил их противника, в Аргосе. После битвы произошли существенные изменения в политических тенденциях этого города. В нем всегда существовала оппозиционная партия, фило-лаконская и антидемократическая, и поражение при Мантинее укрепило эту партию в той же мере, в какой подавило ее противников. Демократические лидеры, которые вместе с Афинами и Алкивиадом стремились сохранить в Пелопоннесе враждебное и равное, если не превосходящее Спарту, превосходство, теперь нашли свои расчеты низвергнутыми и замененными удручающей необходимостью самообороны против победоносного врага. И пока эти вожди теряли общее влияние в результате столь полного поражения своей внешней политики, простые демократические солдаты Аргоса принесли с собой с поля Мантинее лишь унижение и ужас перед лакедемонским оружием. Но отборный аргейский Тысячный полк вернулся с совсем другими чувствами. Победив левое крыло своих врагов, они не встретили серьезных препятствий в своем отступлении даже со стороны лакедемонского центра. Таким образом, они снискали себе славу[131] и, несомненно, испытывали презрение к своим побитым согражданам. Уже упоминалось, что эти Тысячи были людьми из богатых семей и лучшего военного возраста, выделенными аргейской демократией для постоянного обучения за государственный счет как раз в то время, когда амбициозные взгляды Аргоса только начали зарождаться, после Никиасского мира. До тех пор, пока Аргос мог стать или оставаться имперским государством Пелопоннеса, эти тысячи богачей, вероятно, считали, что их достоинство в достаточной мере учитывается при поддержании ее как таковой, и, таким образом, соглашались с демократическим правительством. Но когда поражение при Мантинее привело к тому, что

Аргос оказался в собственных пределах и был поставлен в оборонительное положение, ничто не могло уравновесить их естественные олигархические настроения, и они стали решительными противниками демократического правительства в его бедственном положении. Олигархическая партия в Аргосе, поощряемая и укрепляемая таким образом, вступила в сговор с лакедемонянами, чтобы заключить союз со Спартой и свергнуть демократию^[132].

В качестве первого шага к осуществлению этого плана лакедемоняне в конце сентября вывели все свои силы вплоть до Тегеи, угрожая вторжением и наводя ужас на Аргос. Из Тегеи они отправили посланника Лихаса, проксена аргейцев в Спарте, с двумя альтернативными предложениями: одно - о мире, которое он должен был предложить и убедить аргейцев принять его, если сможет; другое, в случае отказа, носило угрожающий характер. По замыслу олигархической фракции, прежде чем предпринимать какие-либо нововведения в управлении, город должен был вступить в союз с Лакедемоном и расторгнуть связь с Афинами. Прибытие Лихаса стало для них сигналом к тому, чтобы проявить себя, настойчиво добиваясь принятия его мирного предложения. Но им пришлось столкнуться с сильным сопротивлением, так как Алкивиад, все еще находившийся в Аргосе, приложил все свои силы, чтобы разрушить их взгляды. Лишь присутствие лакедемонской армии в Тегее и общее уныние народа позволили им в конце концов доказать свою правоту и добиться принятия предложенного договора, который, будучи уже принят эkkлесией в Спарте, был отправлен в готовом виде в Аргос и там одобрен без изменений. Условия были в основном следующими: - "Аргейцы должны восстановить Аргос.

"Аргейцы должны вернуть мальчиков, которых они получили в качестве заложников из Орхомена, и мужчин-заложников из Меналии. Они должны вернуть лакедемонянам людей, находящихся сейчас в Мантинее, которых лакедемоняне поместили в качестве заложников на хранение в Орхомен и которых аргейцы и мантинейцы увезли из этого места. Они должны эвакуировать Эпидавр и разрушить крепость, недавно возведенную возле него. Афиняне, если они также немедленно не покинут Эпидавр, должны быть объявлены врагами как Лакедемонии, так и Аргоса, а также союзниками обоих. Лакедемоняне должны вернуть всех заложников, которые у них сейчас находятся, из какого бы места они ни были взяты. Относительно жертвы, которую эпидавры якобы должны принести Аполлону, аргейцы согласятся дать им клятву, которую, если они поклянутся, то очистят себя. ^{133]} Каждый город Пелопоннеса, малый или большой, должен быть самостоятельным и иметь право сохранять свое древнее устройство. Если какой-либо внепелопоннесский город выступит против Пелопоннеса с коварными проектами, Лакедемон и Аргос будут совместно выступать против него, как это наиболее справедливо для интересов пелопоннесцев в целом. Внепелопоннесские союзники Спарты будут находиться в таком же положении по отношению к этому договору, как и союзники Лакедемона и Аргоса в Пелопоннесе, и будут держаться одинаково. Аргейцы должны показать этот договор своим союзникам, которые должны подписаться под ним, если сочтут нужным. Если же союзники пожелают иного, аргейцы отправят их домой по своим делам"^[134].

Таков был договор, отправленный лакедемонянами в готовом виде в Аргос и буквально принятый там. Он представлял собой не более чем номинальную взаимность, налагая на Спарту одно обязательство, не имеющее никакого значения; хотя он отвечал целям последней, существенно расторгая союз Аргоса с его тремя конфедератами.

Но этот договор был задуман олигархической партией в Аргосе лишь как предисловие к ряду дальнейших мер. Как только он был заключен, угрожающая армия Спарты была выведена из Тегеи и обменена на свободное и мирное общение между лакедемонянами и аргейцами. Вероятно, Алкивиад в это же время удалился, а возобновление визитов и гостеприимства лакедемонян в Аргосе укрепило интерес их партии как никогда ранее. Вскоре они были достаточно сильны, чтобы убедить аргейское собрание официально отказаться от союза с Афинами, Элидой и Мантинеей и заключить особый союз со Спартой на следующих условиях: - "Будет мир и союз.

"Между лакедемонянами и аргейцами должен быть мир и союз на пятьдесят лет на равных условиях: каждый из них должен дружелюбно удовлетворять, согласно установленной им конституции, все жалобы, предпочитаемые другим. На том же условии и другие пелопоннесские города будут участвовать в этом мире и союзе, имея свою собственную территорию, законы и отдельную конституцию. Все внепелопоннесские союзники Спарты должны быть поставлены в равное положение с лакедемонянами. Союзники Аргоса также должны быть поставлены в равные условия с самим Аргосом, сохраняя свою собственную территорию в неприкосновенности. Если возникнет необходимость в совместных военных действиях по какому-либо вопросу, лакедемоняне и аргейцы будут советоваться между собой, принимая наиболее справедливые решения в интересах своих союзников. Если у какого-либо из городов, входящих в этот союз, в Пелопоннесе или вне его, возникнут споры о границах или по другим вопросам, то он будет обязан заключить полюбовное соглашение.^[135] Если какой-либо союзный город поссорится с другим союзным городом, то дело должно быть передано какому-либо третьему городу, удовлетворительному для обоих. Каждый город будет вершить правосудие по отношению к своим гражданам в соответствии со своей древней конституцией".

Следует заметить, что в этом союзном договоре спорный вопрос о главенстве скомпрометирован или обойден стороной. Лакедемон и Аргос поставлены в равное положение в том, что касается принятия совместного совета от имени всего союзного сообщества: только они двое должны принимать решения, не советуясь с другими союзниками, хотя и обязываясь учитывать интересы последних. Политика Лакедемонии также пронизывает договор - обеспечить автономию всем меньшим государствам Пелопоннеса и таким образом разрушить империю Элиды, Мантинеи или любого другого более крупного государства, которое могло бы иметь зависимость.^[136] И, соответственно, мантинейцы, оказавшись покинутыми Аргосом, были вынуждены подчиниться Спарте, снова записавшись в ее союзники, отказавшись от всякой власти над своими аркадскими подданными и отдав заложников, согласно договору между Лакедемоном и Аргосом.^[137] Лакедемоняне, похоже, не вмешивались в дела Элиды. Уже владея Лепреумом благодаря поселившимся там бразильцам, они, возможно, не хотели снова провоцировать элейцев, опасаясь быть во второй раз отстраненными от участия в олимпийском празднике.

Тем временем заключение союза с Лакедемоном - примерно в ноябре или декабре 418 года до н. э. - еще больше удручило народных лидеров в Аргосе. Олигархическая фракция и избранный полк Тысячи, все люди состоятельные и семейные, а также связанные общей военной подготовкой, теперь ясно видели свой путь к разрушению демократии силой и совершению революции. Подстрекаемые такими честолюбивыми взглядами и польщенные мыслью о признании главенства совместно со Спартой, они с особой горячностью поддерживали новую политику города и сразу же начали множить поводы для столкновений с Афинами. Во Фракию и Македонию были направлены совместные лакедемонские и аргейские посланники. С халкидянами Фракии, восставшими подданными Афин, был

возобновлен старый союз и даже заключены новые соглашения, а Пердиккаса Македонского убеждали отказаться от своих соглашений с Афинами и присоединиться к новой конфедерации. В этой четверти влияние Аргоса было значительным, ведь македонские князья очень высоко ценили свое древнее происхождение из Аргоса, что делало их братьями по эллинской семье. Пердиккас согласился с требованием и заключил новый договор, настаивая, однако, со свойственной ему двуличностью, на том, чтобы этот шаг пока держался в секрете от Афин.^[138] В продолжение нового тона враждебности к этому городу туда же были отправлены совместные посланники с требованием, чтобы афиняне покинули Пелопоннес и особенно эвакуировали форт, недавно возведенный возле Эпидавра. Похоже, что ее совместно удерживали аргейцы, мантинейцы, элейцы и афиняне; а поскольку последних было меньшинство от общего числа, афиняне в городе сочли разумным послать Деместенека, чтобы он вывел их. Этот полководец не только осуществил отступление, но и придумал хитроумную уловку, которая дала ему почти преимущество. Прибыв в крепость, он объявил за воротами гимнастический поединок на потеху всему гарнизону, стараясь сдержать афинян внутри, пока все остальные не выйдут: затем, поспешно затворив ворота, он остался хозяином положения.^[139] Не имея, однако, намерения удерживать его, он передал его на время самим эпидаврам, с которыми возобновил перемирие, заключенное ими совместно с лакедемонянами пять лет назад, за два года до Никиасского мира^[140].

Способ, к которому прибегли Афины в вопросе о сдаче крепости, был продиктован, по-видимому, желанием продемонстрировать свое недовольство аргейцами. Именно этого больше всего желали аргейские вожди и олигархическая партия; разрыв с Афинами стал непоправимым, и теперь у них созрели планы насильственного свержения собственной демократии. Они договорились со Спартой о совместной военной экспедиции, по тысяче гоплитов от каждого города, - первой совместной экспедиции в рамках нового союза - против Сикиона, чтобы внедрить более основательную олигархию в уже олигархическое сикионское правительство. Возможно, в Сикионе постепенно набирала силу демократическая оппозиция, но этот город, насколько нам известно, всегда придерживался олигархических взглядов и был пассивно предан Спарте. Поэтому, скорее всего, совместное предприятие против Сикиона было не более чем предлогом для прикрытия ввода тысячи лакедемонских гоплитов в Аргос, куда объединенный отряд немедленно вернулся после завершения дел в Сикионе. Укрепившись таким образом, олигархические вожди и избранная тысяча в Аргосе силой свергли демократическую конституцию в этом городе, убили демократических вождей и полностью завладели властью^[141].

Эта революция, совершенная около февраля 417 г. до н. э., результат победы при Мантинее и завершение политики Спарты, подняла ее господство в Пелопоннесе на более высокий и неоспоримый уровень, чем тот, которого она когда-либо достигала. Города в Ахائه еще не были достаточно олигархическими для ее целей, возможно, со времени похода туда Алкивиада за два года до этого; поэтому теперь она переделала их правительства в соответствии со своими собственными взглядами. Новые правители Аргоса подчинялись ей не только из олигархических симпатий, но и потому, что нуждались в ее помощи, чтобы сдерживать внутренние восстания против себя: так что на всем полуострове не было ни врагов, ни даже нейтралов, которые могли бы противодействовать ей или благоприятствовать Афинам.

Но спартанскому превосходству в Аргосе не суждено было продлиться долго. Хотя в Греции было много городов, в которых олигархия долгое время сохраняла свою непоколебимость благодаря приверженности традиционному укладу и тому, что обычно находилась в руках

людей, привыкших управлять, олигархия, возведенная силой на развалинах демократии, редко была долговечной. Гневное недовольство народа, подавленное временным запугиванием, обычно возрождалось и угрожало безопасности правителей настолько, что делало их подозрительными и, возможно, жестокими. Жестокость не была их единственной виной: освобождение от демократических ограничений казалось им слишком заманчивым, чтобы они могли контролировать свою похоть или хищничество. С населением Аргоса, сравнительно грубым и жестоким во всех сословиях и больше похожим на Коркиру, чем на Афины, такие злоупотребления были вполне уверены, что они будут быстрыми и вопиющими. Особенно избранный полк Тысячи - мужчины в бодром возрасте, гордые своей воинской доблестью, а также более богатым положением - рассматривали новое олигархическое правительство, которое они помогли возвести, как период индивидуальной свободы для себя. Поведение и судьба их вождя, Брайаса, иллюстрирует общее поведение отряда. После множества других бесчинств по отношению к людям более бедного состояния, однажды он встретил на улице свадебную процессию, в которой лицо невесты пленило его воображение. Он насильно оторвал ее от компании, отнес в свой дом и силой овладел ею. Но посреди ночи эта пылкая женщина отомстила за оскорбление, выбив глаза насильнику, пока тот крепко спал:[142] ужасная месть, которую остроконечные застёжки женского наряда иногда позволяли женщинам[143] обрушить на тех, кто их обидел. Умудрившись сбежать, она нашла укрытие среди своих друзей, а также защиту среди народа в целом от возмущенных попыток избранной Тысячи отомстить за своего вождя.

Из подобных инцидентов, а также из множества мелких оскорблений, которые столь вопиющее возмущение подразумевает в качестве сопутствующих, мы не удивляемся, узнав, что демос Аргоса вскоре вернул себе утраченное мужество и решился на попытку свергнуть своих олигархических угнетателей. Они дождались момента, когда в Спарте начался праздник под названием Гимнопедии, - праздник, на котором хорические выступления мужчин и мальчиков были настолько переплетены со спартанской религией, а также телесной подготовкой, что лакедемоняне не предпринимали никаких военных действий, пока они не закончились. В этот критический момент аргейский демос поднял восстание и после острой борьбы одержал победу над олигархией, часть которой была убита, а другие спаслись лишь бегством. Уже в первый момент опасности в Спарту были направлены настоятельные просьбы о помощи. Но лакедемоняне сначала императивно отказались двигаться во время своего праздника: и только после того, как один за другим прибывали гонцы, объяснявшие друзьям острой необходимости, они нехотя отложили свой праздник и двинулись в Аргос. Они опоздали: драгоценный момент уже прошел. В Тегее их встретило сообщение о том, что их друзья повержены, а Аргос находится во владении победителей. Тем не менее, сбежавшие изгнанники все еще обещали им успех и настоятельно просили их продолжать, но лакедемоняне отказались подчиниться, вернулись в Спарту и возобновили свой прерванный праздник[144].

Таким образом, олигархия Аргоса была свергнута, просуществовав около четырех месяцев,[145] с февраля по июнь 417 года до н. э., а избранный Тысячный полк либо распущен, либо уничтожен. Это движение вызвало большое сочувствие в нескольких пелопоннесских городах,[146] которые стали ревновать к непомерному перевесу Спарты. Тем не менее, аргейский демос, хотя и одержал победу внутри города, настолько не верил в то, что сможет сохранить свои позиции, что отправил посланников в Спарту, чтобы заверить их в своей правоте и попросить о благосклонном отношении: этот шаг доказывает, что восстание было спонтанным, а не разжигалось Афинами. Но посланцы изгнанных олигархов были там, чтобы противостоять им, и лакедемоняне, после продолжительного обсуждения, признав демос виновным в ошибке, объявили о решении послать войска, чтобы усмирить их.

Однако привычная для лакедемонян медлительность не позволила предпринять немедленных и самостоятельных действий. Нужно было созвать их союзников, но никто из них не проявлял особого рвения в этом деле, и меньше всего в данный момент, когда приближался период сбора урожая; так что прошло около трех месяцев, прежде чем были собраны реальные силы.

Этот важный промежуток времени был использован аргейцами Демоса, которые, будучи ясно предупреждены, что должны смотреть на Спарту только как на врага, немедленно возобновили свой союз с Афинами. Рассматривая ее как свое главное убежище, они начали возводить длинные стены, соединяющие их город с морем, чтобы дорога всегда была открыта для поставок и подкреплений из Афин в случае, если они будут прижаты к своим стенам превосходящими силами спартанцев. Все население Аргеи - мужчины и женщины, свободные и рабы - принялись за работу с величайшим усердием, а Алкивиад привез из Афин помощь,^[147] особенно квалифицированных каменщиков и плотников, в которых они очень нуждались. Возможно, этот шаг был предложен им самим, поскольку за два года до этого он призывал к нему жителей Патрэ. Но строительство стен, пригодных для обороны, на протяжении четырех с половиной миль между Аргосом и морем^[148] требовало много времени. Более того, олигархическая партия в городе, а также изгнанники из него, - партия побежденная, но не уничтоженная, - настойчиво убеждали лакедемонян прекратить работы и даже обещали им контрреволюционное движение в городе, как только они приблизятся, чтобы помочь; та же самая интрига, в которую вступила олигархическая партия в Афинах за сорок лет до этого, когда возводились стены до Пейреуса.^[149] Соответственно, в конце сентября 417 года до н.э. царь Агис повел армию лакедемонян и союзников против Аргоса, загнал население в город и разрушил ту часть длинных стен, которая уже была возведена. Но олигархическая партия внутри города не смогла выполнить свои обязательства по поднятию оружия, поэтому он был вынужден отступить, лишь опустошив территорию и взяв город Хисие, где он предал смерти всех свободных людей, попавших в его руки. После его ухода аргивяне обрушили свои опустошения на соседнюю территорию Флиуса, где в основном проживали изгнанники из Аргоса^[150].

Близкое соседство с такими изгнанниками, а также объявленная позиция Спарты и продолжающиеся замыслы олигархической партии в ее стенах держали аргейскую демократию в постоянном беспокойстве и тревоге в течение всей зимы, несмотря на недавнюю победу и подавление опасного полка Тысячи. Чтобы хоть отчасти избавить их от смущения, Алкивиад был отправлен туда ранней весной с афинским вооружением и двадцатью триерами. Его друзья и гости, по-видимому, были теперь на высоте, как лидеры демократического правительства; и в согласии с ними он выбрал триста отмеченных олигархических лиц, которых он увез и поместил на различных афинских островах, как заложников за спокойствие партии, до н. э. 416. Еще один опустошительный поход был предпринят аргейцами на территорию Флиуса, где, однако, они не понесли ничего, кроме потерь. И снова, примерно в конце сентября, лакедемоняне дали команду на вторую экспедицию против Аргоса. Но, дойдя до границ, они обнаружили, что жертвоприношения, которые всегда приносились перед тем, как покинуть свою территорию, были настолько неблагоприятными, что они вернулись назад и распустили свои войска. Аргейская олигархическая партия, несмотря на недавно взятых у них заложников, была начеку, ожидая

появления лакедемонских войск, и замышляла восстание; по крайней мере, их подозревали в этом до такой степени, что некоторые из них были схвачены и заключены в тюрьму правительством, а другим удалось бежать.^[151] Однако позже, той же зимой, лакедемоняне стали более удачливыми благодаря своим пограничным жертвам, вступили на территорию Аргеи вместе со своими союзниками (кроме коринфян, которые отказались принять участие) и основали аргейских олигархов *cal exiles* в Орнее, из которого эти последние были снова быстро изгнаны, после ухода лакедемонской армии, аргейской демократией с помощью афинского подкрепления.^[152]

Сохранение обновленного демократического правительства Аргоса против внутренних и внешних врагов было важной политикой для Афин, поскольку создавало основу для антилаконской партии в Пелопоннесе, которая впоследствии могла быть расширена. Но в настоящее время аргейский союз был для Афин скорее источником силы, чем источником истощения: он сильно отличался от тех великолепных надежд, которые он подавал перед битвой при Мантинее, надежд на вытеснение Спарты с ее господства на Перешейке. Примечательно, что, несмотря на полное отчуждение чувств между Афинами и Спартой и продолжающиеся взаимные враждебные действия, в косвенной форме, пока каждая из сторон выступала в качестве союзника третьей стороны, ни одна, ни другая сторона не отказались официально от клятвенного союза и не уничтожили запись, начертанную на каменной колонне. Обе стороны не решались провозгласить истинную правду, хотя каждое полугодие приближало их к ней на шаг. Так, в течение нынешнего лета (416 г. до н. э.) афинский и мессенский гарнизоны в Пилосе стали активнее, чем когда-либо, совершать набеги на Лаконию и привезли домой большую добычу; после этого лакедемоняне, хотя и не отказались от союза, публично заявили о своей готовности предоставить то, что мы можем назвать письмами марк, любому желающему для каперства против афинской торговли. Коринфяне также, на почве частной ссоры, начали военные действия против афинян.^[153] Тем не менее, Спарта и ее союзники оставались в состоянии формального мира с Афинами: афиняне сопротивлялись всем неоднократным просьбам аргейцев побудить их высадиться в любой части Лаконии и совершить опустошение.^[154] Не была также приостановлена лицензия на свободные сношения для частных лиц. Мы не сомневаемся, что афиняне были приглашены на Олимпийский фестиваль 416 года до н. э. (91-я Олимпиада) и отправили туда свою торжественную делегацию вместе с представителями Спарты и других дорийских греков.

Теперь, когда они снова стали союзниками Аргоса, афиняне, вероятно, более полно, чем прежде, узнали об интригах, которые прежние аргейское правительство вело с македонским Пердиккой. Однако последствия этих интриг еще раньше проявились в поведении этого принца, который, будучи союзником Афин и обязавшись сотрудничать с афинской экспедицией, запланированной Никиасом на весну или лето 417 года до н. э. против халкидов Фракии и Амфиполя, теперь отказался от своего согласия, отступил от афинского союза и сорвал весь план экспедиции. Афиняне установили морскую блокаду портов Македонии, объявив Пердикку врагом^[155].

После поражения при Клеоне прошло почти пять лет без новых попыток вернуть Амфиполь: проект, о котором только что говорилось, был, по-видимому, первым. Действия афинян в отношении этого важного города служат убедительным доказательством недостатка мудрости у их лидеров Никиаса и Алкивиада и ошибочных тенденций у основной массы граждан, которые, как мы постепенно увидим, привели их империю к гибели. Среди всех их владений в Аттике не было ни одного столь ценного, как Амфиполь: центр большого торгового и горнодобывающего региона, расположенный на большой реке и озере,

которыми афинский флот мог легко командовать, и на который они претендовали с разумной справедливостью, поскольку это была их первоначальная колония, основанная их мудрейшим государственным деятелем Периклесом. Она была потеряна только из-за непростительной небрежности их генералов; и когда она была потеряна, мы должны были ожидать, что главные силы Афин будут направлены на ее восстановление; тем более что, если она была восстановлена, ее можно было закрепить и сохранить в качестве будущего владения. Клеон - единственный из ведущих деятелей, кто сразу же провозглашает своим соотечественникам важную истину о том, что ее невозможно вернуть иначе как силой. Он настойчиво призывает своих соотечественников предпринять необходимые военные усилия и отчасти убеждает их сделать это, но попытка позорно проваливается; отчасти из-за его собственной некомпетентности как полководца, независимо от того, было ли его принятие на себя этой обязанности делом выбора или принуждения, отчасти из-за сильной оппозиции и антипатии к нему со стороны значительной части его сограждан, что сделало военные силы несердечными в этом предприятии. Далее Никиас, Лахес и Алкивиад заключают мир и союз с лакедемонянами, с явным обещанием и целью добиться восстановления Амфиполя. Но после ряда дипломатических процедур, в которых проявляется как глупое легковерие Никиаса, так и корыстное коварство Алкивиада, становится очевидным, как и настаивал Клеон, что мир не вернет им Амфиполис и что его можно вернуть только силой. Теперь становится очевидным роковой недостаток Никиаса: его инертность характера и неспособность к решительным или энергичным действиям. Когда он обнаружил, что лакедемонская дипломатия перехитрила его и ввела в заблуждение своих соотечественников, заставив их пойти на важные уступки в расчете на будущие эквиваленты, мы могли бы ожидать, что он воспрянет духом, раскаиваясь в этой ошибке, и приложит все свои силы, а также силы своей страны, чтобы вернуть те части империи, которые мир обещал, но не восстановил. Вместо этого он не проявляет никаких действенных движений, а Алкивиад начинает демонстрировать недостатки своего политического характера, еще более опасные, чем у Никиаса, - страсть к показным, шатким, безграничным и даже гибельным новинкам. Только в 417 году до н. э., после поражения при Мантинее, положившего конец политическим спекуляциям Алкивиада во внутренних районах Пелопоннеса, Никиас затевает экспедицию против Амфиполя, да и то лишь в расчете на помощь Пердиккаса, принца с отъявленным вероломством. Отвоевать это место можно было не с помощью полумер, что в достаточной мере доказало поражение при Клеоне. Эти действия дают нам представление о внешней политике Афин в это время, во время так называемого Никиасова мира, подготавливая нас к той меланхоличной катастрофе, которая будет развиваться в следующих главах, где она будет близка к гибели из-за недостатков Никиаса и Алкивиада вместе взятых, поскольку, к большому несчастью, ей не удастся воспользоваться хорошими качествами ни одного из них.

Именно в один из трех годов между 420-416 гг. до н. э., хотя мы не знаем, в какой именно, произошло голосование об остракизме, возникшее из-за разногласий между Никиасом и Алкивиадом.^[156] Политическая антипатия между ними достигла крайней степени, было предложено провести голосование об остракизме, и это предложение - вероятно, сделанное сторонниками Никиаса, поскольку Алкивиад был человеком, наиболее вероятно считавшимся опасным - было принято народом. Гипербол, ламповщик, сын Херемеса, оратор, имевший значительное влияние в общественном собрании, горячо поддержал это предложение, ненавидя Никиаса не меньше, чем Алкивиада. Аристофан называет Гипербола преемником Клеона на трибуне в Пниксе:^[157] если это правда, его предполагаемое демагогическое преобладание должно было начаться примерно в сентябре 422 года до н. э., в период смерти Клеона. Однако задолго до этого времени он был в числе главных прикладов комических авторов, которые приписывают ему ту же подлость,

бесчестность, наглость и злобу в обвинениях, что и Клеону, хотя и в формулировках, которые, кажется, подразумевают более низкое представление о его силе. И можно усомниться в том, что Гиперболу когда-либо удалось добиться такого же влияния, каким пользовался Клеон, когда мы замечаем, что Фукидид не упоминает его ни в одном из важных споров, которые происходили во время и после Никиасского мира. Фукидид упоминает о нем лишь однажды, в 411 году до н. э., когда он находился в изгнании по приговору остракизма и проживал на Самосе. Он называет его "неким Гиперболом, ничтожным дельцом, которого подвергли остракизму не из-за страха перед опасным превышением достоинства и власти, а из-за его порочности и того, что он считался позором города"[158] Этот приговор Фукидида - действительно единственное свидетельство против Гипербола: ведь в его случае не менее несправедливо, чем в случае Клеона, приводить шутки и пасквилы комедии, как будто они являются достоверными фактами и надежной критикой. Именно на Самосе Гипербол был убит олигархическими заговорщиками, стремившимися свергнуть демократию в Афинах. У нас нет никаких конкретных фактов о нем, которые позволили бы нам проверить общую характеристику, данную Фукидидом.

В то время, когда в Афинах была принята резолюция о вотуме остракизма, предложенном из-за политических разногласий между Никиасом и Алкивиадом, прошло около двадцати четырех лет с тех пор, как к подобному вотуму прибегали; последним примером были Периклес и Фукидид, сын Мелесия, последний из которых был подвергнут остракизму около 442 года до н.э. Демократическая конституция достаточно укрепилась, чтобы существенно уменьшить необходимость в остракизме как средстве защиты от отдельных узурпаторов: кроме того, теперь существовало полное доверие к многочисленным дикастериям как компетентным в борьбе с величайшими из таких преступников, что уменьшало необходимость в таком предупредительном вмешательстве, как это представлялось в умах людей, не меньше, чем реальная необходимость. При таком положении вещей, измененной реальности и измененных чувствах, мы не удивляемся тому, что голосование об остракизме, на которое сейчас ссылаются, хотя мы не знаем обстоятельств, которые непосредственно предшествовали ему, закончилось злоупотреблением, или, скорее, пародией, на древнее превентивное средство. Вероятно, в момент крайнего накала партийных разногласий друзья Алкивиада приняли вызов Никиаса и единодушно поддержали вотум остракизма; каждый надеялся избавиться от соперника. Голосование было назначено, но прежде чем оно состоялось, приверженцы обоих изменили свои взгляды и предпочли дать политическому раздору продолжиться, не прекращая его путем разделения борцов. Но остракизм, формально объявленный, уже нельзя было предотвратить: он всегда, однако, был совершенно общим по своей форме, позволяя любому гражданину быть избранным для временного изгнания. Таким образом, две противоборствующие партии, каждая из которых, несомненно, включала в себя различные клубы или гетеры, а по некоторым данным, и друзей Феакса, объединились, чтобы повернуть голосование против кого-нибудь другого: они остановились на человеке, которого все они вместе недолго любили, - Гиперболе. [159] Таким образом, объединившись, они получили достаточное количество голосов против него, чтобы вынести приговор, и он был отправлен во временное изгнание. Но о таком результате никто не думал, когда голосование было назначено, и Плутарх даже изображает народ хлопающим в ладоши, как хорошую шутку. Впоследствии все, кажется, даже враги Гипербола, признали это грубым злоупотреблением остракизмом. И язык самого Фукидида явно намекает на это; ведь если даже допустить, что Гипербол полностью заслужил порицание, которым одарил его историк, никто не мог рассматривать его присутствие как опасное для общества; остракизм не был введен для борьбы с низким бесчестием или нечестием. Еще раньше оно вышло из политической морали Афин, а этот приговор довершил его исчезновение, так что впоследствии мы никогда не слышали о его применении. В прежние времена оно было

чрезвычайно ценным, поскольку защищало растущую демократию от узурпации власти отдельными лицами и от опасного преувеличения соперничества между отдельными лидерами; но теперь демократия была достаточно сильна, чтобы отказаться от такой исключительной защиты. Однако если бы Алкивиад вернулся из Сиракуз победителем, весьма вероятно, что у афинян не было бы другого средства, кроме предохранительного противоядия в виде остракизма, чтобы спастись от него как от деспота.

В начале лета (416 г. до н. э.) афиняне предприняли осаду и завоевание дорийского острова Мелос, одного из Кикладских островов и единственного, кроме Феры, который еще не был включен в их империю. И Мелос, и Фера были древними колониями Лакедемонии, с которой их связывала сильная родовая симпатия. Они никогда не присоединялись к Делосской конфедерации и не были связаны с Афинами; но в то же время они никогда не принимали участия в недавней войне против Афин и не давали ей повода для жалоб,^[160] пока она не высадилась и не напала на них на шестом году последней войны. Теперь она возобновила свою попытку, направив против острова значительное войско под командованием Клеомедеса и Тисия: тридцать афинских трирем с шестью хианскими и двумя лесбийскими, двенадцать сотен афинских гоплитов и пятнадцать сотен гоплитов из союзников, с тремя сотнями лучников и двадцатью конными стрелками. Эти офицеры, высадив свои войска и заняв позиции, отправили в город посланцев с призывом к правительству сдаться и стать подданными Афин.

В Греции часто, если не сказать повсеместно, даже в правительствах, не исповедующих демократию, существовала практика обсуждать предложения о мире или войне перед народным собранием. Но в данном случае мелийские вожди отступили от этой практики и допустили посланников только к частной беседе со своим исполнительным советом. Об этой беседе Фукидид рассказывает подробно и обстоятельно, причем удивительно долго, учитывая его общую краткость. Он приводит тринадцать отдельных замечаний и столько же ответов, которыми обменивались афинские посланники и мелийцы; ни одно из них не является отдельно длинным, а некоторые очень короткие; но диалог, который ведется, драматичен и очень впечатляет. Действительно, есть все основания заключить, что то, что мы читаем у Фукидида, в гораздо большей степени является его собственным и в меньшей - достоверным сообщением, чем любая из других речей, которые он, как он утверждает, излагает. Ведь это была не публичная речь, в отношении которой он мог бы посоветоваться с памятью многих людей: это была частная беседа, в которой могли принимать участие три или четыре афинянина и, возможно, десять или дюжина мелийцев. Поскольку все мелийцы были убиты сразу после взятия города, остались только афинские посланники, через которых Фукидид мог узнать, что произошло на самом деле. В том, что он слышал от них или через них общий характер происходившего, я не сомневаюсь: но нет никаких оснований полагать, что он получил от них что-то похожее на последовательный поток дебатов, который, вместе с частью иллюстративных рассуждений, мы должны отнести к его драматическому гению и устройству.

Афинянин начинает с того, что ограничивает предмет обсуждения взаимными интересами обеих сторон в тех особых обстоятельствах, в которых они сейчас находятся, несмотря на стремление мелийцев расширить круг тем, вводя соображения справедливости и апеллируя к чувствам беспристрастных критиков. Он не станет умножать слова, чтобы доказать справедливое происхождение Афинской империи, воздвигнутой после изгнания персов, или излагать нанесенный ущерб в качестве предлога для нынешней экспедиции. Не слушает он и уговоров мелийцев, что они, хотя и являются колонистами Спарты, никогда не воевали с ней и не причиняли Афинам зла. Он призывает их стремиться к тому, что достижимо при

существующих обстоятельствах, поскольку они не хуже его знают, что справедливость в рассуждениях людей устанавливается по равному принуждению с обеих сторон; сильные делают то, что позволяет их власть, а слабые подчиняются ей.^[161] На это мелийцы отвечают, что, отбросив всякую апелляцию к справедливости и говоря только о целесообразности, они считают целесообразным для Афин не разрушать общую моральную санкцию человечества, а позволить, чтобы равенство и справедливость оставались убежищем для людей в беде, с некоторой снисходительностью даже к тем, кто не может привести доводы в пользу полной и строгой правоты. Больше всего в этом были заинтересованы сами Афины, так как их гибель, если она когда-нибудь произойдет, будет ужасным наказанием для них самих и уроком для других. Не такие имперские города, как Спарта, жестоко обращаются с побежденными. Более того, наше нынешнее состязание ведется не против Спарты, а для того, чтобы определить, смогут ли подданные собственными силами одержать верх над своими правителями. Об этом мы должны судить сами: а пока напомним вам, что мы пришли сюда ради выгоды нашей империи и что сейчас мы говорим о вашей безопасности, желая без труда для себя подчинить вас нашей империи и сохранить вас к обоюдной выгоде. "Не можете ли вы оставить нас в покое и позволить нам быть вашими друзьями, а не врагами, но не союзниками ни вам, ни Спарте?" - спросили мелийцы. "Нет (был ответ); ваша дружба приносит нам больше вреда, чем ваша вражда: ваша дружба - доказательство нашей слабости в глазах наших союзников; ваша вражда демонстрирует нашу силу". - Но неужели ваши подданные действительно принимают такую меру справедливости, чтобы поставить нас, не имеющих с вами никакой связи, на одну ступень с собой, большинство из которых - ваши собственные колонисты, а многие из них даже восстали против вас и были вновь завоеваны?" - "Да, ибо они считают, что и те, и другие имеют справедливые основания требовать независимости, и что если вы остаетесь независимыми, то это происходит только от вашей силы и от нашего страха напасть на вас. Так что ваша покорность не только расширит нашу империю, но и укрепит нашу безопасность во всем мире; тем более что вы - островитяне, и к тому же слабые, а мы - владыки моря." - "Но, конечно, это обстоятельство в другом смысле защищает вас, поскольку свидетельствует о вашей умеренности: ведь если вы нападете на нас, вы сразу же встревожите всех нейтралов и превратите их во врагов." "Мы мало боимся континентальных городов, которые находятся вне пределов нашей досягаемости и вряд ли примут участие против нас, но только островитян; либо еще не вошедших в нашу империю, как вы, либо уже вошедших в нашу империю и недовольных ограничениями, которые она налагает. Именно такие островитяне своим непродуманным упрямством могут с открытыми глазами подвергнуть опасности и нас, и себя". - Мы хорошо знаем (сказали мелийцы после обмена замечаниями), как страшно бороться с вашей превосходящей силой и удачей; тем не менее, мы верим, что в отношении удачи мы получим справедливое отношение от богов, поскольку мы стоим на почве права против несправедливости; а что касается нашей меньшей силы, мы верим, что недостаток будет восполнен нашей союзницей Спартой, чей родственник род заставит ее из стыда помогать нам. "Мы тоже (отвечали афиняне) думаем, что нам не будет хуже, чем другим, в отношении божественной благосклонности. Ибо мы не выдвигаем никаких требований и не совершаем никаких действий, превосходящих то, во что люди верят в отношении богов и чего желают в отношении себя. То, во что мы верим относительно богов, совпадает с тем, что мы видим в практике людей: импульс природы по необходимости склоняет их к власти над тем, что уступает им в силе. Это принцип, которого мы придерживаемся сейчас, - не будучи первыми, кто его установил или следовал ему, но обнаружив, что он установлен и, вероятно, будет существовать вечно, - и прекрасно понимая, что вы или другие на нашем месте поступили бы так же. Что касается твоих ожиданий от лакедемонян, основанных на позоре их, оставшихся глухими к твоему призыву, то мы поздравляем тебя с невинным простодушием,

но в то же время осуждаем такую глупость. Ведь лакедемоняне, действительно, наиболее прилежны к совершенству в отношении самих себя и своих национальных обычаев. Но, глядя на их поведение по отношению к другим, мы со всей определенностью утверждаем и можем доказать на многих примерах из их истории, что они из всех людей наиболее примечательны тем, что истолковывают приятное как почетное, а целесообразное как справедливое. Это не то состояние ума, которое вам требуется, чтобы соответствовать вашим отчаянным расчетам на безопасность".

После обмена другими замечаниями в том же духе афинские посланники, настойчиво призывая мелийцев более осторожно пересмотреть вопрос между собой, удалились, и через некоторое время мелийский совет напомнил им о себе следующими словами: "Мы придерживаемся того же мнения, что и вначале, афиняне: мы не откажемся от независимости города, который стоит уже семьсот лет; мы еще сделаем попытку спастись, полагаясь на ту благоприятную судьбу, которую боги до сих пор нам предоставляли, а также на помощь людей, особенно лакедемонян. Мы просим считать нас вашими друзьями, но не враждебными ни одной из сторон, и чтобы вы покинули остров после заключения такого перемирия, которое было бы взаимоприемлемым". "Что ж (сказали афинские посланники), вы, кажется, одни считаете будущие случайности более ясными, чем факты перед вашими глазами, и смотрите на неопределенное расстояние через ваши собственные желания, как на настоящую реальность. Вы поставили все на лакедемонян, на фортуны и на сладострастные надежды, и вместе со всем этим вы потерпите крах".

Осада была немедленно начата. Вокруг города была возведена крепостная стена, распределенная по частям между различными союзниками Афин; город был оставлен в полной блокаде, как с моря, так и с суши, в то время как остальная часть вооружения отошла домой. Город оставался блокированным в течение нескольких месяцев. За это время осажденные сделали два успешных вылазки, которые принесли им временное облегчение и заставили афинян послать дополнительный отряд под командованием Филократа. В конце концов, запасы провизии были исчерпаны; среди самих мелийцев начались заговоры с целью предательства, так что они были вынуждены сдаться по собственному желанию. Афиняне решили предать смерти всех мужчин военного возраста, а женщин и детей продать в рабство. Кто был инициатором этого варварского решения, Фукидид не говорит, но Плутарх и другие авторы сообщают, что Алкивиад^[162] горячо поддерживал его. Впоследствии пятьсот афинских поселенцев были отправлены туда, чтобы сформировать новую общину: очевидно, не как клерухи, или афинские граждане, а как новые мелийцы^[163].

Если рассматривать действия афинян по отношению к Мелосу от начала до конца, то они представляют собой один из самых грубых и непростительных примеров жестокости в сочетании с несправедливостью, которые представляет нам греческая история. Оценивая жестокость таких массовых казней, мы должны помнить, что по законам войны пленник полностью отдавался в распоряжение завоевателя, и что афинский гарнизон, если бы он был захвачен коринфянами в Наупакте, Ниссее или в другом месте, наверняка подвергся бы той же участи, если бы только его не сохранили для обмена. Но обращение с мелийцами выходит за рамки всех законов войны, ведь они никогда не были в состоянии войны с Афинами и не сделали ничего, что могло бы вызвать их враждебность. Более того, приобретение острова не представляло для Афин никакой материальной ценности; его не хватало, чтобы оплатить расходы на вооружение, использованное для его захвата. И хотя выгода была во всех смыслах незначительной, потрясение греческих чувств, вызванное всей этой операцией, похоже, нанесло Афинам серьезный ущерб. Далеко не способствуя укреплению всей ее империи за счет захвата этого небольшого островного населения, которое до сих пор было

нейтральным и безвредным, это не вызвало ничего, кроме одиозного осуждения, и в последующие времена было оценено как одно из первых ее злодеяний.

Удовлетворить свою имперскую гордость новым завоеванием - легким эффектом, хотя и малозначительным - было, несомненно, главным мотивом; вероятно, ее также подкрепляла злоба против Спарты, между которой и ею самой существовало глубокое враждебное чувство, и желание унижить Спарту через мелийцев. Эта страсть к новым приобретениям, вытеснившая более разумные надежды на возвращение утраченных частей империи, в следующих главах будет проявляться с еще более фатальным преобладанием.

Оба эти момента, как можно заметить, ярко выражены в диалоге, изложенном Фукидидом. Я уже говорил, что этот диалог вряд ли может отражать то, что происходило на самом деле, за исключением нескольких общих моментов, которые историк разложил на умозаключения и иллюстрации,[164] тем самым драматизируя данную ситуацию в сильной и характерной манере. В уста афинских посланников вложен язык пиратов и разбойников, как давно заметил Дионисий Галикарнасский[165], высказав подозрение, что Фукидид так изложил дело с целью дискредитировать страну, отправившую его в изгнание. Что бы ни думали об этом подозрении, мы, по крайней мере, можем утверждать, что аргументы, которые он здесь приписывает Афинам, не согласуются даже с недостатками афинского характера. Афинские ораторы более открыты для обвинений в двусмысленных формулировках, умножении ложных притязаний, смягчении плохих сторон своего дела, придании приятного названия порочным поступкам, использовании того, что правильно называется *софистикой*, когда это необходимо для их цели.[Язык посланника в Мелосе, который иногда приводили в качестве иллюстрации безнравственности класса или профессии, ошибочно называемой школой софистов в Афинах, прежде всего, отличается дерзкой откровенностью; презрением не только к софистике в современном смысле этого слова, но даже к таким правдоподобным оправданиям, которые могли бы быть предложены. Станным образом утверждается, будто *"старый добрый план, согласно которому братья должны те, у кого есть власть, а оставлять - те, кто может"*, был впервые открыт и открыто провозглашен афинскими софистами; В то время как истинная цель и ценность софистов, даже в современном и худшем смысле этого слова - отбросив извращение применения этого смысла к тем, кого называли софистами в Афинах, - состоит в том, чтобы предоставить правдоподобную материю для обманчивого оправдания, чтобы сильный человек мог действовать по этому "старому доброму плану" сколько угодно, но не афишируя его, а исповедуя честную сделку или справедливое возмездие за какую-то воображаемую ошибку. Волк в басне Эзопа (о волке и ягненке) говорит как софист; афинский посланник в Мелосе говорит совершенно не как софист, ни в афинском, ни в современном смысле этого слова; мы можем добавить, что он вообще не похож на афинянина, как заметил Дионисий.

Фактически и на практике верно, что более сильные государства в Греции и в современном мире обычно стремились, как и на протяжении всей истории вплоть до наших дней, увеличить свою власть за счет более слабых. Все территории Греции, за исключением Аттики и Аркадии, были захвачены завоевателями, которые лишали прежних жителей собственности или обращали их в рабство. Мы видим, как Брасидас напоминает своим солдатам о добром мече их предков, которые установили господство над людьми, гораздо более многочисленными, чем они сами, как предмет гордости и славы:[167] а когда мы дойдем до времен Филиппа и Александра Македонского, мы увидим, что жажда завоеваний достигла такого размаха, какого никогда не наблюдалось среди свободных греков. Можно привести множество примеров права, основанного на простом превосходстве силы, в качестве параллели афинскому завоеванию Мелоса: но беспрецедентным является способ,

принятый афинским посланником для его оправдания, или, скорее, для того, чтобы отбросить всякое оправдание, взглянув на фактическое состояние цивилизации в Греции. Варварский захватчик бросает свой меч на весы вместо аргументов: цивилизованный завоеватель обязан в соответствии с принятой международной моралью предоставить какое-либо оправдание, - хорошее, если он может, - ложное или притворное, если у него нет лучшего. Но афинский посланник не копирует ни презрительное молчание варвара, ни гладкую ложь цивилизованного захватчика. Хотя он прибыл из самого культурного города Греции, где преобладали пороки утонченности, а не варварства, он пренебрегает обычными искусствами цивилизованной дипломатии больше, чем это сделал бы посланник даже из Аргоса или Коркиры. Он даже не решается упомянуть то, что можно было бы сказать с полной правдой, как факт, что бы ни думали о его достаточности в качестве оправдания, - что мелийцы в течение последних пятидесяти лет пользовались безопасностью вод Эгейского моря за счет Афин и их союзников, без какой-либо собственной платы.

Так, по крайней мере, он выглядит в фукидидовском драматическом фрагменте -Μήλου Ἰλῶσις ("Взятие Мелоса"), - если мы можем пародировать название утраченной трагедии Фриниха "Взятие Милета". И я думаю, что всесторонний взгляд на историю Фукидида подскажет нам объяснение этой драмы с ее мощным и трагическим эффектом. Взятие Милета происходит непосредственно перед великой афинской экспедицией против Сиракуз, которая была решена через три или четыре месяца после этого и отправлена в течение следующего лета. Эта экспедиция была гигантской попыткой Афин, которая закончилась самой разрушительной катастрофой, известной древней истории. От такого удара Афинам было невозможно оправиться. Хотя, будучи искалеченной, она, конечно, боролась с его последствиями с удивительной энергией; но ее состояние продолжало, в основном, ухудшаться, - но с некоторыми моментами очевидного восстановления, - вплоть до ее полного прозябания и подчинения Лисандром. Теперь Фукидид, как раз перед тем, как перейти на плоскость этого нисходящего прогресса, делает остановку, чтобы проиллюстрировать чувства афинской власти в ее самом преувеличенном, наглом и жестоком проявлении, этим драматическим фрагментом о посланниках в Мелосе. Следует вспомнить, что Геродот, собираясь описать поход Ксеркса в Грецию, которому суждено было закончиться столь фатальным унижением, внушает читателям развернутое представление о наглости и сверхчеловеческой гордыне монарха с помощью различных разговоров между ним и придворными, а также других анекдотов в сочетании с подавляющими характеристиками сбора в Дорискусе. Подобные моральные контрасты и сопоставления, особенно когда губительные перемены следуют за чрезмерной удачей, были очень интересны для греческого ума. И Фукидид, имея перед собой акт великой несправедливости и жестокости со стороны Афин, совершенный именно в этот момент, воспользовался формой диалога, чтобы хоть раз в своей истории донести чувства презренного и самоуверенного завоевателя в драматической антитезе. Это, однако, его собственные настроения, которые он считает подходящими для данной ситуации; это не настроения афинского посланника, тем более не настроения афинской публики, и уж тем более не настроения столь презируемого класса людей, афинских софистов.

ГЛАВА LVII.

СИЦИЛИЙСКИЕ ДЕЛА ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ДИНАСТИИ ГЕЛОНОВ.

В предыдущих главах я довел общую историю Пелопоннесской войны до времени, непосредственно предшествовавшего памятной афинской экспедиции в Сиракузы, которая изменила весь ход войны. В этот период и на некоторое время вперед история пелопоннесских греков становится тесно связанной с историей сицилийских греков. Но до сих пор связь между ними была лишь эпизодической и не имела большого взаимного влияния, поэтому для удобства читателя я решил полностью разделить эти два потока, опустив действия Афин на Сицилии в течение первых десяти лет войны. Теперь я приступаю к заполнению этого пробела: расскажу, насколько это возможно, о сицилийских событиях в период между 461-416 гг. до н. э. и перечислю последовательные шаги, благодаря которым афиняне запутались в амбициозных проектах против Сиракуз, пока в конце концов не решили поставить большую часть своих сил на эту роковую карту.

Угасание династии Гелонов в Сиракузах,^[168] за которым последовало изгнание или отставка всех других деспотов на острове, оставило различные греческие города реорганизовываться в свободные и самостоятельные правительства. К сожалению, наши воспоминания об этой революции крайне скудны, но их достаточно, чтобы понять, что это было нечто большее, чем смена единоличного правительства на народное. Она включала в себя, кроме того, передачу в самых широких масштабах как жителей, так и имущества. Предыдущие деспоты отправили в изгнание многих старых граждан, пересадили других из одной части Сицилии в другую, предоставили поселения многочисленным эмигрантам и наемникам, преданным их интересам. Когда династии были свергнуты, многое из этого было отменено, так что личная и имущественная революция оказалась более сложной и запутанной, чем политическая. После периода сильных волнений было заключено соглашение, по которому приверженцы изгнанной династии были поселены частично на территории Мессены, частично в восстановленном городе Камарине в восточной части южного побережья, граничащей с Сиракузами^[169].

Но хотя мир был восстановлен, эти большие переселения жителей, впервые начатые деспотами, - и беспорядочное смешение рас, религиозных институтов, диалектов и т. д., которые неизбежно происходили в ходе этого процесса, - оставили на всей Сицилии ощущение местной нестабильности, весьма отличное от долгого традиционного владения в Пелопоннесе и Аттике, и причислялись иностранными врагами к элементам ее слабости.^[170] Удивительно, что такие реальные и мощные причины беспорядков вскоре были так эффективно взяты под контроль народными правительствами, что наступившие полвека были, несомненно, самым процветающим и спокойным периодом в истории острова.

Южное побережье Сицилии было занято, начиная с запада, Селинусом, Агригентумом, Гелой и Камариной. Затем появились Сиракузы, овладевшие юго-восточным мысом и южной частью восточного побережья: далее, на восточном побережье, Леонтины, Катана и Наксос: Мессен, на проливе, примыкающем к Италии. Центр острова и даже большая часть северного побережья были заняты неэллинскими сикелами и сиканами: на этом побережье единственным греческим городом была Гимера. Между Гимерой и мысом Лилибеум

западный угол острова был занят неэллинскими городами Эгеста и Эрикс, а также карфагенскими морскими портами, главным из которых был Панорм (Палермо).

Из этих различных греческих городов, все независимые, Сиракузы были первыми по силе, Агригентум - вторым. Вышеупомянутые причины, помешавшие первому началу народных правительств во всех этих городах, с наибольшей силой действовали в Сиракузах. Нам неизвестны особенности установленной там демократической конституции, но ее стабильности угрожал не один честолюбивый претендент, стремившийся захватить скипетр Гело и Иеро. Самым известным среди этих претендентов был Тындарион, который потратил значительное состояние на раздачу милостыни и привлечение сторонников среди бедняков. В конце концов его политические замыслы проявились настолько открыто, что он предстал перед судом, был осужден и предан смерти, но не без неудачного восстания его приверженцев, которые пытались его спасти. После того как несколько ведущих граждан предприняли аналогичную попытку и потерпели неудачу, народ счел целесообразным принять закон, подобный афинскому остракизму, разрешающий временное превентивное изгнание. [171\]](#) По этому закону несколько влиятельных граждан были фактически и быстро изгнаны; политические партии города так злоупотребляли новым механизмом, что люди, занимающие видное положение, как говорят, стали бояться вмешиваться в государственные дела. Таким образом, этот институт, как говорят, породил новые политические разногласия, не менее жестокие, чем те, которые он пресекал, так что сиракузяне были вынуждены отменить закон вскоре после его введения. Мы были бы рады узнать некоторые подробности об этом политическом эксперименте, помимо скудного обзора, приведенного Диодором, и особенно узнать о мерах предосторожности, с помощью которых применение остракизма было сдержано в Сиракузах. Возможно, в Афинах не позаботились о том, чтобы скопировать проверки и формальности, предусмотренные Клейстеносом. Однако при всех обстоятельствах этот институт, хотя и был опекунским, но, будучи предназначенным для соответствующих чрезвычайных ситуаций, был вполне открыт для злоупотреблений, так что у нас нет причин удивляться тому, что злоупотребления имели место, особенно в период большого насилия и раздоров. Удивительно скорее то, что в Афинах им так мало злоупотребляли.

Хотя остракизм, или "лепестковый", в Сиракузах был быстро прекращен, он, вероятно, оставил после себя благоприятное впечатление, насколько мы можем судить по тому факту, что новые претенденты на деспотизм в дальнейшем не упоминаются. Республика растет в богатстве и проявляет энергичные действия во внешних делах. Сиракузский адмирал Факеллус был послан с сильным флотом для подавления пиратства тирренских приморских городов и, опустошив остров Эльбу, вернулся домой под подозрением, что был подкуплен взятками от врага; по этому обвинению его судили и изгнали; в те же края был послан второй флот из шестидесяти трирем под командованием Апеллеса. Новый адмирал не только разграбил многие части Тирренского побережья, но и перенес свои опустошения на остров Корсика, в то время принадлежавший Тиррену, и полностью опустошил остров Эльба. Его возвращение ознаменовалось большим количеством пленных и богатой добычей [\[172\]](#).

Тем временем великие предшествующие революции в греческих городах Сицилии подняли новый дух среди внутренних сикелов и вдохновили сикельского князя Дукетия, человека сильного духом и способного, на большие планы по расширению владений. Многие изгнанные греки, вероятно, искали у него службы, и то ли по их предложению, то ли сам заразившись духом эллинского совершенствования, он приступил к реализации плана по приведению мелких сикельских общин к чему-то вроде городской жизни и коллективной кооперации. Приобретая славу благодаря захвату греческого города Моргантина, он побудил

все сикельские общины, за исключением Гиблы, заключить своего рода федеративный договор. Затем, чтобы получить центральный пункт для новой организации, он перенес свой собственный маленький город с вершины холма под названием Менæ в удобное место на соседней равнине, недалеко от священного участка богов под названием Палики.^[173] Поскольку почитание этих богов, определяемое, частности, поразительными вулканическими проявлениями в окрестностях, сделало эту равнину подходящей точкой притяжения для сикелов в целом, Дукетий получил возможность основать новый значительный город Палике со стенами большой окружности и обширными прилегающими землями, которые он распределил среди многочисленного сикельского населения, вероятно, с некоторыми греками в перемешку.

Влиятельное положение, которое приобрел Дукетий, подтверждается агрессивным характером его мер, направленных на постепенное возвращение хотя бы части земель, которые греки присвоили за счет коренного населения. Сикельский город в Эннезии был захвачен изгнанными из Этны иеронийскими греками и получил от них название Этна:^[174] Дукетий нашел средства, чтобы вновь завоевать его, заманив в ловушку главного магистрата. Затем он дерзнул вторгнуться на территорию агригентинцев и осадить один из их загородных гарнизонов под названием Мотьом. Мы получаем представление о его силе, когда узнаем, что агригентинцы, отправившись на освобождение этого места, сочли необходимым обратиться за помощью к сиракузянам, которые послали им навстречу отряд под командованием Болкона. Над этим объединенным войском Дукетий одержал победу, вследствие измены или трусости Болкона, как считали сиракузяне, так что они осудили его на смерть. Однако в следующем году удача сикельского князя изменилась. Объединенная армия этих двух могущественных городов подняла блокаду Мотиума, полностью разгромила его в поле и рассеяла все его силы. Оказавшись покинутым своими товарищами и даже на грани предательства, он принял отчаянное решение броситься на милость сиракузян. Ночью он поскакал к воротам Сиракуз, неизвестно как вошел в город, сел как молещик на алтарь в агоре и сдался вместе со всей своей территорией. Неожиданное зрелище собрало толпу сиракузцев, вызвав них самые сильные эмоции, и когда магистраты созвали собрание, чтобы решить его судьбу, голос милосердия оказался главенствующим, несмотря на противоположные рекомендации некоторых политических лидеров. Самые уважаемые из старших граждан, благоговейно рекомендовавшие мягкое обращение с падшим врагом в сочетании со скрупулезной заботой о том, чтобы не навлечь на город мстительную руку Немезиды, встретили свой призыв к великодушным чувствам народа единодушным возгласом "Спасите подателя!"^[175] Дукетий, отведенный от алтаря, был отправлен в Коринф, обязавшись в будущем спокойно жить там; сиракузяне обеспечили ему комфортное содержание.

На фоне жестокости, привычной для древних войн, этот примечательный случай вызывает одновременно удивление и восхищение. Несомненно, снисходительный импульс людей был вызван тем, что они видели Дукетия перед собой в покорной позе у алтаря, вместо того чтобы решать его судьбу в его отсутствие, - точно так же, как афинский народ был тронут видом пленного Дориея и побужден пощадить его жизнь по случаю, о котором будет рассказано далее.^[176] Если в некоторых случаях собравшиеся, повинувшись обычному буйству народных чувств, доводили суровость до крайности, то и в других случаях, как и в этом, обращение к гуманным побуждениям побеждало благоразумную заботу о будущей безопасности. Таков был плод, который пожинали сиракузяне, пощадив Дукетия, который, прожив год или два в Коринфе, нарушил свое условное освобождение. Притворившись, что получил приказ от оракула, он собрал несколько колонистов, которых повел в Сицилию, чтобы основать город Калк-Акте на северном побережье, принадлежащем сикелам. Мы не сомневаемся, что, когда

сиракузяне узнали, как была вознаграждена их снисходительность, ораторы, рекомендовавшие суровое обращение, похвалились бы своей прозорливостью[177].

Но возвращение этого энергичного врага было не единственной бедой, которую понесли сиракузяне. Решение пощадить Дукетия было принято без согласия агригентинцев, которые помогли его завоевать; последние, увидев его снова на острове, и снова грозным, были настолько возмущены, что объявили Сиракузам войну. Между этими двумя великими городами, первой и второй державами Сицилии, царила постоянная ревность. Между ними началась война, в которой приняли участие и другие греческие города. После продолжительной войны, сопровождавшейся различными враждебными действиями, особенно серьезным поражением агригентинцев при реке Гимере, последние запросили и получили мир. [178] Раздоры между двумя городами, однако, оставили Дукетию возможность основать город Калк-Акте и сделать некоторые успехи в восстановлении своего господства над сикелами, но во время этой операции его настигла смерть. Вероятно, он не оставил преемника для осуществления своих планов, так что сиракузяне, энергично атакуя, уменьшили многие сикельские поселения на острове, вернув себе прежнее завоевание, Моргантину, и покорив даже сильную позицию и город под названием Тринакия,[179] после храброго и отчаянного сопротивления жителей.

Благодаря этому большому притоку подданных и дани, в сочетании с недавней победой над Агригентом, Сиракузы возвысились и стали потакать планам распространения своего господства на весь остров: с этой целью число ее всадников было удвоено, и было построено сто новых трирем.[180] Были ли предприняты какие-либо шаги для осуществления ее замыслов, наш историк не сообщает. Но положение Сицилии в начале Пелопоннесской войны осталось прежним: Сиракузы, первый по силе город, предающийся честолюбивым мечтам, если не честолюбивым агрессиям; Агригентум, ревнивый второй, почти соперник; остальные греческие государства сохраняют свою независимость, но не без недоверия и опасений.

Хотя конкретные явления этого периода до нас не дошли, мы видим достаточно, чтобы доказать, что это был период великого процветания Сицилии. Богатство, торговля и общественные памятники Агригентума, особенно, кажется, даже превзошли сиракузские. Ее торговля с Карфагеном и африканским побережьем была обширной и прибыльной; ведь в это время в Ливии не выращивали ни виноградную лозу, ни оливы, а карфагеняне получали вино и масло с южной территории Сицилии,[181] особенно из Агригентума. Храмы города, среди которых главным был храм Зевса Олимпийского, отличались величайшим великолепием, превосходящим все подобные на Сицилии. Население города, как свободное, так и рабское, было очень велико: число богачей, содержавших колесницы и состязавшихся за приз на Олимпийских играх, было знаменито, не меньше, чем скопление произведений искусства, статуй и картин,[182] с разнообразными знаками украшения и роскоши. На все это мы обращаем особое внимание в связи с ужасной катастрофой, которая опустошила Агригентум в 406 году до н. э. от рук карфагенян. Именно в тот период, который мы сейчас описываем, было накоплено это процветание; несомненно, не только в Агригентуме, но в большей или меньшей степени во всех греческих городах острова.

Но не только материальным процветанием они отличались. В это время интеллектуальное движение в некоторых италийских и сицилийских городах было очень значительным. Незначительный городок Элея в заливе Посейдония воспитал двух величайших философов-

спекулянтов Греции - Парменидеса и Зенона. Эмпедокл из Агригентума был едва ли менее выдающимся в той же области, сочетая с этим политическую и практическую эффективность. Популярный характер сицилийских правительств стимулировал развитие риторики, в которой большую известность приобрели не только Эмпедокл и Полус в Агригентуме, но и Тисий и Коракс в Сиракузах, а также Горгий в Леонтинах.^[183] Конституция, установленная в Агригентуме после лишения династии Теронов, поначалу не была полностью демократической, главная власть принадлежала большому сенату, состоявшему из тысячи членов. Нам даже рассказывают, что амбициозный клуб граждан стремился к восстановлению деспотии, когда Эмпедокл, пользуясь богатством и высоким положением, возглавил народную оппозицию, чтобы не только победить эту интригу, но и низложить тысячный сенат и сделать правительство полностью демократическим. Его влияние на народ усиливалось благодаря жилке мистицизма и претензии на чудесные или божественные дары, которые сопровождали его философские спекуляции, в манере похожей на Пифагора.^[184] Такое же сочетание риторики с физическими спекуляциями встречается и в Горгии Леонтинском, чья слава как учителя по всей Греции была и больше, и раньше, чем у кого-либо другого. Именно подобный спрос на популярные речи в собраниях и судилищах послужил стимулом для учителей риторики Тисия и Коракса в Сиракузах.

В таком состоянии материального процветания, популярной политики и интеллектуальной деятельности сицилийские города оказались в момент начала великой борьбы между Афинами и Пелопоннесской конфедерацией в 431 году до н. э. В этой борьбе италийские и сицилийские греки не имели ни прямого отношения, ни чего-либо, что можно было бы опасаться из-за амбиций Афин; которые, хотя и основали Фурии в 443 году до н. э., похоже, никогда не стремились к политическому превосходству даже над этим городом, не говоря уже о других местах на побережье. Но сицилийские греки, хотя и образовали на своем острове обособленную систему, из которой, согласно господствующей политике Сиракуз, исключалось всякое иностранное вмешательство,^[185] все же были связаны симпатиями, а с одной стороны даже союзами, с двумя основными течениями эллинской политики. К союзникам Спарты относились все или большинство дорийских городов Сицилии - Сиракузы, Камарина, Гела, Агригентум, Селинус, возможно, Гимера и Мессен, - а также Локри и Тарентум в Италии: к союзникам Афин, возможно, Халкидский или ионический Регий в Италии.^[186] Были ли ионические города на Сицилии - Наксос, Катана и Леонтина - в это время объединены с Афинами каким-либо особым договором, весьма сомнительно. Но если мы изучим состояние политики до начала войны, то обнаружим, что связь сицилийских городов с обеих сторон с Центральной Грецией была скорее симпатией и тенденцией, чем выраженным обязательством и действием. Дорийские сицилийцы, несомненно, разделяя антипатию пелопоннесских дорийцев к Афинам, никогда не призывались к сотрудничеству со Спартой; ионические сицилийцы также не научились искать у Афин защиты от своего могущественного соседа Сиракуз.

Именно памятная ссора между Коринфом и Коркирой и вмешательство в нее Афин (до н.э. 433-432 гг.), которые приблизили сицилийские стороны к сотрудничеству в Пелопоннесе двумя различными способами: во-первых, возбудив самый яростный антиафинский военный дух в Коринфе, с которым сицилийские дорийцы вели основную торговлю и поддерживали симпатии, - во-вторых, обеспечив основу для действий афинских морских сил в Италии и Сицилии, которые были бы неосуществимы без установленной опоры в Коркире. Но Плутарх, которому следовало большинство историков, ошибается, и ему противоречит Фукидид, когда приписывает афинянам в это время амбициозные проекты в Сицилии, подобные тем,

которые они задумали семь или восемь лет спустя. В начале войны и в течение нескольких лет до ее начала политика Афин была чисто консервативной, а ее врагов - агрессивной, как я уже показывал в предыдущей главе. В тот момент Спарта и Коринф ожидали большой помощи от сицилийских дорийцев в виде военных кораблей, денег и провианта, а ценность Коркиры как союзника Афин заключалась в том, что она предоставляла возможности для препятствования таким подкреплениям, гораздо больше, чем от каких-либо ожидаемых завоеваний[187].

Весной 431 г. до н. э. спартанцы, которые в то время организовывали свое первое вторжение в Аттику и были полны надежд на то, что Афины будут разгромлены за одну-две кампании, задумали построить огромный флот из пятисот военных кораблей, входящих в состав конфедерации. Значительная часть этой суммы была возложена на италийских и сицилийских дорийцев, кроме того, они внесли денежный взнос с указанием воздержаться от немедленного выступления против Афин, пока их флот не будет готов.[188] Из столь ожидаемой помощи, правда, мало что было реализовано; что касается кораблей, то вообще ничего. Но ожидания и приказы Спарты показывают, что здесь, как и в других местах, она вела наступательные действия, а Афины - только оборонительные. Вероятно, коринфяне поощряли надежду на значительные подкрепления из Сиракуз и соседних городов, и эта надежда, должно быть, в значительной степени способствовала уверенности, с которой они начали борьбу. Каковы были причины, помешавшие ей осуществиться, нам точно не известно; и мы находим, что сиракузянин Гермократес упрекает своих соотечественников через пятнадцать лет после этого, непосредственно перед великой афинской экспедицией против Сиракуз, в их предшествующей апатии.[189] Но легко понять, что поскольку сицилийские греки не были напрямую заинтересованы в состязании - ни в обидах, за которые нужно было мстить, ни в опасностях, которых нужно было опасаться от Афин, - ни в привычке подчиняться требованиям Спарты, они могли довольствоваться выражением сочувствия и обещаниями помощи в случае необходимости, не облагая себя огромными налогами, которые Спарта с удовольствием налагала в агрессивных и чисто пелопоннесских целях. Возможно, ведущие люди Сиракуз из привязанности к Коринфу стремились действовать в соответствии с приказом. Но ни в Агригентуме, ни в Геле, ни в Селине аналогичные мотивы не действовали.

Однако, хотя приказ не был выполнен, можно не сомневаться, что о нем публично объявили и пригрозили, таким образом, он стал известен ионическим городам Сицилии, а также Афинам; и это сыграло существенную роль в том, что последние впоследствии решили помочь этим городам, когда те послали просить ее о помощи. Вместо того чтобы направить свои силы в Пелопоннес, где им нечего было выигрывать, сицилийские дорийцы предпочли напасть на ионические города на своем собственном острове, территорию которого они могли надеяться завоевать и присвоить, - Наксос, Катану и Леонтини. Эти города, несомненно, сочувствовали Афинам в их борьбе со Спартой, но, не будучи достаточно сильными, чтобы помочь ей или угрожать своим дорийским соседям, они были не в состоянии защитить себя без помощи афинян. Им помогали дорийский город Камарина, боявшийся своего могущественного пограничного города Сиракуз, и итальянский город Регий; а итальянский город Локри, злейший враг Регию, выступил против них на стороне Сиракуз. На пятое лето войны, обнаружив, что блокированы на море и прижаты к своим стенам, они послали в Афины, как союзники[190] и ионийцы, с просьбой о помощи и заверениями, что если Сиракузам удастся их разбить, то она и другие дорийцы в Сицилии немедленно пришлют положительную помощь, на которую так долго ссылались

пелопоннесцы. Во главе этого посольства стоял выдающийся ритор Горгий из Леонтины, чей особый стиль речи, как говорят, был нов для афинского собрания и произвел мощный эффект. Несомненно, что этот ритор приобрел себе многочисленных учеников и большие доходы не только в Афинах, но и во многих других городах Средней Греции,^[191] хотя приписывать ему успех данного обращения было бы преувеличением.

Теперь афиняне были заинтересованы как в защите ионических сицилийцев от завоевания дорийцами на острове, так и в препятствовании перевозке сицилийской кукурузы в Пелопоннес: они послали двадцать трирем под командованием Лахеса и Хариеадеса с указанием, выполняя эти задачи, выяснить возможность выйти за пределы обороны и совершить завоевания. Заняв пост в Регию, Лахес сделал кое-что для спасения ионических городов от морской блокады и даже предпринял неудачную экспедицию против Липарских островов, которые были в союзе с Сиракузами.^[192] В течение всего следующего года он продолжал войну в окрестностях Регию и Мессены, а его коллега Хариадес был убит. Напав на Милею на территории Мессении, он добился такого решающего преимущества над войсками Мессены, что город сам капитулировал перед ним, дал заложников и записал себя в союзники Афин и ионических городов.^[193] Он также заключил союз с неэллинским городом Эгеста на северо-западе Сицилии и вторгся на территорию Локри, захватив одну из крепостей на реке Халекс:^[194] после чего, во время второй высадки, он разбил локрийский отряд под командованием Проксена. Но его поход в глубь Сицилии против Инекса не увенчался успехом. Это был родной сикельский город, удерживаемый по принуждению сиракузским гарнизоном в акрополе; афиняне тщетно пытались взять его штурмом, но были отбиты с потерями.^[195] Лахес завершил свои операции осенью безрезультатным вторжением на территорию Гимеры и на Липарские острова. Вернувшись в Региум в начале следующего года (425 г. до н. э.), он обнаружил, что Пифодор уже прибыл из Афин, чтобы сменить его^[196].

Этот офицер прибыл как предвестник более значительной экспедиции, которая должна была прибыть весной под командованием Эвримедона и Софоклеса, которые должны были командовать вместе с ним. Ионические города в Сицилии, обнаружив, что эскадра под командованием Лахеса недостаточна для того, чтобы противостоять их врагам на море, ободрились и отправили в Афины второе посольство с просьбой о дополнительном подкреплении, одновременно прилагая все больше усилий для увеличения собственных военно-морских сил. Так случилось, что в этот момент у афинян не было особого занятия для своего флота, который они хотели держать в постоянной практике. Поэтому они решили отправить в Сицилию еще сорок трирем, надеясь на скорое завершение поединка^[197].

Ранней весной Эвримедон и Софокл отправились из Афин в Сицилию во главе этой эскадры, получив инструкции оказать помощь Коркире на своем пути, а с Демосфеном на борту действовать на побережье Пелопоннеса. Именно этот флот в сочетании с сухопутными войсками под командованием Клеона, почти случайно высадившись на лаконском побережье у Пилоса, добился для Афин самого значительного успеха за всю войну - захвата лакедемонских гоплитов в Сфактерии.^[198] Но флот был так долго занят, сначала блокадой этого острова, затем операциями у Коркиры, что достиг Сицилии только в сентябре^[199].

Такая задержка, чрезвычайно выгодная для Афин в целом, стала роковой для ее надежд на успех в Сицилии в течение всего лета. Пифодор, действовавший только с флотом, которым ранее командовал Лахес в Регию, не только потерпел поражение при нападении на Локри, но и понес более невосполнимую потерю из-за восстания Мессены, которая сдалась Лахесу за несколько месяцев до этого и которая вместе с Регией передала афинянам командование над проливом. Зная о приближении афинского флота, сиракузяне стремились лишить его

этой важной базы для операций против острова; и флот из двадцати кораблей - наполовину сиракузяне, наполовину локрийцы - при содействии партии в Мессене смог захватить город. Судя по всему, афинский флот в это время находился в Регии, а городу в то же время угрожал приход всего сухопутного флота Локри вместе с регийскими изгнанниками: последние даже не теряли надежды добиться приема в городе с помощью благоприятной партии. Хотя эти надежды и не оправдались, но отвлекающий маневр предотвратил поступление помощи из Регии в Мессену. Последний город теперь служил гаванью для враждебного Афинам флота,^[200] который был быстро усилен до более чем тридцати парусов и немедленно начал морские операции, надеясь разбить афинян и захватить Регий до прибытия Эвримедона. Но афиняне, хотя у них было всего шестнадцать трирем вместе с восемью регийскими, одержали решительную победу в случайно возникшей тяжбе за обладание торговым судном, проплывавшим через пролив. Они обратили корабли противника в бегство и заставили их искать убежища, одних под защитой сиракузских сухопутных сил у мыса Пелорус близ Мессены, других - у локрийских сил близ Регии, каждый как мог, с потерей одной триремы.^[201] Этот подвиг де настолько нарушил план действий локрийцев против последнего места, что их сухопутные силы ушли с регийской территории, а вся разбитая эскадра воссоединилась на противоположном берегу у мыса Пелорус. Здесь корабли были пришвартованы близко к берегу под защитой сухопутных войск, когда афиняне и регийцы подошли, чтобы атаковать их; но безуспешно, и даже с потерей одной триремы, которую люди на берегу сумели захватить и удержать с помощью грейферного железа; ее команда спаслась, переплыв на суда своих товарищей. Отбив врага, сиракузяне высадились на берег и гребли вдоль берега, отчасти с помощью буксирных канатов, до гавани Мессены, где на них снова напали, но афиняне во второй раз были отбиты, потеряв еще один корабль. Их превосходство в мореходстве оказалось бесполезным в этом прибрежном бою^[202].

Теперь афинский флот был внезапно отозван, чтобы предотвратить намеченное движение в Камарине, где фило-сиракузская партия под руководством Архия грозила восстанием: и мессенские войска, оставшись свободными, вторглись на территорию своего соседа, халкидского города Наксос, направив свой флот к устью Акесинеса возле этого города. Они опустошали земли и готовились к штурму города, когда с соседних холмов на помощь наксийцам спустилось значительное количество местных сикелов, и последние, обрадованные этим зрелищем и приняв новоприбывших за своих греческих собратьев из Леонтины, выскочили из ворот и предприняли энергичную вылазку в тот момент, когда их враги были не готовы. Мессенцы потерпели полное поражение, потеряв не менее тысячи человек, и еще большие потери понесли при отступлении домой от преследования сикелов. Их флот также вернулся в Мессену, откуда те корабли, которые не были мессенскими, вернулись домой. Город был настолько ослаблен недавним поражением, что для его защиты был послан локрийский гарнизон под командованием Демомелеса, а леонтинцы и наксийцы, вместе с афинской эскадрой, возвращавшейся из Камарины, напали на него по суше и по морю в этот тяжелый момент. Однако своевременная атака мессенцев и локрийцев рассеяла леонтийские сухопутные силы, а афинские войска, высадившись с кораблей, атаковали нападавших в беспорядке преследования и загнали их обратно в стены. Однако план против Мессены стал неосуществимым, и афиняне переправились через пролив в Регий^[203].

Таким нерешительным был результат операций в Сицилии в первой половине седьмого года Пелопоннесской войны: не видно, чтобы афиняне предприняли что-то значительное в осенней половине, хотя к Пифодору тогда присоединился весь флот под командованием Эвримедона.^[204] И хотя присутствие столь большого афинского флота в Регии произвело значительный эффект на умы сиракузян, триумфальные обещания афинян и поразительное унижение Спарты в течение месяцев, последовавших за взятием Сфактерии, вероятно,

поразили гораздо глубже. Весной восьмого года войны Афины владели не только спартанскими пленниками, но и Пилосом и Китирой, так что восстание гелотов казалось маловероятным. Она была полна надежд, в то время как ее обескураженные враги перешли в оборону. Поэтому сицилийские дорийцы, напуганные положением дел, столь отличным от того, в котором они начали войну три года назад, теперь стремились к умиротворению на своем острове.[205] Дорийский город Камарина, который до сих пор действовал вместе с ионическими или халкидскими городами, первым заключил отдельное соглашение с соседним городом Гела; в этот город были приглашены депутаты от всех городов острова с целью заключения мира[206].

Этот конгресс собрался весной 424 г. до н. э., когда Сиракузы, самый могущественный город Сицилии, взял на себя инициативу, призывая к общему интересу, который все имели в заключении мира. Сиракузец Гермократес, главный советник этой политики в своем родном городе, теперь явился на конгресс, чтобы подтвердить и поддержать ее. Он был хорошо воспитанным, храбрым и способным человеком, дальновидным в отношении внешних интересов своей страны, но в то же время с ярко выраженными олигархическими настроениями, с недоверием относившимся к внутреннему устройству народа, по-видимому, с полным основанием. В речи, которую Фукидид вложил в его уста по этому случаю, решительно говорится о необходимости любой ценой оградить Сицилию от иностранного вмешательства и уладить дома все разногласия, которые могут возникнуть между различными сицилийскими городами. Гермократес внушал своим слушателям, что агрессивные планы Афин, которые сейчас являются величайшей державой Греции, были направлены против всей Сицилии и угрожали всем городам одинаково, ионийцам не меньше, чем дорийцам. Если бы они ослабили друг друга внутренними распрями, а затем пригласили бы афинян в качестве третьей стороны, результатом стало бы разорение и рабство для всех. Афиняне были слишком готовы вторгаться повсюду, даже без приглашения: теперь они пришли с рвением, превосходящим все обязательства, под предлогом помощи халкидским городам, которые никогда им не помогали, но в действительности надеясь добиться завоевания для себя. Халкидские города не должны были полагаться на своих ионийских родственников в плане безопасности от злых замыслов Афин: как сицилийцы, они были в первую очередь заинтересованы в сохранении независимости острова. Если возможно, они должны поддерживать ненарушенный мир; если же это невозможно, то необходимо, по крайней мере, ограничить войну Сицилией, отстранив ее от посторонних вторжений. Все должны обмениваться жалобами и возмещать нанесенные обиды в духе взаимного терпения; Сиракузы - первый город на острове, способный выдержать все тяготы войны - были готовы показать пример, без глупой переоценки благоприятных шансов, столь губительной даже для первоклассных держав, и с полным осознанием неопределенности будущего. Пусть все они чувствуют, что они соседи, жители одного острова и называются общим именем сикелиотов; и пусть все они единодушно отбиваются от вторжения чужаков в их дела, будь то в качестве открытых нападающих или вероломных посредников"[207].

Эта речь Гермократа и искреннее стремление Сиракуз к миру нашли всеобщее сочувствие среди сицилийских городов, как ионических, так и дорических. Все они, несомненно, пострадали от войны, а ионийские города, просившие вмешательства афинян в качестве защитников против Сиракуз, восприняли явное беспокойство последних как справедливую гарантию ее спокойного поведения в будущем. Таким образом, мир был принят всеми воюющими сторонами, каждая из которых сохранила то, чем владела, за исключением того, что сиракузяне согласились уступить Моргантину Камарину, получив за это определенную сумму денег.[208] Ионические города оговорили, что Афины должны быть включены в

умиротворение; с этим условием согласились все, кроме эпизефирийских локрийцев.[209] Затем они ознакомили Эвримедона и его коллег с условиями, предложив им присоединиться к умиротворению от имени Афин, а затем вывести свой флот из Сицилии. Генералам не оставалось ничего другого, как согласиться с этим предложением. Таким образом, Афины заключили мир со всеми сицилийскими городами, предоставив взаимную свободу доступа любому военному кораблю, но не позволяя вооруженным силам пересекать море между Сицилией и Пелопоннесом. Затем Эвримедон отплыл со своим флотом домой[210].

Однако, добравшись до Афин, он и его коллеги были приняты народом с большим неудовольствием. Сам он был оштрафован, а его коллеги Софокл и Пифодор изгнаны по обвинению в том, что их подкупили, чтобы они покинули Сицилию в то время, когда флот, как считали афиняне, был достаточно силен, чтобы совершить важные завоевания. Почему с тремя коллегами обошлись по-разному, нам не известно. 211] Этот приговор был суровым и незаслуженным, ведь не похоже, что Эвримедон был в силах помешать ионийским городам заключить мир, хотя несомненно, что без них он не смог бы добиться ничего серьезного. Все, что кажется необъяснимым в его поведении, о котором рассказывает Фукидид, это то, что его прибытие в Регий со всем флотом в сентябре 425 года до н. э., похоже, не сопровождалось увеличением энергичности или успеха в ведении войны. Но афиняне - помимо чрезмерного обесценивания сицилийских городов, которое, как мы увидим в дальнейшем, фатально ввело их в заблуждение, - в этот момент находились на пике экстравагантных надежд, рассчитывая на новые триумфы повсюду, нетерпеливо ожидая разочарований и не соблюдая пропорции между средствами, вверенными им, и целями, ожидаемыми от их полководцев. Такая безмерная самоуверенность была болезненно исправлена в течение нескольких месяцев, битвой при Делиуме и потерями во Фракии. Но в настоящий момент это, вероятно, не столько удивляло, сколько огорчало трех полководцев, которые все покинули Афины до успеха в Сфактерии.

Ионические города в Сицилии вскоре почувствовали, что преждевременно отослали афинян. Вскоре после умиротворения Гелы вновь вспыхнули разногласия между Леонтини и Сиракузами - та же причина, которая послужила поводом для обращения к Афинам за три года до этого. Демократическое правительство Леонтини решило укрепить свой город, приняв в него много новых граждан; был проведен передел территориальных владений государства, чтобы предоставить участки земли этим новоприбывшим. Но городская аристократия, которой пришлось бы расстаться с частью своих земель, сорвала этот проект, казалось бы, еще до его официального решения, вступив в изменническую переписку с Сиракузами, введя сиракузское войско и изгнав демос.[212] В то время как эти изгнанники нашли приют других городах, богатые леонтинцы покинули и разобрали свой город, перенесли свое место жительства в Сиракузы, и были зачислены в сиракузские граждане. Для них эта операция была очень выгодной, так как они стали хозяевами имущества изгнанного Демоса в дополнение к своему собственному. Однако вскоре некоторые из них, недовольные своим проживанием в Сиракузах, вернулись в покинутый город и обустроили его часть под названием Фокеи, а также соседний крепкий пост под названием Брикинни. Здесь, присоединившись к значительному числу изгнанных демосцев, они сумели продержаться некоторое время против попыток сиракузян изгнать их из своих укреплений.

Новый набор граждан, который планировала леонтийская демократия, датируется годом, следующим за умиротворением Гелы, и, вероятно, был призван поставить город в более защищенное положение в случае возобновления атак со стороны Сиракуз, компенсируя таким образом уход афинских вспомогательных войск. Леонтинский демос, находясь в изгнании и страдая, несомненно, горько раскаиваясь в том, что согласился уволить этих

помощников, отправил посланников в Афины с жалобами и повторными мольбами о помощи[213].

Но Афины тогда были слишком подавлены, чтобы откликнуться на их призыв; после поражения при Делиуме и потерь во Фракии последовало перемирие на один год; и даже во время этого перемирия от нее требовались напряженные усилия во Фракии, чтобы сдержать продвижение Брасидаса. После истечения срока перемирия она отправила Феракса с двумя коллегами на Сицилию (422 г. до н. э.) со скромным отрядом из двух трирем. Ему было поручено попытаться организовать на острове антисиракузскую партию с целью восстановления леонтийского демоса. Проезжая вдоль побережья Италии, он заключил дружеские отношения с некоторыми греческими городами, особенно с Локрийским, который до сих пор держался в стороне от Афин; и его первые обращения в Сицилии, казалось, обещали успех. Его заявления об опасности, исходящей от сиракузских амбиций, были хорошо приняты как в Камарине, так и в Агригентуме. Ведь, с одной стороны, всеобщий ужас перед Афинами, продиктовавший умиротворение Гелы, теперь исчез, а с другой стороны, действия Сиракуз в отношении Леонтины были вполне рассчитаны на то, чтобы вызвать тревогу. На примере этих действий мы видим, что симпатии между демократиями разных городов не были всеобщими: сиракузская демократия объединилась с леонтинской аристократией, чтобы изгнать демоса, как за шестьдесят лет до этого деспот Гелон объединился с аристократией Мегары и Эвбеи и продал демоса этих городов в рабство. Родина знаменитого ратора Горгия была вычеркнута из списка населенных городов, ее храмы опустели, а территория стала частью Сиракуз. Все эти обстоятельства так сильно поражали воображение греков, что камаринцы, соседи Сиракуз с другой стороны, вполне могли опасаться, что и их вскоре постигнет такое же несправедливое завоевание, изгнание и поглощение. Агригентум, хотя и не испытывал подобных опасений, из политики и ревности к Сиракузам был склонен поддержать мнение Феракса. Но когда последний направился в Гелу, чтобы заручиться поддержкой этого города в дополнение к двум другим, он столкнулся с таким решительным сопротивлением, что все его планы были сорваны, и он не считал целесообразным даже открывать свое дело в Селине или Гимере. Возвращаясь, он пересек внутреннюю часть острова через территорию сикелов до Катаны, пройдя по пути мимо Брикинниса, где леонтинские демосы все еще поддерживали шаткое существование. Убедив их в необходимости держаться, он продолжил свое плавание на родину. В Мессинском проливе он наткнулся на несколько судов, перевозивших изгнанных локрийцев из Мессены в Локри. Локрийцы овладели Мессеной после умиротворения Гелы в результате внутренней смуты, но, продержавшись там некоторое время, были изгнаны в результате второй революции. Феракс, находясь в соглашении с Локрием, прошел мимо этих судов, не проявив враждебности[214].

Леонтинские изгнанники в Брикиннисе, однако, не получили никакой пользы от его заверений и, похоже, вскоре после этого были полностью изгнаны. Тем не менее, Афины еще долгое время не были расположены к операциям на Сицилии. Через несколько месяцев после визита Феракса на этот остров был заключен Никиасский мир: последствия этого мира заняли все ее внимание в Пелопоннесе, в то время как честолюбие Алкивиада в течение трех лет влекло ее к внутривосточным проектам и сотрудничеству с Аргосом против Спарты. Только в 417 году до н. э., когда эти проекты оказались несостоятельными, у нее появилось свободное время, чтобы переключить свое внимание на другое. В этом году Никиас задумал экспедицию против Амфиполя вместе с Пердиккасом, но его дезертирство сорвало этот план. В 416 году до н. э. был осажден и взят Маклос.

Тем временем сиракузяне очистили и присвоили всю территорию Леонтины, и теперь этот город существовал только в разговорах и надеждах изгнанников. Часть из них, по-видимому, продолжала оставаться в Афинах, обращаясь к ним с мольбами о помощи, которые начали привлекать внимание примерно в 417 году до н. э., когда произошел еще один случай, укрепивший их шансы на успех. Между соседними городами Селинунтом (эллинским) и Эгестой (неэллинским) в западном углу Сицилии вспыхнула ссора: частично из-за участка земли на реке, разделявшей эти две территории, частично из-за якобы имевших место нарушений в случаях межродовой связи. Селинунтинцы, не удовлетворившись собственными силами, заручились помощью союзников - сиракузян и таким образом поставили Эгесту в затруднительное положение как на суше, так и на море. [215] Эгестейцы заключили союз с Лакхесом за десять лет до этого, во время первой экспедиции афинян в Сицилию; на основании этого союза они отправились в Афины, чтобы просить ее о защите, после тщетного обращения в Агригентум и в Карфаген. Может показаться необычным, что Карфаген в это время не с готовностью принял предлог для вмешательства, учитывая, что десять лет спустя она вмешалась с таким разрушительным эффектом против Селина. Однако в это время страх перед Афинами и их грозным флотом, похоже, ощущали даже в Карфагене, [216] защищая таким образом сицилийских греков от самого опасного из своих соседей.

Эгестейские посланники прибыли в Афины весной 416 года до н. э., в то время, когда у афинян не было никаких ближайших проектов, которые могли бы занять их мысли, кроме предприятия против Маклоса, которое не могло быть ни долгим, ни сомнительным. Хотя они настоятельно излагали необходимость своего положения, в то же время они не выглядели, подобно леонтинцам, просто беспомощными просителями, взывающими к афинскому состраданию. Они опирались в своем призыве главным образом на политические соображения. Сиракузяне, уже уничтожив одного союзника Афин (Леонтинов), теперь наседали на второго (Эгесту) и таким образом последовательно покоряли их всех: как только это будет завершено, в Сицилии не останется ничего, кроме всесильной дорийской группировки, родственной Пелопоннесу и по происхождению, и наверняка окажущей действенную помощь в низложении самих Афин. Поэтому Афинам было необходимо предотвратить надвигающуюся опасность, немедленно вмешавшись, чтобы поддержать своих оставшихся союзников против посягательств Сиракуз. Если она пошлет морскую экспедицию, необходимую для спасения Эгесты, эгестейцы сами обязуются предоставить достаточные средства для ведения войны [217].

Такие заверения посланников и опасения, что сиракузцы станут источником силы для Пелопоннеса, вместе с молитвами леонтинцев разожгли аппетит Афин к расширению своей власти в Сицилии. Впечатление, произведенное на афинскую публику, благоприятное с самого начала, было доведено до еще более высокого уровня повторным обсуждением. Посланники неоднократно выступали в общественном собрании, вместе с теми гражданами, которые поддерживали их предложения. Во главе их стоял Алкивиад, который претендовал на командование предполагаемой экспедицией, прельщаясь как любовью к славе, приключениям, так и личной выгодой. Но из этих возобновившихся дискуссий становится ясно, что вначале мнение народа не было ни определенным, ни тем более единодушным, и что значительная часть поддерживала Никиаса в благоразумной оппозиции. Даже в конце концов принятое решение было не положительным согласием, а подлым условием, против которого, возможно, не смог устоять сам Никиас. В Эгесту были отправлены специальные посланники, отчасти для того, чтобы выяснить, как город сможет выполнить свое обещание оплатить расходы на войну, отчасти для того, чтобы провести расследование на месте и доложить об общем состоянии дел.

Возможно, посланные комиссары сами были людьми, дружелюбно настроенными к предприятию; не исключено, что некоторые из них могли быть подкуплены эгестейцами; по крайней мере, такое предположение не запрещено средним состоянием афинской общественной морали. Но самые честные и даже подозрительные люди вряд ли были готовы к тому, что по прибытии в Эгесту их обманут с помощью глубоко продуманных хитроумных уловок. Их провели в богатый храм Афродиты на горе Эрикс, где перед ними были выставлены тарелки и донаты; их было много, и они поражали воображение, но в основном состояли из серебряных позолоченных сосудов, которые, хотя и выдавались за чистое золото, на самом деле не представляли большой ценности. Кроме того, эгестейские граждане оказывали гостеприимство и развлекали как комиссаров, так и экипажи трирем. [219] Они собрали вместе все золотые и серебряные сосуды, блюда и кубки Эгесты, которые они еще больше увеличили, позаимствовав дополнительные украшения того же рода из соседних городов, как эллинских, так и карфагенских. На каждом очередном развлечении каждый эгестейский хозяин выставял весь этот большой запас тарелок как свою собственность, а сам переходил из дома в дом по случаю праздника. Таким образом, создавалась ложная видимость большого количества богатых людей в Эгесте; и афинские моряки, пока их сердца были покорены ласками, с изумлением смотрели на эту непомерную демонстрацию золота и серебра и были основательно одурачены обманом. [220] Чтобы завершить иллюзию, поставив ее на основу реальности и быстрой оплаты, сразу же были получены шестьдесят талантов нежданного серебра, готового для военных действий. С этой суммой в руках афинские комиссары, закончив осмотр, а также посланцы Эгесты вернулись в Афины, куда добрались весной 415 года до н. э., [221] примерно через три месяца после взятия Мелоса.

Вскоре афинское собрание было созвано для заслушивания их отчета, и обманутые комиссары нарисовали великолепную картину богатств, государственных и частных, которые они действительно видели и трогали в Эгесте, и представили шестьдесят талантов - месячную плату за флот из шестидесяти трирем - как небольшой взнос из огромного запаса, оставшегося после них. Пока они официально подтверждали способность эгестейцев выполнить свое обещание оплатить расходы на войну, моряки их трирем, обращаясь к собранию в качестве граждан, - вне всякого подозрения, что их подкупили, - переполненные симпатией к городу, в котором их только что так радушно встретили, и полные удивления от демонстрации богатства, свидетелями которого они стали, - вероятно, еще более эффективно способствовали разжиганию симпатий своих соотечественников. Поэтому, когда посланцы Эгеса снова возобновили свои прошения и представления, уверенно взывая к проверке, которой они подверглись, - когда снова было показано бедственное положение податливого Леонтина, - афинское собрание уже не откладывало принятие окончательного решения. Они решили немедленно отправить в Сицилию шестьдесят трирем под командованием трех полководцев - Никии, Алкивиада и Ламаха - с целью, во-первых, освободить Эгесту; во-вторых, как только эта главная задача будет выполнена, восстановить город Леонтины; и, наконец, способствовать развитию афинских интересов в Сицилии любым другим способом, который они найдут возможным. [222] После принятия этой резолюции на пятый день после этого было назначено новое собрание для урегулирования деталей.

Мы не можем сомневаться, что это собрание, на котором впервые были представлены донесения из Эгесты, стало безусловным триумфом для Алкивиада и тех, кто с самого начала выступал за экспедицию, а также смущением и унижением для Никиаса, который выступал против нее. Он, пожалуй, больше всех остальных был поражен заявлениями комиссаров и моряков, поскольку не верил в то, что они хотели доказать. Однако он не мог осмелиться

возразить очевидцам, говорившим с явной добросовестностью, и, поскольку собрание горячо поддержало их, ему стоило большого труда повторить свои возражения против схемы, которая теперь так сильно укрепилась в глазах общественности. Поэтому его речь, вероятно, была нерешительной и неумелой; тем более что его противники, отнюдь не желая одержать над ним личную победу, стремились предложить его имя первым в списке генералов, несмотря на его собственное заявленное неприятие. [223](#)] Но когда собрание разошлось, он пришел под страшным впечатлением от принятого им опасного решения и в то же время сознавал, что не справился со своей собственной аргументацией против него. Поэтому он решил воспользоваться следующим собранием, состоявшимся через четыре дня после этого, чтобы возобновить дебаты и снова осудить задуманную экспедицию. По справедливости, афиняне могли бы отказаться выслушать его по этому поводу; в самом деле, вопрос, который он поднял, не мог быть поставлен незаконно: принцип меры был уже определен, и оставалось только согласовать детали, для чего и было назначено следующее собрание. Но он был выслушан, причем с совершенным терпением; его речь, ценный образец как человека, так и времени, подробно изложена Фукидидом. Я привожу здесь ее основные моменты, не ограничиваясь точными выражениями.

"Хотя мы собрались сегодня, афиняне, чтобы уладить детали уже объявленной экспедиции в Сицилию, но я думаю, что нам следует еще посоветоваться, хорошо ли вообще посылать эту экспедицию; не должны ли мы поспешно ввязываться по просьбе чужеземцев в опасную войну, которая нам ни в коей мере не принадлежит. Для меня лично, конечно, ваша резолюция предлагает почетное назначение, и о собственной телесной опасности я забочусь так же мало, как и любой другой человек: однако никакие соображения личного достоинства никогда не мешали и не помешают мне высказать вам свое честное мнение, как бы оно ни расходилось с вашими привычными суждениями. Итак, я говорю вам, что, желая отправиться в Сицилию, вы оставляете здесь за спиной множество врагов и навлекаете на себя новых врагов, которые придут к вам на помощь. Возможно, вы полагаете, что ваше перемирие со Спартой является достаточной защитой. Действительно, это перемирие (правда, только номинально, благодаря интригам здешних и местных партий) может сохраняться до тех пор, пока ваша сила остается непоколебимой; но при первых же серьезных поражениях враги с готовностью воспользуются возможностью напасть на вас. Некоторые из ваших самых могущественных врагов даже не приняли перемирия; и если вы разделите свои силы так, как предлагаете сейчас, они, вероятно, сразу же нападут на вас вместе с сицилийцами, которых они были бы слишком рады заполучить в качестве союзников в начале войны. Вспомните, что ваши халкидские подданные во Фракии все еще бунтуют, и еще никогда не были покорены: другие континентальные подданные тоже не заслуживают доверия; и вы собираетесь возместить ущерб, нанесенный Эгесте, прежде чем вы еще подумаете о возмещении своего собственного ущерба. Теперь твои завоевания во Фракии, если ты их сделаешь, могут быть сохранены; но Сицилия так далека, а народ так могуществен, что ты никогда не сможешь сохранить постоянное господство; и нелепо предпринимать экспедицию, в которой завоевание не может быть постоянным, а неудача будет губительной. Эгестейцы тревожат вас перспективой сиракузского возвышения. Но мне кажется, что сицилийские греки, даже если они станут подданными Сиракуз, будут менее опасны для тебя, чем сейчас: ведь при нынешнем положении дел они могут послать помощь в Пелопоннес из желания каждого добиться расположения Лакедемона, но у императорских Сиракуз не будет повода подвергать опасности свою собственную империю ради того, чтобы уничтожить твою. Теперь вы полны уверенности, потому что вышли из войны лучше, чем опасались вначале. Но не доверяйте спартамцам: они, наиболее чувствительные к репутации превосходства, затаились, чтобы разыграть вас, чтобы исправить свое бесчестье: их олигархические махинации против вас требуют всей вашей бдительности и не оставляют вам

досуга думать об этих чужеземцах в Эгесте. Только что оправившись от натиска болезней и войны, мы должны сохранить эту вновь обретенную силу для наших собственных целей, а не тратить ее на вероломные заверения отчаянных изгнанников из Сицилии".

Затем Никиас продолжил, несомненно, обращаясь к Алкивиаду: "Если какой-нибудь человек, обрадованный тем, что его назначили командиром, хотя еще слишком молод для этого, побуждает вас к этой экспедиции в своих корыстных интересах, рассчитывая на восхищение своей пышностью в гонках на колесницах и на получение выгоды от своего командования, как средства для удовлетворения своих расточительств, не позволяйте такому человеку добиться известности для себя с риском для всего города. Убедитесь, что такие люди одинаково беспринципны в отношении общественного имущества и расточительны в отношении своего собственного, и что это дело слишком серьезно для опрометчивых советов молодости. Я трепещу, когда вижу перед собой эту группу, сидящую, по предварительному согласованию, рядом со своим лидером в собрании; и я, в свою очередь, увещаю пожилых людей, которые находятся рядом с ними, не стыдиться своей оппозиции, боясь прослыть трусами. Пусть они оставят этим людям губительное стремление к тому, что недостижимо, в убеждении, что лишь немногие планы удаются от страстного желания; многие - от обдуманного предвидения. Пусть они проголосуют против экспедиции, сохраняя без изменений наши нынешние отношения с сицилийскими городами и желая, чтобы эгестеяне завершили войну с Селином, как они ее начали, без помощи Афин. 224] Не бойся, pryтанис (господин президент), представить этот судьбоносный документ. Президент), вновь вынести этот важный вопрос на решение собрания, видя, что нарушение закона в присутствии стольких свидетелей не может подвергнуть тебя импичменту, в то время как ты дашь возможность исправить гибельное заблуждение".

Таковы были основные положения речи Никиаса по этому памяtnому случаю. Она была выслушана с вниманием и, вероятно, произвела определенное впечатление, так как полностью возобновила все дебаты, несмотря на формальную незаконность. Сразу же после того, как он сел, пока его слова еще были свежи в ушах слушателей, Алкивиад поднялся, чтобы ответить. Только что произнесенная речь, вновь поставившая вопрос об экспедиции, поставила под угрозу его самые смелые надежды как на славу, так и на денежные приобретения; ведь его мечты простирались дальше, чем у любого человека в Афинах; он мечтал не только о завоевании всей Сицилии, но и о Карфагене и Карфагенской империи. Противник Никиаса как по личному характеру, так и по политическим наклонностям, он довел свое соперничество до такой степени ожесточения, что в один прекрасный момент между ними было принято решение об остракизме. По общему согласию, этот вотум был отменен и списан на Гипербола; однако враждебные чувства все еще сохранялись с обеих сторон, и Никиас только что проявил их в парламентской атаке самого язвительного характера; тем более язвительной, что она была строго выверенной и вполне заслуженной. Спровоцированный, а также встревоженный, Алкивиад немедленно приступил к делу, его нетерпение вырвалось из формальностей exordium.

"Афиняне, у меня больше, чем у других, прав на пост полководца, - ибо насмешки Никиаса вынуждают меня начать с этого, - и я считаю себя вполне достойным его. Те самые дела, в которых он меня упрекает, являются источником не только славы для моих предков и меня самого, но и положительной пользы для моей страны. Ибо греки, увидев мою великолепную теорию в Олимпии, были побуждены оценить силу Афин даже выше реальной, считая ее до этого сломленной войной; когда я послал в списки семь колесниц, больше, чем когда-либо посылал любой частный человек, выиграл первый приз, занял второе и четвертое места и исполнил все аксессуары так, как подобает олимпийской победе. Обычай придает честь

таким подвигам, а сила исполнителей в то же время доносится до чувств зрителей. Мои выступления в Афинах, хорегические и другие, естественно, вызывают зависть у моих соперников здесь; но в глазах посторонних они являются свидетельствами силы. Такое так называемое безрассудство отнюдь не бесполезно, когда человек за свой счет служит городу не меньше, чем себе. Несправедливо и то, что человек, имеющий о себе возвышенное мнение, не должен вести себя по отношению к другим так, как если бы он был им равен; ведь человек, попавший в беду, не находит никого, кто мог бы принять на себя его долю. Так же как, попав в беду, мы не находим никого, кто мог бы поговорить с нами, так и человек пусть понесет на себе дерзость преуспевающих, или же пусть даст равные условия низшим, а затем претендует на получение их от высоких. Я хорошо знаю, что такие возвышенные личности, да и все, кто так или иначе добился известности, при жизни были непопулярны, в основном в обществе равных себе, а в некоторой степени и среди других; после же своей кончины они оставили такую репутацию, которая заставляет людей ложно утверждать о родстве с ними и побуждает свою страну хвалиться ими, не как чужеземцами или преступниками, а как своими гражданами и людьми, которые сделали ей честь. Именно этой славы я желаю, и в погоне за ней я подвергаюсь таким упрекам за свое частное поведение. Однако взгляните на мое общественное поведение и посмотрите, не сравнится ли оно с поведением любого другого гражданина. Я собрал вместе самые могущественные государства Пелопоннеса без всяких серьезных затрат и опасностей для тебя и заставил лакедемонян подвергнуть все свои силы в Мантинее удаче одного дня: опасность была столь велика, что, хотя они и победили, они еще не вернули себе твердую веру в свои силы".

"Так моя молодость и так называемая чудовищная глупость нашли подходящие слова для обращения к пелопоннесским державам и убедительность, чтобы вселить в них уверенность и заручиться их сотрудничеством. Не бойтесь теперь этой моей молодости, но пока я обладаю ею в полной силе и пока Никиас сохраняет свою репутацию удачливого человека, отчитывайте нас каждый по-своему"[225].

Оправдав таким образом себя лично, Алкивиадес перешел к тому, чтобы не допустить изменения уже принятого общественного решения. Сицилийские города, сказал он, не были столь грозными, как это представлялось. Население их, конечно, многочисленно, но непостоянно, беспокойно, часто находится в разъездах и не имеет привязанности к месту. Ни один человек не считал себя постоянным жителем и не заботился о защите города, в котором жил; не было ни оружия, ни организации для такой цели. Местные сикелы, ненавидя Сиракузы, охотно оказывали помощь нападавшим. Что касается пелопоннесцев, то, как бы ни были они сильны, сейчас они были не более отчаянными врагами, чем в прежние времена:[226] они могли вторгнуться в Аттику по суше, независимо от того, отплыли ли афиняне в Сицилию или нет; но они не могли причинить вреда на море, так как Афины все равно имели в резерве флот, достаточный для их сдерживания. Какое же основание было уклоняться от выполнения обязательств, которые Афины поклялись взять на себя перед своими сицилийскими союзниками? Конечно, *они* не могли оказать Аттике никакой помощи; но Афинам они были нужны не на своей стороне воды, а в Сицилии, чтобы не дать сицилийским врагам напасть на нее. Изначально она приобрела свою империю благодаря готовности вмешиваться везде, куда ее приглашали; и она не добилась бы никакого прогресса, если бы отстала или проявила благоразумие, тщательно изучая такие приглашения. Теперь же она не могла установить пределы своей имперской власти; она была вынуждена не только удерживать своих нынешних подданных, но и расставлять силки для новых, под страхом попасть в зависимость, если перестанет быть имперской. Пусть она

останется при своем мнении и наведет ужас на пелопоннесцев, предприняв эту великую экспедицию. Она, вероятно, покорит всю Сицилию; по крайней мере, она смирит Сиракузы: даже в случае неудачи она всегда сможет вернуть свои войска, благодаря своему неоспоримому превосходству на море. Неподвижная и бездейственная политика, рекомендованная Никиасом, противоречила не только нравам, но и положению Афин, и в случае продолжения была бы для них губительной. Ее военная организация придет в упадок, а силы будут растрачиваться на внутренние раздоры и конфликты, вместо той постоянной активности и приобретений, которые вошли в ее законы и привычки, и от которых теперь нельзя отказаться, даже если они сами по себе плохи, без быстрого разрушения"[227].

Таков был по сути ответ Алкивиада Никиасу. Теперь дебаты возобновились, и перед собранием выступило несколько ораторов с обеих сторон; больше, однако, было решительно за экспедицию, чем против нее. Встревоженные эгестейцы и Леонтины возобновили свои мольбы, взывая к клятвенной вере города: вероятно, и те афиняне, которые посетили Эгесту, снова выступили вперед, чтобы выразить протест против того, что они называли неблагородными сомнениями и инсинуациями Никиаса. Все эти призывы, после долгих дебатов, так сильно подействовали на собрание, что его решимость отправить флот стала еще более сильной, чем прежде; и Никиас, поняв, что дальнейшее прямое сопротивление бесполезно, изменил свою тактику. Теперь он предпринял маневр, направленный на то, чтобы отвратить своих соотечественников от этого замысла, подробно рассказав о его опасностях и трудностях и настаивая на том, что для их преодоления необходимы огромные силы. Он также не терял надежды на то, что они будут достаточно удручены подобными трудностями, чтобы полностью отказаться от этой затеи. Во всяком случае, если они будут упорствовать, он сам, как командующий, получит возможность осуществить его с полнотой и уверенностью.

Согласившись на экспедицию, он напомнил им, что города, на которые они собираются напасть, особенно Сиракузы и Селин, были мощными, густонаселенными, свободными, хорошо подготовленными во всех отношениях: гоплиты, всадники, легковооруженные войска, военные корабли, множество лошадей для кавалерии и изобилие кукурузы дома. В лучшем случае Афины не могли надеяться на других союзников в Сицилии, кроме Накса и Катаны, породнившихся с леонтинцами. Поэтому не только флот мог справиться с такими врагами на их собственной земле. Флот действительно должен быть чрезвычайно большим, ведь цель - не только морские сражения, но и поддержание связи на море, а также обеспечение ввоза пропитания. Но кроме того, необходимо иметь большое количество гоплитов, стрелков из лука и пращей, большой запас провизии на транспортах и, прежде всего, много денег: ведь средства, обещанные эгестейцами, окажутся пустым обманом. Армия должна быть не просто равна регулярным гоплитам и мощной кавалерии противника, но и не зависеть от иностранной помощи с первого дня высадки.[228] В противном случае, при малейшей неудаче, они везде найдут только активных врагов, без единого друга. "Я знаю, - заключил он, - что существует множество опасностей, против которых мы должны принимать меры предосторожности, и еще больше опасностей, в которых мы должны полагаться на удачу, как бы серьезно это ни было для простых людей. Но я решил оставить как можно меньше во власти фортуны и иметь в руках все средства разумной безопасности в то время, когда я покину Афины. Если исходить только из интересов содружества, то это самый надежный путь, а для нас, тех, кому предстоит формировать вооружение, он необходим для сохранения. Если кто-то думает иначе, я передаю ему командование"[229].

Вторая речь Никии произвела на собрание гораздо больший эффект, чем его первая речь, произнесенная после долгого и упорного обсуждения. Но это был эффект, совершенно противоположный тому, который он сам ожидал и предполагал. Народ не только не был обескуражен или отстранен от экспедиции теми препятствиями, которые он так старательно превозносил, но лишь с еще большим упорством присоединился к ней. Трудности, стоявшие на пути сицилийского завоевания, только еще больше привлекали их, вызывая еще больший пыл и стремление лично участвовать в этом деле. Люди не только без колебаний и сомнений приняли оценку, которую Никиас представил им риска и затрат, но и горячо восхваляли его откровенность не меньше, чем его проникательность, как единственное средство сделать успех гарантированным. Они были готовы безоговорочно удовлетворить все его просьбы с таким энтузиазмом и единодушием, какое редко можно было наблюдать в афинском собрании. На самом деле вторая речь Никиаса привела две несогласные жилы собрания к слиянию и гармонии, тем более желанной, что она была неожиданной. В то время как его сторонники поддерживали ее как лучший способ нейтрализовать народное безумие, его противники - Алкивиад, эгестеяне и леонтинцы - встретили ее с восторгом, как осуществление большего, чем они надеялись, и большего, чем они когда-либо могли осмелиться предложить. Если бы Алкивиад потребовал вооружения в столь огромных масштабах, народ бы остался глух. Но они так уважали Никиаса на основании благоразумия, удачи, благочестия и благосклонности богов, что его несогласие с их любимым планом действительно их беспокоило; и когда он выдвинул то же требование, они с радостью купили его согласие, приняв все условия, которые он выдвинул[230].

Таким образом, Никиас, вопреки своему собственному замыслу, не только придал предприятию гигантский размах, о котором его создатели и не помышляли, но и вложил в него всю душу Афин, вызвав прилив пыла, превосходящий все прежние примеры. Каждый присутствующий, как старый, так и молодой, богатый и бедный, представитель всех сословий и профессий, стремился отдать свое имя для личной службы. Одних соблазняла любовь к наживе, других - любопытство увидеть столь далекий край, третьих - гордость и мнимая безопасность зачисления на службу в столь неодолимое вооружение. Голос народа так настойчиво призывал к осуществлению задуманного, что небольшое меньшинство, сохранившее свои возражения, боялось поднять руки, опасаясь навлечь на себя подозрение в отсутствии патриотизма. Когда волнение несколько улеглось, оратор по имени Демострат, выступивший в качестве выразителя этих настроений, призвал Никиаса сразу же, без дальнейших уклонений, объявить, какой силы он требует от народа. Как ни был разочарован Никиас, но, не имея другого выхода, он с грустью ответил на призыв, сказав, что еще посоветуется со своими коллегами, но, по его первому впечатлению, он считает, что трирем должно быть не меньше ста, а гоплитов - не меньше пяти тысяч, афинян и союзников вместе. Кроме того, необходимо соразмерное количество других войск и сопровождающих, особенно критских лучников и пращников. Как ни огромны были эти требования, народное голосование не только одобрило их без промедления, но даже вышло за их рамки. Они предоставили генералам полное право определять численность вооружения и все остальные вопросы, связанные с экспедицией, так, как они сочтут нужным в интересах Афин.

В соответствии с этим судьбоносным постановлением немедленно начались набор и подготовка войск. Были отправлены сообщения, чтобы вызвать достаточное количество трирем от морских союзников, а также пригласить гоплитов из Аргоса и Мантинеи и нанять луков и пращников в других местах. В течение трех месяцев генералы были заняты этой работой, а город находился в состоянии тревоги и суеты, которая, однако, была фатально прервана инцидентом, о котором я расскажу в следующей главе.

Учитывая огромные последствия, которые повлекла за собой экспедиция Афин на Сицилию, стоит высказать несколько соображений о предварительных действиях афинского народа. Те, кто привык приписывать все несчастья Афин спешке, страстям и невежеству демократии, не найдут подтверждения этому обвинению в фактах, которые мы только что рассмотрели. Мольбы Эгестея и Леонтина, направленные в Афины весной или летом 416 года до н. э., подвергаются тщательному и неоднократному обсуждению в общественном собрании. Поначалу они наталкиваются на значительную оппозицию, но повторные дебаты постепенно разжигают симпатии и честолюбие народа. Однако ни один решительный шаг не может быть предпринят без более полной и достоверной информации с места, и для этого в Эгесту отправляются специальные уполномоченные. Эти люди возвращаются с решительным докладом, с триумфом подтверждая все, что обещали эгестейцы: не приходится удивляться, что народ так и не заподозрил глубоко запрятанного мошенничества, которым были обмануты их уполномоченные.

В результате этой миссии в Эгесту две партии - за и против планируемой экспедиции - явно объединились; и когда комиссары вернулись, принесли свидетельства, настолько решающие в пользу первых, укрепившаяся таким образом партия сочла себя вправе требовать принятия решения немедленно, после всех предыдущих дебатов. Тем не менее, прежде чем мера была окончательно утверждена, ей еще предстояло преодолеть новую и горячую оппозицию Никиаса. Именно эти долгие и частые дебаты, с часто повторяющимися, но всегда необоснованными возражениями, постепенно все глубже и глубже убеждали народ, привели его к единодушной поддержке и заставили держаться за нее с тем упорством, о котором будет рассказано в следующих главах. Если экспедиция и была ошибкой, то, конечно же, не из-за спешки, не из-за обсуждения и не из-за изучения вопроса. Никогда в греческой истории ни одна мера не была более тщательно взвешена заранее, не была более обдуманной и единогласно решенной.

Примечательна позиция Никиаса по отношению к этой мере. Как советник, который отговаривает и предостерегает, он придерживался правильной точки зрения, но в этом качестве он не мог увлечь за собой народ. Однако они настолько уважали его лично и не желали продолжать предприятие без него, что охотно принимали любые условия, которые он считал нужным выдвинуть. А условия, которые он назвал, привели к тому, что предприятие приобрело такие гигантские масштабы, о которых никто в Афинах и не помышлял; таким образом, в него была влита такая огромная доля афинской крови, что его поражение было бы равносильно гибели всего содружества. Это была первая беда Никиаса, когда, вынужденный отказаться от прямого противодействия, он прибег к косвенному маневру - потребовал больше, чем, по его мнению, готов был дать народ. Это будет лишь первая из печальной череды других ошибок, фатальных как для его страны, так и для него самого.

Однако, отдавая Никиасу должное за мудрость его разубеждающих советов и скептическое отношение к сообщениям из Эгесты, мы не можем не отметить противоположное качество Алкивиада. Его речь полна не только чрезмерной дерзости, как проявления индивидуального характера, но и необдуманных и губительных подстрекательств в отношении внешней политики его страны. Аргументы, которыми он подкрепляет экспедицию против Сиракуз, действительно более пагубны по своей тенденции, чем сама экспедиция, за неудачу которой Алкивиад не несет ответственности. Она могла бы преуспеть в своей цели, если бы была проведена должным образом; но даже если бы она преуспела, замечание Никиаса не менее справедливо, что Афины стремились к безмерной ширине империи, которую ей было бы совершенно невозможно сохранить. Вспомнив истинную политическую мудрость, с которой Периклес советовал своим соотечественникам упорно поддерживать

существующую империю, но ни в коем случае не хвататься за новые приобретения, пока у них есть сильные враги в Пелопоннесе, мы, напротив, оценим лихорадочную систему бесконечной агрессии, насаждаемую Алкивиадом, и его разрушительные принципы, согласно которым Афины должны вечно заниматься новыми завоеваниями под страхом утраты существующей империи и разрыва себя на части из-за внутренних разногласий. Даже если допустить необходимость использования Афинами своих военных и морских сил, как верно заметил Никиас, Амфиполь и восставшие подданные во Фракии все еще не покорены, и первое применение афинской силы должно быть направлено против них, а не тратиться на далекие опасности и вероломные новинки, создавая для Афин положение, в котором она никогда не сможет постоянно находиться. Параллель, которую проводит Алкивиад, между предприимчивым духом, благодаря которому Афинская империя была впервые приобретена, и неопределенными спекуляциями, которые он сам рекомендует, совершенно ошибочна. Афинская империя возникла благодаря предприимчивости афинян, вызванной серьезной тревогой и необходимостью со стороны всех греческих городов, расположенных в Эгейском море или вокруг него. Афины оказали существенную услугу, сдерживая персов и сохраняя море в лучшем состоянии, чем когда-либо прежде: ее империя началась с добровольной конфедерации и лишь постепенно перешла к принуждению, а местное положение всех ее подданных было достаточно близким, чтобы быть в пределах досягаемости ее контролирующего флота. Ее новая агрессивная карьера на Сицилии во всех этих отношениях была иной. Не менее удивительно и то, что Алкивиад утверждает, будто умножение числа подданных на этом далеком острове, для наблюдения за которым использовалась значительная часть афинского флота, придаст новую стабильность существовавшей ранее Афинской империи; Прочитать, в каких выражениях он высмеивает врагов как в Пелопоннесе, так и в Сицилии, причем сицилийская война была новым предприятием, едва ли менее масштабным и опасным, чем пелопоннесская, [231] и обратить внимание на заслуги, которые он ставит себе за операции в Пелопоннесе и битву при Мантинее, [232] хотя она закончилась полным провалом; восстановление господства Спарты до максимума, на котором она находилась до событий при Сфактерии! На самом деле ни одна речь Фукидида не изобилует столь необдуманными и ошибочными советами, как эта речь Алкивиада.

Как человек действия, Алкивиад всегда был храбр, энергичен и полон находчивости; как политик и советник, он был особенно опасен для своей страны, потому что обращался именно к их слабым местам и преувеличивал их сангвинический и предприимчивый нрав, доводя его до безрассудства, которое упускало из виду все постоянные расчеты. У афинян уже сложилось убеждение, что они, как морские владыки, имеют право на владычество и получение дани со всех островов; это убеждение они не только воплотили в жизнь, но и открыто исповедовали, напав на Маклос осенью предыдущего года. Поскольку Сицилия была островом, она, казалось, естественным образом подпадала под эту категорию подданных; не стоит удивляться, что на фоне неточных географических данных, бытовавших в то время, они не знали, насколько Сицилия больше [233], чем самый большой остров в Эгейском море. Тем не менее они, по-видимому, осознали, что за завоевание предстоит бороться; об этом можно судить по тому факту, что цель скорее скрывалась, чем открыто заявлялась, и что они согласились на все огромные приготовления, которых требовал Никиас [234]. Более того, мы увидим, что даже отправленное вооружение не задумывало ничего, кроме смутных и нерешительных идей о чем-то великом, что должно быть достигнуто в Сицилии. Но если афинская общественность была опрометчива и невежественна, думая о завоевании Сицилии, то гораздо более экстравагантными были взгляды Алкивиада, который смотрел даже дальше Сицилии, на завоевание Карфагена и его империи. Он хотел удовлетворить не только амбиции; не меньше он жаждал и огромной личной выгоды, которая

могла бы последовать за успехом, чтобы восполнить недостаток, вызванный его расточительными расходами[235].

Если вспомнить, как громко звучали обвинения в адрес Клеона в самонадеянности, необдуманной политике и корыстных мотивах в отношении Сфактерии, ведения войны в целом и Амфиполя, и сравнить эти действия с поведением Алкивиада, описанным здесь, то мы увидим, насколько более убедительно эти обвинения относятся к последнему, чем к первому. Еще до завершения этого тома станет ясно, что пороки Алкивиада и недостатки Никиаса стали причиной гораздо большего разорения Афин, чем Клеон или Гипербол, даже если рассматривать двух последних глазами их злейших врагов.

ГЛАВА LVIII. ОТ РЕШЕНИЯ АФИНЯН НАПАСТЬ НА СИРАКУЗЫ ДО ПЕРВОЙ ЗИМЫ ПОСЛЕ ИХ ПРИБЫТИЯ В СИЦИЛИЮ.

В течение двух или трех месяцев, непосредственно следовавших за окончательным решением афинян вторгнуться в Сицилию, описанным в предыдущей главе, весь город был в восторге и кипел приготовлениями. Я уже упоминал, что это решение, хотя Никиас долгое время выступал против него со значительным меньшинством, наконец было принято - в основном благодаря непредвиденному действию того, что он намеревался сделать в качестве контр-маневра, - с энтузиазмом и единодушием, и в расширенном масштабе, что превзошло все ожидания его сторонников. Пророки, распространители оракулов и другие аккредитованные религиозные советники сообщали о благоприятном расположении богов и обещали триумфальный результат.[236] Все классы города, богатые и бедные, земледельцы, торговцы и моряки, старые и молодые, с энтузиазмом приняли проект; он требовал огромных усилий, но обещал беспрецедентные результаты, как в плане общественного процветания, так и в плане личной выгоды. Каждый стремился записать свое имя на личную службу, так что трем генералам, Никиасу, Алкивиаду и Ламаху, когда они приступили к отбору гоплитов, вместо того чтобы прибегать к принуждению и навлекать на себя недоброжелательство, как это случалось, когда экспедиция была непопулярна, оставалось только выбрать самого подходящего среди толпы жаждущих добровольцев. Каждый мужчина обеспечивал себя лучшим оружием и телесными принадлежностями, как полезными, так и показными, для долгого плавания и необходимости разнообразной службы на суше и на море. Среди триерархов, или богатых граждан, которые по очереди брали на себя обязанность командовать военным кораблем, конкуренция была еще сильнее. Каждый из них считал за честь быть названным, и соревновался со своими товарищами в том, чтобы выставить свой корабль в наиболее законченном виде. Государство, конечно, обеспечивало трирему необходимыми снастями и веслами, а также выплачивало регулярное жалованье команде; но триерарх даже в обычных случаях обычно нес различные расходы, чтобы сделать снаряжение полным и сохранить команду вместе. Такие дополнительные расходы, не требуемые и не определяемые законом, а лишь обычаем и общим мнением, были разными в каждом отдельном случае, в зависимости от нравов и обстоятельств. Но в данном случае рвение и предприимчивость были всеобщими: каждый триерарх старался заполучить для своего корабля лучшую команду, предлагая дополнительное вознаграждение всем, но особенно - транитам или гребцам на самом высоком из трех ярусов:[237] и, похоже, моряки

не были назначены специально на один корабль, но были вольны принять эти предложения и служить на любом корабле, который они предпочитали. Каждый триерарх тратил на жалование, экипировку, провизию и даже внешнее убранство своего судна больше, чем когда-либо прежде. Помимо лучших экипажей, которые могли предоставить сами Афины, отборные моряки требовались и от подвластных союзников, и за них триерархи выставляли одинаковые цены[238].

Этим усилиям немало способствовало то, что со времени Никиасского мира прошло уже пять лет без каких-либо значительных военных действий. В то время как казна пополнилась новыми накоплениями[239], а триеры увеличились, военное население, усиленное дополнительным количеством молодежи, забыло и тяготы войны, и давление эпидемических болезней. Поэтому собранный теперь флот, хотя и превосходил по численности все предыдущие афинские вооружения, за исключением одного во второй год предыдущей войны при Периклесе, но несравненно превосходил даже его и еще более превосходил все остальные по другим составляющим силы, как материальным, так и моральным; по отборным людям, всеобщему рвению, кораблям и оружию в лучшем состоянии, и аксессуарам всякого рода в изобилии. Уверенность в успехе была такова, что многие афиняне отправлялись готовыми как к торговле, так и к бою; таким образом, частные запасы, добавленные к общественному снаряжению и суммам, переданным в руки генералов, составили беспрецедентную совокупность богатств. Многое из этого было видно глазу, способствуя усилению того всеобщего возбуждения афинского воображения, которое охватило весь город, пока шли приготовления: смешанное чувство частного сочувствия и патриотизма, тихая тревога от размышлений о далеком и неизвестном регионе, где должен был действовать флот, - и в то же время восторженная уверенность в афинской силе, какой еще никогда не было.[240] Мы слышим о философе Сократесе, астрономе и Метоне, как об исключениях из этого всеобщего тона сангвинических ожиданий: предполагается, что знакомый гений, который постоянно поджидал философа, предвосхитил его результат. Не исключено также, что он мог быть против экспедиции, хотя этот факт подтвержден не так полно, как хотелось бы. Среди общего преобладания различных благоприятных религиозных знаков и пророчеств были и неблагоприятные. Обычно по всем общественным вопросам, связанным с риском или серьезностью, находились пророки, которые давали противоположные заверения: те, которые оказывались верными, хранились в сокровищнице: остальные сразу же забывались или долго не вспоминались[241].

После двух-трех месяцев активных приготовлений экспедиция была почти готова к старту, когда произошло событие, смертельно отравившее царившую в городе жизнерадостность. Это было увечье Гермеса, одно из самых необычных событий во всей греческой истории.

Гермæ, или полустатуи бога Гермеса, представляли собой мраморные блоки высотой с человеческую фигуру. Верхняя часть была вырезана в виде головы, лица, шеи и бюста; нижняя часть была оставлена в виде четырехугольного столба, широкого у основания, без рук, тела и ног, но со значительным признаком мужского пола спереди. Они были в большом количестве расставлены по всем Афинам и всегда на самых видных местах: возле внешних дверей частных домов и храмов, у самых посещаемых портиков, на пересечении поперечных путей, на общественной агоре. Таким образом, они были на виду у каждого афинянина во время всех его общений с согражданами, будь то по делу или для удовольствия. Религиозные чувства греков считали бога посаженным или поселившимся там, где стояла его статуя,[242] так что дружеское общение, сочувствие и опека Гермеса стали ассоциироваться с большинством проявлений конъюнктурной жизни Афин - политической, социальной, торговой или гимнастической. Более того, четырехугольная форма этих статуй, иногда

использовавшаяся для других богов, помимо Гермеса, была древнейшим реликтом, перешедшим от примитивной грубости пеласгийского мастерства, и была популярна в Аркадии, а также особенно часто встречалась в Афинах[243].

Примерно в конце мая 415 года до н. э. в одну и ту же ночь все эти Нертæ, один из самых своеобразных знаков города, были изуродованы неизвестными руками. Их характерные черты были сбиты или сровнены с землей, так что не осталось ничего, кроме каменной массы, не имеющей ни малейшего сходства с человеком или божеством. Таким же образом расправились со всеми, за исключением очень немногих: Андокидес утверждает, и я склонен ему верить, что был только *один*, который спасся невредимым[244].

Разумеется, никто не может в полной мере сочувствовать чувствам представителей чужой религии: действительно, чувства, с которыми в случае людей разных вероисповеданий каждый относится к сильным эмоциям, вызванным причинами, свойственными другому, обычно выражают удивление, что такие пустяки и нелепости могут вызывать серьезные переживания или волнения. [Но если мы приложим разумные усилия, обязательные для тех, кто изучает историю Греции, чтобы представить себе религиозные и политические ассоциации афинян, [246] отмеченные в древние времена своим превосходным благочестием, а также точностью и великолепием в отношении видимых памятников, воплощающих это чувство, - мы отчасти поймем интенсивность смешанного ужаса, страха и гнева, охватившего общественное сознание на следующее утро после этого ночного святотатства, столь же непредвиденного и беспрецедентного. Среди всех разрушений и обнищания, которые были вызваны персидским вторжением в Аттику, ничто не вызывало столь глубоких чувств и не запомнилось так надолго, как преднамеренное сожжение статуй и храмов богов. [247] Если бы мы могли представить себе волнение испанского или итальянского города, обнаружившего, что все изображения Богородицы были изуродованы в течение одной ночи, мы бы получили параллель, хотя и очень неадекватную, с тем, что сейчас чувствовалось в Афинах, где религиозные ассоциации и лица были гораздо более тесно связаны со всеми гражданскими актами и всеми процессами повседневной жизни; где также бог и его эффективность были более принудительно локализованы, а также отождествлены с присутствием и сохранением статуи. Когда на следующее утро афиняне выходили на улицу, каждый видел божественного стража у своего порога опозоренным и изуродованным, и каждый постепенно узнавал, что опустошение было всеобщим, казалось, что город стал как бы безбожным; Улицы, рыночная площадь, портики лишились своих божественных покровителей; и что еще хуже, эти покровители, подвергшиеся грубому оскорблению, унесли с собой отчужденные чувства, гневные и мстительные, а не опекающие и сочувствующие. Именно от защиты богов зависела вся их политическая конституция, а также блага гражданской жизни; настолько, что на проклятия богов обычно ссылались в качестве санкции и наказания за серьезные преступления, как политические, так и другие: [248] продолжение и обобщение чувства, которое до сих пор связывают с судебной клятвой. В сознании афинского народа это было искреннее и буквальное убеждение, а не просто форма речи, которую произносили в молитвах и публичных выступлениях, не считаясь с реальностью при расчете последствий и определении практических мер. Соответственно, они извлекли из глумления над Гермесом вывод, не менее естественный, чем ужасающий, что на город надвигается тяжелое общественное несчастье и что политическая конституция, к которой они были привержены, находится под неминуемой угрозой быть подорванной [249].

Таково было загадочное происшествие, ворвавшееся в оживленную и суетливую жизнь Афин за несколько дней до того, как сицилийская экспедиция была готова к отплытию. В

отношении этой экспедиции оно было воспринято как самое печальное предзнаменование.^[250] Оно, несомненно, было бы так воспринято, если бы это была простая непредусмотренная случайность, произошедшая с каким-либо почитаемым религиозным объектом, подобно тому, как нам рассказывают, что аналогичные опасения вызвало появление примерно в это же время меланхолического праздника Адонии, на котором женщины громко оплакивали безвременную смерть Адониса.^[251] Изувечение Гермеса, однако, было чем-то гораздо более зловещим, чем самая ужасная случайность. Оно заявило о себе как о преднамеренном деянии организованных заговорщиков, немалого числа, чьи имена и конечная цель были, правда, неизвестны, но которые начали с совершения святотатства вопиющего и неслыханного характера. Ведь умышленное нанесение увечий общественной и священной статуе, где материал не представлял собой соблазна для грабежа, - это случай, которому мы не знаем аналогов: куда большее значение имеют увечья, нанесенные оптом, распространенные одной группой и за одну ночь по всему городу. Хотя ни заинтересованные стороны, ни их цели никогда не были выяснены более чем частично, само соглашение и заговор не вызывают сомнений.

Насколько мы можем судить, представляется вероятным, что у заговорщиков было две цели, возможно, одна, а другая: погубить Алкивиада, сорвать или задержать экспедицию. Как они преследовали первую цель, мы сейчас увидим: в отношении второй, по всей видимости, ничего не было сделано, но положение Тевкра и других метисов, замешанных в этом, делает более вероятным, что они находились под влиянием симпатий к Коринфу и Мегаре,^[252] побуждавших их перехватить экспедицию, которая должна была сулить Афинам великие победы, а не быть испорченными жестокими антипатиями кишечной политики.

Действительно, эти две цели были тесно связаны друг с другом; ведь осуществление этого предприятия, хотя и сулило Афинам перспективные завоевания, было еще более чревато будущей властью и богатством для самого Алкивиада. Эти шансы исчезли бы, если бы экспедицию удалось предотвратить; не исключено также, что афиняне, находясь под сильным впечатлением религиозного ужаса, вызванного увечьем Гермеса, вообще отказались бы от затеи. Особенно Никиас, очень чувствительный в своей религиозной совести и никогда не проявлявший сердечного желания отправиться в путь, что было прекрасно известно врагу,^[253] поспешил бы посоветоваться со своими пророками, и можно было бы ожидать, что он возобновит свое сопротивление на новом основании, или, по крайней мере, потребует отсрочки до тех пор, пока оскорбленные боги не будут умиротворены. Насколько такое решение соответствовало его характеру и характеру афинян, можно судить по тому, что через два года после этого он при полном согласии своих солдат пожертвовал последней возможностью безопасного отступления для полуразрушенной афинской армии в Сицилии, отказавшись даже допустить обсуждение этого предложения из-за затмения луны, а также по тому, что спартанцы и другие греки часто отказывались от государственных замыслов, если перед их осуществлением случалось землетрясение^[254].

Но хотя в планы заговорщиков вполне обоснованно могла входить возможность отложить экспедицию как вероятное следствие сильного потрясения, нанесенного религиозному сознанию Афин и особенно Никиаса, этот расчет не оправдался. Вероятно, дело уже зашло слишком далеко, чтобы Никиас мог отступить. Уведомление было разослано всем союзникам; войска уже направлялись к месту встречи на Коркире; аргейские и мантинейские союзники прибывали в Пирей, чтобы отправиться в путь. Тем с большим рвением заговорщики приступили к осуществлению другой части своего плана - нагнетанию религиозного ужаса, который они сами искусственно нагнетали, чтобы погубить Алкивиада.

Мало кто в Афинах имел или заслуживал иметь больше врагов, как политических, так и личных, чем Алкивиад; многие из них были среди высших граждан, которых он оскорблял своей дерзостью и чьи литургии и другие обычные выставки он затмевал своими безрассудными расходами. Его значение уже настолько возросло и грозило еще более возрасти в результате сицилийского предприятия, что они больше не предпринимали никаких мер для его разорения. То, что калеки Гермеса, похоже, намеренно планировали, другие его враги были готовы обратить себе на пользу.

Среди скорбного ужаса, вызванного обнаружением столь беспримерного святотатства, афинскому народу, как, наверное, и эфорам Спарты или правителям всех олигархических городов Греции, показалось, что их первостепенный и непреложный долг - обнаружить и наказать авторов. До тех пор пока эти люди ходили неизвестными и безнаказанными, храмы осквернялись их присутствием, а весь город считался под недовольством богов, которые должны были навлечь на него тяжелые общественные несчастья. [255\]](#) Под это недовольство попадал каждый гражданин, так что чувство общественной безопасности и личного комфорта было одинаково неудовлетворенным, пока преступники не были обнаружены и не искупили вину, наказав или изгнав их. В связи с этим были объявлены крупные вознаграждения любому человеку, который мог дать информацию, и даже безнаказанность для любого сообщника, чье признание могло раскрыть заговор. На этом дело не остановилось. Пережив этот болезненный шок религиозного и политического террора, афиняне стали охотно говорить и слушать о других недавних актах нечестия. Каждому не терпелось рассказать все, что он знал, и даже больше, чем он знал, о подобных инцидентах; в то время как любая строгая критика правдивости таких сообщений свидетельствовала о слабости веры и недостатке религиозного рвения, превращая самого критика в подозреваемого, "*metuunt dubitasse videri*". выгребать и строго навестать всех таких преступников, проявляя таким образом искреннее рвение к чести богов, считалось одним из вспомогательных средств получить от них отпущение грехов за недавнее возмущение. Поэтому было принято дополнительное общественное голосование, обещавшее вознаграждение и приглашавшее всех свидетелей - граждан, метисов или даже рабов - дать информацию о любых предыдущих актах нечестия, которые могли быть им известны, [\[256\]](#) но в то же время предусматривавшее, что доноски, давшие ложные показания, должны быть наказаны капитально [\[257\]](#).

Сенат пятисот был наделен всеми полномочиями; Диогнет, Пейсандр, Хариклес и другие были назначены комиссарами для получения и преследования расследований, и почти каждый день проводились публичные собрания для получения отчетов. [\[258\]](#) Первые полученные сведения, однако, относились не к тяжкому и недавнему увечью Гермеса, а к аналогичным инцидентам более давнего времени; к некоторым повреждениям других статуй, совершенным в пьяном угаре; и, прежде всего, к смехотворным церемониям, отмечавшимся в различных домах, [\[259\]](#) когда партии весельчаков карикатурно изображали и разглашали Элевсинские мистерии. Именно под этим последним предлогом было выдвинуто первое обвинение против Алкивиада.

Подготовка вооружения была уже настолько завершена, что трирема Ламаха, который, несомненно, был более прилежен в военных деталях, чем оба его коллеги, уже пришвартовалась во внешней гавани, и последнее общественное собрание было проведено для отъезжающих офицеров, [\[260\]](#) которые, вероятно, представили своим соотечественникам впечатляющий отчет о собранных силах, когда Пифоник поднялся, чтобы объявить Алкивиаду импичмент. "Афиняне, - сказал он, - вы собираетесь отправить этот

большой отряд и подвергнуть себя такому риску в тот момент, когда я готов показать вам, что ваш полководец Алкивиад - один из осквернителей священных таинств, причем в частном доме. Проголосуйте за безнаказанность, и я немедленно представлю вам раба одного из присутствующих здесь, который, хотя сам и не посвящен в таинства, повторит вам, в чем они заключаются. Поступай со мной по своему усмотрению, если мое заявление окажется ложным". Пока Алкивиад упорно отрицал это утверждение, пританы - сенаторы, председательствующие на собрании, согласно порядку, определенному в тот год по жребию среди десяти племен, - тотчас же объявили, чтобы все непосвященные граждане покинули собрание, и отправились за рабом - Андрوماхом по имени, которого указал Пифоник. Когда его ввели, Андромаш заявил перед собранием, что он был со своим хозяином в доме Политиона, когда Алкивиад, Никиадес и Мелет совершали мнимое празднование мистерий; при этом присутствовало много других людей, и особенно три других раба, кроме него самого. Мы должны предположить, что он подтвердил это утверждение, описав, что это были за мистерии, которые он видел, - испытание, которое предложил Пифоник.[261]

Таково было первое прямое нападение на Алкивиада со стороны его врагов. Пифоник, демагог Андроклес и другие ораторы, приведя в доказательство этот непочтительный поступок, - вероятно, по существу правдивый, - разразились сильнейшей инвективой, вменили ему в вину множество других поступков подобного характера и даже осудили его как виновника недавнего глумления над Гермесом. Все это, по их словам, было сделано для того, чтобы осуществить его цель - подмять под себя демократию, лишенную своих божественных покровителей; эта цель проявлялась в его незаконном, властном, антинародном поведении. Как бы ни была печально известна эта клевета, в том, что касалось нанесения увечий Гермею, - ведь что бы еще ни совершил Алкивиад, в этом поступке он был бесспорно невиновен, будучи тем самым человеком, который больше всего потерял от него и которого он в конце концов погубил, - они рассчитывали, что в условиях царящего волнения получат аккредитацию и, возможно, добьются его отстранения от командования, чтобы подготовить публичный суд. Но, несмотря на всю тревогу, вызванную недавним святотатством, их ожидания оказались обманутыми. Упорное отрицание Алкивиада, которому способствовало его весьма своеобразное положение командующего вооружением, а также размышления о том, что недавнее возмущение скорее портит его любимые проекты в Сицилии, нашли всеобщее одобрение. Граждане, зачисленные на службу, проявляли сильное расположение к нему; союзники из Аргоса и Мантинеи, как известно, поступили на службу главным образом по его наущению; народ в целом был знаком с ним как с предполагаемым завоевателем Сицилии и не хотел, чтобы ему мешали в осуществлении этого проекта. Исходя из всех этих обстоятельств, его враги, не обнаружив особого расположения к обвинениям, которые они предпочитали, были вынуждены отложить их до более подходящего времени[262].

Но Алкивиад прекрасно понимал опасность того, что над его головой висят подобные обвинения, и особую выгоду, которую он извлекал из своего случайного положения в данный момент. Он умолял народ немедленно провести расследование; заявлял, что готов предстать перед судом и даже принять смерть, если его признают виновным, - соглашаясь на командование только в том случае, если его оправдают, - и настаивал прежде всего на том, что отправка его в такую экспедицию с неопределенным обвинением может принести вред городу, а также на том, что ему самому будет тяжело, если во время его отсутствия на него будут клеветать, не имея возможности защититься. Такие призывы, справедливые и разумные сами по себе и выдвинутые со всей горячностью человека, который чувствовал, что вопрос стоит о жизни или смерти для его будущих перспектив, были очень близки к победе. Его враги смогли победить их только с помощью хитрости, выставив новых ораторов, менее известных своей враждебностью к Алкивиаду. Эти люди говорили откровенно,

осуждали задержку, которая будет вызвана отъездом экспедиции, если его немедленно отдадут под суд, и предлагали отложить суд до определенного количества дней после его возвращения.[263] Таково было решение, которое в конце концов принял народ; сторонники Алкивиада, вероятно, не вполне осознавали его последствия и считали, что скорейший отъезд экспедиции был целесообразен даже для его интересов, а также отвечал их собственным чувствам. Таким образом, его враги, хотя и потерпели поражение в своей первой попытке привести его к немедленной гибели, получили отсрочку, которая обеспечила им досуг для тщательного отравления общественного мнения против него и выбора времени для суда над ним. Они позаботились о том, чтобы отложить все дальнейшие обвинения до тех пор, пока он с вооружением не уйдет[264].

Зрелище его отплытия было столь внушительным, а момент - столь полным тревожного интереса, что изгнало даже воспоминания о недавнем святотатстве. В Афинах не было собрано всего вооружения, поскольку было сочтено целесообразным приказать большинству союзных войск сразу же собраться в Коркире. Но одна только афинская сила поражала воображение. Сто трирем, шестьдесят из которых были в полной готовности к быстрому морскому движению, а остальные сорок использовались в качестве транспортов для солдат. Было пятнадцать сотен отборных гражданских гоплитов, выбранных из общего списка, и семь сотен фетов, или граждан, слишком бедных, чтобы попасть в список, которые служили гоплитами на кораблях, - эпибатов, или морских пехотинцев, - каждый с обмундированием, предоставленным государством. К ним следует добавить пятьсот аргейских и двести пятьдесят мантинейских гоплитов, оплачиваемых Афинами и перевозимых на борту афинских кораблей.[265] Число всадников было настолько мало, что все они перевозились на одном конном транспорте. Но состояние, снаряжение, пышность как богатства, так и силы, видимые в вооружении, все же впечатляли больше, чем численность. На рассвете назначенного дня, когда все корабли были готовы в Пирее к отплытию, военные спустились из города и высадились на берег. Их сопровождало почти все население, как метисы и иностранцы, так и горожане, так что все выглядело как коллективная эмиграция, подобная бегству в Саламин за шестьдесят пять лет до этого. В то время как толпа иностранцев, привлеченных сюда любопытством, была поражена грандиозностью зрелища, сопровождавшие их граждане были движимы более глубокими и волнующими чувствами. Их сыновья, братья, родственники и друзья только что отправились в самое долгое и крупное предприятие, которое когда-либо предпринимали Афины; против острова, обширного и могущественного, не известного никому из них в точности, и в море неопределенных возможностей; слава и прибыль с одной стороны, но опасности неопишуемой величины - с другой. Во время этого последнего расставания мысли о сомнениях и опасности стали гораздо более болезненными, чем во время предварительных обсуждений на сайте; и, несмотря на весь обнадеживающий эффект непревзойденного вооружения, стоящего перед ними, родственники, расстающиеся у кромки воды, не могли прогнать мрачное предчувствие, что они прощаются друг с другом в последний раз.

Момент, непосредственно следующий за этим прощанием, когда все воины уже были на борту, а келеустес уже начал свое песнопение, чтобы привести гребцов в движение, был особенно торжественным и трогательным. По призыву и под звуки трубы наступила тишина, и экипажи всех кораблей, и зрители на берегу под голос глашатая возносили молитвы богам об успехе и пели песнопения. На каждой палубе стояли чаши с вином, из которых офицеры и эпибатарины совершали возлияния, с кубками из серебра и золота. Наконец был дан последний сигнал, и весь

флот вышел из Пирея единым строем, демонстрируя изобилие своей еще не испытанной силы в скоростной гонке до самой Эгины.^[266] Никогда в греческой истории обращение к богам не было столь единодушным, выразительным и внушительным; никогда отказ Зевса не был столь суровым и императивным. Все эти подробности, рассказанные Фукидидом о триумфальном обещании, которое теперь прозвучало из Пейреуса, вызывают болезненный интерес, поскольку контрастируют с печальным исходом, который будет раскрыт далее.

Флот направился прямо к Коркире, где были собраны контингенты морских союзников с кораблями для перевозки грузов и провизии. Вооружение, таким образом, было полностью укомплектовано, и оказалось, что оно состоит из ста тридцати четырех трирем с двумя родосскими пентеконторами; пяти тысяч ста гоплитов; четырехсот восьмидесяти лучников, восемьдесят из которых критяне; семисот родосских пращей; ста двадцати мегарийских изгнанников, служащих легкими войсками. Из носильных судов, снабженных провизией, военными принадлежностями, пекарями, каменщиками, плотниками и т. д, их было не менее пятисот; кроме того, было значительное число частных торговых судов, следовавших за ним добровольно с целью получения прибыли.^[267] Три быстроходные триремы были отправлены заранее, чтобы выяснить, какие из городов Италии и Сицилии будут рады прибытию вооружения; и особенно, чтобы уведомить в Эгесте, что просимая помощь уже в пути, требуя в то же время, чтобы деньги, обещанные эгестейцами, были получены. Распределив по жребию вооружение на три части, по одной под началом каждого из полководцев - Никиаса, Алкивиада и Ламаха, они пересекли Ионический залив от Коркиры до Иапигийского мыса.

Продвигаясь на юг вдоль побережья Италии к Регию, они встретили очень холодный прием в различных греческих городах. Ни один из них не принял их в своих стенах и даже не продал им провизию. Самое большее, что они могли предоставить, - это свободу причалов и водопоя; и даже в этом им было отказано как в Тарентуме, так и в эпизефирийских Локриях. В Регию, расположенной у Сицилийского пролива, хотя городские ворота были по-прежнему закрыты, к ним отнеслись гораздо более гостеприимно, устроив для них рынок с провизией и разрешив расположиться в священном квартале Артемиды, недалеко от стен. Здесь они вытащили свои корабли на берег и отдыхали до возвращения трех разведывательных кораблей из Эгесты; в это время генералы вступили в переговоры с магистратами и жителями Регию, пытаясь склонить их к помощи в восстановлении лишенных собственности леонтинцев, которые были общего с ними халкидского происхождения. Но полученный ответ был обескураживающим. Региотцы не обещали ничего, кроме нейтралитета и сотрудничества в любом политическом курсе, который могли бы принять другие итальянские греки. Вероятно, они, как и другие итальянские греки, были ошеломлены и запуганы величиной вновь прибывших сил и хотели оставить себе свободу действий на будущее, не без недоверия к Афинам и ее поразительной предусмотрительности в отношении восстановления Леонтинов. Для афинских генералов, однако, такой отрицательный ответ из Регию был нежелательным разочарованием, ведь этот город был союзником Афин в прошлой войне, и они рассчитывали на действие халкидских симпатий^[268].

Только после сбора афинян в Коркире, около июля 415 г. до н. э., сиракузяне убедились в их приближении и в масштабах их замыслов против Сицилии. В Сиракузы действительно доходили известия о решении, принятом афинянами в марте предыдущего года, оказать помощь Эгесту и Леонтинам, а также о приготовлениях, которые велись в связи с этим. Однако в обществе преобладало нежелание верить этим вестям. Ничто в положении Сицилии не способствовало афинским амбициям: леонтинцы не могли оказать никакой помощи, эгесты - очень мало, и то в противоположном углу острова; сиракузяне же считали себя вполне способными справиться с любыми силами, которые могли послать Афины. Одни называли эти сведения пустыми слухами, другие ожидали, что экспедиция, отправленная из Афин за десять лет до этого, будет не

серьезнее[269]. Никто не мог представить себе ни нового рвения и упорства, с которыми она только что бросилась в план сицилийского завоевания, ни грозного вооружения, которое вот-вот должно было появиться. Тем не менее сиракузские генералы сочли своим долгом провести подготовительные мероприятия и укрепить военное состояние государства[270].

Однако Гермократес, чьи сведения были более полными, счел эти приготовления недостаточными и воспользовался общественным собранием, состоявшимся, по-видимому, в то время, когда афиняне отплывали из Пирея, чтобы внушить своим соотечественникам это убеждение, а также исправить их недоверие. Он поклялся, что распространяемые сообщения не просто правдивы, но даже не совсем правдивы; что афиняне действительно находятся в пути, имеют самое большое вооружение и планируют завоевать всю Сицилию. Хотя он настойчиво призывал немедленно привести город в состояние для отражения грозного вторжения, он отвергал всякую тревогу за результат и давал самые твердые заверения в окончательном триумфе. Сама величина приближающихся сил запугает сицилийские города и побудит их к сердечному оборонительному сотрудничеству с Сиракузами. Редко какая крупная или далекая экспедиция достигала своей цели, как это видно из неудачи персов против Греции, от которой Афины так много выиграли. Однако подготовка, эффективная и немедленная, была необходима; не только дома, но и с помощью иностранных миссий, к сицилийским и итальянским грекам, к сикелам и карфагенянам, которые уже некоторое время подозревали о безмерных агрессивных замыслах Афин, и чьи огромные богатства теперь были бы особенно полезны, а также в Лакедемон и Коринф, чтобы просить помощи в Сицилии, а также возобновить вторжение в Аттику. Он был настолько уверен в их силах обороны, если они будут правильно организованы, что даже советовал сиракузянам с их сицилийскими союзниками немедленно выйти в море со всеми своими морскими силами и двухмесячным запасом провизии и немедленно отплыть в дружественную гавань Тарентум, откуда они смогут встретить афинский флот и не дать ему даже пересечь Ионический залив со стороны Коркиры. Таким образом, они показали бы, что не только намерены защищаться, но даже готовы вступить в бой: это единственный способ сбить самонадеянность афинян, которые теперь спекулировали на вялости сиракузян, поскольку те не оказали Спарте никакой помощи, когда она просила об этом в начале войны. Сиракузяне, вероятно, смогут сдерживать или препятствовать продвижению экспедиции до наступления зимы: в этом случае Никиас, самый способный из трех генералов, который, как считалось, предпринял эту затею против своего собственного согласия, вероятно, воспользуется предлогом, чтобы вернуться[272].

Хотя эти взгляды Гермократа поддерживали и другие граждане на собрании, большинство ораторов придерживались противоположной точки зрения и не верили его предостережениям. Мы уже видели Гермократа за девять лет до этого в качестве посланника Сиракуз и главного советника на конгрессе в Геле, - тогда, как и сейчас, бдительно охранявшего дверь от афинского вмешательства в Сицилию, - тогда, как и сейчас, принадлежавшего к олигархической партии и настроенного враждебно по отношению к существующей демократической конституции; но смелого и умного во внешних делах. Хотя в словах самого Гермократа не было ничего уничижительного ни для демократии, ни для существующих магистратов, кажется, что его сторонники, выступавшие после него, должны были взять более криминальный тон и преувеличить то, что он характеризовал как "привычное спокойствие" сиракузян, в презренное бездействие и дезорганизацию при тех администраторах и генералах, которых демократия предпочитала, характеризуя как никчемных. Среди ораторов, которые, отвечая Гермократу и другим, с возмущением отвергали подобные инсинуации и опровергали их авторов, наиболее отличился гражданин по имени Афинагор. В это время он был ведущим демократическим политиком и самым популярным оратором в Сиракузах[274].

"Все[275] (сказал он), кроме трусов и плохих граждан, должны желать, чтобы афиняне были настолько глупы, чтобы прийти сюда и отдать себя в нашу власть. Рассказы, которые вы только что слышали, не что иное, как выдумки, придуманные, чтобы вас встревожить; и я удивляюсь глупости этих паникеров, полагающих, что их махинации не видны насквозь.[276] Вы будете слишком мудры, чтобы судить о будущем по их сообщениям: вы скорее будете судить по тому, что могут сделать способные люди, такие, как афиняне. Будьте уверены, что они никогда не оставят позади себя пелопоннесцев в угрожающем положении, чтобы прийти сюда и вызвать новую войну, не менее грозную: я думаю, им повезло, что мы с нашими мощными городами никогда не нападали на них. А если они и придут, как утверждается, то найдут Сицилию более грозным противником, чем Пелопоннес: один только наш город будет соответствовать вдвое большей силе, чем та, которую они могут привести. Афиняне, прекрасно зная все это, будут заниматься своими делами, несмотря на все выдумки, которые придумывают люди по эту сторону воды и которые они уже не раз пробовали, иногда даже хуже, чем в нынешнем случае, чтобы запугать вас и выдвинуть себя на главные посты.[277] В один из этих дней, боюсь, они могут даже преуспеть, из-за нашей небрежности перед рукой. Подобные интриги оставляют нашему городу лишь короткие мгновения спокойствия; они обрекают его на междоусобную рознь, худшую, чем иностранная война, и иногда предают его даже деспотам и узурпаторам. Однако, если вы меня выслушаете, я постараюсь предотвратить что-либо подобное в настоящее время; простым убеждением вас, наказанием этих заговорщиков и бдительным обличением олигархической партии в целом. Позвольте спросить, чего же вы, молодые дворяне, жаждете? Попасть в команду в раннем возрасте? Закон запрещает вам это, потому что вы еще некомпетентны. Или вы хотите не быть в равных условиях со многими? Но как вы можете притворяться, что жители одного города не должны иметь одинаковых прав? Кто-то скажет мне, что демократия не разумна и не справедлива, и что богатые люди лучше всего подходят для того, чтобы командовать. Но я утверждаю, во-первых, что народ - это совокупность, а олигархия - лишь часть; во-вторых, что богатые люди - лучшие распорядители совокупного богатства, существующего в обществе, - умные люди - лучшие советчики, - а народ - лучший советчик, способный выслушать и принять решение после такого совета. В демократии все эти функции, одна за другой, находят свое достойное место. Но олигархия, хотя и навязывает народу полное участие во всех опасностях, не довольствуется даже непомерной долей в общественных благах, а захватывает и монополизирует все для себя.[279] Именно к этому стремитесь вы, молодые и могущественные люди, хотя вам никогда не удастся удержать это надолго в таком городе, как Сиракузы. Поучитесь у меня или, по крайней мере, измените свои взгляды и посвятите себя общественному благу нашего общего города. Откажитесь от того, чтобы с помощью подобных заявлений использовать веру людей, которые слишком хорошо вас знают, чтобы быть обманутыми. Если даже в ваших словах есть доля правды и если афиняне придут, наш город даст им отпор, достойный ее репутации. Она не поверит вам на слово, и не выберет вас командирами, чтобы надеть ярмо на свою шею. Она будет следить за собой, истолковывать ваши сообщения так, как они на самом деле означают, и, вместо того чтобы позволить вам отговорить ее от свободного правления, примет эффективные меры предосторожности, чтобы сохранить его против вас".

Сразу же после этой пылкой речи Афинагора один из стратегов, председательствовавших в собрании, вмешался, не позволив никому больше говорить, и резко закрыл собрание, сказав такие слова: "Мы, полководцы, осуждаем этот обмен личными оскорблениями и надеемся, что присутствующие слушатели не будут относиться к нам предвзято. Давайте лучше позаботимся о том, чтобы в соответствии с только что полученными сообщениями мы все вместе были в состоянии дать отпор захватчику. И даже если такой необходимости не возникнет, нет никакого вреда в том, чтобы укрепить наши общественные силы лошадьми, оружием и другими военными

принадлежностями. Мы, генералы, возьмем на себя заботу и надзор за этими делами, а также за миссиями в соседние города для получения информации и для других целей. Мы, правда, уже занялись этим, и будем информировать тебя о том, что узнаем".

Язык Афинагора, свидетельствующий о сильной ярости партийных чувств, позволяет нам в некоторой степени понять реальную работу политики среди сиракузской демократии. Афинагор в Сиракузах был, как Клеон в Афинах, популярным оратором города. Но он отнюдь не был самым влиятельным человеком и не руководил общественными делами. Исполнительные и магистерские функции принадлежали в основном Гермократесу и его сторонникам, противникам Афинагора. Гермократес уже фигурировал в качестве лидера на съезде в Геле за девять лет до этого, и в течение всего последующего периода он будет почти постоянно занимать ту же позицию; в то время как политический ранг Афинагора более схож с тем, что мы должны назвать лидером оппозиции, и эта функция, конечно, приостанавливается в случае серьезной опасности, так что мы больше не слышим о нем. В Афинах, как и в Сиракузах, люди, получившие реальную власть и распорядившиеся силой и сокровищами государства, были в основном из богатых семей, часто с олигархическими настроениями, соглашались с демократией как с неудобной необходимостью и постоянно были открыты для подстрекательства друзей или родственников к заговору против нее. Их действия, несомненно, всегда подвергались тщательному изучению, а их личности - неприязни со стороны общественного собрания: отсюда возникло влияние демагогов, таких как Афинагор и Клеон, плохая сторона характера которых так часто предстает перед читателями греческой истории. Какими бы пренебрежительными эпитетами ни был окружен такой характер, в действительности он является отличительной чертой свободного правительства во всех его формах, будь то конституционная монархия или демократия. Наряду с реальными политическими деятелями, занимающими главные посты и обладающими личной властью, всегда в изобилии присутствуют цензоры и критики, - одни лучше, другие хуже, в отношении честности, откровенности, мудрости или риторики, - наиболее выдающиеся из которых приобретают значительную важность, хотя выполняют функции, существенно уступающие полномочному магистрату или генералу.

Здесь мы замечаем, что Афинагор, отнюдь не склонный подталкивать город к войне, выступает против нее, даже за разумные пределы, и осуждает ее как заинтересованную политику олигархической партии. Это может показать, как мало было постоянных интересов или политики со стороны лиц, называемых демагогами, вовлекать свой город в ненужные войны: обвинение, которое часто выдвигалось против них, потому что так случилось, что Клеон в первой половине Пелопоннесской войны сбрасывал со счетов предложения о мире между Афинами и Спартой. Из речи Афинагора мы видим, что олигархическая партия была обычным сторонником войны: этого естественно ожидать, поскольку богатые и великие люди в большинстве сообществ считали стремление к военной славе более соответствующим их достоинству, чем любую другую карьеру. В Сиракузах господство Гермократеса значительно усилилось после вторжения афинян, а Афинагор больше не появляется. Последний вопиюще ошибался в своих прогнозах относительно поведения Афин, хотя и был прав в своих суждениях относительно их истинных политических интересов. Но очень небезопасно полагать, что народы всегда будут следовать своим истинным политическим интересам, когда в дело вмешиваются нынешние соблазны честолюбия или тщеславия. Позитивная информация в данном случае была более надежным ориентиром, чем предположения *à priori*, основанные на вероятной политике Афин. Но о том, что обвинения, выдвинутые Афинагором против олигархической молодежи, поощрявшей военную организацию в своих собственных интересах, не были провидческими, можно судить по аналогичному случаю в Аргосе за два или три года до этого. Аргосская демократия, намеревавшаяся проводить более воинственную и агрессивную политику, была убеждена организовать и обучить отборный полк из тысячи гоплитов, выбранных из олигархической молодежи: в течение трех лет этот полк подорвал

демократическую конституцию.^[280] Теперь люди, относительно замыслов которых Афинагор выражает столь сильные опасения, были именно тем классом в Сиракузах, который соответствовал отборной тысяче в Аргосе.

Политические взгляды, провозглашенные в этой замечательной речи, заслуживают внимания, хотя мы не можем полностью понять ее, не имея перед собой тех речей, на которые она отвечает. Демократическая конституция не только убедительно противопоставляется олигархии, но и отдельные места, которые она отводит богатству, уму и многочисленности, изложены с отчетливостью, недостойной Аристотеля.

Еще до дебатов, о которых здесь идет речь, сиракузские полководцы, очевидно, придерживались взглядов, более близких к взглядам Гермократа, чем к взглядам Афинагора. Уже предчувствуя опасность, они узнали от своих разведчиков, когда афинские войска проходили из Коркиры в Регий, и начали готовиться с максимальной активностью, распределяя гарнизоны и отправляя посланников по своим сикельским владениям, в то время как силы внутри города были собраны и поставлены на все условия войны^[281]. Эта остановка затянулась по нескольким причинам. Во-первых, Никиас и его коллеги хотели провести переговоры с регийцами, а также вытащить на берег и очистить свои корабли: во-вторых, они ожидали возвращения трех кораблей-разведчиков из Эгесты: наконец, у них еще не было плана действий в Сицилии.

Корабли из Эгесты вернулись с неутешительными новостями. Вместо огромных богатств, о которых говорили, что они имеются в этом городе и на которых в основном основывались решения афинян относительно сицилийских операций, оказалось, что их можно добыть не более чем на тридцать талантов. Хуже того, изощренное мошенничество, с помощью которого эгестейцы обманули комиссаров во время их первого визита, теперь было раскрыто; и эти комиссары, вернувшись в Регий после второго визита, были обречены на унижительную необходимость заявлять о своем собственном легковерии, подвергаясь жестоким насмешкам и упрекам со стороны армии. Разочаровавшись в источнике, из которого они рассчитывали получить деньги, - ведь, судя по всему, и Алкивиад и Ламах искренне полагались на денежные ресурсы Эгесты, хотя Никиас всегда относился к ним с недоверием, - генералы теперь обсуждали план своих действий.

Никиас, пользуясь мошенничеством эгестейских союзников, которое теперь стало очевидным, хотел ограничить круг своих действий строгой буквой решения, принятого афинским собранием. Он предложил сразу же отплыть к Селину, а затем официально потребовать от эгестейцев предоставить средства для поддержания вооружения или, по крайней мере, для содержания тех шестидесяти трирем, о которых они сами просили. Поскольку это требование не будет выполнено, он задержится надолго, чтобы добиться от селинунтинцев сносных условий соглашения с Эгестой, а затем вернется домой, демонстрируя по мере плавания всем приморским городам эту великую демонстрацию афинской морской силы. И хотя он был готов воспользоваться любой возможностью, которую может предоставить случай для оказания услуг леонтинцам или создания новых союзов, он решительно отвергал любое длительное пребывание на острове для спекулятивных предприятий, все за счет Афин^[282].

Против этого плана протестовал Алкивиад, считая его узким, робким и позорным для той огромной силы, которой они были наделены. Он предложил начать переговоры со всеми другими сицилийскими греками, особенно с Мессеной, удобной и как гавань для их флота, и как база для их военных операций, чтобы убедить их сотрудничать против Сиракуз и Селина. С этой же целью он рекомендовал установить отношения с сикелами, живущими во внутренних районах, чтобы

отделить от них тех, кто был подданным Сиракуз, а также обеспечить поставки провизии. Как только будет выяснено, на какую иностранную помощь можно рассчитывать, он сразу же начнет прямое наступление на Сиракузы и Селину; если, конечно, первые не согласятся восстановить Леонтины, а вторые - договориться с Эгестой[283].

Ламах, выступая последним, не согласился с мнением обоих своих коллег. Он советовал немедленно, без промедления, атаковать Сиракузы и дать сражение под их стенами. Сиракузяне, убеждал он, были сейчас в ужасе и лишь наполовину готовы к обороне. Многие из их граждан и многое имущество будут еще бродить по соседним землям, не вывезенные за стены, и могут быть захвачены для пропитания их армии;[284] а опустевший город и гавань Мегара, расположенные недалеко от Сиракуз как по суше, так и по морю, могут быть заняты флотом в качестве военно-морской станции. Внушительный и устрашающий эффект вооружения, не менее чем его реальная эффективность, был сейчас максимальным, сразу после его прибытия. Если бы сиракузяне воспользовались этим первым впечатлением и нанесли мгновенный удар по своему главному врагу, у них не хватило бы не только средств, но и мужества для сопротивления: чем дольше откладывалось нападение, тем больше стиралось это первое впечатление ужаса, сменяясь реакционными чувствами безразличия и даже презрения, когда было видно, что долгожданное вооружение не приносит практически никаких результатов. Что касается других сицилийских городов, то ничто так не способствовало бы их немедленному присоединению, как успешные операции против Сиракуз[285].

Но Ламах не нашел благосклонности ни у одного из двух других, и, будучи вынужденным выбирать между планами Алкивиада и Никиаса, поддержал первый, который был средним из трех. Нет никаких сомнений - насколько это уместно в отношении того, что так и не было приведено в исполнение, - что план Ламаха был самым лучшим и самым разумным; на первый взгляд, действительно, самым смелым, но по своей сути самым безопасным, легким и быстрым из всех, которые можно было предложить. Ведь, несомненно, осада и взятие Сиракуз были единственным предприятием, необходимым для продвижения афинских взглядов в Сицилии. Чем скорее оно было начато, тем легче его осуществить: и его трудности во многом усугублялись, но ни в коем случае не ослаблялись теми предварительными мерами предосторожности, на которых настаивал Алкивиад. Любая задержка, подобная промедлению, была опасна тем, что снижала эффективность, как реальную, так и предполагаемую, древнего агрессивного вооружения, а также оживляла и укрепляла тех, кто стоял в обороне, чему мы найдем болезненные доказательства в ближайшее время. Совет Ламаха, столь же воинственный и дальновидный, вероятно, был бы одобрен и исполнен либо Брасидасом, либо Демосфеном; в то время как медлительная политика, все еще отстаиваемая Алкивиадом, даже после того, как предложение Ламаха было принято, показывает, что если он превосходил в военной энергии одного из своих коллег, то не уступал другому. В самом деле, когда мы видим, что он говорит об осаде Сиракуз, *если* сиракузяне не согласятся на восстановление Леонтины, кажется вероятным, что он еще не решился императивно осадить город вообще; этот факт полностью противоречит тем безграничным надеждам на завоевание, которые, как сообщается, он питал даже в Афинах. Возможно, он посчитал, что не стоит слишком резко противоречить склонностям Никиаса, который, стремясь найти предлог для возвращения своих войск невредимыми, мог посчитать предложение Ламаха слишком отчаянным, чтобы даже обсуждать его. К сожалению, последний, хотя и был самым умелым солдатом из троих, был бедняком, не занимал политического положения и не имел большого влияния среди гоплитов. Если бы он обладал, наряду со своей прямолинейной военной энергией, богатством и семейным влиянием, как любой из его коллег, достижения и судьба этого великолепного вооружения были бы полностью изменены, и афиняне вошли бы в Сиракузы не пленниками, а завоевателями.

Алкивиад, как только его план был принят с одобрения Ламаха, отправился через пролив на своей триреме из Регия в Мессену. Хотя его лично впустили в город и разрешили выступить перед общественным собранием, он не смог склонить их к заключению союза или к тому, чтобы допустить вооружение к чему-либо, кроме рынка провизии за стенами. Поэтому он вернулся в Региум, откуда вместе с одним из своих коллег немедленно отбыл на шестидесяти триерах в Наксос. Наксийцы радушно приняли войско, которое затем направилось на юг вдоль побережья Сицилии к Катане. В последнем месте передовые люди и общее настроение в это время были благосклонны к Сиракузам, так что афиняне, получив отказ в приеме, были вынуждены отплыть дальше на юг и занять ночную стоянку в устье реки Терия. На следующий день они отплыли на своих кораблях единой колонной прямо к Сиракузам, а передовая эскадра из десяти трирем была даже направлена в Большую гавань, к югу от города, чтобы осмотреть с этой стороны город с его доками и укреплениями, а также для того, чтобы с борта корабля голосом герольда провозгласить: "Леонтинцы, находящиеся сейчас в Сиракузах, приглашаются без опасений выйти вперед и присоединиться к своим друзьям и благодетелям, афинянам". После этой пустой демонстрации они вернулись обратно в Катану[286].

Можно заметить, что этот поступок полностью противоречил разумным рекомендациям Ламаха. Он стремился приучить сиракузян к тому, чтобы видеть вооружение по частям, без какого-либо мгновенного действия, и тем самым ослабить в их сознании ужасающее впечатление от его первого прибытия.

В Катане Алкивиад лично был допущен в город и получил возможность выступить перед общественным собранием, как это было в Мессене. Только случайность позволила ему доказать свою правоту, так как общее мнение было неблагоприятным для его предложений. Пока большинство горожан в собрании слушали его речь, несколько афинских солдат, заметив небрежно охраняемые ворота, взломали их и появились на рыночной площади. Таким образом, город оказался во власти афинян, так что ведущие люди, дружившие с Сиракузами, посчитали, что им повезло спастись в безопасности, а общее собрание приняло решение о союзе, предложенном Алкивиадом.[287] Теперь все афинское вооружение было переправлено из Регия в Катану, которая стала штаб-квартирой. Из Камарины пришло сообщение, что город может быть склонен присоединиться к ним, если покажет свое вооружение; поэтому вся армия направилась туда и причалила к берегу, а в город был послан глашатай. Но камаринцы отказались принять войско и заявили, что будут придерживаться существующего договора, который обязывал их принимать в любое время один-единственный корабль, но не более, если они сами не попросят об этом. Поэтому афиняне были вынуждены вернуться в Катану. Проходя мимо Сиракуз и возвращаясь, они убедились в ложности сообщения о том, что сиракузяне собирают на плаву военно-морские силы; более того, они высадились недалеко от города и опустошили некоторые из соседних земель. Вскоре появилась сиракузская конница и легкие войска, произошла стычка с незначительными потерями, после чего захватчики отступили к своим кораблям,[288] пролив первую кровь в этой важной борьбе, и снова вопреки совету Ламаха.

По возвращении в Катану их ждали серьезные новости. Они обнаружили, что из Афин только что прибыла церемониальная трирема под названием "Саламин" с официальным постановлением собрания, требующим, чтобы Алкивиад вернулся домой и предстал перед судом за различные предполагаемые дела, связанные с иррелигией и изменой. Нескольким другим гражданам, указанным поименно, было велено явиться вместе с ним под тем же предлогом; но триерарху Саламина было особо приказано вручить ему только повестку, без всякой охраны или принуждения, чтобы он мог вернуться домой на своей собственной триреме[289].

Этот вызов, чреватый судьбоносными последствиями как для Афин, так и для их врагов, был вызван описанным несколькими страницами ранее глумлением над Гермой и расследованием

авторства этого деяния, начатым после отплытия вооружения. Широкие и тревожные симпатии, связанные с таким большим количеством отъезжающих граждан, в сочетании с торжественностью самой сцены, на время приостановили тревогу, вызванную этим святотатством; но она быстро оживилась, и люди не могли успокоиться, не выяснив, кем было совершено это деяние.

Доносчикам объявили солидное вознаграждение - тысячу и даже десять тысяч драхм; вскоре появились и другие, помимо уже упомянутого раба Андромеха. Один метик по имени Тевкрис сразу после случившегося бежал из Афин в Мегару, откуда послал в афинский сенат уведомление о том, что он сам был участником недавнего святотатства, связанного с мистериями, а также осведомлен об изувечении Гермеса, и что, если ему будет гарантирована безнаказанность, он вернется и даст полную информацию. Сенат немедленно принял решение пригласить его. Он по именам обличил одиннадцать человек, причастных вместе с ним к инсценировке Элевсинских мистерий, и восемнадцать различных лиц, среди которых не было его самого, как нарушителей Гермеса. Женщина по имени Агаристка, дочь Алкмеонидеса, - эти имена указывают на ее высокое положение и род в городе, - рассказала далее, что Алкивиадес, Аксиох и Адеймант подобным же образом разыграли пародию на мистерии в доме Хармидеса. И, наконец, Лидус, раб гражданина по имени Фереклес, заявил, что подобная сцена разыгралась в доме его хозяина в доме Фемакус, назвав имена присутствующих, один из которых - хотя он спал и не понимал, что происходит, - назвался Леогором, отцом Андокидеса.[290] Из всех участников, названных в этих различных показаниях, большее число, по-видимому, сразу же бежало из города; но все, кто остался, были посажены в тюрьму, чтобы предстать перед будущим судом. [Те, кто сообщил, получили обещанное вознаграждение после некоторых споров о том, кто имеет право на получение награды; так как Пифоник, гражданин, который произвел на свет раба Андромеха, претендовал на первое место, а Андрокл, один из сенаторов, утверждал, что сенат должен получить деньги вместе[292]; странное притязание, которое мы не знаем, как он обосновал. Наконец, однако, во время Панафинейского праздника раб Андромеха получил первую награду в десять тысяч драхм, а метелка Тевкрис - вторую награду в тысячу драхм.

Таким образом, большое количество граждан, многие из которых были первыми в городе, либо лежали в тюрьме, либо бежали в изгнание. Но тревога, муки и подозрения в общественном сознании скорее усиливались, чем ослабевали. Сведения, полученные до сих пор, были неполными, и, за исключением Агаристки, все информаторы были либо рабами, либо метисами, а не гражданами; Тевкрис, единственный из них, кто сообщил что-либо об издевательствах над Гермесом, не утверждал, что является участником этих событий или знает всех тех, кто ими занимался.[293] Народ услышал лишь череду разоблачений, все они свидетельствовали о частоте безрелигиозных действий, рассчитанных на оскорбление и изгнание местных богов, защищавших их страну и конституцию; все они указывали на то, что есть много влиятельных граждан, склонных преследовать такие замыслы, истолкованные как измена, но ни один из них не давал полного или удовлетворительного представления о заговоре Нермо корид, о настоящих заговорщиках или об их дальнейших целях. Враг был среди них, но они не знали, где наложить на него руки. Среди мрачных ужасов, политических, смешанных с религиозными, которые отвлекали их умы, снова ожили все древние истории о последних и худших притеснениях деспотов Пеисистратидов за девяносто пять лет до этого, и какие-то новые деспоты, они не знали, кто именно, казалось, вот-вот займут акрополь. Выявить настоящих заговорщиков было единственным способом получить передышку от этого меланхолического пароксизма, для чего народ был готов принимать сомнительных свидетелей и заключать в тюрьму по подозрению граждан самого лучшего характера, пока не выяснится истина[294].

Общественное смятение усугублялось Пейсандром и Хариклесом, выступавшими в роли комиссаров по расследованию, яростными и беспринципными политиками,[295] в то время исповедовавшими преувеличенную привязанность к демократической конституции, хотя

впоследствии мы найдем их обоих среди самых беспринципных агентов по ее подрыву. Эти люди громко заявляли, что раскрытые факты указывают на многочисленность группы заговорщиков-гермокопидов, имевших скрытую цель поскорее уничтожить демократию; они настаивали на продолжении расследования до полного раскрытия. И настроение народа, взятое в целом, откликнулось на этот стимул; хотя каждый человек в отдельности так боялся стать следующей арестованной жертвой, что, когда глашатай созвал сенат для получения информации, толпа на рыночной площади сразу же рассеялась.

Именно среди такой жажды открытий и появился новый доносчик, Диоклейдес, который признался, что сообщил некоторые существенные факты, связанные с увечьем Гермеса, утверждая, что их авторов было триста человек. Он рассказал, что в ночь, когда произошел этот инцидент, он отправился из Афин на рудники Лауриона, где у него был наемный раб, за которого он должен был получать плату. Было полнолуние, и ночь была такой светлой, что он начал свой путь, приняв ее за рассвет.^[296] Достигнув пропилеи храма Диониса, он увидел, как из Одеона в сторону публичного театра спускается толпа людей числом около трехсот. Встревоженный этим неожиданным зрелищем, он спрятался за колонной, откуда имел досуг созерцать это сборище людей, которые некоторое время стояли, переговариваясь, группами по пятнадцать или двадцать человек, а затем разошлись: луна была так ярка, что он мог различить лица большинства из них. Как только они разошлись, он продолжил свою прогулку до Лаурейона, откуда вернулся на следующий день и, к своему удивлению, узнал, что ночью Гермес был изуродован; кроме того, были назначены следственные комиссары, а за информацию объявлена награда в десять тысяч драхм. Впечатленный убеждением, что ночная толпа, которую он видел, была автором этого преступления, он вскоре после палаты увидел одного из них, Эвфема, сидящего в мастерской у мангала, и отвел его в соседний храм Гефеста, где доверительно сообщил, что видел эту компанию за работой и может донести на них, но что он предпочитает получить плату за молчание, а не давать информацию и навлекать на себя личную вражду. Эвфем поблагодарил его за предупреждение и попросил прийти на следующий день в дом Леогора и его сына Андокидеса, где он увидит их, а также других заинтересованных лиц. Андокидес и остальные предложили ему под торжественный залог сумму в два таланта, или двенадцать тысяч драхм, превысив таким образом объявленную сенатом награду в десять тысяч драхм любому доносчику правды, и согласившись на участие в выгодах их заговора, если он, конечно, удастся. На его ответ, что он рассмотрит это предложение, они попросили его встретиться с ними в доме Каллиаса, сына Телеклеса, шурина Андокидеса; встреча состоялась, и торжественная сделка была заключена в акрополе. Андокидес и его друзья обязались в начале следующего месяца выплатить Диоклейдесу два таланта в качестве платы за его молчание. Но поскольку это обязательство так и не было выполнено, Диоклейдес пришел со своими сведениями в сенат^[297].

Таков, согласно докладу Андокидеса, был рассказ этого информатора, который он завершил, назвав сорок два человека из трехсот, которых он видел. Первыми он назвал имена Мантифея и Афепсиона, двух сенаторов, которые действительно сидели среди его слушателей. Далее шли остальные сорок человек, среди которых были Андокидес и многие его ближайшие родственники, его отец Леогор, его первые или вторые двоюродные братья и шурин, Чармидес, Таурей, Нисей, Калий, сын Алкмеона, Фриних, Евкратес (брат Никиаса, полководца в Сицилии) и Критий. Но так как было еще большее число имен - если предположить, что общее число в триста имен было верным, - которые Диоклейдес не смог указать, комиссар Пейсандр предложил немедленно схватить и пытаться Мантифея и Афепсиона, чтобы заставить их выдать своих сообщников; псефизм, принятый в правление Скамандрия, согласно которому было незаконно применять пытки к любому свободному афинянину, был сначала отменен. Как ни незаконно, не менее чем жестоко было это предложение, сенат поначалу принял его благосклонно. Но Мантифей и Афепсион, бросившись в качестве сторонников на алтарь в сенатском доме, так настойчиво отстаивали свои

права граждан, чтобы им позволили внести залог и предстать перед дикастерием, что в конце концов это было удовлетворено.^[298] Не успели они предоставить поручителей, как нарушили свой договор, сели на коней и дезертировали к врагу, не обращая внимания на своих поручителей, которые по закону подлежали тому же суду и тем же наказаниям, которые постигли бы самих преступников. Это внезапное бегство, а также известие о том, что на границах Аттики собралась беотийская армия, еще больше усилили неистовый ужас, охвативший общественное мнение. Сенат сразу же принял спокойные меры по захвату и заключению в тюрьму всех оставшихся сорока человек, чьи имена были обличены; в то время как по согласованию со стратегами все граждане были взяты под оружие; те, кто жил в городе, собрались на рыночной площади; те, кто находился в длинных стенах и возле них, - в Тесее; те, кто был в Пейре, - на площади, называемой Рыночной площадью Гипподама. Даже всадники города созывались под звуки труб в священном квартале Анакеона. Сам сенат всю ночь оставался на акрополе, за исключением пританов, или пятидесяти сенаторов из председательствующего племени, которые провели ночь в общественном здании под названием Толус. Каждый житель Афин ощущал страшное чувство внутреннего заговора, готового вот-вот разразиться, возможно, вместе с вторжением чужеземцев, которому помешало только своевременное разоблачение Диоклейдеса, которого приветствовали как спасителя города и несли в процессии на ужин в пританеях^[299].

Как ни плачевно было состояние города в целом, еще более плачевно было состояние заключенных; и еще худшего во всех отношениях следовало ожидать, поскольку афиняне не знали ни покоя, ни терпения до тех пор, пока им не удалось тем или иным способом узнать имена нераскрытых заговорщиков. Родственницы и дети Андокидеса и его спутников по разрешению находились вместе с ними в тюрьме,^[300] усугубляя своими слезами и причитаниями скорбь этой сцены, когда Хармидес, один из заключенных, обратился к Андокидессу, как к своему двоюродному брату и другу, умоляя его добровольно рассказать обо всем, что ему известно, чтобы сохранить жизни стольких невинных людей, его ближайших родственников, а также избавить город от лихорадочной тревоги, которую нельзя терпеть. "Ты знаешь, - сказал он, - все, что произошло в связи с увечьем Гермеса, и твоё молчание теперь навлечет гибель не только на тебя, но и на твоего отца и на всех нас; если же ты сообщишь, был ли ты участником этой сцены или нет, ты добьешься безнаказанности для себя и для нас и в то же время успокоишь ужасы города". Такие уговоры со стороны Хармидеса,^[301] подкрепленные мольбами других пленников, преодолели нежелание Андокидеса стать доносчиком, и на следующий день он выступил с разоблачениями перед сенатом. "Эвфилет, - сказал он, - был главным виновником увечья Гермеса. Он предложил совершить это деяние на званом вечере, где я присутствовал, но я самым решительным образом осудил его и отказался выполнять все его требования. Вскоре я сломал ключицу и повредил голову, упав с молодой лошади, так сильно, что был прикован к постели; тогда Эвфилет воспользовался моим отсутствием, чтобы лживо уверить остальных членов компании, что я дал согласие и что я согласился расцечь Гермеса возле моего отцовского дома, который племя Эгеев посвятило. Соответственно, они осуществили этот проект, пока я был не в состоянии двигаться, без моего ведома: они предполагали, что я возьмусь за калечение именно этого Гермеса, и вы видите, что это единственный во всех Афинах, который избежал ранения. Когда заговорщики убедились, что я не был участником, Эвфилет и Мелет пригрозили мне страшной местью, если я не буду соблюдать тишину, на что я ответил, что не я, а их собственное преступление привело их к опасности".

Пересказав эту историю по существу сенату, Андокидес приказал пытать своих рабов, как мужчин, так и женщин, чтобы они подтвердили его рассказ о том, что он лежал в своей постели и не мог ее покинуть в ту ночь, когда Гермеса изуродовали. Похоже, что пытки действительно были

применены (согласно обычаю, столь жестокому в Афинах в отношении рабов), и сенаторы таким образом убедились в правдивости того, что утверждал Андокидес. Он назвал двадцать два имени граждан, искалечивших Гермеса: восемнадцать из них, включая Евфилекта и Мелета, уже были указаны в сведениях Тевкра; остальные четыре - Панэтий, Диакрит, Лисистрат и Хередекм; все они бежали, как только были названы их имена, не дожидаясь возможности быть схваченными. Как только сенат выслушал рассказ Андокидеса, они снова приступили к допросу Диоклейдеса; тот признался, что дал ложное показание, и умолял о пощаде, упомянув Алкивиадеса Фегусийца - родственника полководца в Сицилии - и Амианта, как подговоривших его на преступление. Оба они сразу же бежали после такого разоблачения; но Диоклейдес был задержан, отправлен в дикастерию для суда и предан смерти[302].

Вышеизложенное - это история, которую Андокидес в оратории *De Mysteriis*, произнесенной между пятнадцатью и двадцатью годами спустя, представил как сообщенную им сенату в этот опасный кризис. Но это, вероятно, не та история, которую он действительно рассказал, и уж тем более не та, которую представляли его враги: менее всего она передает всю правду или дает хоть какое-то удовлетворение тем тревогам и волнениям, которые, как описывается, были распространены в то время. Не согласуется она и с краткой информацией Фукидида, который сообщает нам, что Андокидес обвинил себя, наряду с другими, в участии в изуверстве.[303] Среди сообщников, против которых он сообщил, его враги утверждали, что среди них были его собственные ближайшие родственники, хотя сам он это отрицает. Таким образом, мы можем быть уверены, что история, которую действительно рассказывал Андокидес, сильно отличалась от того, что сейчас представлено в его ораторском искусстве. Но что это было на самом деле, мы выяснить не можем; да мы и не выиграли бы многого, даже если бы смогли это выяснить, поскольку даже в то время ни Фукидид, ни другие умные критики не могли определить, насколько это было правдой. Искалечение Гермеса всегда оставалось для них необъяснимой загадкой, хотя главным организатором они считали Андокидеса[304].

Самым важным и неоспоримым является то, какое влияние оказали откровения Андокидеса, истинные или ложные, на общественное мнение в Афинах. Это был молодой человек, знатный и богатый в городе, принадлежавший к священному роду Кериков, - говорят, что его родословная восходит к герою Одиссею, - и получивший в прошлом важное морское командование; в то время как предыдущие доносчики были метисами и рабами. Кроме того, он сам признавал свою вину. Поэтому люди восприняли его сообщения с нескрываемым доверием. Они радовались, что докопались до сути страшной тайны, и общественное мнение от яростных ужасов перешло к относительному спокойствию. Граждане снова стали считать себя в безопасности и вернулись к привычному доверию друг к другу, а гоплитам, повсюду стоявшим на страже, было позволено вернуться в свои дома.[305] Все заключенные по подозрению, кроме тех, против кого сообщил Андокид, были немедленно освобождены: тем, кто бежал из страха, было позволено вернуться, а те, кого он назвал виновными, были преданы суду, осуждены и преданы смерти. Те из них, кто уже бежал, были приговорены к смерти в их отсутствие, и за их головы была назначена награда.[306] И хотя проникательные люди не были удовлетворены доказательствами, на основании которых были вынесены эти приговоры, все же широкая общественность полностью верила, что наказала настоящих преступников, и таким образом получила невыразимое облегчение от гнетущего чувства невысказанного оскорбления богов, а также опасности для их политической конституции из-за лишения божественной защиты.[Сам Андокидес был помилован и на некоторое время стал объектом, по-видимому, даже общественной благодарности, так что его отец Леогор, который был среди заключенных, решился предъявить обвинение сенатору по имени Спевсипп в незаконных действиях по отношению к нему и получил почти единогласный вердикт дикастерия.[308] Но персона разрушителя статуй и доносчика никогда не могла быть в Афинах иной, чем одиозной. Андокидес был либо изгнан в результате косвенного воздействия

общего дисквалифицирующего декрета, либо, по крайней мере, обнаружил, что своим поведением в этом деле он нажил столько врагов и вызвал столько недоброжелателей, что ему пришлось покинуть город. Он оставался в изгнании в течение многих лет и, похоже, так и не избавился от ненависти, которую так заслужило его поведение в этом гнусном деле[309].

Но утешение, вызванное этими разоблачениями в отношении Гермеса, хотя и было искренним и неоценимым в данный момент, вскоре снова было нарушено. Оставались еще различные предполагаемые осквернения Элевсинских мистерий, которые еще не были расследованы и не были искуплены; и они тем более должны были стать достоянием гласности, причем с надуманным преувеличением благочестивого рвения, поскольку враги Алкивиада стремились обратить их на его погибель. Среди всех церемоний аттической религии не было ни одной более глубоко и повсеместно почитаемой, чем Элевсинские мистерии, изначально предписанные самой богиней Деметрой во время ее визита в это место Эвмолпу и другим элевсинским патриархам и передававшиеся в их семьях как драгоценная наследственная привилегия.[310] Праздновавшиеся ежегодно в августе или сентябре под особым присмотром базилея, или второго архонта, эти мистерии собирали огромные толпы людей как из Афин, так и из других частей Греции, представляя взору торжественное и внушительное зрелище и поражая воображение еще сильнее особым посвящением, которое они давали, под залог тайны, благочестивым и предрасположенным причастникам. Даже разглашение на словах непосвященным того, что было представлено взору и слуху собравшихся в интерьере Элевсинского храма, считалось в высшей степени преступным: тем более подражание этим церемониям для увеселения собравшихся. Более того, лица, занимавшие в Элевсине великие священные должности - иерофант, дадух (факелоносец) и керикс, или глашатай, - которые передавались по наследству в Эвмолпидах и других великих древних и важных семьях, были лично оскорблены подобными процессами и отстаивали свое достоинство, одновременно призывая кару на обидчиков во имя Деметры и Персефона. Среди афинской публики ходили самые ужасающие легенды, которые в соответствующих случаях повторял даже сам иерофант, о божественных судах, которые всегда настигали таких нечестивцев[311].

Вспомнив, как высоко почитались Элевсинские мистерии греками, не родившимися в Афинах, и даже иностранцами, мы не удивимся тому, какое бурное негодование вызывали в афинском обществе те, кто их осквернял или разглашал; особенно в тот момент, когда их религиозные чувства были так остро уязвлены и так поздно и недавно исцелены в связи с Гермесом.[Примерно в это же время[313] было начато судебное преследование мелийского философа Диагора за нерелигиозные доктрины. Покинув Афины до суда, он был признан виновным в свое отсутствие, и за его жизнь была назначена награда.

Вероятно, привилегированные священные семьи, связанные с мистериями, были первыми, кто призывал к изгнанию из государства величия двух оскорбленных богинь и к наказанию провинившихся.[314] И враги Алкивиада, как личные, так и политические, нашли благоприятную возможность возродить то обвинение против него, которое они искусно упустили перед его отъездом в Сицилию. Факт, выдвинутый против него, - подражание священным церемониям - был не только вероятен сам по себе, но и доказан достаточно вескими свидетельствами против него и некоторых его близких спутников. Более того, привычная для Алкивиада властная дерзость поведения, столь вопиюще противоречащая равноправным ограничениям демократии, позволила его врагам вменить ему в вину не только нерелигиозные поступки, но и антиконституционные цели; Ассоциация идей, которую в этот момент было тем легче аккредитовать, что его разглашение и пародия на мистерии не были одиночными, но были истолкованы в сочетании с недавним изувечением Hermæ - как проявление того же

антипатриотического и иррелигиозного чувства, если не часть и неотъемлемая часть того же предательского плана. И тревога по этому поводу была возобновлена появлением на перешейке лакедемонской армии, которая заявила, что замышляет некое предприятие совместно с беотийцами, цель которого нелегко понять, и которая, судя по всему, является прикрытием для враждебных замыслов против Афин. Афиняне настолько поверили в это, что взяли в руки оружие и простояли под оружием целую ночь в священном квартале Тесея. Враг не появлялся ни снаружи, ни изнутри, но заговору, как они полагали, помешало разразиться недавнее расследование и обнаружение. Кроме того, партия в Аргосе, связанная с Алкивиадом, как раз в это время подозревалась в заговоре с целью подрыва их собственной демократии, что еще более усугубляло предположения против него, а также побуждало афинян отдать аргейскому демократическому правительству олигархических заложников, взятых в этом городе за несколько месяцев до того[315], чтобы оно могло предать их смерти, когда сочтет нужным.

Подобные инциденты существенно помогли врагам Алкивиада в их неустанных попытках добиться его отзыва и осуждения. Среди них были люди, очень разные по положению и нраву: Фессал, сын Кимона, человек из высшего рода и наследственный олигарх, а также Андроклес, ведущий демагог или популярный оратор. Именно первый выдвинул против него в сенате памятный импичмент, который, к счастью для нашей информации, записан дословно.

"Фессал, сын Кимона, из рода Лакиадæ, выдвинул против Алкивиада, сына Клейниаса, из рода Скамбонидæ, обвинение в преступлении в отношении двух богинь - Деметры и Персефоны, в том, что он имитировал мистерии и показывал их своим товарищам в собственном доме, надев костюм иерофанта: применяя к себе имя иерофанта, к Политиону - дадуха, к Теодору - герольда, а к остальным своим спутникам обращаясь как к мистам и эпоптам; все это вопреки священным обычаям и канонам, издревле установленным Эвмолпидами, Кериками и элевсинскими жрецами." [316]

В то же время аналогичные обвинения были предъявлены и другим гражданам, служившим в Сицилии вместе с Алкивиадом, и обвинители просили отправить его и остальных на родину, чтобы они предстали перед судом. Мы можем заметить, что обвинение против него совершенно отчетливо и специально, без намека на какие-либо предполагаемые изменнические или антиконституционные проекты: вероятно, однако, эти подозрения были выдвинуты его врагами в их предварительных речах, чтобы побудить афинян немедленно отстранить его от командования армией и отправить за ним домой. Для такого шага необходимо было привести веские доводы, но в конце концов общественность была тщательно убеждена, и саламинская триера была отправлена за ним в Сицилию. Однако при отправке этого вызова была предпринята большая осторожность, чтобы избежать всякой видимости предубеждения, суровости или угрозы. Триерарху было запрещено захватывать его персону, и он получил инструкции пригласить его просто сопровождать Саламинянина домой на его собственной триреме, чтобы избежать опасности оскорбить аргейских и мантинейских союзников, служащих в Сицилии, или саму армию[317].

Именно по возвращении афинской армии после неудачной попытки при Камарине в свои прежние кварталы в Катане они обнаружили саламинскую трирему, только что прибывшую из Афин с этим серьезным требованием к генералу. Мы можем быть уверены, что Алкивиад получил частное сообщение от своих друзей в Афинах с помощью той же триремы, сообщившей ему о настроении народа, так что его решение было быстро принято. Повинуясь, он отправился на своей триреме в обратный путь вместе с другими обвиняемыми, с ними была и саламинская триера; но как только они прибыли в Фурии, на побережье Италии, он и его спутники покинули судно и

исчезли. После бесплодных поисков саламинского триерарха обе триремы были вынуждены вернуться в Афины без него. Алкивиада и остальных обвиняемых - один из которых[318] был его двоюродным братом и тезкой - судили, приговорили к смерти за неявку и конфисковали их имущество, а Эвмолпиды и другие священные семьи Элевсина объявили его проклятым богами за осквернение таинств[319] и записали приговор на свинцовой табличке.

Вероятно, его исчезновение и изгнание устраивало его врагов в Афинах: во всяком случае, они таким образом избавлялись от него; если бы он вернулся, его осуждение на смерть, хотя и вероятное, не могло считаться несомненным. Рассматривая поведение афинян по отношению к Алкивиаду, мы должны отметить, что народ не был виновен в несправедливости. Он совершил - по крайней мере, были основания полагать, что он совершил - преступное, с точки зрения каждого грека, деяние: разглашение и осквернение тайн. Этот поступок - обвинение против него в обвинительном акте было очень четким, лишенным всех предполагаемых скрытых целей, изменнических или иных, - был законно наказуем в Афинах и повсеместно считался виновным в общественной оценке, как преступление одновременно против религиозных чувств народа и против общественной безопасности, поскольку оскорблял двух богинь, Деметру и Персефону, и заставлял их лишиться своей благосклонности и защиты. Такое же требование законного наказания должно было бы существовать в христианской католической стране вплоть до недавнего периода истории, если бы вместо Элевсинских мистерий мы предположили, что высмеивается таинство мессы; хотя такое действие не влекло бы за собой нарушения обязательства хранить тайну. Мы также не должны судить о том, какова была бы мера наказания, назначавшаяся ранее человеку, осужденному за подобное преступление, изучая тенденции развития уголовного законодательства за последние шестьдесят лет. Даже в прошлом веке за такое преступление полагалось бы наказание более суровое, нежели сквозняк болиголова - худшее, что могло постигнуть Алкивиада в Афинах, как мы можем видеть на примере осуждения и казни шеваляе де ла Барра в Аббевиле в 1766 году. Единая тенденция христианского законодательства[320] вплоть до недавнего времени не оставляет возможности упрекнуть афинян в излишней жестокости при наказании преступлений против религиозных чувств. Напротив, афиняне отличаются сравнительной мягкостью и терпимостью, что мы еще не раз сможем отметить.

Теперь, анализируя поведение афинян по отношению к Алкивиаду, мы должны учитывать, что нарушение таинств, в котором он был обвинен в хорошей юридической форме, было действием, за которое он действительно заслуживал наказания, если его вообще кто-либо заслуживал. Даже его враги не сфабриковали это обвинение и не вменили его ему в вину; хотя они были виновны в коварных и беспринципных маневрах, чтобы возбудить общественное мнение против него. Их махинации начинаются с нанесения увечий Гермю - акта нового и беспримерного злодеяния, которому историки Греции редко отдают должное. Это не было, как в случае с нарушением мистерий, непристойным развлечением, совершенным в четырех стенах и не предназначенным для того, чтобы стать известным. Это было возмущение, по сути, публичное, спланированное и осуществленное заговорщиками с преднамеренной целью разорвать религиозное сознание Афин и обратить царившие в обществе ужас и смуту в политическую выгоду. В этом можно быть уверенным, хотя мы не можем точно сказать, кто были эти заговорщики и какова была их точная или особая цель. То, что уничтожение Алкивиада было одной из прямых целей заговорщиков, весьма вероятно. Но его враги, даже если они и не были в числе авторов, по крайней мере, взяли на себя половину вины за это дело, сделав его основой для коварных махинаций против его персоны. О том, как их план, изначально рассчитанный на то, чтобы уничтожить его до отъезда экспедиции, сначала провалился, затем был искусно отброшен и, наконец, вновь возрожден после длинного шлейфа клеветы на отсутствующего генерала, уже рассказывалось. Это одна из самых мрачных глав афинской политической истории, свидетельствующая о сильной религиозной

возбудимости народа, без какой-либо несправедливости по отношению к Алкивиаду, но указывающая на глубину злого умысла его врагов, как и Гермокопидов в целом, редко сравнимую с политической войной. Именно этим людям, а не народу, Алкивиад обязан своим изгнанием, которому, правда, способствовало влияние его собственного предыдущего характера. Что касается Гермеса, афиняне приговорили к смерти - после и вследствие низложения Андокидеса - небольшое число людей, которые, возможно, были невинными жертвами, но которых они искренне считали виновными; и чья смерть не только успокоила сравнительно общественные умы, но и послужила единственным средством спасения для гораздо большего числа заключенных, содержащихся под стражей по подозрению. Что касается Алкивиада, то они не пришли ни к какому коллективному решению, кроме как отозвать его на суд, и это решение не подразумевает никакой вины тех, кто проголосовал за него, какова бы ни была вина тех, кто предложил и подготовил его вероломными средствами[321].

Чтобы оценить отчаянную ненависть, с которой изгнанник Алкивиад мстил впоследствии своим соотечественникам, необходимо объяснить, насколько справедливы были его претензии к ним. Когда ему сообщили, что они приговорили его к смерти в его отсутствие, он, как говорят, воскликнул: "Я покажу им, что я жив". Он полностью исполнил свое слово[322].

Отзыв и последующее изгнание Алкивиада были для Афин пагубны в нескольких отношениях. Он перевел в лагерь врага разгневанного изгнанника, чтобы показать его слабые стороны и пробудить вялость Спарты. Это оскорбило часть сицилийского войска, больше всего, вероятно, аргейцев и мантинейцев, и ослабило их рвение к делу. [323] И, что было хуже всего, это оставляло войско полностью под парализующим командованием Никиаса. Ибо Ламах, хотя и оставался равным по номинальной власти и теперь получил в командование половину, а не треть армии, похоже, не имел реального влияния, кроме как на поле.

Теперь Никиас приступил к осуществлению предложенного им плана - отправиться в кругосветное плавание от Катаны к Селину и Эгесту, чтобы выяснить ссору между ними, а также финансовые возможности последних. Пройдя через пролив и вдоль северного побережья острова, он сначала остановился в Гимере, где ему отказали в приеме; затем он захватил сиканский приморский город Хиккара вместе со многими пленниками, среди которых была знаменитая придворная Лаис, тогда еще совсем юная девушка. [324] Передав это место эгестеям, Никиас лично отправился осмотреть их город и состояние, но не смог получить больше денег, чем тридцать талантов, которые были объявлены во время второго визита комиссаров. Затем он вернул пленников из Гиккары их сиканийским соотечественникам, получив выкуп в сто двадцать талантов,[325] и провел афинский сухопутный отряд через центр острова, через территорию дружественных сикелов в Катану; по пути он напал на враждебный сикелам город Хибла, в котором был отбит. В Катане к нему присоединились его морские силы.

Сейчас, по-видимому, была середина октября, и прошло три месяца с момента прибытия афинского войска в Регий; за это время они не добились ничего, кроме приобретения Накса и Катаны в качестве союзников - если не считать незначительного захвата Гиккары. Но на Наксус и Катану, как на халкидские города, Никиас рассчитывал заранее; вместе с Региумом, который, к его большому разочарованию, оказался неготовым. Что еще хуже, с точки зрения характера полководца, не только не было достигнуто ничего серьезного, но и не было предпринято ничего серьезного. Драгоценный момент, отведенный Ламахом для действий, когда ужасающая угроза недавно неиспытанного вооружения достигла максимума, а в Сиракузах не было не только подготовки, но и уверенности, был непоправимо упущен. С каждым днем приготовления сиракузян улучшались, а их страхи уменьшались; захватчик, которого они считали таким грозным,

оказался нерешительным и робким,^[326] а когда он скрылся из виду в Гиккаре и Эгесте, еще больше, когда он напрасно атаковал незначительный сикельский пост Гибла, в их умах произошел переход от ужаса к крайней уверенности. Масса сиракузских граждан, теперь усиленная союзниками из Селина и других городов, призвала своих генералов возглавить атаку афинской позиции у Катаны, поскольку афиняне не осмеливались подойти к Сиракузам; а сиракузские всадники даже дошли до того, что оскорбили афинян в их лагере, подъехав и спросив, не пришли ли они, чтобы поселиться на острове как мирные граждане, вместо того чтобы восстанавливать Леонтины. Столь неожиданное унижение, вероятно, подействовавшее на чувства солдат, в конце концов пристыдило Никиаса и заставило его нанести удар для поддержания собственной репутации. Он придумал хитрость, как подойти к Сиракузам так, чтобы ускользнуть от противодействия сиракузской конницы, осведомившись о местности вблизи города через некоторых изгнанников, служивших вместе с ним^[327].

Он отправил в Сиракузы гражданина Катанеи, в душе привязанного к Афинам, но внешне нейтрального и находящегося в хороших отношениях с другой стороной, как носителя притворного послания и предложения от друзей Сиракуз в Катане. Многие афинские солдаты, говорилось в послании, имели привычку ночевать в стенах, отдельно от своего лагеря и оружия. Сиракузянам было бы легко атаковать их на рассвете, чтобы застать врасплох, когда они будут неподготовленными и рассеянными; а фило-сиракузяне в Катане обещали помочь, закрыв ворота, напав на афинян внутри и поджегши корабли. Многочисленные катанейцы, добавили они, были готовы сотрудничать в предложенном плане.

Это сообщение, дошедшее до сиракузских генералов в тот момент, когда они сами были воодушевлены и настроены на агрессивные действия, вызвало такое неосторожное доверие, что они отправили гонца обратно в Катану с сердечным согласием и договоренностью о точном дне. Соответственно, за день или два до этого все сиракузское войско выступило в сторону Катаны и расположилось на ночлег на реке Симес, на территории леонтинцев, примерно в восьми милях от Катаны. Но Никиас, с которого все началось, решив в тот же день посадить на корабль свою армию вместе с присутствующими сикельскими союзниками, ночью отплыл на юг вдоль побережья, обогнув остров Ортигия, в Большую гавань Сиракуз. Прибыв туда с рассветом, он без сопротивления высадил свои войска к югу от устья Анапа, в глубине Великой гавани, возле деревушки, которая тянулась к храму Зевса Олимпийского. Разрушив соседний мост, где Гелоринская дорога пересекала Анап, он занял позицию, защищенную различными неудобными препятствиями - домами, стенами, деревьями и стоячей водой, кроме того, на его левом фланге была крутая земля самого Олимпиона; таким образом, он мог сам выбирать время для боя и находился вне атаки сиракузских коней. Для защиты своих кораблей на берегу он устроил частокол, срубив соседние деревья, и даже принял меры предосторожности для своего тыла, устроив поспешную ограду из дерева и камней, касающуюся берега во внутренней бухте, называемой Даскон. У него было достаточно времени для таких оборонительных работ, так как враг внутри стен не пытался его потревожить, а сиракузские конники обнаружили его маневр, только прибыв линии в Катане; и хотя они не теряли времени на возвращение, обратный марш был долгим. [Однако сиракузяне были настолько уверены в себе, что даже после столь долгого марша сразу же предложили сражение; но поскольку Никиас не покинул своей позиции, они отступили, чтобы занять свою ночную стоянку по другую сторону Гелоринской дороги, вероятно, окруженной с каждой стороны стенами.

На следующее утро Никиас вышел на позицию и выстроил свои войска в боевой порядок, в две дивизии по восемь человек в каждой. Передняя дивизия предназначалась для атаки; задняя - полный квадрат с багажом посередине - держалась в резерве возле лагеря, чтобы оказать помощь там, где она может потребоваться; конницы не было. Сиракузские гоплиты, по-видимому, гораздо

более многочисленные, чем его, представляли сбор в массе города, без всякого отбора; они были выстроены в более глубоком порядке шестнадцати человек, рядом со своими союзниками-селинунтинцами. На правом крыле расположились их всадники, лучшая часть их войска, не менее двенадцати сотен; вместе с ними двести всадников из Гелы, двадцать из Камарины, около пятидесяти лучников и рота дартеров. Гоплиты, хотя и полные отваги, были мало обучены, и их строй, никогда не отличавшийся точностью, в этот раз еще больше нарушился из-за непосредственной близости города. Одни ушли к своим семьям; другие, поспешив присоединиться, обнаружили, что битва уже началась, и заняли места, где только могли[329].

Фукидид, описывая эту битву, дает нам, согласно своей практике, изложение мотивов и чувств, которые одушевляли сражающихся с обеих сторон, и это послужило темой для краткой проповеди Никиаса. Это кажется удивительным для человека, привыкшего к современным войнам, где солдат находится под влиянием просто профессиональной чести и позора, без какой-либо мысли о деле, за которое он сражается. В древние времена такой мотив был лишь одним из многих других, которые, в зависимости от обстоятельств дела, способствовали возвышению или угнетению сознания солдата накануне боя. Никиас указывал на признанное военное превосходство избранных аргейцев, мантинейцев и афинян по сравнению с сиракузской массой, которая была полна веры в свое превосходство - это поразительное признание плачевных изменений, произошедших из-за его собственного промедления, - но которая в реальном конфликте не выдержит наказания из-за отсутствия дисциплины. [Кроме того, он напомнил им, что они находятся далеко от дома и что поражение сделает их жертвами сиракузской кавалерии, всех и каждого. Он не думал, как и его пророки, что такое бедствие, каким бы серьезным оно ни было, было даже желательно для Афин, так как оно спасло бы их от гораздо более серьезных бедствий, которые будут опечалены в следующих главах этой истории.

Пока совершались обычные жертвоприношения, пращники и лучники с обеих сторон вступили в перестрелку. Но вскоре зазвучали трубы, и Никиас приказал своему первому подразделению гоплитов сразу же стремительно атаковать, пока сиракузяне этого не ожидали. Судя по его предыдущему отступлению, они и представить себе не могли, что он первым отдаст приказ о наступлении; и только когда они увидели, что афинский строй действительно движется им навстречу, они подняли с земли свое оружие и вышли вперед, чтобы дать команду. Удар был мужественно встречен с обеих сторон, и некоторое время сражение продолжалось с неопределенным результатом. Случилась сильная гроза с дождем, громом и молниями, которая встревожила сиракузян, истолковавших ее как неблагоприятное предзнаменование, в то время как более опытным афинским гоплитам она показалась простым явлением сезона,[331] так что они еще больше удивили сиракузян той невозмутимой уверенностью, с которой они продолжали бой. В конце концов сиракузская армия была разбита, рассеяна и обращена в бегство: сначала перед аргейцами справа, затем перед афинянами в центре. Победители преследовали, насколько это было безопасно и целесообразно, не расстраивая своих рядов: сиракузская конница, которая еще не была задействована, сдерживала всех, кто наступал, и позволяла их собственной пехоте безопасно отступить за Гелоринскую дорогу[332].

Сиракузяне были так мало удручены этим поражением, что не уходили в свой город, пока не послали достаточный отряд для охраны соседнего храма и священного участка Зевса Олимпийского, где хранилось много богатств, которые, как они опасались, могли захватить афиняне. Однако Никиас, не приближаясь к священной земле, ограничился тем, что занял поле битвы, сжег своих убитых и снял оружие с мертвых врагов. Сиракузяне и их союзники потеряли двести пятьдесят человек, афиняне - пятьдесят[333].

На следующий день, предоставив сиракузянам их тела для погребения и собрав прах своих погибших, Никиас вновь собрал свое войско, вышел в море и отплыл к своей прежней стоянке в

Катане. Он считал невозможным без кавалерии и дальнейших денежных запасов удерживать позиции под Сиракузами или проводить немедленные осадные или блокадные операции. А поскольку приближалась зима, он решил занять зимние кварталы в Катане; хотя, учитывая мягкую зиму в Сиракузах и опасность болотной лихорадки вблизи Большой гавани летом, смена сезона могла рассматриваться как сомнительная выгода. Но он предложил использовать промежуток времени для отправки в Афины за конницей и деньгами, а также для получения подкреплений от своих сицилийских союзников, число которых он рассчитывал увеличить за счет присоединения новых городов после недавней победы, и собрать всевозможные журналы для начала осады Сиракуз весной. Отправив в Афины трирему с этими требованиями, он отплыл со своими силами в Мессену, в пределах которой находилась благоприятная партия, подававшая надежды на открытие перед ним ворот. Такая переписка была начата еще до отъезда Алкивиада: но первым актом мести, который совершил отъезжающий полководец в отношении своей страны, было предать ход дела фило-сиракузской партии в Мессене. Эти последние, воспользовавшись удобным случаем, подняли оружие до прибытия Никиаса, предали смерти своих главных противников и силой удержали город против афинян, которые после бесплодной задержки в тринадцать дней, со скудными припасами и в бурную погоду, были вынуждены вернуться на Наксос, где разбили лагерь и станцию и расположились на зимний отдых[334].

Недавняя стратагема Никиаса, затем движение в гавань Сиракуз и сражение были умело спланированы и исполнены. Она показала мужество и дисциплину армии, а также поддержала дух самих солдат и устранила чувство разочарования, которое вызывала неэффективность вооружения. Но что касается других результатов, победа была бесплодной; можно даже сказать, положительно озорной, поскольку она дала кратковременный стимул, послуживший Никиасу оправданием для трех месяцев полного бездействия, которые последовали за ней, и поскольку она не ослабила и не унизила сиракузян, но дала им полезный урок, который они использовали на практике, пока Никиас находился в своих зимних покоях. Его апатия в течение первых восьми месяцев после прибытия экспедиции в Регий (с июля 415 года до н. э. по март 414 года до н. э.) была самым прискорбным из всех бедствий для его армии, его страны и его самого. Обильные доказательства этого мы увидим в грядущих событиях, а пока нам остается лишь обратиться к его собственным предсказаниям и рекомендациям. Все трудности и опасности, которые необходимо преодолеть в Сицилии, он предвидел сам и внушил их афинянам: в первую очередь, как основания против экспедиции; но афиняне, хотя, к сожалению, не позволили им использовать их в этом качестве, полностью признали их реальность и уполномочили его требовать любую силу, необходимую для их преодоления.[335] Таким образом, ему было позволено взять с собой силу, рассчитанную по его собственным представлениям, вместе с припасами и орудиями для осады; однако, прибыв на место, он, похоже, стремится избежать участия этой силы в каком-либо серьезном предприятии и найти предлог, чтобы отвести ее обратно в Афины. То, что Сиракузы были главным врагом и что основным пунктом предприятия была осада этого города, было истиной, известной как ему самому, так и всем жителям Афин:[336] на грозной кавалерии сиракузян настаивал сам Никиас в предварительных дебатах. Однако после четырех месяцев пустяков и притворных действий, чтобы уклониться от решения реальной проблемы, существование этой конницы стало оправданием для дальнейшей отсрочки на четыре месяца, пока не будут получены подкрепления из Афин. Ко всем внутренним опасностям дела, предсказанным самим Никиасом с должной проницательностью, добавилась еще более серьезная опасность его собственной фактической задержки: он растратил первое впечатление от своего вооружения, дал сиракузянам время для расширения своих укреплений и позволил пелопоннесцам вмешаться в дела Аттики, а также оказать помощь Сицилии. Несчастная слабость этого полководца заключалась в том, что он уклонялся от принятия решительных решений любого рода и, во всяком случае, откладывал их до тех пор, пока необходимость не становилась неизбежной; следствием этого было то, - если воспользоваться выражением коринфского

посланника перед Пелопоннесской войной, порицавшего медлительную политику Спарты, - что, никогда не действуя, но всегда казавшись готовым действовать, он в момент реального конфликта заставлял своего врага не в одиночку, а в двойном составе[337].

Велико, должно быть, было разочарование афинян, когда, отправив в июне беспримерную по эффективности экспедицию, они получили в ноябре депешу, в которой сообщалось, что генерал не добился ничего, кроме одной нерешительной победы, и что он даже не пытался предпринять ничего серьезного и не сможет этого сделать, если они не пришлют ему еще кавалерии и денег. Однако единственным ответом, который они дали, было удовлетворение этого требования без какого-либо публичного выражения недовольства или разочарования в его адрес.[338] И это тем более следует отметить, что повторное перемещение Алкивиада предоставило привлекательную и даже ценную возможность для предложения прислать нового коллегу на его место. Если в Афинах не было жалоб на Никиаса, то и среди его солдат в Сицилии мы не знаем ни одной такой жалобы, хотя их разочарование должно было быть еще большим, чем у их соотечественников дома, учитывая ожидания, с которыми они отправлялись в путь. Вспомним, что задержка на несколько дней в Эйоне, при вполне оправданных обстоятельствах и в ожидании прибытия подкреплений, за которыми действительно послали, вызвала самый громкий ропот против Клеона в его экспедиции против Амфиполя со стороны гоплитов его собственной армии. 339] Контраст показателен, и он будет еще более показателен по мере нашего продвижения вперед.

Тем временем сиракузяне извлекали пользу из урока своего недавнего поражения. На ближайшем общественном собрании Гермократес обратился к ним с речью, в которой смешались слова ободрения и наставления. Он восхвалял их храбрость, но в то же время осуждал недостатки тактики и дисциплины. Учитывая значительное превосходство врага в этом отношении, он расценил недавнее сражение как хорошую надежду на будущее; он с удовлетворением отметил меры предосторожности, принятые Никиасом при укреплении своего лагеря, а также его быстрое отступление после битвы. Он убеждал их сократить чрезмерное число пятнадцати генералов, которых они до сих пор имели обыкновение назначать на должность командующего; уменьшить их число до трех, наделив их в то же время более широкими полномочиями, чем те, которыми они пользовались раньше, и дав торжественную клятву оставить их беспрепятственными в осуществлении этих полномочий; наконец, обязать этих генералов приложить самые энергичные усилия в течение предстоящей зимы для обучения и вооружения всего населения. В соответствии с этим сам Гермократес, Гераклίδес и Сиканус были назначены командующими. Послы были отправлены как в Спарту, так и в Коринф, чтобы попросить помощи в Сицилии, а также убедить пелопоннесцев возобновить прямое нападение на Аттику;[340] чтобы, по крайней мере, помешать афинянам отправить дальнейшие подкрепления Никиасу, а возможно, и отозвать его армию.

Но самой важной мерой, ознаменовавшей назначение новых полководцев, стало расширение линии укреплений Сиракуз. Они построили новую стену, охватывающую дополнительное пространство и охватывающую как внутренний, так и внешний город с запада, доходящую от внешнего моря до Большой гавани, через все пространство, обращенное к склону холма Эпиполе, и простирающуюся достаточно далеко на запад, чтобы охватить священный участок Аполлона Теменита. Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы, если Никиас, возобновив действия весной, победит их в поле и ограничит их стенами, он, тем не менее, не смог бы провести обводную стену от моря до моря, не покрыв при этом большого дополнительного пространства.[Кроме того, сиракузяне обустроили и гарнизонировали заброшенный город Мегару на побережье к северу от Сиракуз; они создали регулярное укрепление и гарнизон в Олимпионе или храме Зевса Олимпийского, который они уже гарнизонировали после недавней битвы с Никиасом; и они установили колья в море, чтобы загородить удобные места для высадки. Все эти

меры предосторожности были полезны для них; и можно даже сказать, что новое внешнее укрепление, охватывающее Темениты, оказалось их спасением в предстоящей осаде, так как настолько удлинило окружность, необходимую афинянам для строительства, что Гиалипп успел прибыть до того, как оно было закончено. Но была еще одна предосторожность, которую сиракузяне упустили в этот момент, когда перед ними открылась возможность без помех занять и укрепить Эвриалус, или вершину холма Эпиполе. Если бы они сделали это сейчас, афиняне, вероятно, никогда не смогли бы продвинуться вперед со своими линиями обхода: но они не думали об этом до тех пор, пока не стало слишком поздно, как мы увидим в ближайшее время.

Тем не менее, важно отметить, что если бы Никиас принял план, первоначально рекомендованный Ламахом, или если бы он начал свои постоянные осадные операции против Сиракуз летом или осенью 415 года до н. э., а не отложил их, как он сделал на самом деле, до весны 414 года до н. э., он не нашел бы этих дополнительных оборонительных сооружений, против которых нужно было бы бороться, и линия окружения, необходимая для его цели, была бы короче и проще. Помимо этих постоянных и непоправимых недостатков, зимнее бездействие на Наксосе нанесло ему еще большее оскорбление: сиракузяне пришли в его бывшие кварталы в Катане и сожгли палатки, которые нашли стоящими, опустошив в то же время соседние поля^[342].

Камарина проводила двусмысленную политику, которая заставляла обе стороны надеяться на ее получение; и в течение этой зимы афинский посланник Эвфем с другими людьми был отправлен туда, чтобы предложить возобновить союз между городом и Афинами, который был заключен десять лет назад. В противовес ему отправился сиракузец Гермократес, и оба они, по греческому обычаю, были допущены к выступлению в общественном собрании.

Гермократес начал с осуждения взглядов, замыслов и прошлой истории Афин. По его словам, он не боялся ее могущества, если сицилийские города были едины и верны друг другу: даже против одних Сиракуз поспешное отступление афинян после недавней битвы показало, как мало они верили в свои силы. Он боялся лишь обманчивых обещаний и инсинуаций Афин, стремящихся разъединить остров и парализовать всякое совместное сопротивление. Все знали, что ее цель в этой экспедиции - подчинить себе всю Сицилию, что Леонтины и Эгеста служили лишь удобным предлогом, и что она не могла искренне сочувствовать халкидцам в Сицилии, когда сама держала в рабстве халкидцев в Эвбее. На самом деле это было не что иное, как продолжение той же схемы хищнических амбиций, с помощью которой она довела своих ионийских союзников и сородичей до их нынешнего жалкого рабства, теперь угрожавшего Сицилии. Сицилийцы не могли слишком быстро показать ей, что они не ионийцы, которых передают от одного хозяина к другому, а автономные дорийцы из центра автономии - Пелопоннеса. Было бы безумием потерять это почетное положение из-за ревности или слабости между собой. Пусть камаринцы не думают, что Афины наносят удар только по Сиракузам: они сами были ближайшими соседями Сиракуз и стали бы первыми жертвами в случае их завоевания. Возможно, из страха или зависти они хотели бы увидеть, как смиряется превосходящая сила Сиракуз, но это не может произойти без угрозы для их собственного существования. Им следовало бы сделать для нее то, о чем они просили бы ее, если бы афиняне вторглись в Камарину, а не оказывать лишь номинальную помощь, как они делали до сих пор. Их прежний союз с Афинами был заключен в целях взаимной обороны, а не обязывал их помогать ей в планах чистой агрессии. Держаться в стороне, говорить честные слова обеим сторонам и оставить Сиракузы сражаться за Сицилию в одиночку было столь же несправедливо, сколь и бесчестно. Если бы она вышла победительницей в этой борьбе, то позаботилась бы о том, чтобы камаринцы не остались в выигрыше от такой политики. Положение дел было настолько очевидным, что он (Гермократес) не мог претендовать на то, чтобы просвещать их: но он торжественно взывал к их чувствам общности крови и рода. На сиракузских

дорийцев напали их извечные враги ионийцы, и теперь их не должны предавать их собственные братья дорийцы из Камарины.

Эвфем в ответ объяснил действия Афин в отношении своей империи и защитил ее от обвинений Гермократа. Обращаясь к дорийскому собранию, он не побоялся исходить из положения, сформулированного Гермократесом, что ионийцы - естественные враги дорийцев. Под влиянием этого мнения Афины, как ионийский город, рассчитывали укрепиться против господства своих могущественных дорийских соседей в Пелопоннесе. Оказавшись после отпора персидскому царю во главе ионийцев и других греков, которые только что восстали против него, она воспользовалась своим положением и превосходным флотом, чтобы поколебать незаконное господство Спарты. Ее империя была оправдана заботой о собственной безопасности в борьбе со Спартой, а также огромным превосходством ее морских усилий в спасении Греции от персов. Даже в отношении своих союзников у нее были веские основания для их подчинения, поскольку они сами стали орудием и помощниками персидского царя в его попытке завоевать ее. Благоразумные соображения о безопасности для себя привели ее к приобретению нынешней империи, и те же самые соображения привели ее теперь к Сицилии. Он был готов показать, что интересы Камарины полностью совпадали с интересами Афин. Главной целью Афин на Сицилии было не дать сицилийским врагам направить помощь своим пелопоннесским врагам, для чего ей были необходимы сильные сицилийские союзники. Ослабить или подчинить себе сицилийских союзников было бы глупостью: если бы она это сделала, они не смогли бы служить ее цели - удержать сиракузян на их собственном острове. Отсюда ее желание восстановить изгнанных леонтинцев, сильных и свободных, хотя она сохранила в качестве подданных халкидцев в Эвбее. На родине ей нужны были только подданные, разоруженные и платящие дань, а в Сицилии - независимые и эффективные союзники; так что двойное поведение, которое Гермократес упрекал в непоследовательности, проистекало из одного и того же корня государственного благоразумия. Руководствуясь этим мотивом, Афины по-разному обращались с разными союзниками, в зависимости от обстоятельств каждого из них. Так, она уважала автономию Хиоса и Метимны, поддерживала равные отношения с другими островитянами вблизи Пелопоннеса; именно такие отношения она теперь хотела установить на Сицилии.

Нет: именно Сиракузы, а не Афины, были тем, кого камаринцы и другие сицилийцы действительно имели основания бояться. Сиракузы стремились к приобретению императорской власти над островом, и то, что она уже сделала по отношению к Леонтинам, показывало, что она готова сделать, когда придет время, против Камарины и других. Именно под этим предчувствием камарийцы пригласили Афины в Сицилию: было бы несправедливо и невежливо, если бы они отказались от ее помощи, так как без них она ничего не добьется; если они сделали это по настоящему случаю, то раскаются в этом в будущем, когда подвергнутся враждебности постоянно наступающего соседа и когда афинские вспомогательные войска не смогут снова получить. Он отверг обвинения, которые Гермократес бросил Афинам, но камаринцы не заседали в качестве судей или цензоров ее достоинств. Они сами должны были решить, не является ли тот заносчивый нрав, в котором упрекали Афины, в высшей степени полезным для всей Греции, как ужас для угнетателей и щит для слабых государств. Теперь он предложил его камаринцам в качестве единственной защиты от Сиракуз, призывая их, вместо того чтобы жить в вечном страхе перед ее агрессией, воспользоваться нынешней возможностью и напасть на нее на равных, совместно с Афинами[344].

В этих двух замечательных речах Гермократес повторяет по сути ту же линию, что и за десять лет до этого на конгрессе в Геле: уладить все сицилийские разногласия дома и, прежде

всего, не допустить вмешательства Афин, которые, закрепившись на Сицилии, не успокоятся, пока не уничтожат все города последовательно. Это была естественная точка зрения для сиракузского политика, но отнюдь не столь же естественная и не столь же убедительная для жителя одного из второстепенных сицилийских городов, в особенности для сопредельной Камарины. И ораторская речь Эвфема - искусная мольба, доказывающая, что камаринцам было гораздо больше причин опасаться Сиракуз, чем Афин. Его аргументы в этом вопросе если не убедительны, то, по крайней мере, весьма правдоподобны: но, похоже, он сам себя подставляет под удар с противоположной стороны. Если Афины не могут рассчитывать на получение подданных в Сицилии, то какой у них мотив вмешиваться? На это Эвфем утверждает, что если она не вмешается, то сиракузяне и их союзники придут и окажут помощь врагам Афин в Пелопоннесе. Однако очевидно, что в реальных обстоятельствах того времени у Афин не могло быть никаких реальных опасений такого рода, и что ее настоящими мотивами для вмешательства в дела Сицилии были надежды и посягательства, а не самооборона. Но это показывает, насколько маловероятно, чтобы такие надежды оправдались, и, следовательно, насколько непродуманным был весь план вмешательства в Сицилию, - что афинский посланник мог сказать камаринцам в том же духе, в каком Никиас говорил в Афинах, когда оспаривал мудрость экспедиции: "Сицилия так удалена от Афин, и так трудно охранять города большой силы и обширную территорию вместе взятые, что если бы мы захотели держать вас, сицилийцев, в качестве подданных, мы не смогли бы этого сделать: мы можем только сохранить вас как свободных и могущественных союзников". "То, что Никиас сказал в Афинах, чтобы отговорить своих соотечественников от предприятия, по искреннему убеждению, Евфрем повторил в Камарине с целью примирить этот город; возможно, сам не поверив в это, но от этого предвидение не стало менее верным и разумным.

Камаринцы почувствовали силу обеих речей - Гермократеса и Евфема. Они склонялись к афинянам, но не без некоторого опасения, что Афины окажутся полностью успешными. К сиракузянам же, напротив, они не испытывали ничего, кроме безоговорочных опасений и ревности очень древнего происхождения; и даже сейчас они очень опасались возможных страданий, если сиракузяне добьются успеха против Афин без их сотрудничества. В этой дилемме они сочли наиболее безопасным дать уклончивый ответ, выражающий дружеские чувства к обеим сторонам, но отказывающий в помощи одной из них; надеясь таким образом избежать необратимого разрыва, как бы ни повернулся конечный успех[346].

Для такого сравнительно слабого и расположенного города, как Камарина, такая политика была, пожалуй, наименее опасной. В декабре 415 года до н. э. никто не мог осмелиться предсказать, чем обернется борьба между Никиасом и сиракузянами в следующем году; да и камаринцы не испытывали никаких сердечных чувств, чтобы рискнуть в крайнем случае в пользу одной из сторон. В предыдущем июле 415 года до н. э., когда афиняне только прибыли, дела обстояли совсем иначе. Если бы тогда проводилась энергичная политика, к которой призывал Ламах, афиняне всегда казались бы способными добиться успеха, если бы, конечно, они уже не стали завоевателями Сиракуз; так что такие колеблющиеся, как камаринцы, остались бы привязанными к ним из политики. Лучший способ заполучить союзников, утверждал Ламах, - это действовать быстро и решительно и сразу же нанести удар по столице, пока еще свеж устрашающий эффект от их прибытия. Ценность его совета наглядно иллюстрирует поведение Камарины[347].

Всю оставшуюся зиму Никиас практически ничего не делал. Он лишь отправлял посланников для примирения с сикелами во внутренних районах, где автономные сикелы, обитавшие в центральных областях острова, в большинстве своем высказывались в его

пользу, особенно могущественный сикельский князь Архонидес, присылая провизию и даже деньги в лагерь на Наксосе. Против некоторых непокорных племен Никиас посылал отряды для принуждения, а сиракузяне, со своей стороны, делали то же самое, чтобы противостоять ему. Те сикельские племена, которые попали в зависимость от Сиракуз, остались в стороне от борьбы. С наступлением весны Никиас перенес свою позицию с Наксоса в Катану, вновь создав лагерь, который сиракузяне разрушили[348].

Далее он послал трирему к Карфагену, чтобы просить его о сотрудничестве, а вторую - к тирренским морским городам на южном побережье Италии, некоторые из которых предлагали ему свои услуги, как древние враги Сиракуз, и теперь выполнили свои обещания. От Карфагена ничего не было получено; почему, мы не знаем, так как через шесть лет карфагеняне вторглись в Сицилию с огромными силами, и если они вынашивали такие намерения, то присутствие Никиаса в Сицилии, по-видимому, представляло наиболее удобный момент для их осуществления. Сикелам, эгестейцам и другим союзникам Афин Никиас отправил заказы на кирпичи, железные прутья, хомуты и все необходимое для возведения обводной стены, которое должно было начаться с первым всплеском весны.

Пока на Сицилии шли такие приготовления, в Спарте происходили многообещающие события. Сразу после битвы у Олимпиона и отступления Никиаса в зимние покои сиракузяне отправили посланников в Пелопоннес, чтобы попросить подкрепления. И здесь мы снова вынуждены обратить внимание на плачевные последствия бездействия Никиаса. Если бы он начал осаду Сиракуз сразу по прибытии, можно сомневаться, что такие посланники вообще были бы отправлены в Пелопоннес; во всяком случае, они не прибыли бы вовремя, чтобы произвести решающий эффект.[349] Оказав во время своего путешествия влияние на италийских греков, сиракузские посланники достигли Коринфа, где встретили самый теплый прием и получили обещания скорой помощи. Коринфяне предоставили своих посланников для сопровождения в Спарту и поддержки их просьбы о помощи со стороны лакедемонян.

На съезде в Спарте они нашли еще одного защитника, на которого не могли рассчитывать, - Алкивиада. Этот изгнанник переправился из Фурий в элейский порт Киллен в Пелопоннесе на торговом судне[350] и теперь явился в Спарту по специальному приглашению и под конвоем лакедемонян; которых он сначала сильно боялся, поскольку поднял против них ту пелопоннесскую комбинацию, которая доставила им столько хлопот перед битвой при Мантинее. Теперь же он, казалось, пылал враждой к своей стране и жаждал причинить ей все беды, какие только были в его силах. Будучи главным злым гением, втянувшим ее, главным образом в своих корыстных целях, в это злополучное предприятие, он теперь собирался сделать все возможное, чтобы обратить его в непоправимую гибель. Его пламенный стимул и безмерные преувеличения восполнили недостаток коринфского и сиракузского красноречия и воспламенили запоздалую добрую волю спартанских эфоров к сравнительному решению и активности.[351] Его речь на спартанском съезде передана нам Фукидидом, который, возможно, слышал ее, так как сам находился в то время в изгнании. Как и более ранняя речь, которую он вложил в уста Алкивиада в Афинах, она в высшей степени характерна; она интересна и с другой точки зрения - как самая поздняя сочиненная речь любой длины, которую мы находим в его истории. Я привожу ее содержание, не берясь переводить слова.

"Прежде всего, я должен обратиться к вам, лакедемоняне, по поводу предубеждений, существующих против меня лично, прежде чем я смогу надеяться на справедливое рассмотрение государственных вопросов. Вы знаете, что именно я возобновил

государственную связь со Спартой, после того как мои предки до меня поссорились с вами и отказались от нее. Более того, я усердно добивался твоей благосклонности во всех отношениях, особенно оказывая внимание твоим пленникам в Афинах: но пока я проявлял все это усердие по отношению к тебе, ты воспользовался заключенным с Афинами миром, чтобы нанять моих врагов в качестве своих агентов, тем самым укрепив их руки и обесчестив меня. Именно это ваше поведение побудило меня объединиться с аргейцами и мантинейцами; не стоит гневаться на меня за беду, которую вы таким образом навлекли на себя. Возможно, некоторые из вас тоже ненавидят меня, без всяких на то оснований, как передового сторонника демократии. Моя семья всегда выступала против деспотов-систратидов Пэй; а поскольку всякая оппозиция царствующей династии носит имя "Народ", то с того времени мы продолжали действовать как вожди народа.^[352] Более того, наша установленная конституция была демократией, так что мне не оставалось ничего другого, как подчиниться, хотя я изо всех сил старался придерживаться умеренной линии политического поведения в условиях царящего произвола. Не моя семья, а другие люди, как в прежние времена, так и сейчас, вели народ к худшему, те самые люди, которые отправили меня в изгнание. Я всегда действовал как лидер не партии, а всего города, считая правильным поддерживать ту конституцию, в которой Афины наслаждались своим величием и свободой и которая, как я обнаружил, уже существовала.^[353] Что касается демократии, то все мы, афиняне, обладающие здравым смыслом, хорошо знали ее настоящий характер. Лично у меня есть больше оснований, чем у кого-либо другого, выступать против нее, если бы *можно было* сказать что-нибудь новое о такой признанной глупости; но я не счел безопасным менять правительство, пока вы стоите рядом как враги.

"Это касается только меня лично: Теперь я буду говорить с вами о делах собрания и расскажу вам нечто большее, чем вы еще знаете. Отплыв из Афин, мы намеревались сначала покорить сицилийских греков, затем итальянских, а после этого покуситься на Карфагенскую империю и на сам Карфаген. Если все или почти все это удастся, мы должны были напасть на Пелопоннес. Мы намеревались привлечь к этому предприятию всю мощь сицилийских и итальянских греков, а также большое количество иберов и других воинственных варваров, вместе с множеством новых трирем, построенных из обильных лесов Италии, и большими запасами как сокровищ, так и провианта. Таким образом, мы могли блокировать Пелопоннес по всему периметру нашим флотом и в то же время атаковать его сухопутными войсками; и мы рассчитывали, что, взяв штурмом одни города и заняв другие в качестве постоянных укрепленных позиций, мы легко завоюем весь полуостров, а затем станем бесспорными хозяевами Греции. Таким образом, вы услышали всю схему нашей экспедиции от человека, который знает ее лучше всех; и вы можете быть уверены, что остальные генералы выполнят все это, если смогут. Ничто, кроме вашего вмешательства, не сможет помешать им. Если бы, конечно, сицилийские греки объединились, они могли бы выстоять; но сиракузяне, стоящие поодиночке, не смогут, так как они уже были разбиты в общем бою и блокированы морем. Если Сиракузы попадут в руки афинян, вся Сицилия и вся Италия разделят ту же участь; и опасность, которую я описал, скоро настигнет вас".

"Поэтому не только ради безопасности Сицилии, но и ради безопасности Пелопоннеса я призываю вас немедленно отправить флот с армией гоплитов в качестве гребцов и, что я считаю еще более важным, чем армия, спартанского генерала, который примет на себя верховное командование. Кроме того, ты должен вести объявленную и энергичную войну против Афин здесь, чтобы побудить сиракузян держаться и чтобы Афины были не в состоянии послать туда дополнительные подкрепления. Ты должен еще более укрепить и постоянно держать гарнизон Декелеи в Аттике:^[354] это тот случай, которого афиняне всегда боялись больше всего, и который, как ты можешь знать, является твоей лучшей политикой.

Таким образом, вы получите в свои руки живую и мертвую массу Аттики, прервете работу серебряных рудников в Лауреоне, лишите афинян прибыли от судебных штрафов, а также доходов от земли и склоните союзников к отказу от дани.

"Никто из вас не должен думать обо мне хуже, потому что я делаю это энергичное нападение на мою страну в сотрудничестве с ее врагами, я, который когда-то был патриотом. [355] Вы также не должны доверять моим заверениям, как исходящим от безрассудной страсти изгнанника. Худшие враги Афин - не те, кто ведет открытую войну, как вы, а те, кто подбивает на вражду ее лучших друзей. Я любил свою страну, [356] пока был в безопасности как гражданин; теперь, когда мне причинили зло, я не люблю ее больше. В сущности, я не считаю, что нападаю на страну, которая все еще моя; я скорее пытаюсь вернуть страну, которая теперь потеряна для меня. Настоящий патриот - не тот, кто, несправедливо потеряв свою страну, смиряется с терпением, а тот, чей пыл заставляет его испытывать все средства, чтобы вернуть ее".

"Нанимайте меня без страха, лакедемоняне, на любую службу, связанную с опасностями и страданиями; чем больше вреда я причинил вам раньше как враг, тем больше пользы я могу принести вам теперь как друг. Но прежде всего не отступайте от немедленных операций как в Сицилии, так и в Аттике, от которых так много зависит. Таким образом вы подавите власть Афин, как нынешнюю, так и будущую; вы будете жить в безопасности; и вы станете вождями неразделенной Эллады, по свободному согласию и без применения силы" [357].

Огромные последствия имела эта речь, не менее мастерская с точки зрения цели и аудитории, чем позорная с точки зрения характера оратора. Если бы ее содержание стало известно в Афинах, что, вероятно, и произошло, враги Алкивиада получили бы оправдание для своих самых яростных политических нападков. То обвинение, которое они так старались на него навесить, приводя в доказательство и его расточительные траты, и властную наглость, и насмешки над религиозными церемониями государства, [358] - что он в душе ненавидел демократию, подчинялся ей только по необходимости и искал первой удобной возможности ее свергнуть, - появляется здесь на его собственном языке как предмет для заявления и хвастовства. Приговор, вынесенный ему, был бы теперь единодушно одобрен даже теми, кто в свое время осуждал его; и народ был бы еще более твердо, чем прежде, убежден в реальности связи между безрелигиозными проявлениями и изменническими замыслами. Несомненно, выводы, сделанные из этой речи, были бы несостоятельными, поскольку она отражала не действительные прошлые настроения Алкивиада, а те, на которые ему теперь было удобно претендовать. Если говорить о предпочтениях столь эгоистичного политика, то демократия в некоторых отношениях была для него более удобной, чем олигархия. Хотя она и была противна его вкусу, она открывала более широкие перспективы для его любви к показухе, его авантюрных амбиций и его жадности к иностранным грабежам; в то время как при олигархии ревнивые ограничения и отпоры, налагаемые на него несколькими равными, были бы, возможно, более жестокими для его нрава, чем те, которые исходят от всего народа. [359] В своей речи он ставит себе в заслугу умеренность, в отличие от постоянного разрешения демократии. Но это претензия, нелепая даже до экстравагантности, которую афиняне всех партий выслушали бы с изумлением. Такой свободы действий, как у Алкивиада, в Афинах никогда не видели; и именно авантюрные инстинкты демократии в отношении иностранных завоеваний в сочетании с несовершенным пониманием пределов и условий, при которых только их империя могла сохраниться надолго, он стимулировал до высшей точки, а затем использовал для собственной власти и выгоды. Что касается его самого, то у него были основания обвинять своих политических врагов в недостойных маневрах и даже в грубом политическом

нечестии, если они были авторами или соучастниками, как кажется вероятным, некоторых из них в изувечении Гермеса. Но, несомненно, их общественные советы содружеству были гораздо менее злонамеренными, чем его. И если мы хотим установить баланс личных политических заслуг между Алкивиадом и его врагами, мы должны принять в сравнение его мошенничество с простотой лакедемонских посланников, о котором рассказывается в предпоследней главе этой Истории.

Если, таким образом, та часть речи Алкивиада, где он затрагивает афинскую политику и свое собственное прошлое поведение, не может быть принята за историческое свидетельство, то столь же мало мы можем доверять следующей части, в которой он утверждает, что описывает истинные цели Афин в ее сицилийской экспедиции. То, что такие грандиозные замыслы, как те, о которых он сообщает, когда-либо действительно замышлялись даже им самим и его ближайшими друзьями, очень маловероятно; то, что они замышлялись афинским обществом, вооружением или Никиасом, совершенно невероятно. Опоздания и робкие движения вооружения в течение первых восьми месяцев после прибытия в Региум, рекомендованные Никиасом, частично признанные даже Алкивиадом, против которых выступала только безуспешная мудрость Ламаха и которые не подвергались резкому осуждению, когда о них узнали в Афинах, доказывают, что вначале их мысли не были полностью настроены даже на осаду Сиракуз; что они рассчитывали на союзы и деньги в Сицилии, которых не нашли; и что те, кто отплыл из Афин с большими надеждами на блестящее и легкое завоевание, вскоре были научены смотреть на реальность другими глазами. Если бы Алкивиад сам задумал в Афинах те планы, которые, как он утверждал, раскрыл в своей речи в Спарте, можно не сомневаться, что он поддержал бы план Ламаха, или, скорее, сам бы его разработал. Действительно, в своей речи, произнесенной в Афинах перед отплытием, он выражает надежду, что благодаря завоеваниям в Сицилии Афины станут хозяйкой всей Греции. Но это сказано как альтернатива и как благоприятная возможность, отмечено только в одном месте, без расширения или усиления, и показывает, что оратор не рассчитывал на то, что подобные ожидания будут распространены среди его слушателей. Алкивиад не мог решиться обещать в своей речи в Афинах результаты, о которых он потом говорил в Спарте как о реально задуманных: Сицилию, Италию, Карфаген, иберийских наемников и т. д., и все это в итоге - блокирующий флот, достаточно большой, чтобы опоясать Пелопоннес.[360] Если бы он дал такие обещания, обвинение в юношеской глупости, которое выдвинул против него Никиас, вероятно, было бы принято всеми на веру. Его речь в Спарте, хотя она и была воспринята некоторыми как фрагмент подлинной греческой истории, на самом деле представляет собой не более чем гигантский роман, придуманный для того, чтобы встревожить слушателей[361].

Предназначенный для этой цели, он был очень подходящим и эффективным. Лакедемоняне уже были отчасти тронуты представлениями из Коринфа и Сиракуз и даже готовы были отправить посланников в последние с призывом держаться против Афин. Но между Афинами и Спартой все еще действовал Никиасский мир и союз, последовавший за ним. Правда, он был частично и косвенно нарушен во многих отношениях, но обе договаривающиеся стороны все еще считали его действующим, и ни одна из них не согласилась бы нарушить свои клятвы открыто и демонстративно. По этой причине, а также из-за удаленности Сицилии, большой даже по меркам более мореходных афинян, эфоры пока не могли решиться на отправку туда какой-либо помощи. Именно в этой точке колебания между желанием и делом их и застал энергичный и мстительный изгнанник из Афин. Его пламенная картина надвигающейся опасности, доведенная до их собственных дверей и исходящая от самого осведомленного из всех свидетелей, сразу же преодолела их нежелание; в то же время он указал на точные шаги, благодаря которым их вмешательство принесет

наибольшую пользу. Передача Алкивиада Спарте, таким образом, изменила соотношение сил между двумя враждующими вождями Греции: "Momentumque fuit mutatus Curio rerum."^[362] Он еще не показал свою способность приносить пользу своей стране, как мы увидим это в дальнейшем, в последние годы войны: его первые успехи были слишком успешными, чтобы нанести ей вред.

Лакедемоняне сразу же решили послать в Сиракузы вспомогательный отряд. Но так как это нельзя было сделать до весны, они назначили командующим Гилиппа, приказав ему отправиться туда без промедления и посоветоваться с коринфянами о действиях так быстро, как только позволит случай.^[363] Мы не знаем, что Гилипп еще не дал никаких положительных доказательств того непревзойденного мастерства и активности, которые мы должны будем описать в ближайшее время. Вероятно, его выбрали из-за знакомства с обстоятельствами жизни италийских и сицилийских греков; ведь его отец Клиандрид, изгнанный из Спарты за четырнадцать лет до Пелопоннесской войны за получение афинских взяток, поселился в качестве гражданина в Фуриях^[364]. Гилипп просил коринфян немедленно отправить для него две триремы в Асинк, в Мессенский залив, и подготовить столько других, сколько смогут предоставить их доки.

ГЛАВА LIX.

ОТ НАЧАЛА ОСАДЫ СИРАКУЗ НИКИЕМ ДО ВТОРОЙ АФИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПРИ ДЕМОСФЕНЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ВОЙНЫ.

Афинские войска в Катане, вероятно, уставшие от бездействия, ранней весной, еще до прибытия подкреплений из Афин, пришли в движение и отплыли к опустевшим стенам Мегары, недалеко от Сиракуз, которые сиракузяне недавно гарнизонировали. Тщетно атаковав сиракузский гарнизон и опустошив окрестные поля, они вновь подняли баркас, высадились для тех же целей в устье реки Терия, а затем, после незначительной стычки, вернулись в Катану. Экспедиция во внутренние районы острова позволила им заключить союз с сикельским городом Кентори́па, и теперь, получив из Афин конницу, они приготовились к операциям против Сиракуз. Никиас получил из Афин двести пятьдесят всадников в полном снаряжении, лошадей для которых нужно было достать в Сицилии,^[365] тридцать конных стрелков и триста талантов деньгами. Он не замедлил снабдить их лошадьми из Эгесты и Катаны, из этих городов он также получил еще некоторое количество конницы, так что вскоре он смог собрать шестьсот пятьдесят конников в целом^[366].

Еще до того, как эта конница была укомплектована, Никиас совершил свой первый подход к Сиракузам. Сиракузские генералы, осведомленные о прибытии подкрепления из Афин и знавшие, что осадные работы вот-вот начнутся, сочли необходимым занять и охранять подъездные пути к возвышенности Эпиполе, нависавшей над их внешним городом.

В это время Сиракузы состояли из двух частей - внутреннего и внешнего города. Первая включала в себя остров Ортигия, первоначальное поселение, основанное Архиасом, в пределах которого сейчас находится современный город: второй или внешний город, впоследствии известный под названием Ахрадина, занимал возвышенность полуострова к

северу от Ортигии, но, похоже, не соединялся с внутренним городом и не был включен в одно и то же укрепление. Этот внешний город был защищен с севера и востока морем со скалами, представляющими большие трудности для высадки, и морской стеной, так что с этих сторон он был недостижим для нападения. Сухопутная стена, начинавшаяся от моря несколько восточнее входа в расщелину, ныне называемую Санта-Бонагия или Панагия, шла в направлении на запад от юга до окончания возвышенности Ахрадина, а затем поворачивала на восток вдоль каменных карьеров, ныне известных как Капуцины и Новантерис, где земля частично настолько крутая, что, вероятно, не было необходимости в укреплении. Таким образом, укрепленная возвышенность Ахрадины представляла собой внешний город, а нижняя земля, расположенная между ним и внутренним городом, или Ортигией, похоже, в это время не была включена в укрепления ни того, ни другого, но использовалась (и, вероятно, использовалась еще со времен первого поселения на острове), частично для религиозных процессий, игр и других многочисленных церемоний, частично для погребения мертвых, которое, согласно неизменному греческому обычаю, осуществлялось без стен города. Обширные катакомбы до сих пор свидетельствуют о том, как долго этот древний Некрополь служил своей цели.

К северо-западу от внешней городской стены, в направлении порта Трогила, находилось неукрепленное предместье, которое впоследствии превратилось в отдельный обнесенный стеной город Тихе. К западу от южной части той же внешней городской стены, почти к юго-западу от самого внешнего города, находился другой пригород, впоследствии известный и укрепленный как Неаполис, но получивший свое название в 415 году до н. э. из-за того, что в нем находилась статуя и освященная земля Аполлона Теменитеса,^[367] которая стояла немного выше на подъеме холма Эпиполе и простиралась от него вниз на юг в направлении Большой гавани. Между этими двумя пригородами лежало широкое открытое пространство, земля постепенно поднималась под уклон от Ахрадины к западу и уменьшалась в ширину по мере того, как поднималась выше, пока, наконец, не заканчивалась небольшим коническим курганом, называемым в современное время Бельведером. Этот выступ образовывал восточный подъем длинной гряды возвышенностей, называемой Эпиполе. Он представлял собой треугольник на наклонной плоскости, основанием которого была Ахрадина: как на севере, так и на юге он внезапно обрывался линиями известняковых скал (образующих стороны треугольника), высотой около пятнадцати или двадцати футов, и был довольно обрывистым, за исключением нескольких отверстий, сделанных для удобства подъема. От западной точки или вершины треугольника спуск был легким и постепенным - за исключением двух или трех особых курганов или скал - к городу, внутренняя часть которого была видна с этого внешнего склона.

Согласно военному искусству того времени, Никиас мог взять Сиракузы, только построив обводную стену, чтобы отрезать их от снабжения по суше, и одновременно блокировать их по морю. Теперь, глядя на внутренний и внешний город, как описано выше, в тот момент, когда он впервые достиг Сицилии, мы видим, что после победы над сиракузянами и изгнания их в их стены, что, конечно, было бы первой частью процесса, он мог бы провести свою блокирующую стену в направлении почти на юг от самой внутренней точки расщелины Санта-Бонагии, между городской стеной и Теменитеком, чтобы достичь Великой гавани в месте, расположенном недалеко к западу от соединения Ортигии с основной сушей. Или же он мог высадиться в Великой гавани и построить ту же стену, начав с противоположного конца. Или он мог предпочесть построить две блокадные стены, по одной для каждого города отдельно: короткой стены было бы достаточно перед перешейком, соединяющим

Ортигию, а отдельную стену можно было бы провести, чтобы закрыть внешний город, через неукрепленное пространство, составляющее Некрополь, и закончить не в Великой гавани, а на побережье Некрополя напротив Ортигии. Таковы были возможные варианты развития событий в то время, когда Никиас впервые достиг Ригиума. Но за долгие месяцы бездействия, которые он допустил, сиракузяне перекрыли обе эти возможности и значительно усугубили трудности задуманного им предприятия. Они построили новую стену, охватывающую как внутренний, так и внешний город, - она тянулась по всему фронту, обращенному к склону Эпиполя, от Большой гавани до противоположного моря у Санта-Бонагии, - и расширялась к западу, чтобы включить в нее статую и освященную землю Аполлона Теменитеса с примыкающей к ней скалой, известной под названием Теменитского утеса. Это было сделано для того, чтобы удлинить линию, необходимую осаждающим для хорошей блокады.^[368] После завершения строительства Никиас не мог начать блокаду со стороны Великой гавани, так как ему мешал обрывистый южный утес Эпиполе. Он был вынужден начать свою стену с части возвышенности Эпиполя и нести ее по большому пространству и выше по склону, пока она не коснется Великой гавани в точке, удаленной от Ортигии.

Таким образом, Сиракузы стали доступны только со стороны Эпиполя, а возникшая необходимость проводить операции гораздо выше по склону придавала вершине этой возвышенности большее значение, чем она имела до этого. Никиас, несомненно, снабженный изгнанниками хорошей местной информацией, похоже, сделал это открытие раньше, чем сиракузские генералы, которые, будучи заняты укреплением обороны на другом участке, где они были еще более уязвимы, сделали это только непосредственно перед началом весенней кампании. Именно в этот критический момент они объявили полный сбор на рассвете в низком медогоне на левом берегу Анапуса. После осмотра оружия и, вероятно, окончательного распределения сил для предстоящей борьбы, отборный полк из шестисот гоплитов был отдан в распоряжение андрийского изгнанника по имени Диомил, чтобы выполнять функции гарнизона Эпиполе, а также быть в постоянной готовности везде, где они могут понадобиться.^[369] Эти люди должны были занять сильную позицию на вершине холма и таким образом преградить все различные подходы к нему, казалось бы, немногочисленные и все узкие.

Но не успели они еще покинуть свой сбор, чтобы отправиться на вершину, как до них дошли сведения, что афиняне уже овладели ею. Никиас и Ламах, посадив свои войска на корабли в Катане, накануне вечером отплыли к месту высадки недалеко от места, называемого Леон, или Лев, которое находилось всего в шести или семи фуртах от Эпиполеи и, по-видимому, лежало между Мегарой и полуостровом Фапсус. Здесь они высадили своих гоплитов и разместили свой флот в безопасности под прикрытием частокола через узкий перешеек Фапса еще до наступления дня и до того, как сиракузяне получили хоть какое-то уведомление об их прибытии. Их гоплиты немедленно двинулись вперед быстрым шагом, чтобы взойти на Эпиполь, поднимаясь, по-видимому, с северо-востока, со стороны Мегары и наиболее удаленной от Сиракуз; так что сначала они достигли вершины, называемой Эвриалом, недалеко от вершины вышеописанного треугольника. Отсюда им открывался вид на склон Эпиполе под ними и город Сиракузы на востоке. Вскоре на них напали сиракузяне, которые, как только услышали новость, разогнали свой сбор на медовом берегу. Но поскольку дорога, по которой они должны были идти, приближаясь к Эвриалу с юго-запада, была извилистой и едва ли меньше трех английских миль в длину, они имели неприятность видеть, что афиняне уже были хозяевами положения; и когда они поспешили, чтобы снова занять его, быстрый темп так расстроил их ряды, что афиняне атаковали их с большим преимуществом, к тому же имея более высокую землю. Сиракузяне были отброшены к

своему городу с потерями, Диомил с половиной своего полка был убит, а афиняне остались хозяевами возвышенности Эвриала, а также верхней части склона Эпиполя[370].

Это было очень важным преимуществом; более того, оно казалось необходимым для успешного продолжения осады. Оно было достигнуто благодаря хорошо продуманному и хорошо выполненному плану, основанному на том, что сиракузяне не заняли пост, важность которого они сначала не осознавали и который фактически приобрел свое значение только благодаря новому расширению сиракузянами своих укреплений. Таким образом, она зависела от благоприятной случайности, на которую нельзя было рассчитывать. Взятие Сиракуз было несомненным, если предположить, что атака и осада города были начаты с первого прибытия афинян на остров, не дав времени на улучшение его обороноспособности. Но как только такая задержка была допущена, успех перестал быть уверенным, в большей или меньшей степени завися от благоприятного стечения обстоятельств. Сиракузяне действительно сделали многое, чтобы создать дополнительные трудности осаждающим, и могли бы сделать еще больше, особенно в том, что касается занятия возвышенности над Эпиполем. Если бы они приняли эту меру предосторожности, эффективное ведение осады было бы крайне затруднено, если не полностью сорвано.

На следующее утро Никиас и Ламах провели свою армию по склону Эпиполя к сиракузским стенам и предложили сражение, которое враг не принял. Затем они отвели афинские войска, после чего первым делом построили форт на возвышенности под названием Лабдалум, у западного конца верхней северной скалы, граничащей с Эпиполем, на краю обрыва, и смотрели на север в сторону Мегары. Это было место, где можно было бы хранить сокровища и запасы, чтобы не обременять армию во время ее передвижения. Когда афинская конница пополнилась прибывшими из Эгесты, Никиас спустился с Лабды lum на новую позицию под названием Сик, расположенную ниже Эпиполя, примерно посередине между северным и южным утесами. Здесь он с максимально возможной быстротой построил обнесенное стеной сооружение, названное Кругом, которое должно было стать центром, откуда должна была начинаться проектируемая стена окружности на север к морю у Трогила и на юг к Великой гавани. Этот круг, по-видимому, занимал значительное пространство и был защищен спереди флигелем площадью в тысячу квадратных футов.[371] Пораженные быстротой, с которой афиняне осуществили это строительство,[372] сиракузяне вывели свои войска и приготовились дать сражение, чтобы прервать его. Но когда афиняне, отказавшись от работы, выстроились на своей стороне в боевом порядке, сиракузские генералы были настолько поражены их явным превосходством в воинском строю по сравнению с беспорядочной выправкой их собственных рядов, что отозвали своих солдат обратно в город, не решившись вступить в бой; они оставили лишь конный корпус, чтобы затруднять действия осаждающих и заставлять их держаться в массе. Однако недавно приобретенная афинская кавалерия впервые вступила в эффективный бой. С помощью одного племени своих гоплитов они атаковали сиракузских коней, отбросили их с некоторыми потерями и воздвигли свой трофей. Это единственный случай, когда афинская кавалерия вступает в бой, хотя Никиас назвал отсутствие кавалерии главной причиной своего длительного бездействия.

Прервав таким образом преграду, Никиас продолжил свои блокадные операции: сначала он завершил строительство круга,[373] а затем начал свою обводную стену в северном направлении от круга к Трогилу: для этого часть его сил была занята тем, что привозила камни и дерево и складывала их в нужных местах вдоль намеченной линии. Так сильно Гермократес чувствовал неравенство сиракузских гоплитов в полевых условиях, что он отказался от новых общих действий и предложил построить контрстену, или поперечную

стену, пересекающую пространство, по которому афинская окружность должна быть обязательно продолжена, чтобы препятствовать ее дальнейшему продвижению. Прочная контрстена, если бы удалось успеть довести ее до оборонительного конца, полностью разрушила бы намерения осаждающих: но даже если Никиас прервет работу своими нападениями, сиракузяне рассчитывали, что за короткое время, необходимое для спешного возведения палисада, сиракузяне смогут собрать достаточно сил для их отражения. Такой палисад служил бы им временной защитой, пока они достраивали более сложную поперечную стену за ним, и даже в худшем случае заставил бы Никиаса приостановить все свои действия и использовать все свои силы для их вытеснения[374].

Итак, они начали свой путь от ворот у рощи Аполлона Теменитеса - ворот в новой стене, возведенных за четыре или пять месяцев до того, чтобы расширить укрепленное пространство города. От этой точки, которая находилась ниже по склону Эпиполя, чем афинский круг, они понесли свой палисад и контрстену вверх по склону, в направлении, рассчитанном на пересечение предполагаемой линии вражеского обхода к югу от круга. В этом предприятии можно было задействовать морское население из Ортигии, так как город был еще совершенно не затронут морем и являлся хозяйкой большой гавани, афинский флот еще не отошел от Фапса. Кроме этой активной толпы рабочих, были срублены священные оливковые деревья в Теменитовой роще, чтобы послужить материалом; и благодаря этим усилиям работа была вскоре закончена на достаточном расстоянии, чтобы обойти и перехватить блокирующую стену, которая должна была прийти с юга от Круга. Она, по-видимому, заканчивалась на краю обрывистого южного утеса Эпиполе, что не позволило афинянам развернуть ее и атаковать с фланга; спереди же она была защищена острогом и увенчана деревянными башнями для сброса снарядов. Для его защиты было оставлено одно племя гоплитов, а толпа сиракузян, которые были заняты на работах или в карауле, вернулась обратно в город.

Во время всего этого процесса Никиас не считал благоразумным прерывать их.[375] Занятый, судя по всему, на круге и на стене, отходящей от круга на север, он не хотел идти через склон Эпиполе, чтобы атаковать их с половиной своих сил, оставляя свой собственный тыл незащищенным от нападения многочисленных сиракузян в городе, а свой собственный круг лишь частично защищенным. Более того, благодаря такой задержке он мог беспрепятственно продолжать свою часть обхода и следить за возможностью выгодно атаковать новую контрстену. Такая возможность вскоре представилась, как раз в то время, когда он выполнил еще более важную задачу - разрушил акведуки, снабжавшие город, по крайней мере частично, водой для питья. Сиракузяне, похоже, были полны уверенности как в завершении строительства своей крепостной стены, которая казалась эффективным препятствием для осаждающих, так и в его бездействии. Оставшееся на страже племя вскоре начало ослаблять бдительность: вместо того чтобы занять стену, за ней были установлены палатки, чтобы укрыться от полуденного солнца; некоторые даже позволили себе отдохнуть в этот час внутри городских стен. Такая небрежность не ускользнула от афинских генералов, которые молча готовили нападение к полудню. Триста отборных гоплитов и несколько легких отрядов, одетых по этому случаю в паноплии, получили приказ внезапно выступить в атаку на острог и контрстену; в то время как основные силы афинян шли двумя дивизиями под командованием Никиаса и Ламаха; половина - к городским стенам, чтобы не допустить подкрепления из ворот, половина - к Теменитским воротам, откуда начинался острог и контрстена. Стремительное движение вперед трехсот отборных воинов увенчалось полным успехом. Они захватили и острог, и крепостную стену, слабо

защищаемую стражниками, которые, застигнутые врасплох, бросили свой пост и бежали вдоль стены, чтобы войти в город через Теменитские ворота. Однако не успели они войти, как преследующие их триста человек и афинская дивизия, шедшая прямо к этому месту, частично настигли их, так что некоторые из этих нападавших даже пробились вместе с ними через ворота в глубь теменитской городской стены. Здесь, однако, сиракузская сила внутри оказалась слишком велика для них: эти передовые афиняне и аргейцы были снова отброшены с потерями. Но общее движение афинян было полностью победоносным. Они снесли контрстену, вырвали палисад, а материалы унесли с собой, чтобы использовать для собственного обвода.

Поскольку недавняя сиракузская контрстена была доведена до края южной скалы, что делало ее неприступной с фланга, Никиас был предупрежден о необходимости овладеть этой скалой, чтобы лишить их этого ресурса в будущем. Поэтому, не задерживаясь, чтобы закончить строительство блокадной стены, регулярно и непрерывно идущей от Круга на юг по склону Эпиполеи, он оставил Круг под охраной и сразу же отправился в поход, чтобы овладеть южным утесом в том месте, где его должна была достичь блокадная стена. Эту часть южного утеса он немедленно укрепил как оборонительную позицию, чем достиг двух целей. Во-первых, он не позволил сиракузянам снова использовать утес в качестве фланговой обороны для второй контрстены.^[376] Далее, он получил возможность обеспечить безопасную и легкую дорогу сообщения между высокой землей Эпиполя и низкой болотистой землей под ним, которая отделяла Эпиполь от Великой гавани, и через которую афинская обводная стена должна была быть обязательно перенесена в настоящее время. Поскольку его войска должны были вести одновременные операции, частично на возвышенности, частично на низменности, он не мог допустить, чтобы они были отделены друг от друга обрывом, который препятствовал бы готовой взаимопомощи. Промежуточное пространство между Кругом и укрепленной точкой утеса было на время оставлено с недостроенной стеной, с намерением вернуться к ней, что и было сделано впоследствии, и эта часть стены была в конце концов завершена. Круг, хотя и изолированный, был достаточно силен, чтобы противостоять нападению, и имел достаточный гарнизон.

В результате этого нового движения сиракузяне лишились возможности возвести вторую крепостную стену на той же стороне Эпиполеи, поскольку враги были хозяевами конечной скалы на южной стороне склона. Теперь они переключили свои действия на нижнюю землю или болото между южным утесом Эпиполе и Великой гаванью; с этой стороны они были пока свободны, поскольку афинский флот все еще находился в Фапсе. Через это болото - и, похоже, до реки Анапус, чтобы служить фланговым барьером, - они решили провести частокол со рвом, чтобы пересечь линию, по которой афиняне должны были завершить южную часть своей окружности. Они так форсировали строительство этого нового поперечного палисада, начинавшегося от нижней части их собственных городских стен и тянувшегося в юго-западном направлении через низменность до реки Анап, что к тому времени, когда новое афинское укрепление на скале было завершено, новая сиракузская преграда также была закончена, и казалось, что острог со рвом закрывает осаждающим доступ в Великую гавань.

Ламах с умением и отвагой преодолел возникшие перед ним трудности. Спустившись неожиданно утром, еще до рассвета, из своего форта на утесе Эпиполе в низину, - снабдив свои войска досками и широкими воротами для переправы через болото, где оно было едва проходимо, - он сумел с первыми лучами утренней зари достичь палисада и застать его врасплох. В это же время был отдан приказ афинскому флоту обогнуть Фапсус и войти в Большую гавань, чтобы отвлечь внимание врага и зайти в тыл новым укреплениям. Но не

успел флот прибыть, как палисад и ров были взяты, а его защитники изгнаны. Большой отряд сиракузян вышел из города, чтобы поддержать их и снова занять его, так что теперь начались общие действия в низине между утесом Эпиполе, гаванью и рекой Анапус. Превосходная дисциплина афинян оказалась успешной: сиракузяне были разбиты и отброшены назад со всех сторон, так что их правое крыло бежало в город, а левое (включая большую часть их лучших сил, всадников) - вдоль берега реки Анап, чтобы достичь моста. Окрыленные победой, афиняне надеялись отрезать их от этого отступления, и отборный отряд из трехсот гоплитов быстро побежал, надеясь добраться до моста первым. В этом поспешном движении они впали в беспорядок, так что сиракузская конница повернула на них, обратила их в бегство и отбросила на афинское правое крыло, которому беглецы передали свою панику и беспорядок. Судьба битвы, казалось, поворачивалась против афинян, когда Ламах, находившийся на левом фланге, поспешил к ним на помощь с аргейскими гоплитами и столькими лучниками, сколько смог собрать. Его пыл увлек его вперед неосторожно, так что он перебрался через ров с очень немногими последователями, прежде чем остальные войска смогли последовать за ним. Здесь он был атакован и убит[377] в единоборстве с всадником по имени Калликратес; но сиракузяне были отброшены назад, когда подоспели его солдаты, и успели только схватить и унести его мертвое тело, с которым они перешли мост и отступили за Анапус. Таким образом, стремительное движение этого доблестного офицера увенчалось полным успехом, вернув победу его собственному правому крылу: победа, дорого купленная ценой его собственной жизни[378].

Между тем видимый беспорядок и временное бегство афинского правого крыла, а также отход Ламаха с левого для его подкрепления придали новое мужество сиракузскому правому крылу, которое бежало в город. Они снова вышли вперед, чтобы возобновить поединок; в то время как их генералы попытались отвлечь внимание, отправив отряд от северо-западных ворот города, чтобы атаковать афинский круг на среднем склоне Эпиполеи. Поскольку этот круг лежал совершенно в стороне и на значительном расстоянии от места сражения, они надеялись застать гарнизон неподготовленным к атаке и таким образом захватить его врасплох. Их смелый и своевременный маневр увенчался успехом. Они без особого труда вынесли прикрытие спереди, а сам круг, вероятно, лишенный части гарнизона для подкрепления сражающихся на нижней площадке, был спасен только благодаря уму и находчивости Никиаса, который лежал в нем больной. Он приказал служителям немедленно поджечь кучу дерева, которая вместе с таранными орудиями армии лежала перед круговой стеной, так что пламя предотвратило дальнейшее продвижение нападавших и заставило их отступить. Это же пламя послужило сигналом для афинян, участвовавших в сражении внизу, которые немедленно отправили подкрепление на помощь своему генералу; в то же время афинский флот, только что прибывший из Фапса, был замечен вплывающим в Великую гавань. Это последнее событие, угрожавшее сиракузянам с новой стороны, отвлекло все их внимание на оборону города, так что и полевые бойцы, и отряд из Круга были возвращены в стены[379].

Если бы недавняя попытка захвата Круга увенчалась успехом и принесла смерть или пленение Никиаса, а также смерть Ламаха на поле боя в тот же день, это значительно скрасило бы перспективы сиракузян и даже могло бы задержать дальнейшее продвижение осады из-за отсутствия полномочного командира. Но, несмотря на такую неминуемую опасность, фактический результат дня оставил афинян полными победителями, а сиракузян - обескураженными, как никогда. Существенно способствовало их унынию недавнее вступление афинского флота в Великую гавань, где он отныне постоянно находился в сотрудничестве с армией, расположившейся вблизи левого берега Анапа.

И армия, и флот теперь всерьез занялись строительством самой южной части обводной стены, начинавшейся сразу под афинским укрепленным пунктом спуска с южного утеса Эпиполеи, и тянувшейся по нижней болотистой местности до Великой гавани. Расстояние между этими двумя крайними точками составляло около восьми стадий или почти английскую милю: стена была двойной, с воротами и, вероятно, башнями через соответствующие промежутки, охватывая пространство значительной ширины, несомненно, частично покрытое крышей, поскольку впоследствии, с помощью прилегающей цитадели на скале, она служила укрытием и защитой для всей афинской армии. Сиракузяне не могли прервать этот процесс, как не могли и возвести новую крепостную стену на среднем склоне Эпиполе, не выходя на генеральное сражение, на которое они не чувствовали себя способными. Разумеется, теперь Круг был приведен в состояние, позволяющее отразить второй сюрприз.

Но не только поэтому они были вынуждены смотреть на блокирующую стену в сторону гавани, не создавая помех. До этого момента их сообщение с Анапом и страной за ним, а также со всеми сторонами Великой гавани было открытым и беспрепятственным; теперь же прибытие афинского флота и изменение позиции афинской армии отрезали их от того и другого,^[381] так что почти никакие свежие запасы провизии не могли попасть к ним, кроме как под угрозой захвата с вражеских кораблей. Со стороны Фапса, где северный утес Эпиполя дает лишь два или три практически пригодных для подъема прохода, они и раньше были заблокированы афинской армией и флотом, а часть флота, похоже, даже сейчас осталась в Фапсе: так что теперь не оставалось ничего открытого, кроме части, особенно северной, склона Эпиполя. Этим выходом осажденные, особенно их многочисленная конница, несомненно, пользовались, чтобы совершать вылазки и подвозить припасы. Но этот путь был длиннее и извилистее, чем равнина у Великой гавани и Гелоринская дорога: кроме того, он должен был проходить через высокий и узкий проход Эвриала и, таким образом, мог стать недоступным для осажденных, когда бы Никиас ни решил занять и укрепить эту позицию. К несчастью для себя и своей армии, он упустил эту простую, но капитальную предосторожность, даже в тот момент, когда должен был знать о приближении Гилиппа.

Что касается фактически предпринятых работ, то порядок, которому следовали Никиас и Ламах, можно удовлетворительно объяснить. Установив свой укрепленный пост в центре склона Эпиполе, они были готовы к противодействию и атаке любой стены, с какой бы стороны враг ее ни возвел. Начав в первую очередь с северной части блокадной линии, они вскоре прекратили ее и обратили внимание на южную часть, поскольку именно здесь сиракузяне возвели два своих первых контрфорса. Атакуя второй контрфорс сиракузян, через болото к Анапу, они выбрали подходящий момент для того, чтобы перебросить главный флот из Фапса в Великую гавань для совместных действий. Расчистив нижние участки, они, вероятно, сочли целесообразным, чтобы установить безопасное и удобное сообщение со своим флотом, чтобы двойная стена через болото от Эпиполеи до гавани была следующей для исполнения; для этого была еще одна причина, что таким образом они перекрыли самый удобный выход и канал снабжения Сиракуз. Таким образом, можно найти убедительные причины, по которым северная часть линии блокады, от афинского лагеря на Эпиполе до моря у Трогила, была оставлена до последнего, и Гилипп нашел ее открытой, по крайней мере, большую ее часть.

В то время как сиракузяне начали отчаиваться от своего положения, перспективы афинян были лучше, чем когда-либо, обещая несомненный и не очень далекий триумф. Сообщения, циркулировавшие по соседним городам, показывали, что они находятся в полном разгаре

успеха, так что многие сикельские племена, до сих пор колебавшиеся, пришли предложить свой союз, а три вооруженных пентеконтера также прибыли с Тирренского побережья. Кроме того, итальянские греки в изобилии поставляли припасы. Никиас, ставший единственным командующим после смерти Ламаха, даже имел славу принимать и обсуждать предложения из Сиракуз о капитуляции, необходимость которой открыто и обильно обсуждалась в самом городе. Неудачи Гермократа и его коллег привели к тому, что недавно они были смещены с генеральских должностей, на которые были назначены Гераклίδес, Эвклис и Теллий. Но эта перемена не придала им уверенности, чтобы рискнуть на новое сражение, а нравы города в этот период вынужденного бездействия были в высшей степени меланхолическими. Хотя Никиасу было сделано несколько предложений о сдаче, возможно, неофициальных, но, похоже, искренних, ни о чем определенном договориться не удалось.^[382] Если бы сиракузское правительство было олигархическим, нынешнее бедствие выявило бы большое количество недовольных, с которыми он мог бы работать с пользой; но демократический характер правительства поддерживал союз внутри страны в этой трудной ситуации.^[383]

Мы должны обратить особое внимание на эти положения, чтобы понять поведение Никиаса в этот критический период. С самого начала он вел тайную переписку с партией в Сиракузах;^[384] которая, хотя сама по себе не была ни многочисленной, ни влиятельной, теперь, несомненно, была и более активной, и более влиятельной, чем когда-либо прежде. От них он получал постоянные и небезосновательные заверения в том, что город находится на грани сдачи и не сможет устоять. И поскольку тон мнений как снаружи, так и изнутри сговорился произвести такое впечатление на его разум, он позволил себе предаться фатальной вялости и безопасности в отношении дальнейшего продолжения осадных операций. Пагубные последствия смерти Ламаха стали очевидны. С момента отплытия из Катаны и до битвы, в которой погиб этот доблестный офицер, - а это, по-видимому, около трех месяцев, примерно с марта по июнь 414 года до н. э., - осадные работы велись с большой энергией и неослабевающим упорством, а строительные работы, особенно строительные, велись так быстро, что сиракузяне были поражены. Но как только Никиас остался единственным командиром, эта энергичная поступь исчезла и сменилась вялостью и апатией. Можно было бы ожидать, что строительство стены через низину у гавани будет проходить быстрее, поскольку позиция афинян в целом была намного сильнее, шансы на сопротивление сиракузян значительно уменьшились, а флот был введен в Большую гавань для совместной работы. Однако на самом деле дело продвигалось медленнее; Никиас сначала строит двойную стену, хотя было бы целесообразно завершить всю линию блокады одной стеной до прибытия Гилиппа, а после, если бы потребовалось, удвоить ее полностью или частично, но вместо этого он потратил столько времени на завершение этой части, что Гилипп прибыл до ее окончания, спустя неполных два месяца после смерти Ламаха. И осаждающие, и их полководец теперь, похоже, считали успех несомненным, без всякой возможности эффективного вмешательства изнутри, а тем более извне; поэтому они могли не торопиться с работой, не заботясь о том, наступит ли окончательное завершение на месяц раньше или позже.

Хотя таков был нынешний настрой афинских войск, Никиас, несомненно, мог бы подстегнуть их и ускорить операции, если бы сам был убежден в необходимости этого. До сих пор мы видели, что он всегда переоценивал мрачные случайности будущего и был склонен рассчитывать, как будто должно произойти самое худшее, что только может случиться. Но большая часть того, что выдается за осторожность в его характере, на самом деле была отсталостью и инертностью темперамента, усугубленной меланхолическим дополнением в виде болезненных внутренних жалоб. Если первые шесть месяцев после прибытия в

Сицилию он провел в праздности, а нынешние два месяца триумфального положения перед Сиракузами использовал не по назначению, то обе эти ошибки возникли по одной и той же причине: из-за нежелания действовать иначе, как под давлением и под влиянием очевидной необходимости. Соответственно, он всегда отставал от событий; но когда необходимость становилась ужасной, чтобы подчинить себе энергию других людей, тогда он выходил вперед и проявлял незаслуженную энергичность, как мы увидим в следующей главе. Но теперь, освобожденный от всякой срочной видимой опасности и введенный в заблуждение обманчивыми надеждами, распространявшимися через его переписку в городе, в сочетании с атмосферой успеха, возбуждавшей его собственное вооружение, Никиас счел сдачу Сиракуз неизбежной и на один краткий миг, предшествовавший его катастрофическому концу, стал не просто сангвиником, но даже беспечным и самонадеянным в высшей степени. Ничто иное, как эта самонадеянность, не могло впустить его уничтожающего врага, Гилиппа[385].

Этот офицер, которого лакедемоняне называли полководцем в Сицилии на зимнем собрании, проведенном Алкивиадом в Спарте, занимался тем, что собирал силы для экспедиции. Но лакедемоняне, хотя и были настолько воодушевлены представлениями афинского изгнанника, что пообещали помощь, не были готовы выполнить обещание. Даже коринфяне, решительно самые сердечные из всех, кто выступал за Сиракузы, так медлили, что в июне Гилипп все еще находился в Леукасе с не вполне готовым к отплытию вооружением. Отправиться в составе эскадры в Сицилию против многочисленного и превосходного афинского флота, действовавшего там в настоящее время, было делом, не прельщавшим никого, и требовало как личной смелости, так и преданности. Более того, каждое судно из Сицилии в период с марта по июнь 414 года до н. э. приносило сведения о прогрессирующих успехах Никиаса и Ламаха, что делало перспективы коринфских вспомогательных судов еще более удручающими.

Наконец, в июне пришло известие о поражении сиракузян, в котором Ламах был убит, и о его важных последствиях для дальнейших действий осаждающих. Как ни велики были эти последствия, они были еще более преувеличены в сообщениях. Посланник за посланником с уверенностью утверждали, что обводная стена завершена и что Сиракузы теперь обложены со всех сторон. [386] И Гилипп, и коринфяне были настолько введены в заблуждение, что поверили в это, и, как следствие, отчаялись в возможности оказать какую-либо эффективную помощь афинянам в Сицилии. Но поскольку еще оставались надежды на сохранение греческих городов в Италии, Гилипп счел нужным сразу же переправиться туда со своей небольшой эскадрой из четырех кораблей, двух лакедемонян и двух коринфян, а также с коринфским капитаном Пифеном; оставив коринфскую главную эскадру следовать за ним, как только она будет готова. Намереваясь действовать только в Италии, Гилипп не опасался столкнуться с афинским флотом. Сначала он отплыл в Тарентум, дружелюбно и тепло настроенный к нему. Оттуда он предпринял визит в Фурии, где ранее проживал в качестве гражданина его отец Клеандрид, изгнанный из Спарты. Попытавшись воспользоваться этим открытием для завоевания фурийцев и не найдя ничего, кроме отказа, он двинулся дальше на юг, пока не подошел к Теринскому заливу у юго-восточного мыса Италии. Здесь его настиг сильный порыв ветра с суши, подверг его корабли величайшей опасности и выгнал в море, пока наконец, двигаясь в северном направлении, ему не посчастливилось снова найти убежище в Тарентуме.[387] Но такой ущерб, который понесли его корабли, что он был вынужден остаться здесь, пока их вытаскивали на берег и ремонтировали.[388]

Столь несвоевременная задержка грозила прервать его дальнейшее продвижение. Ведь фурийцы послали Никиасу в Сиракузы уведомление о его визите и количестве кораблей, с презрением отнесся к идее о четырех триерах, прибывших для нападения на мощный афинский флот. Никиас, находясь на нынешней сангвинической стадии своего характера, отнесся с пониманием к льстивому тону послания и не обратил внимания на серьезность сообщенного факта. Он презирал Гилиппа как простого капера и даже не позаботился о том, чтобы послать четыре корабля из своего многочисленного флота для наблюдения и перехвата новоприбывшего. Поэтому Гилипп, переоснастив свои корабли в Тарентуме, без сопротивления двинулся на юг вдоль побережья к эпизефирийскому Локри. Здесь он, к своему большому удовлетворению, впервые узнал, что Сиракузы еще не полностью блокированы, но что армия все еще может достичь и освободить их изнутри, войдя в них через Эвриал и Эпипольские высоты. Поразмыслив, стоит ли ему рискнуть и ввести свои корабли в гавань Сиракуз, несмотря на бдительность афинского флота, или же отправиться через Мессинский пролив к Гимере на севере Сицилии, а оттуда собрать армию, чтобы пересечь остров и освободить Сиракузы по суше, он решил выбрать последний путь и сразу же прошел через пролив, который показался ему совершенно неохраняемым. Остановившись в Реги и Мессене, он благополучно прибыл в Гимеру. Даже в Реги не было афинского флота; правда, Никиас послал туда четыре афинские триеры после того, как ему сообщили, что Гилипп достиг Локри, скорее из предосторожности, чем потому, что считал это необходимым. Но эта афинская эскадра прибыла в Регий слишком поздно: Гилипп уже прошел пролив, и судьба, поразив врага слепотой, высадила его без сопротивления на роковую землю Сицилии.

Слепота Никиаса действительно казалась бы необъяснимой, если бы не то, что нам еще предстоит рассказать о худшем. Чтобы в полной мере оценить его просчеты и понять, что мы не возлагаем на него ответственность за результаты, которые невозможно было предвидеть, нам достаточно обратиться к тому, что за полгода до этого сказал изгнанник Алкивиад в Спарте: *"Немедленно отправьте армию в Сицилию (увещевал он лакедемонян); но в то же время пришлите спартанца, который будет более ценным, чем армия, и примет на себя верховное командование"*. Именно во исполнение этой рекомендации, мудрость которой будет очевидна, и был назначен Гилипп. И если бы он даже добрался до Сиракуз один на рыбацкой лодке, эффект его присутствия, несущего великое имя Спарты и полную уверенность в грядущем спартанском вмешательстве, не говоря уже о его больших личных способностях, был бы достаточен, чтобы вдохнуть новую жизнь в осажденные города. Однако Никиас, получивший благодаря счастливой случайности своевременное уведомление о его приближении, когда эскадра из четырех кораблей не позволила бы ему добраться до острова, пренебрегает даже этой простейшей мерой предосторожности и пренебрегает им как вольным разбойником, не имеющим никакого значения. Такое пренебрежение тем более удивительно, что известные фило-лаконские наклонности Никиаса заставляют нас ожидать, что он скорее переоценит, чем недооценит внушительное превосходство спартанского имени.

Гилипп, прибыв в Гимеру в качестве полководца, назначенного Спартой, и объявив о себе как о предвестнике пелопоннесских подкреплений, встретил радушный прием. Гимерийцы согласились помочь ему корпусом гоплитов и снабдить паноплией моряков на его судах. Послав к Селинусу, Геле и некоторым сикельским племенам в глубине страны, он получил столь же благоприятные заверения; таким образом, ему удалось в кратчайшие сроки собрать солидное войско. Интерес Афин к сикелам был недавно ослаблен смертью одного из ее самых активных партизан, сикельского князя Архонидеса, и это обстоятельство позволило Гилиппу заручиться их помощью и облегчило его поход через остров. Он смог совершить

этот внутренний поход из Гимеры в Сиракузы во главе семисот гоплитов со своих судов, моряков и эпибатов, вместе взятых; тысячи гоплитов и легких отрядов с сотней конных из Гимеры, нескольких конных и легких отрядов из Селинуса и Гелы, а также тысячи сикелов.[389] С этими силами, часть которых присоединилась к нему во время похода, он достиг Эвриала и Эпипольских высот над Сиракузами, напав и захватив сикельский форт Иетæ на своем пути, но не встретив никакого другого сопротивления.

Его прибытие было почти запоздалым, и, возможно, даже слишком поздним, если бы коринфский адмирал Гоггилус не добрался до Сиракуз немного раньше него. Коринфский флот из двенадцати трирем под командованием Эрасинидеса, вышедший из Леукаса позже Гилиппа, но как только он был готов, уже направлялся к Сиракузам. Но Гоггилус по какой-то случайности задержался в Леуках, так что отплыл только после всех остальных. Тем не менее он достиг Сиракуз быстрее всех: вероятно, ему помогла погода, проложенная более прямым курсом через море. Он благополучно вошел в сиракузскую гавань, избежав афинских сторожевых кораблей, чья вахта, несомненно, участвовала в общей небрежности осаждающих[390].

Прибытие Гоггила в этот момент было случайностью невыразимой и, по сути, стало не чем иным, как спасением города. Среди всех причин отчаяния сиракузян не было более сильной, чем то обстоятельство, что они до сих пор не слышали ни о приближении помощи, ни о каком-либо активном вмешательстве в их пользу со стороны Пелопоннеса. Их уныние росло день ото дня, а обмен предложениями с Никиасом становился все более частым, и наконец ситуация настолько обострилась, что вот-вот должно было состояться общественное собрание, чтобы санкционировать окончательную капитуляцию.[391] Именно в этот критический момент прибыл Гоггилус, очевидно, немного раньше, чем Гилипп достиг Гимеры. Он первым сообщил, что коринфский флот и спартанский полководец уже в пути и их можно ожидать немедленно, и эта информация наполнила сиракузян энтузиазмом и новым мужеством. Они мгновенно отбросили всякую мысль о капитуляции и решили держаться до последнего.

Вскоре они получили известие, что Гилипп достиг Гимеры, о чем Гоггилус по прибытии не мог знать, и собирает армию для похода на помощь. По прошествии времени, необходимого для его приготовлений и похода, вероятно, не менее чем от двух недель до трех, они узнали, что он приближается к Сиракузам по пути Эвриала и Эпиполя. Вскоре его увидели, когда он поднялся на Эпиполь по Эвриалу, тем же путем, которым афиняне пришли из Катаны весной, когда начали осаду. Когда он спустился по склону Эпиполя, все сиракузское войско вышло на улицу, чтобы приветствовать его прибытие и сопровождать в город[392].

Немногие случаи во всей осаде Сиракуз кажутся столь необъяснимыми, как тот факт, что действия и поход Гилиппа, начиная с его высадки на Гимере и до момента вступления в город, были совершены без малейшего сопротивления со стороны Никиаса. После этого осаждающие перешли от неоспоримого превосходства на поле и очевидной уверенности в скором взятии города к состоянию неполноценности, не только исключаящую всякую надежду на захват, но даже погружающемуся шаг за шагом в абсолютное разорение. Однако Никиас оставался с закрытыми глазами и связанными руками, не предпринимая ни малейших усилий, чтобы помешать столь фатальной развязке. Презрев Гилиппа во время его плавания вдоль побережья Италии как вольного разбойника с четырьмя кораблями, он теперь презирает его не меньше во главе армии, идущей из Гимеры. Если он и был застигнут врасплох, как, по-видимому, и было на самом деле,[393] то вина была полностью его собственная, а неведение таким, что мы почти должны назвать его добровольным. Ведь о приближении Гилиппа ему должно было быть известно заранее. От четырех кораблей,

которые он послал в Регий, он должен был узнать, что Гилипп уже коснулся его, проходя через пролив, по пути в Гимеру. Поэтому он должен был хорошо знать, что целью была попытка освободить Сиракузы с помощью армии из внутренних районов; а его переписка с племенами сикелов должна была поставить его в известность о том, что происходит в Гимере. Кроме того, если вспомнить, что Гилипп достиг этого места без войск и оружия; что ему пришлось получить силы не только из Гимеры, но и из Селинуса и Гелы, а также обстрелять сикельские города, не все из которых были дружественными; наконец, что ему пришлось пройти через весь остров, частично по враждебной территории, то невозможно допустить меньшего промежутка, чем две или три недели между его высадкой в Гимере и прибытием в Эпиполе. Кроме того, Никиас должен был узнать через свою разведку во внутренних районах Сиракуз о важном перевороте, который произошел в сиракузском мнении благодаря прибытию Гоггила, еще до того, как стало известно о высадке Гилиппа в Сицилии. С этого момента он понял, что должен принять меры не только против возобновления упорной вражды внутри города, но и против нового врага, вторгшегося извне. Наконец, этот враг сначала должен был пройти через всю Сицилию, во время похода он мог быть стеснен и, возможно, разбит,^[394] а затем мог подойти к Сиракузам только по одной дороге, через возвышенность Эвриала в афинском тылу, через немногочисленные и легко обороняемые проходы, через которые Никиас сам подошел первым и через которые он пробрался только благодаря хорошо продуманному плану внезапности. Однако Никиас оставляет эти проходы незанятыми и необороняемыми; он не предпринимает ни одной новой меры предосторожности; армия, получившая помощь, входит в Сиракузы как бы по широкой и свободной равнине.

Если нас удивляет наглая беспечность, с которой Никиас пренебрег самыми обычными мерами предосторожности для отражения заранее известного приближения по морю врага, грозного даже в одиночку, то что мы скажем о той безотчетной слепоте, которая заставила его пренебречь тем же врагом, когда он шел во главе освобождающей армии, и пропустить самые очевидные средства защиты в кризисной ситуации, от которой зависела его дальнейшая судьба? Гомер назвал бы такое пренебрежение временным бредом, вызванным страшным вдохновением Атека: у историка нет такого объяснительного названия, и он может лишь отметить его как печальную и подходящую прелюдию к бедам, которые уже почти наступили.

В тот момент, когда удачливому спартанскому отряду было позволено спокойно войти в Сиракузы, афинская двойная стена окружения между южным утесом Эпиполе и Великой гаванью, длиной в восемь стадий, была почти завершена: не хватало нескольких ярдов только до конца, примыкающего к гавани. Но Гилипп не собирался прерывать строительство. Он стремился к более высоким целям и знал, что Никиас, к несчастью, так и не почувствовал и не дождался этого, - огромное преимущество обратить в активное русло то первое впечатление и прилив уверенности, которые его прибытие только что вселило в сиракузян. Едва успев соединиться с ними, он выстроил объединенные силы в боевой порядок и подошел к рядам афинян. Изумленные и ошеломленные его неожиданным появлением, они тоже выстроились в боевой порядок и ждали его приближения. Его первые действия показали, насколько изменились шансы в игре. Он послал глашатая объявить им пятидневное перемирие при условии, что они соберут свои вещи и уйдут с острова. Никиас не стал отвечать на это оскорбительное предложение, но его поведение показало, что он, как и Гилипп, чувствовал, что ситуация изменилась. Когда спартанский полководец, впервые заметив беспорядочное движение сиракузских гоплитов, решил отступить на более открытую местность, подальше от стен, вероятно, чтобы иметь лучшее поле для своей конницы, Никиас отказался последовать за ним и остался на позиции вблизи своих

укреплений[395]. Это был фактический отказ от захвата Сиракуз, молчаливое признание того, что афиняне в конечном итоге не могут надеяться ни на что лучшее, чем унижительное предложение, которое только что сделал им герольд. Так, по-видимому, считали обе стороны; с этого момента сиракузяне становятся и продолжают оставаться агрессорами, а афиняне постоянно обороняются, за исключением одного короткого момента после прибытия Демосфена.

Отведя свои войска и расположив их на ночь на Теменитской скале, казалось бы, в пределах укрепленной территории Сиракуз, Гилипп на следующее утро снова вывел их и расположил перед афинскими линиями, как бы собираясь атаковать. Но пока внимание афинян было занято этим, он послал отряд, чтобы застать врасплох форт Лабдалум, который не находился в пределах видимости их линий. Предприятие увенчалось полным успехом. Форт был взят, а гарнизон предан мечу; в то время как сиракузяне получили еще одно неожиданное преимущество в течение дня, захватив одну из афинских трирем, которая следила за их гаванью. Гилипп активно продолжил свои успехи, немедленно начав строительство новой контрстен от внешней городской стены в северо-западном направлении наискось вверх по склону Эпиполеи, чтобы пересечь предполагаемую линию обхода афинян с северной стороны их круга и сделать блокаду невозможной. Для этой цели он воспользовался камнями, уложенными афинянами для своего обхода, в то же время тревожа их угрозой нападения на нижнюю стену, между южным утесом Эпиполе и Великой гаванью, которая была только что закончена, чтобы оставить их войска готовыми к действиям на более высокой местности. Против одной части стены, которая казалась слабее остальных, он попытался устроить ночной сюрприз, но, обнаружив, что афиняне бдительно охраняют ее, был вынужден отступить. Теперь эта часть стены была укреплена, и афиняне сами заняли ее, распределив своих союзников вдоль остальной части[396].

Однако эти атаки, по-видимому, предназначались главным образом для отвлечения внимания, чтобы помешать врагу достроить контрстену. Теперь для Никиаса настало время принять энергичные агрессивные меры как против этой стены, так и против сиракузян в поле, если только он не решил отказаться от всякой надежды на то, что ему когда-либо удастся осадить Сиракузы. И, похоже, он действительно отказался от этой надежды, даже так рано после того, как, казалось, стал уверенным хозяином города. Ведь теперь он предпринял совершенно новую меру, очень важную саму по себе, но указывающую на изменившуюся схему политики. Он решил укрепить мыс Племирий - скалистый мыс, который образует одну из крайних точек узкого входа в Большую гавань, расположенную к югу от Ортыгии, - и сделать его надежной главной станцией для флота и запасов. До сих пор флот располагался в непосредственной близости от сухопутных войск, на укрепленной позиции в конце двойного блокадного вала между южным утесом Эпиполе и Великой гаванью. С такой позиции в глубине гавани афинским триерам было трудно выполнять возложенные на них обязанности по наблюдению за двумя портами Сиракуз - по одному с каждой стороны перешейка, соединяющего Ортыгию с материком, - чтобы предотвратить выход кораблей изнутри или вход кораблей извне, а также обеспечить беспрепятственный провоз по морю припасов для собственной армии. Для обеих этих целей станция Племирий была гораздо удобнее, и Никиас понял, что отныне его операции будут по большей части морскими. Не признаваясь в этом открыто, он тем самым практически признал, что превосходство сухопутных сил перешло на сторону его противников и что успешное продолжение блокады стало невозможным[397].

Три форта, один значительных размеров и два вспомогательных, были возведены на побережье мыса Племирий, ставшего станцией как для трирем, так и для кораблей с

грузом. Хотя положение было признано удобным для всех морских операций, оно влекло за собой и серьезные недостатки: здесь не было ни одного источника воды, подобного памятному фонтану Аретузы на противоположном острове Ортигия. Поэтому для снабжения водой, а также древесиной экипажам кораблей приходилось удаляться на значительное расстояние, подвергаясь внезапному нападению многочисленной сиракузской конницы, стоявшей гарнизоном у храма Зевса Олимпийского. День за днем потери неслись таким образом, к тому же все больше возможностей было для дезертирства, что вскоре фатально снизило эффективность команды каждого корабля. Поскольку надежды афинян на успех теперь уменьшались, и рабы, и многочисленные иностранцы, служившие в их флоте, стали склонны к воровству. И хотя до этого времени военные корабли почти не участвовали в реальных боевых действиях, они в течение многих месяцев постоянно находились в море и на вахте, не имея возможности сойти на берег для ремонта. Таким образом, военно-морские силы, которые теперь должны были вступить в бой, будучи главной надеждой афинян, оказались плачевно вырожденными по сравнению с тем показным совершенством, в котором они отплыли пятнадцать месяцев назад из гавани Пейреуса.

Возведение новых крепостей в Племириуме, отведя афинские войска, оставило Гилиппа бессильным в преследовании своей контрстен, но в то же время ободрило его явным упадком надежд, который это означало. День за днем он выводил своих сиракузян в боевой порядок, высаживая их у афинских линий; но афиняне не проявляли никакого желания атаковать. В конце концов он воспользовался благоприятным, по его мнению, случаем, чтобы атаковать самому; но земля была настолько зажата различными стенами - с одной стороны афинскими укреплениями, с другой - сиракузским фронтом или теменитским укреплением, а с третьей - строящейся контрстеной, что у его конницы и дартеров не было места для действий. Поэтому сиракузские гоплиты, вынужденные сражаться без этих вспомогательных войск, были разбиты и с потерями отброшены назад, причем среди убитых оказался коринфский Гоггил.^[398] На следующий день Гилипп имел благоразумие взять вину за это поражение на себя. Он публично признался, что все произошло из-за его ошибки, когда он выбрал ограниченное пространство, где ни конница, ни дротики не могли помочь. Вскоре он предоставит им другую возможность, на более благоприятном поле, и увещевал их показать свое врожденное превосходство, как дорийцев и пелопоннесцев, прогнав этих ионийцев с их сбродом островитян из Сицилии. Через некоторое время он снова вывел их в боевой порядок, но при этом старался держаться на открытом пространстве, за пределами стен и укреплений.

В этот раз Никиас не отказался от боя, а вышел на открытое пространство, чтобы встретить его. Вероятно, его воодушевил результат недавнего боя, но была и другая, более насущная причина. Противоположная стена, которую строили сиракузяне, была готова перерезать афинскую линию окружения, поэтому Никиасу было необходимо атаковать без промедления, если только он официально не откажется от дальнейших надежд на успех осады. Армия также не могла, несмотря на изменившуюся удачу, безвозвратно лишиться себя такой надежды, не выдержав еще одной борьбы. Поэтому обе армии расположились в боевом порядке на открытом пространстве за стенами, выше по склону Эпиполя; Гилипп расположил свою конницу и дартеров справа от своей линии, на самой высокой и открытой местности. В разгар боя между гоплитами с обеих сторон, эти войска справа атаковали левый фланг афинян с такой силой, что полностью его сломали. Вся афинская армия потерпела полное поражение и нашла убежище только в своих укрепленных рядах. А в течение следующей ночи сиракузский контр-стен был продвинут настолько далеко, что обошел и вышел за пределы предполагаемой линии афинской блокады, дойдя в настоящее время до края северного утеса: таким образом, Сиракузы теперь были в безопасности, если

только враг не только восстановит свое превосходство в поле, но и станет достаточно сильным, чтобы взять штурмом и разрушить вновь построенную стену[399].

Дальнейшая защита была обеспечена также безопасным прибытием коринфского, амбракийского и лейкадского флота из двенадцати трирем под командованием Эрасинидеса, который Никиас тщетно пытался перехватить. Он отправил двадцать кораблей к южному побережью Италии, но новоприбывшим посчастливилось их избежать.

Эрасинидес и его подразделение приложили руку к выполнению работы, которая завершила план обороны города. Гилипп принял меры предосторожности и построил форт или редут на возвышенности Эпиполе, чтобы командовать подходом к Сиракузам с возвышенности Эвриала; шаг, о котором Гермократес не подумал слишком поздно, и о котором Никиас вообще не думал в период своего триумфа и владычества. Он возвел новый форт на подходящем месте возвышенности, подкрепленный тремя укрепленными позициями или лагерями на соответствующем расстоянии в тылу, предназначенными для войск, чтобы поддерживать передовой пост в случае нападения на него. Затем от этого передового поста вниз по склону Эпиполе была проведена сплошная стена, чтобы достичь и соединиться с недавно построенной контрстенной; таким образом, эта контрстена, уже пересекавшая и разрезавшая афинскую линию обхода, фактически стала протянутой по всему склону Эпиполе и преградила афинянам прямой доступ к существующим линиям до вершины этой возвышенности, а также до северного утеса. Теперь у сиракузян была одна сплошная и непрерывная линия обороны: длинная одиночная стена, одним концом упирающаяся в новопостроенный форт на возвышенности Эпиполе, другим - в городскую стену. Эта стена была только одна, но ее защищали по всей длине постоянные отряды, занимавшие три несколько укрепленных позиции или лагеря, о которых только что говорилось. Одна из этих позиций была занята коренными сиракузянами, вторая - сицилийскими греками, третья - другими союзниками. Такова была усовершенствованная и систематическая схема обороны, которую впервые разработал гений Гилиппа и которую он привел в исполнение в настоящий момент:[400] схема, полное значение которой мы сможем оценить, когда перейдем к описанию действий второго афинского войска под командованием Демосфена.

Не довольствуясь тем, что сиракузяне оказались вне пределов опасности, Гилипп воспользовался их возрожденной уверенностью, чтобы внушить им проекты возмездия против врага, который так близко подвел их к гибели. Они начали снаряжать свои корабли в гавани и обучать своих моряков, надеясь подготовиться к борьбе с афинянами даже в их собственной стихии; в то время как сам Гилипп покинул город, чтобы посетить различные города острова и собрать дальнейшие подкрепления, как морские, так и военные. А поскольку предполагалось, что Никиас со своей стороны, вероятно, потребует помощи от Афин, в Пелопоннес были отправлены посланники, как сиракузские, так и коринфские, чтобы настоять на необходимости переправить дополнительные войска даже на торговых судах, если не найдется трирем для их доставки.[Если подкрепления не придут в афинский лагерь, сиракузяне прекрасно понимали, что с каждым месяцем задержки его эффективность будет снижаться, в то время как их собственные силы, несмотря на большие затраты и усилия, росли с увеличением перспектив на успех.

Если это двойное убеждение и поддерживало пыл сиракузян, то оно не менее болезненно ощущалось в афинском лагере, который теперь был блокирован, как осажденный город, и не имел возможности свободно передвигаться, кроме как с помощью своих кораблей и владения морем. Никиас видел, что если Гилипп вернется со значительными силами, то даже сухопутное нападение на него станет слишком мощным, чтобы противостоять ему, к тому же его флот все больше дезорганизовывался. Он был полностью убежден, что

оставаться на прежнем месте - значит погибнуть. Поскольку всякая возможность успешной осады Сиракуз теперь была на исходе, здравый смысл подсказывал, что его позиция в гавани стала не только бесполезной, но и опасной, и что чем скорее она будет эвакуирована, тем лучше. Вероятно, Демосфенес поступил бы именно так при подобных обстоятельствах; но такая предусмотрительность и решительность были не в характере Никиаса, который, к тому же, боялся порицания, которое обрушится на него дома, если не со стороны его собственной армии. Не решаясь покинуть позицию без приказа из Афин, он решил отправить домой нескрываемый отчет о своем критическом положении и попросить либо подкрепления, либо указания вернуться.

Сейчас, правда, был конец сентября (414 г. до н. э.), так что он не мог надеяться ни на ответ до середины зимы, ни на подкрепление, если бы оно было послано, до наступления весны. Тем не менее он решил пойти на этот риск и довериться бдительным мерам предосторожности, которые, как покажет результат, оказались на волосок от того, чтобы оказаться недостаточными. Но поскольку для него было крайне важно, чтобы его соотечественники дома полностью осознали серьезную опасность его положения, он решил передать письменную депешу; не доверяя устному заявлению гонца, которому могло не хватить ни мужества, ни присутствия духа, ни компетентного выражения, чтобы донести полную и печальную правду до неохотно идущей аудитории.^[402] Поэтому он отправил домой депешу, которая, похоже, достигла Афин около конца ноября и была официально зачитана в общественном собрании секретарем города. Сохраненная Фукидидом дословно, она является одним из самых интересных остатков античности и вполне заслуживает дословного перевода.

"Наши предыдущие действия уже были известны вам, афиняне, во многих других депешах;^[403] но нынешний кризис таков, что требует вашего обсуждения более чем когда-либо, когда вы узнаете, в каком положении мы находимся. После того как мы во многих схватках одолели сиракузян, против которых были посланы, и построили укрепления, которые сейчас занимаем, к нам подошел лакедемонянин Гилипп с войском, частично пелопоннесским, частично сицилийским. Его мы тоже победили в первом бою, но во втором были ошеломлены толпой конницы и дротиков и вынуждены были отступить в свои пределы. Таким образом, превосходящая численность наших врагов вынудила нас приостановить обход и оставаться в бездействии; более того, мы не можем использовать в поле даже все силы, которыми располагаем, поскольку часть наших гоплитов обязательно нужна для защиты наших стен. Тем временем враги провели одну пересекающуюся контрстену за нашей линией обхода, так что мы уже не можем довести последнюю до конца, если только у нас не будет достаточно сил, чтобы атаковать и штурмовать их контрстену. И дело дошло до того, что мы, утверждающие, что осаждаем других, сами скорее являемся осажденной стороной, по крайней мере, на суше, поскольку кавалерия почти не оставляет нам свободы передвижения. Кроме того, враги отправили посланников в Пелопоннес за подкреплением, а Гилипп лично объезжает сицилийские города, пытаясь подтолкнуть к действию те из них, которые сейчас нейтральны, и получить от остальных дополнительные морские и военные припасы. Ведь они, как я понимаю, намерены не только атаковать наши линии на берегу с помощью своих сухопутных войск, но и напасть на нас с помощью своих кораблей на море.

"Не удивляйтесь, когда я скажу вам, что они намерены стать агрессорами даже на море. Им хорошо известно, что сначала наш флот был в отличном состоянии, с сухими кораблями^[404] и прекрасными экипажами; но теперь корабли прогнили от долгого пребывания в море, а экипажи разорены. У нас также нет возможности вытащить наши корабли на берег для

ремонта, поскольку флот противника, равный или превосходящий нас по численности, всегда появляется в готовности напасть на нас. Мы видим их в постоянной практике, и они могут сами выбирать момент для атаки. Кроме того, они могут сохранять свои корабли сухими и невредимыми в большей степени, чем мы; ведь они не заняты несением вахты за другими; в то время как нам, вынужденным держать весь свой флот на страже, ничто, кроме огромного превосходства в численности, не может обеспечить подобную возможность. И если бы мы хоть немного ослабили бдительность, то уже не были бы уверены в своих припасах, которые мы и сейчас с трудом доставляем под их стены".

"Наши экипажи тоже теряли и продолжают терять силы по разным причинам. Среди моряков, которые являются нашими собственными гражданами, многие, отправляясь в дальний путь за дровами, за водой или за грабежом, перебиваются сиракузской конницей. Те из них, которые являются рабами, дезертируют, поскольку наше превосходство исчезло, и мы оказались в равных условиях с нашим врагом; в то время как иностранцы, которых мы заставили служить нам, уходят прямо в некоторые из соседних городов; а те, кто пришел, соблазнившись высоким жалованьем, с мыслью обогатиться за счет торговли, а не сражаться, теперь, когда они находят врага в полной компетенции, чтобы справиться с нами как на море, так и на суше, либо переходят к нему как признанные дезертиры, либо уходят, как могут, среди обширной территории Сицилии.^[405] Есть даже такие, кто, торгуя здесь за свой счет, подкупает триерархов, чтобы те приняли гиккарских рабов в качестве замены, и тем самым разрушают строгую дисциплину нашего морского флота. И вы не хуже меня знаете, что ни одна команда никогда не остается долго в идеальном состоянии, и что первый класс моряков, которые приводят корабль в движение и поддерживают равномерность гребков, составляет лишь малую часть от общего числа.

"Среди всех этих неудобств самое худшее то, что я, как генерал, не могу ни предотвратить беду из-за трудностей, связанных с вашим темпераментом, чтобы управлять, ни обеспечить дополнительных рекрутов в других местах, как это легко может сделать враг из многих мест, открытых для него. У нас нет ничего, кроме первоначального состава, который мы вывели с собой, как для восполнения потерь, так и для выполнения нынешнего долга; ибо Наксус и Катана, наши единственные нынешние союзники, имеют незначительную силу. И если наш враг овладеет еще одним пунктом, если итальянские города, откуда мы теперь черпаем припасы, обратятся против нас, под впечатлением нашего нынешнего плохого состояния, без подкрепления, прибывающего от вас, - мы будем изнурены голодом, и он доведет войну до победного конца даже без сражения".

"Я мог бы легко найти более приятные новости, чем эти, чтобы послать вам; но, конечно, ничего столь полезного, поскольку полное знание о положении дел здесь необходимо для ваших решений. Более того, я счел более безопасной политикой сказать вам правду без утайки, понимая, как я понимаю ваши истинные склонности, что вы никогда не слушаете охотно никаких, кроме самых благоприятных заверений, и в конце концов сердитесь, если они приводят к неблагоприятным результатам. Будьте совершенно уверены, что в отношении сил, против которых вы нас первоначально послали, как ваши генералы, так и ваши солдаты ничем себя не прогневали. Но теперь, когда вся Сицилия объединилась против нас и когда из Пелопоннеса ожидаются новые подкрепления, вы должны принять свое решение с полным осознанием того, что у нас нет сил даже противостоять нашим нынешним трудностям. Вы должны либо отправить за нами домой, либо прислать вторую армию, как сухопутную, так и морскую, не уступающую той, что находится здесь сейчас, вместе со значительным запасом денег. Кроме того, вы должны прислать преемника, который заменит меня, поскольку я не в состоянии работать из-за болезни почек. Я считаю себя вправе

просить вас об этом снисхождении, ибо, пока мое здоровье было в порядке, я оказал вам много добрых услуг, выполняя различные военные поручения. Но что бы ты ни задумал, делай это с первым открытием весны, без всякого промедления: ведь новые припасы, которые враг собирает в Сицилии, скоро будут здесь, а те, что должны прийти из Пелопоннеса, хотя и будут дольше прибывать, но, если ты не будешь бдительным, либо ускользнут, либо ускользнут от тебя, как они уже однажды делали"[406].

Такова была памятная депеша Никиаса, зачитанная общественному собранию Афин в конце ноября или начале декабря 414 г. до н. э.; ее принесли офицеры, которые усилили ее эффект собственными устными сообщениями и ответили на все вопросы, которые им задали.[407] У нас есть много причин сожалеть, что Фукидид не дает нам никакого представления о дебатах, которые вызвало столь мрачное откровение. Он сообщает нам только результат: афиняне решили выполнить вторую часть альтернативы, предложенной Никиасом: не отправлять нынешнее вооружение домой, а усилить его вторым мощным вооружением, как сухопутным, так и морским, для достижения тех же целей. Но они отклонили другую его личную просьбу и настаивали на том, чтобы он продолжал командовать, однако проголосовали за то, чтобы назначить Менандра и Евтидема, офицеров, уже служивших в армии перед Сиракузами, совместными командирами вместе с ним, чтобы помочь ему в его трудоемких обязанностях. Они быстро, около зимнего солнцестояния, отправили Эвримедона во главе десяти трирем в Сиракузы со ста двадцатью талантами серебра и заверениями в скорой помощи страждущей армии. И они решили снарядить новое грозное войско под командованием Демосфена и Эвримедона, чтобы отправиться туда в качестве подкрепления в самые ранние месяцы весны. Демосфену было приказано активно заняться подготовкой этого большого войска"[408].

Это письмо Никиаса - такое подлинное, такое насыщенное и такое характерное для нравов того времени - наводит на несколько серьезных размышлений как в отношении его самого, так и афинского народа. Что касается его самого, то ничто так не примечательно, как приговор, который он выносит своим собственным прошлым действиям в Сицилии. Когда мы видим, как он сетует на износ вооружения и считает общеизвестным тот факт, что даже самые лучшие морские силы могут поддерживать себя в хорошем состоянии только в течение короткого времени, какое более серьезное осуждение может быть вынесено тем восьми месяцам, которые он потратил на пустяковые меры после прибытия в Сицилию, прежде чем приступить к осаде Сиракуз? Когда он объявляет, что прибытие Гилиппа с вспомогательными силами к Сиракузам стало для афинской армии разницей между триумфом и чем-то, граничащим с гибелью, естественно, возникает вопрос, сделал ли он все возможное, чтобы предвидеть и какие меры предосторожности принял сам, чтобы предотвратить приход спартанского полководца. На этот вопрос следует ответить, что, не предвидя появления новых врагов как возможной опасности, он почти пригласил их из-за границы своим промедлением, и что он вообще не принял никаких мер предосторожности против них, хотя был предупрежден и имел в своем распоряжении достаточно средств. Дезертирство и деморализация его военно-морских сил, несомненно, но слишком реальные, были, как он сам указывает, главным образом следствием такого поворота судьбы, а также первым началом неуправляемого нрава афинской армии, причисленной к его трудностям. Ибо было бы справедливо по отношению к этой несчастной армии не признать, что сначала они терпеливо терпели длительное бездействие, поскольку их генерал руководил им, а затем самым галантным образом выполняли свой долг во время осады, вплоть до смерти Ламаха.

Если даже при нашем несовершенном знании дела гибель, на которую жаловался Никиас, можно однозначно отнести на счет его собственной небрежности и недосмотра, то тем более это убеждение должно было ощущаться разумными афинянами, как в лагере, так и в городе, как мы увидим на примере поведения Демосфена[409], о котором пойдет речь далее. Давайте представим, что серия депеш, о которых упоминает сам Никиас, была передана домой с самого начала. Вспомним, что экспедиция изначально была отправлена из Афин с самыми радужными надеждами и с сознанием того, что чрезвычайные усилия будут вознаграждены соответствующими триумфами. В течение нескольких месяцев депеши генерала не сообщали ни о чем, кроме неудачных или бесславных походов; украшенные, правда, одной бесплодной победой, они сопровождались намеком на то, что он должен дожидаться весны и что к нему должны быть посланы подкрепления, прежде чем он сможет приступить к действительно серьезному предпринятию. Хотя разочарование, вызванное этим известием в Афинах, должно быть, было тягостным, тем не менее его требование было выполнено, и депеши Никиаса весной и летом 414 года до н. э. становятся радостными. Осада Сиракуз описывается как успешно продолжающаяся, и в конце концов, примерно в июле или августе, как находящаяся на грани триумфального завершения, несмотря на спартанского авантюриста по имени Гилипп, пробирающегося через Ионическое море с силами, слишком презренными, чтобы на них обращать внимание. Внезапно, без всякого промежуточного шага, чтобы сгладить переход, приходит депеша, сообщающая, что этот авантюрист во главе мощной армии вошел в Сиракузы, и афиняне брошены на оборону, не имея возможности продолжать осаду. Через некоторое время за этим следует мрачное и почти отчаянное сообщение, о котором говорилось выше.

Если рассматривать эту депешу не только в отдельности, но и в совокупности с предыдущими, то естественным эффектом, который она должна произвести на афинян, будет бурный взрыв гнева и недовольства против Никиаса. При самом честном и беспристрастном рассмотрении он заслуживал не меньшего. А если учесть еще, что историки Греции обычно приписывают афинскому народу характер, то его представляют непостоянным, неблагодарным и раздражительным, по привычке; как отказывающиеся по самым ничтожным поводам от тех, кого они когда-то почитали, забывающие все прежние заслуги, насылающие на невинных генералов неизбежные несчастья войны и движимые не чем иным, как демагогическими побуждениями, мы естественно ожидаем, что вина, действительно заслуженная Никиасом, будет преувеличена сверх всякой меры и разразится бурей насилия и ярости. Но каково же фактическое решение, принятое в результате его депеши, после полного и свободного обсуждения в афинском собрании? Не прозвучало ни слова порицания или недовольства. Несомненно, были отдельные ораторы, которые критиковали его так, как он того заслуживал. Предполагать обратное было бы подлостью по отношению к афинскому собранию. Но общее голосование не просто не вменяет ему в вину, но даже выражает постоянное и неослабевающее доверие. Народ положительно отказывается освободить его от командования, хотя он сам просит об этом искренне и даже трогательно. Так велика ценность его услуг и уважение к его характеру, что они не воспользуются легкой возможностью, которую он сам предоставляет, чтобы избавиться от него.

Я делаю эти замечания афинянам не для того, чтобы сделать им комплимент по поводу их нынешних действий. Совсем наоборот. Неуместное доверие афинян к Никиасу, которое они оказывали не раз, но особенно в этом случае, свидетельствует о неспособности оценить факты, находящиеся непосредственно перед их глазами, и о слепоте к решающим и многочисленным доказательствам некомпетентности, что является одним из наименее достойных доверия проявлений их политической истории. Но мы извлекаем из этого четкий

урок: привычные недостатки афинского характера были совсем не такими, как принято считать у историков. Вместо того чтобы быть непостоянными, мы видим, что они до крайности упорны в доверии, оказанном однажды, и в планах, которые однажды начали осуществлять: вместо неблагодарности за фактически оказанные услуги, мы находим похвалу за пороки, которые офицер должен был оказать, но не оказал: вместо гневного пленения мы обнаруживаем снисходительность, не просто великодушную, но даже порицаемую, в разгар разочарований и унижений: вместо публичного собрания, где, как это обычно изображается, криминальные ораторы были всесильны и могли вынести приговор любому неудачливому генералу, какими бы заслугами он ни обладал; мы видим, что даже серьезные и обоснованные обвинения не производят на народ никакого впечатления в противовес устоявшемуся личному уважению, причем личному уважению к человеку, который не только не был демагогом, но во всех отношениях был противоположен демагогу: олигарха по вкусу, чувствам и положению; который уступал демократии не более чем искреннее послушание, сочетавшееся с мягкостью и благородством в его личном поведении. Если бы Клеон совершил хотя бы малую часть тех крупных промахов, которые порочат военную карьеру Никиаса, он был бы безвозвратно погублен. *Его* влияние на соотечественников с помощью демагогических достоинств было гораздо слабее по сравнению с теми причинами, которые вызвали доверие к Никиасу: его большая семья и положение, ловко расходуемое богатство, известная неподкупность в отношении взяток и даже сравнительное отсутствие личных амбиций, его личная храбрость в сочетании с репутацией осторожного человека, его благопристойная личная жизнь и ультрарелигиозные привычки. Вся эта совокупность отрицательных достоинств и приличий повседневной жизни в гражданине, чье положение могло позволить ему действовать с дерзостью Алкивиада, ставила Никиаса на гораздо более прочную основу общественного уважения, чем могла бы сделать простая сила обвинительной речи в общественном собрании или дикастерии. Она давала ему право на самое снисходительное отношение ко всем его недостаткам и покрывала роковым лаком его вопиющую некомпетентность в отношении всех серьезных и ответственных команд.

Случай, который мы сейчас видим, - один из самых поучительных во всей истории, как иллюстрация обычных настроений и самых сильных причин ошибок, распространенных среди афинской демократии, и как опровержение того преувеличенного зла, которое принято вменять в вину человеку, называемому демагогом. Счастье было бы для Афин, если бы сейчас Клеон или любой другой демагог равной силы присутствовал на том общественном собрании, которое приняло печальное решение отправить свежие силы в Сицилию и оставить Никиаса на посту командующего! В этом деле особенно требовалось обвинительное красноречие демагога, чтобы разоблачить реальные ошибки Никиаса, разрушить незаслуженное доверие к его способностям и осторожности, которое переросло в веру или рутину, доказать, сколько бед он уже натворил и сколько еще натворит, если его оставят. [К несчастью для Афин, теперь у них не было демагога, который мог бы заранее убедить собрание в этой истине и не дать ему принять самое неразумное и разрушительное решение, когда-либо принятое в Пниксе.

Что делает эту резолюцию особенно позорной, так это то, что она была принята вопреки ясным и очевидным доказательствам. Продолжать осаду Сиракуз при нынешних обстоятельствах было печальным просчетом; продолжать ее с Никиасом в качестве командующего было едва ли не меньшим безумием. Первая экспедиция, хотя даже *она* была опрометчивой и непродуманной, все же подавала заманчивые надежды, которые объясняют, если не оправдывают, слишком легкую оценку невозможности прочного владения. Кроме того, в то время существовала путаница - между узкими целями,

связанными с Леонтиной и Эгестой, и более крупными приобретениями, которые должны были быть реализованы через осаду Сиракуз, - которая не позволила афинскому уму дать четкую и единодушную оценку этому предприятию. Но теперь обстоятельства Сицилии были полностью известны: лживые обещания Эгесты были разоблачены; надежды на союзников для Афин на острове были признаны тщетными; Сиракузы, вооруженные спартанским полководцем и пелопоннесской помощью, не только стали неуязвимыми, но и приняли на себя агрессивную роль; наконец, возможность возобновления пелопоннесской вражды против Аттики была теперь возведена в степень уверенности. Если упорство в осаде Сиракуз в столь бесперспективных обстоятельствах и при такой необходимости усиленных действий дома само по себе было меланхолической неосторожностью, то упорство в найме Никиаса превратило эту неосторожность в гибель, которую не смогло предотвратить даже появление энергичного коллеги в лице Демосфена. Тот, кто изучит поведение афинского народа в этом случае, не будет склонен повторять обвинение в непостоянстве, которое является одним из основных упреков в адрес демократии. Их ошибка здесь проистекала из совершенно противоположного качества; из того, что можно назвать тупостью или неспособностью избавиться от двух чувств, которые глубоко засели в их умах: идеи сицилийского завоевания и доверия к Никиасу.

Еще немного этой мнимой переменчивости или легкого бегства от прошлых ассоциаций и внушаемости к реальным обстоятельствам - и в данный момент Афины стали бы опекунами. Тогда бы она более справедливо оценила возросшие опасности, сгустившиеся вокруг нее как на Сицилии, так и внутри страны. Война со Спартой, хотя еще не была объявлена, стала неминуемой и неизбежной. Еще предыдущей зимой лакедемоняне благосклонно отнеслись к рекомендации Алкивиада[411] основать укрепленный пункт в Декелее в Аттике. Правда, до исполнения этого решения они еще не дошли, так как мир между ними и Афинами, хотя и косвенно нарушенный во многих отношениях, все еще сохранялся под именем, и они не решались нарушить его открыто, отчасти потому, что знали, что нарушение мира было на их стороне в начале Пелопоннесской войны; этой вине они приписывали свое главное несчастье при Сфактерии.[412] Афины со своей стороны также тщательно избегали прямого нарушения лакедемонской территории, несмотря на многочисленные просьбы своих союзников в Аргосе. Но ее сдержанность в этом вопросе изменилась в течение лета, вероятно, в тот момент, когда перспектива захвата Сиракуз стала очевидной. Лакедемоняне вторглись на территорию Аргей и разграбили ее, поэтому на помощь в ее обороне были отправлены тридцать афинских трирем под командованием Пифода с двумя коллегами. Это войско высадилось на восточном побережье Лаконии у Прасиеса и произвело опустошение: этот прямой акт враждебности - в дополнение к мародерским вылазкам гарнизона Пилоса и отказу в мирном возмещении в Афинах - удовлетворил лакедемонян тем, что мир был впервые и неоспоримо нарушен их врагом, и они могли со спокойной совестью возобновить войну[413].

Таково было состояние отношений между двумя великими державами Центральной Греции в ноябре 414 г. до н. э., когда из Сиракуз прибыли посланники: с одной стороны, от Никиаса, с другой - от Гилиппа и сиракузян; каждый из них настоятельно требовал дальнейшей поддержки. Коринфяне и сиракузяне решительно настаивали на своих претензиях в Спарте, и Алкивиад снова не преминул возобновить свои попытки занять Декелею. Именно перед лицом этой угрозы возобновления пелопоннесского вторжения афиняне приняли решение, о котором говорилось выше, послать вторую армию в Сиракузы и энергично продолжить осаду. Если у лакедемонян и оставались какие-то колебания, то они исчезли, как только им стало известно о неосторожном решении Афин, которое не только создало настоящую необходимость поддержать Сиракузы, но и сделало Афины гораздо более уязвимыми у себя

дома, удалив большую часть их сил. Поэтому очень скоро после голосования в Афинах в Спарте была принята столь же решительная резолюция о прямых военных действиях. Было решено немедленно подготовить пелопоннесский союзный отряд, который с наступлением весны должен быть направлен на Сиракузы, одновременно с этим вторгнуться в Аттику и укрепить Декелийский пост. Приказы об этом были немедленно переданы всему корпусу пелопоннесских союзников; особенно требовались орудия, материалы и рабочие для строительства форта в Декелее[414].

ГЛАВА LX. ОТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЯМЫХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ АФИНАМИ И СПАРТОЙ ДО УНИЧТОЖЕНИЯ АФИНСКИХ ВООРУЖЕНИЙ НА СИЦИЛИИ.

Сиракузская война теперь уже не стоит особняком, как самостоятельное событие, а вливается в общую войну, разгоревшуюся по всей Греции. Никогда ни одна зима не была столь активно и широко занята военными приготовлениями, как зима 414-413 гг. до н. э., месяцы, непосредственно предшествовавшие той, которую Фукидид называет девятнадцатой весной Пелопоннесской войны, но которую другие историки называют началом Декелийской войны.[415] В то время как Эвримедон отправился со своими десятью триремами в Сиракузы еще в середине зимы, Демосфен весь зимний период прилагал усилия, чтобы собрать второе вооружение к началу весны. Двадцать других афинских трирем были отправлены дальше вокруг Пелопоннеса к станции Наупактус, чтобы не дать возможности коринфским подкреплениям выплыть из Коринфского залива. Против этих последних коринфяне со своей стороны подготовили двадцать пять свежих трирем, чтобы служить конвоем для транспортов с их гоплитами.[416] В Коринфе, Сикионе и Беотии, а также в Лакедемонии шли сборы гоплитов для вооружения Сиракуз, в то же время все готовилось к занятию Декелии. Наконец, Гилипп с не меньшей активностью занимался тем, что возбуждал всю Сицилию к более решительному участию в борьбе следующего года.

С мыса Тенарус в Лаконии в самый ранний момент весны отправился отряд из шестисот лакедемонских гоплитов - Гелота и Неодамода - под командованием спартанца Экрита и трехсот беотийских гоплитов под командованием фиванцев Ксенона и Никона с феспийцем Гегесандром. Им было приказано пересечь море на юг до Кирена в Ливии, а оттуда пробираться вдоль африканского побережья до Сицилии. В то же время семьсот гоплитов под командованием Алексарха, частично коринфян, частично наемных аркадян, частично сикионцев, под давлением своих могущественных соседей[417], отправились с северо-запада Пелопоннеса и из устья Коринфского залива в Сицилию, коринфские триремы следили за ними, пока они не прошли мимо афинской эскадры в Наупакте.

Это были важные события: но самым важным из них было повторное вторжение в Аттику в то же самое время больших сил Пелопоннесского союза под командованием спартанского царя Агиса, сына Архидамы. Двенадцать лет прошло с тех пор, как Аттика в последний раз почувствовала на себе руку разрушителя, немного раньше осады Сфактерии. Теперь равнина по соседству с Афинами была сначала опустошена, после чего захватчики приступили к своей особой цели - возведению укрепленного поста для оккупации в Декелее.

Работа, распределенная между союзниками, которые пришли с готовыми средствами для ее выполнения, была завершена в течение нынешнего лета, и там был основан гарнизон, состоящий из контингентов, периодически сменяющих друг друга, под командованием самого царя Агиса. Декелея располагалась на возвышенности, принадлежащей горной цепи под названием Парнес, примерно в четырнадцати милях к северу от Афин, недалеко от окончания Афинской равнины, откуда открывался обширный вид на эту равнину, а также на равнину Элевсиса. Холм, на котором он стоял, если не сам форт, был виден даже со стен Афин. Он был прекрасно расположен и как центральный пункт для экскурсий по Аттике, и для сообщения с Беотией; а дорога из Афин в Оропус, главное сообщение с Эвбеей, проходила через ущелье прямо под ним[418].

Мы с изумлением читаем, а современный мир с еще большим изумлением видел, что в то время как эта важная работа фактически продолжалась, а вся Пелопоннесская конфедерация с удвоенной силой давила на Афины, в этот самый момент[419] афиняне отправили не только флот из тридцати трирем под командованием Хариклеса для раздражения берегов Пелопоннеса, но и большое вооружение, которое они решили под командованием Демосфена, для наступательных операций против Сиракуз. Силы последнего генерала состояли из шестидесяти афинских и пяти хианских трирем; двенадцати сотен афинских гоплитов лучшего класса, отобранных из числа граждан; кроме того, значительное количество гоплитов из подвластных союзников и других мест. Кроме того, было нанято пятнадцать сотен пельтастов из Фракии, из племени диев; но они не прибыли вовремя, и Демосфенес отплыл без них.[420] Хариклес отправился вперед, чтобы взять на борт союзников из Аргоса, оба флота соединились в Эгине, нанесли несколько опустошений берегам Лаконии и установили сильный пост на острове Кифара, чтобы поощрить дезертирство среди гелотов. Отсюда Хариклес вернулся с аргейцами, а Демосфен провел свое войско вокруг Пелопоннеса до Коркиры. 421] На элейском побережье он уничтожил транспорт, перевозивший гоплитов в Сиракузы, хотя люди спаслись на берегу; оттуда он направился в Закинф и Кефаллению, откуда взял еще несколько гоплитов, и в Анакторий, чтобы закупить дартеров и пращников в Акарнании. Здесь его встретил Эвримедон со своими десятью триремами, который зимой отправился в Сиракузы с денежным переводом, срочно требовавшимся ему, и теперь возвращался, чтобы выступить в качестве коллеги Демосфена по командованию.[422] Новости, привезенные Эвримедоном из Сицилии, были во всех отношениях неутешительными. Однако оба адмирала были вынуждены выделить десять трирем из своего флота для подкрепления Конона в Наупакте, который в одиночку был недостаточно силен, чтобы противостоять коринфскому флоту, наблюдавшему за ним с противоположного берега. Чтобы восполнить это уменьшение, Эвримедон отправился в Коркиру, чтобы получить от коркирцев пятнадцать свежих трирем и отряд гоплитов, пока Демосфенес собирал акарнанских дартеров и пращников[423].

Эвримедон не только привез известие о бедственном положении афинян в сиракузской гавани, но и узнал во время обратного пути об их тяжелых дополнительных потерях при взятии форта в Племмирии. Гилипп вернулся в Сиракузы ранней весной, почти в то же время, когда Агис вторгся в Аттику и когда Демосфенес покинул Пирей. Он вернулся со свежими подкреплениями из внутренних районов и с удвоенным рвением к решительным действиям против Никиаса, пока не подоспела помощь из Афин. Его первой заботой, совместно с Гермократесом, было вдохнуть в сиракузян мужество для борьбы с афинянами на корабле. Ввиду признанного превосходства последних на море эта задача представляла определенную сложность и требовала всего красноречия и превосходства обоих вождей: "Афиняне (сказал Гермократес своим соотечественникам) не всегда были такими выдающимися на море, как сейчас: когда-то они были такими же сухопутными людьми, как и

вы, и, более чем вы, они были вынуждены отправиться на корабле только благодаря персидскому нашествию. Единственный способ справиться с такими смельчаками, как они, - это показать еще более смелый фронт. Своей дерзостью *они* не раз отпугивали врагов, превосходящих их по силе, и теперь их нужно научить, что и другие могут играть с ними в ту же игру. Идите прямо на них, пока они этого не ожидают; и вы больше выиграете, удивив и запугав их, чем пострадаете от их превосходной науки". Такие уроки, адресованные людям, уже находящимся на волне успеха, вскоре оказались действенными, и было решено предпринять морскую атаку[424].

Город Сиракузы имел два порта, по одному с каждой стороны острова Ортигия. Меньший порт - как его стали называть впоследствии, Portus Lakkus - находился к северу от Ортигии, между этим островом и низменностью или Некрополем возле внешнего города: другой лежал на противоположной стороне Ортигийского перешейка в пределах Большой гавани. Оба они, судя по всему, были защищены от нападения извне с помощью свай и кольев, установленных на дне перед ними. Но меньший порт был более защищенным из двух, и в нем находились главные доки сиракузян; сиракузский флот, насчитывавший восемьдесят трирем, был распределен между ними. Весь афинский флот располагался под фортом Племмирий, прямо напротив южной точки Ортигии.

Гилипп очень грамотно разработал свой план, чтобы застать афинян врасплох. Тренировав и подготовив военно-морские силы как можно тщательнее, он ночью скрытно вывел сухопутные войска через Эпиполь и в обход по правому берегу Анапа, в окрестности крепости Племмирий. С первой утренней зарей сиракузский флот отплыл по одному и тому же сигналу из обоих портов: сорок пять трирем из меньшего порта, тридцать пять - из другого. Обе эскадры старались обогнуть южную точку Ортигии, чтобы, объединившись, согласованно атаковать противника у Племмирия. Афиняне, хотя и не были готовы и растеряны, поспешили выставить шестьдесят кораблей; с двадцатью пятью из них они встретили тридцать пять сиракузян, вышедших из Большой гавани, а с другими тридцатью пятью - сорок пять из меньшего порта, расположенного сразу за устьем Большой гавани. В первом из этих двух случаев сиракузяне сначала одержали победу; во втором же сиракузяне, находившиеся снаружи, пробились в устье Великой гавани и присоединились к своим товарищам. Но, мало привыкшие к морской войне, они вскоре пришли в полное замешательство, отчасти из-за своего неожиданного успеха, так что афиняне, оправившись от первого потрясения, вновь напали на них и полностью разгромили, потопив или выведя из строя одиннадцать кораблей, из которых три экипажа попали в плен, а остальные были большей частью убиты.[425] Три афинские триремы также были уничтожены.

Но эта победа, сама по себе нелегкая, была с лихвой компенсирована невосполнимой потерей Племмирия. Во время первого волнения на афинской военной станции, когда корабли готовились к неожиданному наступлению сразу из двух портов, гарнизон Племмириума отправился к кромке воды, чтобы наблюдать и подбадривать своих соотечественников, оставив собственные стены без охраны и не подозревая о присутствии врага на суше. Именно этого и ожидал Гилипп. Он напал на форты на рассвете, застав гарнизон врасплох, и захватил их после слабого сопротивления: сначала самый большой и важный форт, затем два поменьше. Гарнизон, как мог, укрылся на борту транспортов и грузовых судов, стоявших на станции, и переправился через Великую гавань в лагерь Никиаса на другом берегу. Те, кто бежал из большого форта, который был взят первым, подвергались некоторому риску со стороны сиракузских трирем, которые в тот момент одерживали победу на море. Но к тому времени, когда были взяты два меньших форта,

афинский флот восстановил свое превосходство, так что при переходе через Великую гавань опасность подобного преследования отпала.

Этот хорошо подготовленный сюрприз оказался не менее продуктивным для захватчиков, чем смертельным ударом для афинян. Во время штурма не только было убито множество людей и многие попали в плен, но в форте были найдены огромные запасы всякой всячины и даже большой запас денег; частично они принадлежали военному сундуку, частично были собственностью триерархов и частных купцов, которые положили их туда как в самое надежное место. Там же были найдены паруса не менее чем сорока трирем и три триремы, вытасненные на берег. Гилипп приказал снести один из трех фортов, а два других тщательно гарнизонировал[426].

Как ни велики были потери афинян в тот момент, когда их положение не могло их перенести, побочный ущерб и опасность, возникшие в результате захвата Племириума, были еще более серьезными, помимо тревоги и уныния, которые они распространили среди армии. Сиракузяне теперь владели устьем гавани с обеих сторон, так что ни один корабль не мог войти туда без конвоя и сражения. Что было не менее неприятно, афинский флот был вынужден расположиться под укрепленными линиями своих собственных сухопутных войск и был стеснен на небольшом пространстве в самой внутренней части Великой гавани, между городской стеной и рекой Анап; сиракузяне были хозяевами везде, с полным сообщением между своими постами по всему периметру, тесня афинскую позицию как на море, так и на суше.

Для сиракузян, напротив, результат недавней битвы был во всех отношениях обнадеживающим; не только из-за ценного приобретения Племирия, но даже из-за самого морского боя, который действительно обернулся поражением, но который поначалу обещал стать победой, если бы они сами не упустили этот шанс своим беспорядком. Это устранило все суеверные опасения относительно морского превосходства афинян, а их положение настолько улучшилось после того, как они получили в свое распоряжение устье гавани, что они стали даже брать на себя агрессивные действия на море. Они направили эскадру из двенадцати трирем к побережью Италии, чтобы перехватить несколько торговых судов, идущих с денежным грузом к афинянам. Так мало было опасений по поводу врага на море, что эти суда, похоже, шли без конвоя и были большей частью уничтожены сиракузянами вместе с запасами корабельного дерева, которые афиняне собрали у Каулони. На обратном пути, остановившись в Локри, они взяли на борт роту феспийских гоплитов, которые добирались туда на транспорте. Им также посчастливилось избежать эскадры из двадцати трирем, которую Никиас выделил, чтобы поджидать их у Мегары, потеряв, однако, один корабль, включая его команду[427].

Один из этой сиракузской эскадры отправился из Италии с посланниками в Пелопоннес, чтобы сообщить благоприятные новости о взятии Племириума и по возможности ускорить операции против Аттики, чтобы оттуда не пришло подкрепление. В то же время из Сиракуз отправились другие посланники - не только сиракузяне, но и коринфяне и лакедемоняне - посетить города в глубине Сицилии. Они повсюду рассказывали о значительном улучшении сиракузских дел, вызванном завоеванием Племирия, а также о незначительном характере недавнего морского поражения. Они настойчиво просили оказать Сиракузам дальнейшую помощь без промедления, так как теперь были наилучшие надежды на то, что они смогут полностью разгромить афинян в гавани, прежде чем к ним прибудет подкрепление, которое должно было быть отправлено[428].

Пока посланники отсутствовали со своей миссией, в Великой гавани происходило много неспешных столкновений, хотя и не было ни одного всеобъемлющего сражения. После потери Племирия афинская военно-морская станция находилась в северо-западном внутреннем углу гавани, примыкая к укрепленным линиям, занятым сухопутной армией. Она была огорожена и защищена рядом столбов или кольев, воткнутых в дно и выступающих из воды.^[429] Сиракузяне со своей стороны также построили острог перед внутренним портом Ортыгия, чтобы защитить свои корабли, корабельные дома и доки внутри. Поскольку оба пункта находились недалеко друг от друга, каждая сторона следила за возможностью периодически нападать на другую или досаждать ей с помощью ракетного оружия; ежедневно происходили стычки такого рода, в которых, как представляется, преимущество было на стороне афинян. Они даже разработали план прорыва через укрепления сиракузской верфи и сожжения находящихся там кораблей. Они подвели к линии постов, обращенных к верфи, корабль самого большого размера, с деревянными башнями и боковыми защитными сооружениями, и попытались пробить вход либо с помощью водолазов, которые пропиливали их у самого дна, либо с помощью лодочников, которые закрепляли вокруг них канаты и таким образом отвязывали или вырывали их. Все это делалось под прикрытием большого судна с башнями, укомплектованными легким оружием, которое обменивалось ракетами с сиракузскими стрелками на верхушках корабельных домиков и не позволяло последним приблизиться настолько, чтобы прервать операцию. Таким образом, афинянам удалось убрать многие из установленных столбов, даже самые опасные из них, те, которые не доходили до поверхности воды и которые поэтому не мог увидеть приближающийся корабль. Но они мало что выиграли от этого, так как сиракузяне смогли установить у себя другие. В целом же серьезного ущерба ни верфи, ни находящимся в ней кораблям нанесено не было. И положение дел в Великой гавани оставалось практически неизменным в течение всего времени, пока посланники отсутствовали в своем сицилийском турне, которое длилось, вероятно, три недели или месяц^[430].

Посланники почти везде были хорошо приняты. Перспективы Сиракуз были теперь столь триумфальны, а перспективы Никиаса с его нынешними силами столь безнадежны, что колеблющиеся решили, что пора заявить о себе; и все греческие города Сицилии, кроме Агригентума, который все еще сохранял нейтралитет (и, конечно, кроме Наксоса и Катаны), решили помочь победителю. Из Камарины прибыли пятьсот гоплитов, четыреста дартеров и триста лучников; из Гелы - пять трирем, четыреста дартеров и двести всадников. Кроме того, из других городов были собраны дополнительные силы, чтобы под руководством самих посланников отправиться в Сиракузы через внутреннюю часть острова. Но эта часть плана была сорвана Никиасом, которого нынешнее отчаянное положение его дел сделало более бдительным, чем в случае с крестовым походом Гилиппа. По его приказу сикельские племена кенторипов и халикиев, союзников Афин, были призваны атаковать приближающегося врага. Они спланировали искусную засаду, напали на них врасплох и рассеяли их, потеряв восемьсот человек. Все посланцы также были убиты, кроме коринфянина, который отвел оставшиеся силы, около пятнадцати сотен человек, в Сиракузы^[431].

Это поражение, которое, по-видимому, произошло примерно в то время, когда Демосфенес со своим войском находился в Коркире на пути в Сиракузы, так сильно встревожило и опечалило сиракузян, что Гилипп счел целесообразным отложить на некоторое время нападение, которое он намеревался предпринять сразу после прибытия подкрепления^[432].

Только когда Демосфенез приблизился к Регию на расстояние двух или трех дней плавания от Сиракуз, было решено атаковать без дальнейших промедлений. Всесторонняя подготовка к ней велась задолго до этого, особенно для наиболее эффективного использования военно-

морских сил. Капитаны и корабельные мастера Сиракуз и Коринфа теперь полностью осознали превосходство афинского морского маневрирования и причины, от которых это превосходство зависело. Афинская трирема была сравнительно легкой, приспособленной для быстрого движения по воде и легкого изменения направления: ее нос был узким, вооруженным острым выступающим клювом на конце, но полым и тонким, не рассчитанным на то, чтобы пробивать себе путь через сильное сопротивление. Он никогда не предназначался для прямого столкновения с вражеским носом: среди умелых афинских моряков такое действие считалось грубой неловкостью. Наступая на вражеское судно, они уклонялись от прямого удара, направлялись так, чтобы пройти мимо него, затем, благодаря совершенству и точности гребли, быстро разворачивались, меняли направление и возвращались, прежде чем враг успевал изменить свое: или, возможно, быстро гребли вокруг него, или шли кормой вперед, пока не находили возможность ударить клювом своего судна о какую-нибудь слабую часть его, о мидель, четверть, корму или лопасти весел без них. В таких маневрах афинянам не было равных, но ничего подобного нельзя было совершить, если не было достаточно места в море, что делало их нынешнюю военно-морскую позицию самой невыгодной, какую только можно себе представить. Они были заперты в самой глубине гавани небольших размеров, в непосредственной близости от места расположения своих врагов, и весь берег, за исключением их собственных линий, находился во владении этих врагов: так что они не могли ни обойти вокруг из-за недостатка места, ни отступить назад, потому что не могли подойти к берегу. На этой ограниченной территории единственным возможным способом борьбы было прямолинейное столкновение, нос к носу; этот процесс не только исключал все их превосходные маневры, но и не подходил для постройки их трирем. С другой стороны, сиракузяне, по совету искусного коринфского штурмана Аристо, изменили конструкцию своих трирем в соответствии с особыми обстоятельствами дела, пренебрегая всеми представлениями о том, что обычно считалось хорошим морским маневрированием. [Вместо того чтобы длинный, тонкий, полый и острый выдвижной клюв поражал противника значительно выше уровня воды и, следовательно, наносил меньший ущерб, они укоротили нос, но сделали его чрезмерно тяжелым и массивным и понизили высоту выступающего клюва, так что он стал рассчитан не столько на пробивание, сколько на взлом и сокрушение основной силой всей противостоящей части вражеского корабля, находящейся не далеко над водой. Наконечники, которые назывались эпотидами, "ушами", или соплами, выступающими вперед справа и слева от клюва, были сделаны особенно толстыми и поддерживались нижними балками, вделанными в корпус корабля. В аттическом строении клюв выступал вперед очень заметно, а эпотиды по обе стороны от него были отведены назад, служа для той же цели, что и так называемые катхеды на современных кораблях, к которым подвешиваются якоря: но в коринфском строении клюв выступал меньше, а эпотиды больше, так что они служили для нанесения ударов по врагу: вместо одного единственного клюва коринфский корабль, можно сказать, имел три сопла. [434] Сиракузяне полагались на узость пространства, чтобы заслонить афинские маневры и свести состязание не более чем к прямому столкновению, в котором более слабое судно будет сломано и поставлено на нос, и таким образом станет неуправляемым.

Завершив эти приготовления, сухопутные войска под командованием Гилиппа выдвинулись на одну сторону афинской линии, а кавалерия и гарнизон Олимпиона - на другую. Афиняне занимали позицию для защиты своих стен от, казалось бы, сухопутной атаки, когда увидели, что сиракузский флот, насчитывающий восемьдесят трирем, отплыл от своей пристани, готовый к бою; тогда и они, хотя сначала и были смущены этим неожиданным появлением, посадили свои экипажи на корабли и вышли из своего частокла, в количестве семидесяти пяти трирем, навстречу врагу. Весь день прошел, однако, в неспешной и нерешительной перестрелке, с ничтожным преимуществом сиракузян, которые вывели из строя один или

два афинских корабля, но лишь пытались пригласить афинян к атаке, не решаясь на близкие и общие действия[435].

Афинянам следовало избегать морских действий, по крайней мере до тех пор, пока не возникнет необходимость доставить в гавань свежие припасы, оставаясь на своем участке; а поскольку Демосфенон был уже под рукой, благоразумие подсказывало этот запас. Сам Никиас, как говорят, тоже не хотел немедленно вступать в бой, но за него проголосовали два его новоназначенных коллеги - Менандр и Евтидем, которым не терпелось показать, на что они способны без Демосфена, и они опирались на афинскую морскую честь, которая категорически запрещала им уклоняться от битвы, когда она была предложена[436].

Хотя на следующий день сиракузяне не предприняли никаких действий, Никиас, предвидя, что они вскоре возобновятся, и ничуть не ободренный одинаковыми проявлениями предыдущего дня, заставил каждого триерарха исправить нанесенный его кораблю ущерб и даже принял меры предосторожности, чтобы еще больше обезопасить свою морскую станцию, пришвартовав торговые суда рядом с отверстиями в палисаде, на расстоянии около двухсот футов друг от друга. Носы этих судов были снабжены дельфинами, или балками, поднятыми на высоту и вооруженными на конце массивными головками из железа, которые можно было так опустить, чтобы раздавить любой входящий корабль:[437] любая афинская трирема, которая могла быть сильно зажата, могла таким образом пройти через это отверстие, где не было бы врага, и выбрать свое собственное время для отплытия снова. До ночи эти приготовления были завершены, и на рассвете следующего дня сиракузяне появились вновь, продемонстрировав те же сухопутные и морские силы, что и раньше. Афинский флот вышел им навстречу, и несколько часов прошло в таких же нерешительных и неполных стычках, пока наконец сиракузский флот не отплыл обратно к городу, так и не вступив ни в общий, ни в ближний бой. Афиняне, истолковав это отступление противника как свидетельство отсталости и нежелания сражаться,[438] и полагая, что дневной долг подошел к концу, отошли на свою сторону в пределах своего участка, высадились и разошлись, чтобы поужинать на досуге, не вкусив в этот день никакой пищи.

Но не успели они отойти от берега, как с изумлением увидели, что сиракузский флот в полном боевом порядке отплывает назад, чтобы возобновить атаку. Этот маневр предложил коринфянин Аристо, самый искусный кормчий на флоте; по его распоряжению сиракузские адмиралы отправили городским властям настоятельную просьбу, чтобы на этот день на берег моря был доставлен обильный запас провизии, а продажа была обязательной, чтобы не терять времени, когда флот вернется туда, на поспешную трапезу без разгона экипажей. Таким образом, флот, после короткого, но достаточного промежутка времени, отведенного на трапезу, неожиданно вернулся к вражеской стоянке. Смущенные этим зрелищем, афинские экипажи снова поднялись на борт, большинство из них еще не подкрепились и находились в состоянии ропота и беспорядка. 439] Когда они отплыли от своей станции, снова началась нерешительная перестрелка, которая продолжалась некоторое время, пока наконец афинские капитаны не стали настолько нетерпимы к длительной и изнурительной усталости, что решили начать сами и сделать действия не только общими, но и близкими. Соответственно, был дан приказ, и они гребли вперед, чтобы совершить атаку, которая была с радостью принята сиракузянами. Принимая атаку, а не делая ее, сиракузяне могли обеспечить прямое столкновение носа с носом, исключая все обводы, отступления или повороты со стороны противника: во всяком случае, их рулевые сумели осуществить этот план и сокрушить, пробить или повредить носовую часть многих афинских трирем, просто благодаря превосходству в весе и прочности на своей стороне. Кроме того, сиракузские дартеры на палубе, как только бой стал близким, были и многочисленны, и разрушительны;

их маленькие лодки гребли прямо под бортами афинских трирем, ломали лопасти весел и пускали дротики через отверстия в веслах против гребцов внутри. В конце концов афиняне, мужественно выдержав бой, оказались в таком невыгодном положении, что были вынуждены уступить и укрыться на своей станции. Вооруженные торговые суда, которые Никиас расставил перед отверстиями в палисаде,годились преследующим сиракузянам; две триремы в азарте победы слишком близко подошли к ним и были выведены из строя тяжелыми орудиями на борту, а одна из них была захвачена со всем экипажем. Однако общая победа сиракузян была полной: семь афинских трирем были потоплены или выведены из строя, многие другие серьезно повреждены, а множество моряков либо убиты, либо взяты в плен[440].

Обрадованные результатом этого сражения, которое, похоже, было не менее искусно спланировано, чем храбро исполнено, сиракузяне теперь были уверены в своем превосходстве как на море, так и на суше, и не думали ни о чем другом, кроме как о полном уничтожении своих врагов в гавани. Генералы уже согласовывали меры по возобновлению атаки как с суши, так и с моря, и еще неделя-другая, вероятно, привела бы к гибели некогда триумфальное осаждающее войско, теперь полное лишь уныния. Простое прекращение снабжения, а сиракузяне были хозяевами устья гавани, могло привести к голоду в течение короткого времени, если бы они сохранили свое превосходство на море. Однако все их расчеты были приостановлены, а надежды афинян на время возрождены вступлением Демосфена и Эвримедона со вторым войском в Великую гавань; это произошло, по-видимому, в тот же день или на второй день после недавней битвы[441]. Столь важными были последствия, которые повлекло за собой это откладывание атаки сиракузян, вызванное недавним поражением их армии, усиленной из внутренних районов. В тот момент ни одна из сторон не задумывалась о том, что если бы Демосфенес не прибыл вовремя, то это смягчило бы бедствия Афин; если бы гибель первого войска была фактически завершена до прихода второго!

Получив необходимые подкрепления в Коркире, Демосфенез переправился через Ионическое море к островам Херадес на побережье Иапиигии; там он взял на борт отряд из ста пятидесяти мессапских дартеров, благодаря дружеской помощи местного князя Артаса, с которым был возобновлен древний союз. Пройдя дальше к Метапонтуму, уже состоявшему в союзе с Афинами, он получил там подкрепление в виде двух трирем и трехсот дартеров, с которыми и отплыл в Фурии. Здесь его радушно встретили; фило-афинская партия была в полном восторге, недавно одержав верх в ожесточенном раздоре и вынеся своим противникам приговор об изгнании.[442] Они не только приняли формальное решение признать тех же друзей и тех же врагов, что и афиняне, но и снарядили полк из семисот гоплитов и трехсот дартеров для сопровождения Демосфена, который оставался там достаточно долго, чтобы провести свои войска в смотре и проверить полноту каждого подразделения. Проведя смотр на берегу реки Сибарис, он направил свои войска по суше через территорию Фурии к берегам реки Хилиас, которая отделяла ее от Кротона. Здесь его встретили посланцы Кротониата, запретившие доступ на свою территорию, после чего он спустился по реке до берега моря, сел на корабль и продолжил свое плавание на юг вдоль побережья Италии, останавливаясь в различных городах, за исключением враждебного Локри[443].

Его вход в гавань Сиракуз,[444] выполненный в самой пышной обстановке, с украшениями и музыкальным сопровождением, был не менее впечатляющим из-за величины его силы, чем критическим в отношении возможности. Взяв вместе афинян, союзников и наемников, он вел семьдесят три триремы, пять тысяч гоплитов и большое количество легких войск всех

видов - лучников, пращников, стрелков и т. д., с прочими необходимыми для эффективной операции предметами. При виде такого вооружения, не уступавшего первому, прибывшему при Никиасе, сиракузяне на мгновение утратили уверенность в своем недавнем триумфе и были поражены не только удивлением, но и ужасом. ^{445]} То, что Афины могли быть настолько безрассудны, чтобы выделить такое вооружение в момент, когда на нее вновь обрушился полный шквал пелопоннесской вражды и когда Декелея находилась в процессе укрепления, было фактом, не поддающимся никакому разумному сомнению, и не заслуживающим доверия, если его не увидеть в действительности. И, вероятно, сиракузяне, хотя и знали, что Демосфенез уже в пути, не имели ни малейшего представления о величине его вооружения.

С другой стороны, сердца обескураженных и осажденных афинян вновь ожили, когда они приветствовали своих новых товарищей. Они вновь увидели себя хозяевами как на суше, так и на море; они продемонстрировали свое новое превосходство, немедленно выйдя из своих рядов и опустошив земли у Анапа; сиракузяне не решились вступить в общее сражение и лишь наблюдали за движением с помощью конницы с Олимпиона.

Но Демосфенез не поддался на эту обманчивую демонстрацию силы, как только ознакомился с полным положением дел и сравнил свои силы с силами противника. Он обнаружил, что армия Никиаса не только измотана долгим трудом и удручена предыдущим поражением, но и в страшной степени ослаблена болотной лихорадкой, распространившейся ближе к концу лета в низинах, где они расположились лагерем^[446].

Он видел, что сиракузяне сильны многочисленными союзниками, протяженными укреплениями, вождем с большими способностями и всеобщей верой в то, что их дело - победное. Кроме того, он глубоко прочувствовал положение Афин у себя дома и то, что все ее граждане нуждаются в защите от врагов, находящихся в пределах видимости от ее собственных стен. Но прежде всего он проникся плачевными последствиями, к которым привела ошибка Никиаса, непоправимо упустившего столь драгоценное время и растратившего впустую первое ужасающее впечатление от своего великолепного вооружения. Все эти соображения побудили Демосфена действовать, не медля ни минуты, пока впечатление, произведенное его прибытием, еще не ослабло, и нанести один большой и решительный удар, который, в случае успеха, мог бы сделать завоевание Сиракуз снова вероятным. Если же это не удастся, он решил отказаться от всего предприятия и немедленно вернуться домой со своим вооружением^[447].

Посредством афинских линий он овладел самой южной частью склона Эпиполеи. Но вдоль всего этого склона с востока на запад, прямо перед или к северу от его позиции, тянулась контрстена, построенная сиракузянами; она начиналась у городской стены на самой низкой площадке и тянулась вверх сначала в северо-западном, затем в западном направлении, пока не соединялась с фортом на верхней площадке у скалы, где проходила дорога из Эвриала вниз в Сиракузы. Сиракузяне, как защитники, находились на северной стороне этой крепостной стены, а он и афиняне - на южной. Она была полной преградой для его продвижения, и он не мог сделать ни шагу, не овладев ею: для этого было только два возможных средства: либо штурмовать ее спереди, либо повернуть от ее западной оконечности, совершив марш в обход до Эвриала. Он начал с первого способа; но стена была обильно укомплектована людьми и энергично защищалась; все его таранные машины были сожжены или выведены из строя, и все попытки, которые он предпринимал, были полностью отбиты.^[448] Оставался только второй способ - повернуть стену, поднявшись по

окружным дорогам на высоты Эвриала позади нее, а затем атаковать форт, в котором она заканчивалась.

Но необходимый для этого марш, сначала вверх по долине Анапа, видимой с сиракузских постов сверху; затем подъем к Эвриалу по узкой и извилистой тропе, был настолько труден, что даже Демосфен, по природе своей сангвиник, отчаялся, что сможет пробиться наверх при свете дня, против врага, видящего атаку. Поэтому он был вынужден предпринять ночную попытку, для которой, с согласия Никиаса и других своих коллег, он провел подготовку в самом крупном и эффективном масштабе. Он сам принял командование вместе с Менандром и Эвримедоном (Никиас остался командовать внутри линии), [449] предоставив гоплитов и легкие войска, а также каменщиков и плотников и все остальное, необходимое для создания укрепленного поста; наконец, он отдал приказ, чтобы каждый человек имел при себе провизию на пять дней.

Фортуна была так благосклонна к нему, что не только все эти предварительные приготовления, но и сам поход был совершен без каких-либо подозрений со стороны врага. В начале лунной ночи он покинул строй, двинулся по низине на левом берегу Анапа и параллельно этой реке на значительное расстояние, затем, следуя различными дорогами вправо, прибыл к Эвриалу, или высочайшему склону Эпиполя, где оказался на том же пути, по которому полтора года назад афиняне шли из Катаны, а Гилипп - из внутренних районов острова за десять месяцев до этого, чтобы добраться до склона Эпиполя над Сиракузами. Он добрался, не будучи обнаруженным, до крайнего сиракузского форта на возвышенности, напал на него врасплох и захватил после слабого сопротивления. Часть гарнизона, находившегося в нем, была убита, но большая часть бежала и подняла тревогу в трех укрепленных лагерях сиракузян и союзников, которые располагались один под другим за длинной сплошной стеной [450] на склоне Эпиполя, а также в полку из шестисот сиракузских гоплитов под командованием Гермocrates [451], который организовал ночной дозор или бивуак. Этот полк поспешил на помощь, но Демосфен и афинский авангард, стремительно рванувшись вперед, в беспорядке оттеснили их на укрепленные позиции в тылу. Даже Гилипп и сиракузские войска, продвигавшиеся вверх с этих позиций, сначала были отброшены назад тем же отступающим движением.

Пока что предприятие Демосфена было успешным сверх всякой разумной надежды. Он овладел не только внешним фортом сиракузской позиции, но и крайним их контрстену, которая упиралась в эту крепость; контрстена была уже не защитима, когда он перебрался на северную или сиракузскую сторону ее, так что люди на парапете, где он соединялся с фортом, не оказывали сопротивления и бежали. Некоторые афиняне даже начали срывать парапеты и разрушать эту часть крепостной стены, что было крайне важно, так как открыло бы Демосфену сообщение с южной стороной крепостной стены, ведущей прямо к афинским линиям на Эпиполе. Во всяком случае, его план перелома контрстены был уже осуществлен, если бы он только мог удержаться на прежнем месте, даже не продвигаясь дальше, и если бы он мог разрушить две или три сотни ярдов верхней части стены, которая теперь была в его власти. Удалось ли бы ему продержаться без дальнейшего продвижения до наступления дня и таким образом избежать неизвестных опасностей ночного сражения, мы не можем сказать. Но и он, и его люди, слишком окрыленные успехом, чтобы думать об остановке, поспешили вперед, чтобы завершить свою победу и не дать беспорядочным сиракузянам снова восстановить прочный строй. Однако, к сожалению, их пылкое преследование - как это постоянно случалось с греческими гоплитами - нарушило стройность их собственных рядов, так что они оказались не в состоянии выдержать удар беотийских гоплитов, только что вышедших со своей позиции и шедших в ровном и отличном порядке к месту действия.

Беотийцы атаковали их и после короткого сопротивления полностью разбили, обратив в бегство. Таким образом, беглецы были отброшены назад к своим товарищам, наступавшим сзади, все еще находясь под впечатлением успеха, не зная, что произошло впереди, и подгоняемые свежими войсками, приближавшимися к ним с тыла.

Таким образом, вся армия вскоре превратилась в одну сцену шума и неразберихи, где не было ни командования, ни повиновения, и никто не мог понять, что происходит. Свет луны делал предметы и фигуры хорошо видимыми, но не позволял отличить друга от врага. Избитые афиняне, отброшенные назад к своим товарищам, во многих случаях принимались за врагов и убивались. Сиракузяне и беотийцы, громко крича и добиваясь своего, смешались с передовыми афинянами, и обе армии таким образом сгруппировались в узлы, которые различали друг друга только по взаимному требованию дозорного слова. Но и это испытание вскоре не увенчалось успехом, так как каждая сторона познакомилась с дозорным словом другой, особенно с дозорным словом афинян, среди которых царило наибольшее смятение, и оно стало хорошо известно сиракузянам, которые держались вместе более крупными партиями. Кроме того, на обе стороны оказал заметное влияние пэан или боевой клич. Дорийцы в афинской армии - из Аргоса, Коркиры и других мест - поднимали пэан, не отличимый от сиракузского; соответственно, их крики наводили ужас на самих афинян, которым казалось, что в их собственном тылу и центре находятся враги. Такой беспорядок и паника вскоре закончились всеобщим бегством. Афиняне поспешили назад по тем же дорогам, по которым поднялись; но эти дороги оказались слишком узкими для испуганных беглецов, и многие из них бросили оружие, чтобы карабкаться или прыгать вниз с утесов, где большинство из них погибло. Даже из тех, кто благополучно спустился на равнину, многие, особенно новички, принадлежавшие к войску Демосфена, сбились с пути по незнанию и на следующий день были отрезаны сиракузскими конниками. С ужасными потерями в численности и сломленным духом афиняне, наконец, нашли убежище в своих собственных рядах. Их потери в оружии были даже больше, чем в людях, из-за того, что солдаты, прыгнувшие с утеса, выбросили щиты[452].

Обрадованные сиракузяне воздвигли два трофея: один - на дороге в Эпиполь, другой - на том самом важном месте, где беотийцы первыми выстояли и первыми отразили врага. Эта неожиданная и ошеломляющая победа вернула их чувствам ту уверенность, которая овладела ими до прибытия Демосфена. Снова став хозяевами поля, они вновь предали надежде взять штурмом афинские линии и уничтожить вооружение; для этого, однако, было сочтено необходимым получить дополнительные подкрепления, и Гилипп лично отправился с этим поручением в различные города Сицилии, а Сикан с пятнадцатью триремами был послан в Агригентум, который, как тогда понимали, колебался и переживал политический кризис[453].

Во время отсутствия Гилиппа афинским генералам оставалось только оплакивать недавнее поражение и обсуждать трудности своего бедственного положения. Все войско теперь было полно уныния и усталости; ему не терпелось покинуть место, где лихорадка с каждым днем сокращала их численность и где, казалось, им не суждено было ничего, кроме бесчестия. Такие болезненные свидетельства нарастающей дезорганизации только подтолкнули Демосфена к более решительным действиям по выполнению решения, принятого им перед атакой на Эпиполе. Он сделал все возможное, чтобы нанести один решающий удар; военные шансы обернулись против него и принесли унижительное поражение; теперь он настаивал на отказе от всего предприятия и немедленном возвращении домой. Время года еще благоприятствовало путешествию (кажется, это было начало августа), а недавно

привезенные триремы, пока еще неиспользованные, делали их хозяевами на море на данный момент. Он добавил, что не стоит тратить время и деньги на продолжение войны с Сиракузами, которые они не надеялись покорить, особенно когда Афины так нуждаются в них дома, против гарнизона Декелеи[454].

Это предложение, поддержанное Эвримедоном, было решительно отвергнуто Никиасом, который, во-первых, утверждал, что их нынешнее бедственное положение и бесперспективные шансы на будущее, хотя он и признавал полную реальность того и другого, тем не менее не должны быть публично провозглашены. Официальное решение об отступлении, принятое в присутствии стольких людей, неизбежно стало бы известно врагу, а потому никогда не могло быть исполнено в тишине и тайне,[455] как это должно быть. Но кроме того, он (Никиас) решительно возражал против самой резолюции. Он ни за что не согласился бы вернуть вооружение, не имея на то особых полномочий из дома. Он был уверен, что афинский народ никогда не потерпит такого шага. Когда дело будет передано на рассмотрение домашнего собрания, о поведении полководцев будут судить не те, кто был в Сиракузах и знал реальные факты, а слушатели, которые узнают все, что им известно, из искусных речей преступных ораторов. Даже те граждане, которые действительно служили, хотя сейчас громко кричали о своих страданиях и с нетерпением ждали возвращения домой, меняли свой тон, когда оказывались в безопасности в общественном собрании; и обращались, чтобы осудить своих генералов за то, что они были подкуплены, чтобы увести армию. Говоря о своих личных чувствах, он слишком хорошо знал нравы своих соотечественников, чтобы подвергать себя опасности погибнуть по обвинению, в равной степени незаслуженному и позорному. Скорее он подверг бы себя любой опасности со стороны врага.[456] Не следует забывать, добавил он, что если их дела сейчас плохи, то дела Сиракуз так же плохи, а то и хуже. Уже больше года война влекла за собой разорительные расходы сиракузян на пропитание иностранных союзников и содержание постов в отдаленных городах, так что они уже истратили две тысячи талантов, кроме того, наделали много долгов и не расплатились. Дольше так продолжаться не могло, а прекращение выплат сразу же оттолкнуло бы союзников и оставило бы их беспомощными. Расходы на войну, на которую Демосфенес ссылался как на причину возвращения домой, Афины могли бы взять на себя гораздо лучше, а чуть более сильное давление окончательно сломило бы акусцев Сира. Поэтому он (Никиас) посоветовал оставаться на месте и продолжать осаду;[457] тем более что их флот теперь неоспоримо превосходил их.

И Демосфен и Эвримедон самым решительным образом протестовали против предложения Никиаса. Особенно они рассматривали план остаться в Великой гавани как чреватый гибелью и настаивали, по крайней мере, на том, чтобы покинуть эту позицию без промедления. Даже признавая в качестве аргумента угрызения совести Никиаса против отказа от сиракузской войны без официальной власти из дома, они все равно настаивали на немедленном переносе своего лагеря из Великой гавани в Фапсус или Катану. На любой из этих станций они могли бы продолжать операции против Сиракуз, имея все преимущества более широкой территории для снабжения, более здорового места и, прежде всего, открытого моря, что было совершенно необходимо для морской тактики афинян; избежав того узкого бассейна, который обрекал их на неполноценность даже на своей собственной стихии. Во что бы то ни стало удалить, и немедленно, из Великой гавани - таково было настоятельное требование Демосфена и Эвримедона[458].

Но даже на измененное предложение о передаче фактической позиции Фапсусу или Катане Никиас не согласился. Он настаивал на том, чтобы все оставалось как есть; и, похоже, Менандр и Евтидем[459] - соратники, назначенные собранием дома, до отплытия второго

войска, - должны были проголосовать под влиянием его авторитета; таким образом, большинство стало на его стороне. Вероятно, не что иное, как меньшинство, побудило бы Демосфена и Эвримедона подчиниться в вопросе такой исключительной важности.

Таким образом, афинское войско оставалось, не выходя из гавани, но, по-видимому, совершенно бездействуя, в течение периода, который не мог быть меньше трех недель или месяца, пока Гилипп не вернулся в Сиракузы со свежими подкреплениями. Во всей армии надежда на успех, похоже, исчезла, а тревога за возвращение стала всеобщей. Мнения Демосфена и Эвримедона, несомненно, были хорошо известны, и приказы об отступлении ожидались, но так и не поступили. Никиас упорно отказывался отдавать их в течение всего этого рокового промежутка времени, что ввергло армию в пучину гибели, вместо того чтобы просто потерпеть неудачу в своем агрессивном предприятии.

Такое упрямство было настолько необъяснимым, что многие считали, что Никиас знал больше, чем хотел открыть. Даже Фукидид считает, что его ввела в заблуждение та сторона в Сиракузах, с которой он всегда вел тайную переписку, казалось бы, отдельно от своих коллег, и которая все еще убеждала его специальными посланиями не уезжать, уверяя, что Сиракузы не могут продолжаться дольше. Не доверяя в полной мере этим предчувствиям, он не мог заставить себя действовать вопреки им, а потому со дня на день замирал и отказывался произнести решающее слово[460].

Ничто во всей карьере Никиаса не поддается такому объяснению, как его виновная фатумность - мы не можем назвать ее более легким именем, поскольку она вовлекла всех окружавших его храбрецов в одну общую гибель с ним самим - в этот критический момент. Разве можно предположить, что он действительно верил в то, что сиракузяне, находящиеся в приливе успеха и отправившиеся за дополнительными силами к Гилиппу, сломаются и не смогут продолжать войну? Каким бы детским ни казалось подобное легкоеверие, мы все же вынуждены признать его реальным, причем в такой степени, что оно уравнивает все настоятельные мотивы для отъезда, мотивы, навязанные проникательными коллегами, а также жалобами армии, и доведенные до его собственного сведения опытом последнего морского поражения. Во всяком случае, это служило оправданием той роковой слабости его характера, которая делала его неспособным принимать решения, основанные на перспективных расчетах, и приковывала его к фактическому положению до тех пор, пока его не вынуждала действовать неизбежная необходимость.

Но в данном случае мы видим еще один мотив, который во многом определяет его нерешительность. Другие генералы с удовлетворением думают о том, чтобы вернуться в свою страну и спасти те силы, которые еще остались, даже в условиях разочарования и неудачи. Не таков Никиас: он слишком хорошо знает, какой прием он заслужил и какой, возможно, его ожидает. Он открыто предвидит упреки афинян в адрес полководцев, но только незаслуженные, на том особом основании, что они увели армию без приказа из дома; он добавляет несколько резких критических замечаний по поводу несправедливости народного суда и вероломства своих солдат. Но, во-первых, мы можем заметить, что Демосфен и Эвримедон, хотя и несли такую же ответственность за это решение, как и он, не испытывали такого страха перед народной несправедливостью; а если и испытывали, то ясно видели, что обязанность отважиться на нее была здесь настоящей. И, во-вторых, ни у одного человека не было так мало оснований жаловаться на народный суд, как у Никиаса. Ошибки народа в отношении него всегда заключались в снисходительности, завышенной самооценке и чрезмерном постоянстве. Но Никиас слишком хорошо понимал, что в Афинах ему придется отвечать за нечто большее, чем простое одобрение отступления в сложившихся обстоятельствах. Он не мог не вспомнить, с какой гордостью и с какими

надеждами он первоначально отправился в экспедицию из Пирея, как жалкое продолжение и бесславное завершение, даже если бы счет теперь был закрыт, не хуже. Он не мог не сознавать, в большей или меньшей степени, насколько все это было вызвано его собственным просчетом; и под таким впечатлением мысль о том, чтобы встретить свободную критику и проверку своих сограждан - даже отбросив возможность судебного разбирательства - должна была быть невыносимо унижительной. Для Никиаса, совершенно мужественного человека, к тому же страдающего от неизлечимой болезни, жизнь в Афинах не имела ни очарования, ни чести. Поэтому, как ни по какой другой причине, он был вынужден откладывать приказ об отплытии; цепляясь за надежду, что еще может подвернуться какой-нибудь непредвиденный счастливый случай, и поддаваясь самым глупым иллюзиям корреспондентов из внутренних районов Сиракуз[461].

Спустя почти месяц после ночного сражения при Эпиполе[462] Гилипп и Сикан вернулись в Сиракузы. Последний потерпел неудачу в Агригентуме, где фило-сиракузская партия была отправлена в изгнание до его прибытия; но Гилипп привел с собой значительные силы сицилийских греков вместе с теми пелопоннесскими гоплитами, которые ранней весной отправились с мыса Тенарус и проделали путь от Кирена сначала вдоль побережья Африки, а затем через Селинус. Такое увеличение сил сразу же побудило сиракузян возобновить наступление как по суше, так и по морю. У афинян, увидевших новых союзников, наступающих на Эпиполь, это вызвало еще большее уныние и горькое сожаление о том, что они не приняли предложение об отступлении сразу после битвы при Эпиполе, когда Демосфен впервые предложил его. Поздний период безнадёжного бездействия и продолжающиеся болезни еще больше ослабили их силы, и теперь Демосфен снова настаивал на немедленном отплытии. Какие бы фантазии ни питал Никиас по поводу сиракузских затруднений, они были рассеяны прибытием Гилиппа; он не решился упорствовать в своем прежнем решительном несогласии, хотя и теперь, кажется, согласился против собственного убеждения.[463] Однако он с полным основанием настаивал на том, чтобы по этому случаю не проводилось официального или публичного голосования, но чтобы приказ был распространен по лагерю как можно более конфиденциально, чтобы быть готовым к отплытию по данному сигналу. В Катану было отправлено уведомление, что вооружение находится в точке отхода, с приказом не пересылать больше никаких припасов[464].

Этот план осуществлялся успешно: корабли были готовы, большая часть имущества армии уже была доставлена на борт, не пробудив подозрений врага, сигнал должен был быть подан утром следующего дня, и через несколько часов это роковое вооружение оказалось бы вне гавани, со сравнительно небольшими потерями,[465] когда сами боги - я говорю языком и чувствами афинского лагеря - вмешались, запретив его отплытие. В ночь перед этим, 27 августа 413 года до н. э., когда было полнолуние, луна затмилась. Такое предзнаменование, впечатляющее афинян в любое время, было вдвойне впечатляющим в условиях их нынешнего уныния, и многие из них истолковали его как божественный запрет на отплытие до истечения определенного времени, с искупительными церемониями, чтобы снять эффект. Они сообщили о своем желании отсрочить отъезд Никиасу и его коллегам, но их вмешательство было излишним, поскольку сам Никиас был задет сильнее, чем кто-либо другой. Он посоветовался с пророками, которые заявили, что войско не должно расходиться, пока не пройдет трижды девять дней, полный круг луны.[466] И Никиас взял на себя обязательство объявить, что до тех пор, пока не наступит указанный ими срок, он не позволит даже обсуждать или предлагать что-либо по этому вопросу.

Решение пророков, которое Никиас сделал своим собственным, было смертным приговором для афинской армии, но оно совпало с общим чувством и было исполнено без колебаний. Даже Демосфен, хотя, если бы он командовал один, он мог бы попытаться отменить это решение, был вынужден уступить. Однако, по мнению Филохора, профессионального прорицателя, искусного в толковании религиозного смысла событий, это решение было решительно неверным, то есть неверным в соответствии с каноническими принципами гадания. Для людей, планирующих побег или любую другую операцию, требующую тишины и секретности, затмение луны, скрывающее свет и порождающее тьму, было, по его утверждению, обнадеживающим знаком и должно было заставить афинян еще охотнее и быстрее покинуть гавань. Нам также рассказывают, что Никиас недавно потерял из-за смерти Стилбидеса, самого способного пророка на его службе, и поэтому был вынужден прибегнуть к помощи пророков с меньшими способностями. 467 Его благочестие не оставляло попыток умиротворить богов молитвами, жертвоприношениями и искупительными церемониями, которые продолжались до тех пор, пока не возникла необходимость в реальном конфликте. 468

Препятствие, окончательно и бесповоротно прервавшее отплытие афинян, было прямым, хотя и непреднамеренным, следствием задержки, ранее вызванной Никиасом. Однако мы не можем сомневаться в том, что, когда затмение произошло впервые, он счел его знаком, подтверждающим мнение, которое он сам ранее высказал, и поздравил себя с тем, что так долго сопротивлялся предложению уехать. Добавим, что все те афиняне, которые были склонны смотреть на затмения как на небесные знамения грядущих бедствий, укрепились бы в этом убеждении благодаря беспримерным бедам, надвигающимся сейчас на эту несчастную армию.

Какое толкование придали затмению сиракузяне, уверенные в себе и одержавшие победу, нам не известно. Но они хорошо знали, как истолковать тот факт, который быстро дошел до них, что афиняне полностью решились на тайное бегство, и только затмение помешало им. Такое решение, равносильное недвусмысленному признанию в своей беспомощности, еще больше подбодрило сиракузян, чтобы разгромить их в гавани и никогда не позволить им занять какой-либо другой пост в Сицилии. В соответствии с этим Гилипп заставил свои триремы быть укомплектованными и практиковаться в течение нескольких дней: затем он вывел свои сухопутные войска и устроил ничего не значащую демонстрацию против афинских линий. На следующий день он вывел все свои силы, как сухопутные, так и морские; с первыми он осадил афинские линии, а флоту, состоящему из семидесяти шести трирем, было приказано отплыть к афинской морской станции. Афинский флот, насчитывавший восемьдесят шесть трирем, вышел ему навстречу, и произошло близкое, общее и отчаянное сражение. Удача покинула Афины. Сначала сиракузяне разбили центральную часть афинян, затем правую под командованием Эвримедона, который, пытаясь обойти противника слева, забыл об узких границах гавани, на каждом шагу губивших афинских мореходов, слишком приблизился к суше и был прижат к ней, в углублении Даскона, энергичной атакой сиракузян. Здесь он был убит, а его отряд уничтожен: последовательно весь афинский флот был избит и вытеснен на берег.

Лишь немногие из побежденных кораблей смогли попасть на свой участок. Большинство из них были вытеснены на берег или сели на мель за его пределами; тогда Гилипп направил свои сухопутные войска к урезу воды, чтобы предотвратить отступление экипажей, а также помочь сиракузским морякам снять корабли в качестве призов. Однако его поход был настолько поспешным и беспорядочным, что тирренские войска, стоявшие на страже

фланга афинской станции, бросились на них при приближении, избили первых и отогнали их от берега в болото под названием Лисимелея. На помощь им пришло еще больше сиракузских войск; но и афиняне, заботясь прежде всего о защите своих кораблей, выступили в большом количестве, и завязалось генеральное сражение, в котором последние одержали победу. Хотя они не нанесли врагу больших потерь, но спасли большую часть своих трирем, которые были вытащены на берег вместе с экипажами, и доставили их в военно-морскую станцию. Если бы не этот успех на суше, весь афинский флот был бы уничтожен: как бы то ни было, поражение все равно было полным, и восемнадцать трирем были потеряны, а все их экипажи убиты. Вероятно, это была дивизия Эвримедона, которая, будучи высаженной на берег в углублении Даскона, находилась слишком далеко от афинской станции, чтобы получить какую-либо помощь с суши. Пока афиняне тащили свои поврежденные триремы, сиракузяне предприняли последнюю попытку уничтожить их с помощью огненного корабля, которому благоприятствовал ветер. Но афиняне нашли средства, чтобы предотвратить ее приближение и погасить пламя[469].

Это была полная победа, одержанная над Афинами в их собственной стихии, одержанная с меньшей численностью, одержанная даже над свежим и еще грозным флотом, недавно приведенным Демосфеном. Это слишком ясно говорило о том, на чьей стороне было превосходство, насколько хорошо сиракузяне организовали свои морские силы для особенностей своей гавани, насколько губительной была глупость Никиаса, державшего своих отличных моряков в заточении в этом мелком и нездоровом озере, где земля и вода одинаково выполняли работу своих врагов. Это не только обескуражило афинян, но и опровергло весь их прошлый опыт и привело их в полное замешательство. Теперь на первый план вышло сожаление обо всем предприятии и раскаяние в том, что они его предприняли: примечательно, что мы не слышим никаких жалоб на Никиаса в отдельности[470]. Но раскаяние пришло слишком поздно. Сиракузяне, полностью осознав важность своей победы, с триумфом обошли гавань, как вновь свою собственную[471], и уже смотрели на врага в ней как на своих пленников. Они решили закрыть и охранять ее устье, от Племирия до Ортигии, чтобы не оставлять больше свободы выхода.

Они также не осознавали, насколько расширился масштаб состязания и возросла ценность поставленной перед ними задачи. Теперь они боролись не только за спасение своего города от осады, и даже не за то, чтобы отбить и уничтожить осаждающую армию. Им предстояло уничтожить всю мощь Афин и освободить половину Греции от зависимости; ведь нельзя было ожидать, что Афины переживут столь ужасающую потерю, как потеря всего двойного вооружения перед Сиракузами.[472] Сиракузяне ликовали при мысли, что это великое достижение будет их, что их город будет полем, а их флот - главным орудием победы: это станет для них неиссякаемым источником славы не только в глазах современников, но и потомков. Их гордость раздувалась, когда они размышляли о всегреческом значении, которое приобрела осада Сиракуз, и когда они подсчитывали количество и разнообразие греческих воинов, которые теперь сражались на той или иной стороне между Эвриалом и Племирием. За исключением великой борьбы между Афинами и Пелопоннесской конфедерацией, никогда прежде под одними и теми же знаменами не выступали столь многочисленные и разнородные воины. Греки, континентальные и островные, ионические, дорические и эолийские, автономные и зависимые, добровольцы и наемники, от Милета и Хиоса на востоке до Селина на западе, - все были здесь; и не только греки, но и варварские сикелы, эгесты, тирренцы и иапиги. Если лакедемоняне, коринфяне и беотийцы сражались на стороне Сиракуз, то аргейцы и мантинейцы, не говоря уже о больших островных городах, выступали против нее с оружием в руках. Нагромождение родственных связей между воюющими с обеих сторон, а также перекрестное действие различных местных антипатий

живо противопоставляется Фукидидом.[473] Но среди такого огромного скопления людей, вождями, распорядителями и центром объединения которых они были, сиракузяне вполне могли испытывать чувство личного превосходства и сознание великого удара, который они собирались нанести, достаточное, чтобы на время возвысить их даже над уровнем их великих дорийских вождей в Пелопоннесе.

Первой операцией, занявшей три дня, было закрытие устья Великой гавани шириной почти в одну милю, где стояли на якорях и были скованы всевозможные суда - триеры, торговцы, лодки и т. д.[474] В то же время они с удвоенным рвением готовили свои морские силы к отчаянной борьбе, которая, как они знали, предстояла. Затем они ожидали усилий афинян, которые с грустью и тревогой наблюдали за их действиями.

Никиас и его коллеги собрали главных офицеров, чтобы обсудить, что делать. Поскольку у них оставалось мало провизии, а дальнейшие поставки были отменены, необходимо было предпринять мгновенное и отчаянное усилие, и единственным предметом спора было то, должны ли они сжечь свой флот и уйти по суше или предпринять новые морские усилия, чтобы вырваться из гавани. Впечатление от недавнего морского боя было таково, что многие в лагере склонялись к первому варианту.[475] Но генералы решили сначала испробовать второй вариант и исчерпали все свои возможности, чтобы придать ему как можно больший эффект. Теперь они эвакуировали верхнюю часть своих линий, как на возвышенности Эпиполе, так и на нижней, той части, которая была ближе всего к южному утесу; ограничившись ограниченным укрепленным пространством вблизи берега, достаточным для больных, раненых и запасов, чтобы избавить себя от необходимости содержать большой гарнизон для защиты, и таким образом оставить почти все свои силы пригодными для службы на море. Затем они подготовили все триеры на станции, которые можно было сделать хоть сколько-нибудь пригодными для плавания, и обязали всех годных служить на их борту, без различия возраста, звания или страны. Триеры были укомплектованы двойными экипажами воинов, гоплитов, а также луков и дартеров, причем последние были в основном акарнанцами; гоплиты же, стоявшие у носа с приказом как можно быстрее взять врага на abordаж, были снабжены грейферными костями, чтобы задержать вражеский корабль сразу после столкновения, дабы он не ушел и не повторилось столкновение со всеми его вредными последствиями, вызванными силой и массивностью сиракузских эфотид. С рулевыми проводились самые тщательные консультации по поводу расположения и маневров каждой триеры, не было упущено ни одной меры предосторожности, которую позволяли скудные средства, имевшиеся под рукой. В условиях известной невозможности достать новую провизию, каждый стремился поторопить борьбу.[476] Но Никиас, собрав их на берегу непосредственно перед тем, как подняться на борт, слишком ясно видел, что ими движет простое напряжение отчаяния; что эластичность, дисциплинированная уверенность, морская гордость, привычные для афинян на корабле, угасли, или горели тускло и слабо.

Он сделал все возможное, чтобы возродить их, увещевая необычайно категорично и впечатляюще. "Вспомните, - говорил он, - что и вы, не меньше сиракузян, сражаетесь сейчас за свою безопасность и за свою страну; ведь только победив в предстоящей борьбе, любой из вас может надеяться снова увидеть свою страну. Не отчаивайтесь, как новобранцы после первого поражения; вы, афиняне и союзники, знакомые с неожиданными поворотами войны, будете надеяться на справедливый поворот фортуны и сражаться с духом, достойным той великой силы, которую вы видите вокруг себя. Мы, полководцы, приняли эффективные меры против двух наших главных недостатков - узости гавани и толщины вражеских форштевней.[477] Как ни печальна необходимость, мы отбросили все наши афинские навыки и тактику и приготовились сражаться в условиях, навязанных нам врагом, - сухопутное

сражение на корабле.[478] Вам предстоит победить в этой последней отчаянной борьбе, где нет дружественного берега, чтобы принять вас, если вы уступите. Вы, гоплиты на палубе, как только столкнетесь с триремой противника, держите ее наготове и не расслабляйтесь, пока не сметёте его гоплитов и не овладеете его палубой. Вы, моряки и гребцы, должны сохранять мужество, несмотря на этот печальный провал в наших средствах и подрыв нашей тактики. Вы лучше защищены на верхней палубе, и у вас больше трирем, чтобы помочь вам, чем во время недавнего поражения. Тех из вас, кто не является афинскими гражданами, я прошу вспомнить о ценных привилегиях, которыми вы до сих пор пользовались, служа в афинском флоте. Хотя и не были настоящими гражданами, вы считались таковыми и обращались с ними; вы приобрели наш диалект, вы копировали наши привычки, и таким образом пользовались восхищением, внушительным положением и безопасностью, вытекающими из нашей великой империи. 479] Пользуясь благами этой империи, не предавайте ее теперь этим сицилийцам и коринфянам, которых вы так часто побеждали. Афинянам я еще раз напоминаю, что у Афин нет ни новых трирем, ни новых гоплитов, чтобы заменить тех, кто сейчас здесь. Если вы не одержите победу, враги на родине сочтут ее беззащитной, и наши соотечественники станут рабами Спарты, как вы - Сиракуз. Вспомните, каждый из вас, что вы сейчас поднимаетесь на борт - *это все Афины*, ее гоплиты, ее корабли, весь ее оставшийся город и ее великолепное имя.[480] Будьте же стойкими и побеждайте, каждый с наилучшей силой, в этой последней борьбе, как за Афины, так и за себя, и по случаю, который никогда не вернется."

Если при переводе депеши, написанной Никиасом жителям Афин за десять месяцев до этого, мы были вынуждены заметить, что большая ее часть была горьким осуждением его прежней политики как полководца, то здесь, когда мы видим, как он пытается смягчить губительные последствия того замкнутого пространства воды, которое парализовало афинских моряков, мы возвращаемся к его собственной упрямой неосторожности, когда он запретил выход флота, когда на этом настаивал Демосфен. Его слушатели, вероятно, были слишком поглощены ужасным настоящим, чтобы возвращаться к непоправимым ошибкам прошлого. Сразу же по окончании его трогательной речи был отдан приказ подняться на борт, и моряки заняли свои места. Но когда триремы были полностью укомплектованы, а триерархи, проследив за посадкой, сами собрались войти и отчалить, агония Никиаса была слишком велика, чтобы ее можно было подавить. Ощущая острее, чем кто-либо другой, напряженность этой последней смертельной схватки и серьезные, но неизбежные недостатки вооружения в его нынешнем состоянии, он все же считал, что сказал недостаточно для этого случая. Теперь он вновь обратился лично к триерархам, все из которых были афинскими гражданами, знатными и богатыми. Все они были ему хорошо знакомы, и он обратился к каждому отдельно, называя его по имени, по имени его отца и по роду, убеждая его самыми глубокими и торжественными мотивами, которые только могут затронуть человеческие чувства. Одним он напоминал об их собственной славе, другим - о достижениях знаменитых предков, умоляя не позорить и не предавать эти драгоценные титулы: всем одинаково он напоминал о прелести их любимой страны с ее полной политической свободой и неограниченным правом на индивидуальную деятельность каждого человека: ко всем одинаково он обращался от имени их жен, их детей и их отцовских богов. Его не волновало, что его заподозрят в том, что он затронул общие места риторики: он хватался за любую тему, которая могла затронуть самые сокровенные чувства, пробудить врожденный патриотизм и разжечь угасшее мужество офицеров, которых он посылал на это отчаянное предприятие. В конце концов он заставил себя откланяться, все еще полагая в своем волнении, что должен сказать больше, и приступил к сбору сухопутных

войск для обороны линий, а также вдоль берега, где они могли бы оказать как можно больше услуг и как можно больше ободрить сражающихся на корабле[481].

Совсем иным был дух, царивший на побережье Сиракузской станции, и совершенно противоположными были горячие слова, произнесенные на берегу, когда вожди собирали своих людей непосредственно перед высадкой. Они были осведомлены о грейферных орудиях, которые собирались применить афиняне, и частично защищались от них, растягивая шкуры вдоль носа, чтобы "железная рука" могла соскользнуть, не зацепившись. Подготовительные движения были прекрасно видны даже в пределах афинского участка, и Гилипп отправил флот с обычной предварительной речью. Он похвалил их за великие достижения, которые они уже совершили, чтобы сломить морскую мощь Афин, так долго считавшуюся непреодолимой[482]. Он напомнил им, что вылазка их врагов была лишь последним усилием отчаяния, не ищущим ничего, кроме спасения, предпринятым без уверенности в себе и при необходимости отбросить все свои собственные тактические приемы, чтобы слабо копировать сиракузян.[Он призвал их вспомнить о разрушительных целях, которые захватчики принесли с собой в Сиракузы, нанести возмущенной рукой завершающий удар по этому полуразрушенному вооружению и вкушать удовольствие от удовлетворения законной мести[484].

Сиракузский флот - семьдесят шесть трирем, как и в прошлой битве, - первым отчалил от берега; Питон с коринфянами в центре, Сикан и Агатарх на крыльях. Часть из них расположилась у устья гавани, чтобы охранять преграду; остальные же были распределены по гавани, чтобы нападать на афинян с разных сторон, как только они приблизятся. Кроме того, поверхность гавани кишела легкими судами сиракузян, на многих из которых сидели молодые добровольцы, сыновья лучших семей города;[485] лодки сослужили немалую службу во время сражения, спасая или уничтожая моряков, выброшенных за борт с поврежденных кораблей, а также досаждая сражающимся афинским триерам. Этот день был священным для Геракла в Сиракузах, и пророки объявили, что бог обеспечит победу сиракузянам, если они будут стоять в обороне и не начнут атаку.[Кроме того, весь берег вокруг гавани, за исключением афинской станции и ее ближайших окрестностей, был заполнен сиракузскими солдатами и зрителями, а у стен Ортыгии, непосредственно нависающих над водой, собралось слабое население города - старики, женщины и дети. От афинской станции вскоре отплыли сто десять трирем под командованием Демосфена, Менандра и Евтидема с обычным пеаном, тон которого, вероятно, отражал общее уныние в лагере. Они направились прямо к устью гавани, видя со всех сторон вооруженных врагов, расположившихся вдоль берега, а также безоружные толпы, возвещавшие месть богам на их головы; для них не было сочувствия, кроме как среди товарищей по несчастью в их собственных рядах. Внутри этого узкого бассейна, имеющего в окружности более пяти английских миль, сто девяносто четыре военных корабля, каждый из которых был укомплектован более чем двумя сотнями человек, собирались вступить в бой в присутствии бесчисленных толп, собравшихся вокруг, с бьющимися сердцами, и достаточно близко, чтобы видеть и слышать; самая живописная битва - если бы мы могли отвлечься от ее ужасного интереса - возможно, в истории, без дыма или других препятствий для зрения, в ясной атмосфере Сицилии, серьезное и увеличенное воплощение тех *paumachiaë*, которые римские императоры обычно выставляли с гладиаторами на итальянских озерах, для отдыха народа.

Афинский флот направился прямо к той части барьера, где было оставлено узкое отверстие - возможно, закрытое подвижной цепью - для торговых судов. Первой стремительной атакой

они прорвали защищавшую его сиракузскую эскадру и уже пытались разорвать соединяющие ее узы, когда враг со всех сторон навалился на них и заставил остановиться. Вскоре бой стал общим, и сражающиеся были распределены по разным частям гавани. С обеих сторон было проявлено яростное и отчаянное мужество, даже большее, чем в предыдущих случаях. При первом же столкновении отличились мастерство и тактика рулевых, подкрепленные усердием гребцов и их готовностью повиноваться голосу келеуста. Когда суда сближались, носовые стрелки, пращники и метатели на палубе обрушивали на врага тучи снарядов; затем раздавался громкий треск двух сталкивающихся металлических фронтов, гулко разносившийся по всему берегу.^[487] Когда суда сближались, им редко позволяли разойтись: начинался напряженный рукопашный бой, в котором гоплиты на каждом из них пытались, соответственно, высадиться и овладеть палубой противника. Однако не всегда каждая трирема имела своего единственного и особенного врага: иногда одному кораблю приходилось сразу с двумя или тремя противниками, иногда он попадал на борт одного из них и запутывался. Через некоторое время, когда бой все еще упорно продолжался, всякий боевой порядок терялся; мастерство рулевого было малоэффективным, а голос келеустеса тонул среди всеобщего шума и криков как победителей, так и побежденных. С обеих сторон раздавались громкие призывы, а также упреки и сарказм в адрес любого корабля, который, казалось, дрогнул в борьбе, хотя в подобном фактическом стимуле мало кто нуждался.

С обеих сторон было проявлено такое героическое мужество, что долгое время победа оставалась сомнительной, а вся гавань представляла собой сцену частичных столкновений, в которых то сиракузяне, то афиняне одерживали верх. В зависимости от того, как колебался успех, на берегу раздавались то ликования, то стенания зрителей. В одно и то же время можно было наблюдать любые проявления человеческих чувств, в зависимости от того, на какой корабль обращалось внимание - победоносный или побежденный. Именно среди афинских зрителей, чья жизнь и свобода были поставлены на карту в бою, можно было увидеть эти эмоции, преувеличенные до агонии и превосходящие волнение даже самих участников боя.^[488] Те из них, кто смотрел на ту часть гавани, где, казалось, побеждали их друзья, были полны радости и благодарности богам: те из их соседей, кто видел афинский корабль в затруднительном положении, давали волю своим чувствам в криках и причитаниях; третья группа, устремив свои взоры на какую-то часть боя, которая еще оставалась спорной, была погружена во все волнения сомнения, проявлявшиеся даже в трепетных колебаниях их тел, когда попеременно преобладали надежда или страх. Все то время, пока бой оставался нерешенным, афиняне на берегу были отвлечены всеми этими многообразными видами напряженного сочувствия. Но вот после долгой борьбы наступил момент, когда победа стала склоняться в пользу сиракузян, которые, заметив, что их враги ослабли, удвоили свои крики и усилия и оттеснили их всех к суше. Все афинские триремы, отказавшись от дальнейшего сопротивления, были выброшены на берег, как потерпевшие кораблекрушение суда, на своей станции или вблизи нее; некоторые из них даже были захвачены, прежде чем смогли туда добраться. Различные проявления сочувствия среди афинян на самой станции сменились теперь единодушным криком агонии и отчаяния. Самые смелые из них бросились спасать корабли и их команды от преследования, другие - укреплять стены на случай нападения с суши: многих даже парализовало при виде этого зрелища, и они были поглощены мыслями о своей собственной безвозвратной гибели. Их души, несомненно, были еще больше поколеблены дикой и восторженной радостью, которая безумными криками вырывалась из враждебных толп, окружавших гавань, в ответ на приветствия их товарищей, одержавших победу на борту корабля.

Таким было завершение этой ужасной, волнующей сердце и решающей битвы. Современный историк тщетно пытается передать впечатление от нее, которое выражено в сжатых и жгучих фразах Фукидида. В его описании битв вообще, а этой битвы - больше всех остальных, мы находим глубину и обилие человеческих эмоций, которые сегодня ушли из военного дела. Греки, которые сражаются, как и греки, которые смотрят на них, - это не солдаты, оторванные от общества, специализированные и закаленные долгим профессиональным обучением, а граждане со всеми страстями, инстинктами, симпатиями, радостями и печалью как домашней, так и политической жизни. Более того, невоенное население в древние времена было заинтересовано в результатах борьбы самым острым образом; для них это была разница если не жизни и смерти, то, по крайней мере, крайности счастья и несчастья. Отсюда сильные светотени, гомеровская демонстрация нескрываемого порыва, трагические подробности личных побуждений и страданий, которые пронизывают это и другие военные описания Фукидида. Когда мы читаем те немногие, но самые пылкие слова, которые он использует для изображения афинского лагеря во время этого страшного испытания, мы должны вспомнить, что это были не только люди, чье все было поставлено на карту, но и граждане, полные впечатлительности, чувствительные и демонстративные греки; и, действительно, самые чувствительные и демонстративные из всех греков. Подавлять все проявления сильных эмоций не считалось в древности необходимым для достоинства человеческого характера.

Однако при всем глубоком пафосе, который великий историк придал финальной битве при Сиракузах, он не объяснил причин, от которых зависела ее конечная развязка. Учитывая, что афиняне превосходили своих врагов числом - сто десять против семидесяти шести трирем, что они сражались с не менее героическим мужеством и что действие происходило в их собственной стихии, мы могли бы ожидать для них если не победы, то хотя бы затяжного боя, с равными потерями с обеих сторон. Но мы можем заметить: 1. Число в сто десять трирем образовалось за счет включения в него нескольких едва пригодных к плаванию[489]. 2. Экипажи частично состояли из людей, не привыкших к морской службе, и акарнанские дартеры, особенно по этой причине, не умели обращаться со своими ракетами[490]. 3. Хотя до сих пор вода была благоприятной для Афин стихией, однако ее превосходство в этом отношении уменьшалось, а враги приближались к ней даже в открытом море. Но узкие размеры гавани сводили на нет ее превосходство в любое время и ставили ее даже в крайне невыгодное положение - без возможности поворачивать и разворачивать свои триремы так, чтобы наносить удары только в уязвимое место противника, - по сравнению с толстыми, тяжелыми, прямолинейными сиракузянами; как проворный кулачный боец легкого веса, сражающийся на очень узком ринге с превосходящим его весом и мускулами.[491] Для простого боя на суше, на корабле, афиняне не только не имели преимущества, но, наоборот, имели шансы против них. 4. Сиракузяне пользовались большим преимуществом, поскольку почти вся гавань была окружена их солдатами и друзьями; не только из-за силы ободряющего сочувствия, которое не является средством поддержки, но и потому, что любая из их трирем, если она была вынуждена отступить перед афинянами, находила защиту на берегу и могла вернуться в бой на досуге; тогда как афиняне в таком же затруднительном положении не имели возможности спастись. 5. Многочисленные легкие суда сиракузян, несомненно, оказали большую услугу в этом сражении, как и в предыдущем, хотя Фукидид снова не упоминает о них. 6. Наконец, и в характере афинян, и в характере сиракузян давление необходимости было менее сильным стимулом к действию, чем хмельная уверенность и воодушевление при мысли о том, что прилив еще не закончился. В характере некоторых других рас, например, евреев, сравнительная сила этих мотивов, по-видимому, противоположна.

Около шестидесяти афинских трирем, чуть больше половины всего флота, вышедшего в море, были спасены в виде обломков после этого ужасного конфликта. Сиракузяне, со своей стороны, сильно пострадали: из семидесяти шести трирем осталось только пятьдесят. Однако триумф, с которым они воздвигли свой трофей, вернувшись в город, и ликование, царившее среди огромной толпы, окружившей гавань, были выше всякой меры и прецедента. Его шумные проявления, несомненно, были слишком хорошо слышны в соседнем лагере афинян и усиливали, если вообще могли усиливать, душераздирающую крайность беды, которая парализовала побежденных. Давление страданий, как ожидаемых, так и реальных, настолько сильно затуманило их разум и погасило самые священные ассоциации, что ни один человек среди них, даже ультрарелигиозный Никиас, не подумал о том, чтобы подбирать плавающие тела или просить перемирия, чтобы похоронить мертвых. Эта обязанность, обычно столь серьезная и настоятельная для оставшихся в живых после битвы, теперь осталась без внимания среди горя, ужаса и отчаяния живого человека перед самим собой.

Однако такое отчаяние не было разделено генералами, к их чести, да будет сказано. После этого страшного поражения Демосфенес предложил Никиасу, чтобы на рассвете следующего утра они собрали все оставшиеся корабли - даже теперь их стало больше, чем сиракузских, - и предприняли новую попытку вырваться из гавани. Никиас согласился с этим, и оба стали пытаться повлиять на исполнение этого решения. Но дух моряков был так непоправимо сломлен, что ничто не могло убедить их снова подняться на корабль: они ничего не хотели слышать, кроме попытки бежать по суше.^[492] Поэтому были сделаны приготовления, чтобы начать поход в темноте той же ночи. Дороги были еще открыты, и, если бы они выступили таким образом, часть из них, по крайней мере, могла бы еще спастись.^[493] Но произошла еще одна ошибка, еще одна отсрочка, которая оборвала последние надежды этого доблестного и обреченного на гибель остатка.

Сиракузянин Гермократес, полностью предвидя, что афиняне сбегут этой же ночью, стремился предотвратить их отступление из-за вреда, который они могли бы причинить, закрепившись в любой другой части Сицилии. Он потребовал, чтобы Гилипп и военные власти немедленно отправились в путь и перекрыли основные дороги, перевалы и броды, через которые могли бы уйти беглецы. Хотя генералы понимали мудрость его совета, они считали его совершенно невыполнимым. Всеобщая и беспредельная радость, охватившая город в связи с недавней победой, еще более усиливалась тем обстоятельством, что этот день был священным для Гераклеи, - такое бурное веселье, пиршества, опьянение, поздравления, среди людей, вознаграждающих себя после недавних усилий и триумфа, и среди необходимой заботы о раненых, - что приказ вооружиться и выступить в поход был бы так же мало услышан, как и приказ отправиться на корабль удрученными афинянами. Понимая, что до следующего утра ему ничего не удастся сделать, Гермократес прибег к хитрости, чтобы отсрочить отход афинян на эту ночь. С наступлением темноты он послал к афинской стене нескольких верховых друзей, которые были ему доверены. Эти люди, подъехав достаточно близко, чтобы их было слышно, и подзвав дозорных, обратились к ним как к посланцам от личных корреспондентов Никиаса в Сиракузах, которые, по их словам, прислали предупредить его, чтобы он не отступал ночью, поскольку сиракузяне уже осадили и заняли дороги, а спокойно начал свой поход на следующее утро после соответствующей подготовки^[494].

Этот обман, подобный тому, который афиняне сами практиковали два года назад^[495], чтобы склонить сиракузян к походу против Катаны, увенчался успехом: в искренность информации поверили, и совет приняли. Если бы Демосфенез командовал в одиночку, можно

сомневаться, что его так легко было бы обмануть; ведь если признать точность заявленного факта, было не менее очевидно, что трудности, вместо того чтобы уменьшиться, на следующий день увеличатся в десять раз. Однако мы уже не раз видели, как Никиас был введен в заблуждение вероломными советами фило-афинян в Сиракузах. Оправдание бездействия всегда было на руку его характеру; а нынешняя рекомендация, к тому же, слишком удачно совпала с нравом армии, которая сейчас была подавлена и охвачена ужасом, как те несчастные солдаты в "Отступлении десяти тысяч греков", которые поддались вялости от сильного холода на снегах Армении и которых Ксенофонт тщетно пытался разбудить. [Оставаясь на ночь, полководцы решили остаться и на следующий день, чтобы войско могло унести с собой как можно больше своего багажа, и послали гонца к сикелам во внутренние области с просьбой встретить войско и взять с собой провиант. 497 Таким образом, на следующий день у Гиlipпа и Гермocrates было достаточно времени, чтобы выслать войска и занять все позиции, удобные для препятствования афинскому походу. В то же время они отбуксировали в Сиракузы в качестве призов все афинские триеры, которые были выбиты на берег в недавнем сражении и теперь лежали, как бесполезные громадины, без охраны и внимания, [498] похоже, даже те, что находились на самой станции.

На следующий день после морского поражения Никиас и Демосфенес привели свою армию в движение, чтобы попытаться отступить. Лагерь уже давно был ареной болезней и смертей из-за распространенности болотной лихорадки, но после недавней битвы количество раненых и непогребенных тел убитых сделало его еще более жалким. Сорок тысяч несчастных - таково было общее количество, включая все чины и должности, - теперь отправились покидать его, совершая марш, в котором мало кто мог надеяться увидеть конец; это было похоже на то, как население большого города выливается из него, умирая от голода в результате блокады. У многих было мало или совсем не было провизии, настолько уменьшились запасы; но из тех, у кого она была, каждый нес свое, даже всадники и гоплиты, впервые оставшиеся без рабов из-за дезертирства или зная, что ни одному рабу теперь нельзя доверять. Но ни такое меланхоличное равенство страданий, ни количество страдальцев не приносили облегчения. Оцепенение и чувство унижения овладевали каждым человеком, тем более невыносимые, когда они вспоминали выход войска из Пейреуса за два года до этого, с молитвами, торжественными песнопениями и всеми великолепными мечтами о завоеваниях, в сравнении с унижительной сценой, которая предстала перед ними сейчас, когда из двух огромных флотов не осталось ни одной триеры.

Но только после того, как армия начала свой марш, в полной мере ощутилась и проявилась вся степень ее убогости. Именно тогда впервые прозвучала необходимость, о которой, вероятно, никто не говорил заранее, - оставлять позади не только непогребенные тела, но и больных и раненых. Горестные сцены, которыми был отмечен этот час, не поддаются описанию. Уходящий солдат скорбел и содрогался от чувства невыполненного долга, отворачиваясь от непогребенных тел убитых; но гораздо страшнее было испытание, когда ему приходилось отрываться от живых страдальцев, умолявших своих товарищей, стеная от муки и смятения, не покидать их. Взывая ко всем требованиям благочестивой дружбы, они цеплялись за их колени и даже ползли вдоль линии марша, пока их не покидали силы. Молчаливое уныние предыдущего дня сменилось всеобщими слезами, стонами и громкими взрывами скорби, среди которых армию не могли без особого труда разогнать и привести в движение.

После таких душераздирающих сцен могло показаться, что чаша горечи исчерпана; но впереди было еще хуже, и ужасы будущего диктовали борьбу со всеми бедами прошлого и настоящего. Генералы делали все возможное, чтобы сохранить не только мужество, но и

порядок, а Никиас, особенно в этот последний час своей карьеры, проявил такую энергию и героизм, каких, казалось, у него еще никогда не было. Несмотря на то что он сам был одним из величайших страдальцев своей неизлечимой болезни, его можно было видеть повсюду в строю, когда он командовал войсками, подбадривал их уныние и обращался к ним голосом более громким, напряженным и властным, чем это было принято.

"Не теряйте надежды, афиняне (говорил он), даже если мы сейчас в таком положении: другие спаслись из обстоятельств худших, чем наши. Не слишком унижайтесь ни поражениями, ни нынешними незаслуженными трудностями. Я тоже, не имея ни перед кем из вас преимущества в силе, - а вы видите, до какого состояния меня довела болезнь, - и привыкший даже к великолепию и удаче как в личной, так и в общественной жизни, я тоже ввергнут в ту же опасность, что и самый скромный солдат среди вас. Тем не менее, мое поведение было неизменно благочестивым по отношению к богам, а также справедливым и безупречным по отношению к людям; в возмещение этого моя надежда на будущее все еще сангвинична, в то время как наши фактические несчастья не ужасают меня пропорционально их внутреннему масштабу.^[499] Возможно, действительно, с этого времени они могут уменьшиться; ведь наши враги уже в полной мере испытали удачу, и если в момент нашего начала мы находились под ревнивым гневом какого-либо из богов, то уже подверглись достаточному наказанию. Другие люди до нас вторгались в чужие земли и, сделав все, что было в человеческих силах, страдали от того, что было в пределах человеческой выносливости. Мы тоже можем с полным основанием надеяться, что впредь оскорбленный бог будет обращаться с нами более мягко, ибо мы теперь - объект, более подходящий для его сострадания, чем для его ревности.^[500] Посмотрите, кроме того, на свои собственные ряды, гоплитов, столь многочисленных и столь превосходных: пусть это предохранит вас от чрезмерного отчаяния, и вспомните, что, где бы вы ни сели, вы сами - сразу город; и нет другого города в Сицилии, который мог бы либо отразить ваше нападение, либо изгнать вас, если вы решите остаться. Будьте осторожны, чтобы ваш марш был твердым и упорядоченным, каждый из вас должен быть убежден, что в каком бы месте ему ни пришлось сражаться, это место - его страна и его крепость, и оно должно быть удержано победоносным усилием. Поскольку наши запасы провизии весьма скудны, мы будем спешить и днем и ночью; и как только вы достигнете какой-нибудь дружественной деревни сикелов, которые все еще остаются неизменными для нас от ненависти до Сиракуз, считайте, что вы в безопасности. Мы послали вперед, чтобы известить их и убедить встретить нас с припасами. Еще раз, солдаты, вспомните, что действовать как храбрецы - это теперь для вас необходимость, и что если вы дрогнете, то нигде не найдете себе убежища. Если же вы сейчас избавитесь от врагов, то те из вас, кто не является афинянами, снова смогут насладиться видом родного дома, а те, кто *является* афинянами, будут жить, чтобы восстановить великую мощь нашего города, хотя он и пал сейчас. *Именно люди делают город; не стены и не корабли без людей*"^[501].

Усилия обоих полководцев полностью соответствовали этим решительным словам. Армия была распределена на две дивизии; гоплиты маршировали в полном продолговатом строю, а багаж и безоружные - внутри. Передней дивизией командовал Никиас, задней - Демосфенес. Направляясь к Сикелу, расположенному в глубине острова, они сначала шли вдоль левого берега Анапа, пока не подошли к броду этой реки, который охранялся сиракузским отрядом. Однако они форсировали реку без особого сопротивления и в тот же день прошли около пяти миль с задержкой, вызванной преследованием вражеской кавалерии и легких войск. Разбив лагерь на ночь на возвышенности, они возобновили свой марш с рассветом и остановились, пройдя около двух с половиной миль, в пустынной деревне на равнине. Они надеялись найти в домах немного провизии и даже были

вынуждены взять с собой немного воды из этого места, поскольку дальше ее не было. Поскольку предполагаемая линия их марша стала очевидной, сиракузяне воспользовались этой остановкой, чтобы их раньше и занять позицию на дороге, называемую Акрейским утесом. Здесь дорога, поднимаясь на высокий холм, образовывала своего рода овраг, окаймленный с каждой стороны отвесными скалами. Сиракузяне возвели стену или баррикаду по всей ширине дороги и заняли возвышенности с каждой стороны. Но даже достичь этого перевала было не под силу афинянам - настолько невыполнимой была задача преодоления местности перед лицом непреодолимых атак вражеской кавалерии и легких войск. После короткого марша они были вынуждены отступить в свой лагерь, разбитый накануне[502].

Каждый час усугублял тяжесть их положения, поскольку продовольствие было практически исчерпано, и ни один человек не мог отступить от основного корпуса, не столкнувшись с уничтожением со стороны кавалерии. Поэтому на следующее утро они предприняли еще одну отчаянную попытку пробраться по холмистой местности в глубь страны. Выступив очень рано, они добрались до подножия холма, называемого Акрейским утесом, где обнаружили баррикады, поставленные поперек дороги, с глубокими рядами сиракузских гоплитов за ними и толпами легких войск, выстроившихся вдоль утесов на каждой границе. Они прилагали самые упорные и настойчивые усилия, чтобы форсировать эту неприступную позицию, но все их усилия были тщетны, а сами они страдали от ракет, выпущенных войсками сверху. На фоне всего этого уныния они были еще более обескуражены грозами и молниями, которые происходили в это время и которые они истолковали как предвестия их грядущей гибели[503].

Этот факт ярко иллюстрирует как изменения, произошедшие за последние два года в противоборствующих сторонах, так и то, в какой степени религиозные толкования явлений зависели от предрасположенности, мрачной или веселой. В первой битве между Никием и сиракузянами, у Великой гавани, за несколько месяцев до начала осады, произошла похожая гроза: тогда афинские солдаты продолжали сражение, не дрогнув, расценив ее как естественное явление, соответствующее времени года, и такое безразличие с их стороны еще более усилило тревогу сиракузян.[504] Теперь же и самоуверенность, и религиозное впечатление сменили сторону.

Измученные бесплодными усилиями, афиняне отступили на некоторое расстояние, чтобы отдохнуть, когда Гилипп попытался окружить их, послав отряд перекрыть узкую дорогу у них в тылу. Однако им это не удалось, и они отступили на открытую равнину, где провели ночь, а на следующий день вновь предприняли безнадежный поход через Акрейский утес. Но им не позволили продвинуться даже до перевала и баррикады. Их так атаковали и преследовали кавалерия и дартеры во фланг и тыл, что, несмотря на героические усилия и выносливость, они не смогли продвинуться ни на одну милю. Изможденные усталостью, полуголодные и с большим количеством раненых, они были вынуждены провести третью несчастную ночь на той же роковой равнине.

Как только сиракузяне отошли на ночь в свой лагерь, Никиас и Демосфенес посовещались. Они ясно видели, что первоначально намеченный ими путь через Акрейский утес в Сикельскую область и оттуда в Катану стал неосуществимым, и что их несчастные войска будут еще менее в состоянии форсировать его на следующий день, чем накануне. Поэтому они решили уйти ночью, оставив многочисленные костры, чтобы ввести врага в заблуждение, но полностью изменить направление и повернуть к южному побережью, на котором лежали Камарина и Гела. Их проводники сообщили им, что если они смогут переправиться через реку Какипарис, которая впадает в море к югу от Сиракуз, на юго-

восточном побережье Сицилии, или еще более далекую реку, называемую Эринеем, - то они смогут пройти по правому берегу любой из них в глубь страны. Поэтому ночью они разошлись в беспорядке и тревоге; несмотря на это, передовая дивизия армии под командованием Никиаса вышла на полный марш и значительно продвинулась вперед. К рассвету эта дивизия достигла юго-восточного побережья острова недалеко к югу от Сиракуз и попала на Гелоринскую дорогу, по которой они следовали до Какипариса. Но даже здесь они обнаружили, что сиракузский отряд заранее подоспел к ним, возвел редут и перекрыл брод; Никиас не смог пройти через него, не пробив себе дорогу. Он двинулся вперед к Эринею, который перешел в тот же день, и расположил свои войска на возвышенности на другом берегу[505].

За исключением брода через Какипарис, его поход весь день был беспрепятственным для врага; и он считал более мудрым как можно быстрее продвигать свои войска, чтобы прибыть в какое-нибудь безопасное и удобное место, не заботясь о тыловой дивизии под командованием Демосфена. Эта дивизия, большая половина армии, выступила позже и в большом беспорядке. Непонятная паника и темнота заставляли их то расходиться, то сбиваться с пути, так что Демосфен, при всех своих усилиях удержать их вместе, мало продвинулся вперед и сильно отстал от Никиаса. Он был настигнут сиракузянами в первой половине дня, по-видимому, еще до того, как достиг Какипариса,[506] и в тот момент, когда передовой отряд находился почти в шести милях впереди, между Какипарисом и Эринеем.

Когда на рассвете сиракузяне обнаружили, что их враг скрылся ночью, их первым побуждением было обвинить Гириппа в вероломстве, позволившем ему бежать. Однако эти неблагоприятные предположения вскоре развеялись, и кавалерия пустилась в стремительное преследование, пока не настигла тыловое подразделение, которое они тут же начали атаковать и препятствовать. Продвижение Демосфена было запоздалым, а его дивизия дезорганизованной, но теперь он был вынужден повернуть и защищаться от неугомонного врага, который вскоре опередил его и тем самым полностью остановил его. Их многочисленные легкие войска и кавалерия атаковали его со всех сторон и без перерыва, не применяя, однако, ничего, кроме ракет, и стараясь избегать близкого столкновения. Пока это несчастное подразделение прилагало все усилия, чтобы защититься и, по возможности, пробиться вперед, они оказались заключенными в обнесенную стеной оливковую рощу, через середину которой проходила дорога; роща носила имя и, вероятно, когда-то принадлежала Полизеклу, брату деспота Гелона.[507] Запутавшись и сгрудившись в этом замке, откуда выход в дальний конец перед лицом врага был невозможен, они теперь были осыпаны вражескими снарядами со всех сторон со стен.[508] Не имея возможности пробиться к ним и лишенные даже средств к активному отчаянию, они терпели непрерывные издевательства большую часть дня, не имея ни отдыха, ни подкрепления, и число их раненых постоянно увеличивалось; пока, наконец, остатки духа несчастных страдальцев не были окончательно сломлены. Понимая их состояние, Гирипп послал к ним глашатая с прокламацией, приглашая всех островитян выйти из остального мира и обещая им свободу, если они это сделают. Жители некоторых городов, но не многих, - что было весьма почетно для них, - уклонились от этого предложения и сдались. Вскоре, однако, начались более серьезные переговоры, которые закончились тем, что вся дивизия капитулировала, согласившись на условия, и сдала оружие. Гирипп и сиракузяне договорились, что всем будет сохранена жизнь, то есть никто не должен быть предан смерти ни от насилия, ни от невыносимых уз, ни от голода. Всех обезоружили, и они, в количестве шести тысяч человек, были немедленно отправлены в качестве пленников в Сиракузы. Это замечательное доказательство легкого и богатого положения многих из этих доблестных страдальцев, когда нам говорят, что денег, которые они имели при себе, даже в этот последний момент

давления, было достаточно, чтобы заполнить впадины четырех щитов.[509] Не желая ни сдаваться, ни заключать какие-либо условия для себя лично, Демосфенес был готов убить себя собственным мечом в момент заключения капитуляции; но его намерение было предотвращено, и сиракузяне унесли его обезоруженным пленником[510].

На следующий день Гилипп с победоносными сиракузянами настиг Никиаса на правом берегу Эриней, сообщил ему о капитуляции Демосфена и призвал его также капитулировать. Он попросил разрешения послать всадника для проверки заявления, а по возвращении всадника обратился к Гилиппу с предложением разрешить его армии вернуться домой при условии, что Афины возместят Сиракузам все расходы на войну и предоставят заложников до тех пор, пока не будет произведена оплата; по одному гражданину за каждый талант серебра. Эти условия были отвергнуты, но Никиас все еще не мог заставить себя согласиться на те же условия для своей дивизии, что и Демосфенез. Поэтому сиракузяне возобновили свои атаки, которые афиняне, несмотря на голод и усталость, выдержали, как могли, до ночи. Никиас снова намеревался воспользоваться ночью, чтобы скрыться. Но в этот раз сиракузяне были начеку и, как только услышали движение в лагере, подняли пэан, или боевой клич; таким образом они показали, что находятся начеку, и заставили афинян снова сложить оружие, которое они взяли для отхода. Тем не менее, отряд из трехсот афинян, все еще упорно продолжавший уходить, отдельно от остальных, пробился через посты сиракузян. Эти люди благополучно ушли, и только отсутствие проводников помешало им спастись совсем[511].

Во время всего этого мучительного отступления личная решимость Никиаса была образцовой; его больной и слабый организм выстоял и даже подбодрил более сильных людей, преодолевая крайние трудности, исчерпав последние остатки надежды или даже возможности. Шел уже шестой день отступления - шесть дней[512] постоянных лишений, страданий и нападений, - но Никиас рано утром предпринял попытку нового марша, чтобы добраться до реки Асинарус, которая впадает в то же море, к югу от Эриней, но является более значительным потоком, протекающим в глубоком месте между высокими берегами. Это было последнее отчаянное усилие, надежды на окончательное спасение не было, даже если бы они его достигли. Тем не менее, поход был завершен, несмотря на возобновлявшиеся на протяжении всего пути атаки сиракузской конницы, которая даже добралась до реки раньше афинян, заняв брод и выстроившись на высоких берегах возле него. Тут решимость несчастных беглецов окончательно иссякла; когда они достигли реки, их силы, терпение, дух и надежды на будущее были на исходе. Измученные неистовой жаждой, вынужденные под натиском кавалерии идти одной плотной массой, они бросились в брод все разом, сбивая и опрокидывая друг друга во всеобщей жажде питья. Многие погибли от ударов копий или потеряли опору среди разбросанного багажа и оказались под водой.[513] Тем временем сиракузяне сверху осыпали сгрудившуюся массу ракетами, а пелопоннесские гоплиты даже спустились в реку, сошлись с ними в тесном кругу и перебили значительное число людей. Однако жажда афинян была столь сильна, что все другие страдания переносились ради того, чтобы почувствовать облегчение от питья. И даже когда в реке валялись мертвые и раненые, когда вода была испорчена и мутна от крови, а также густа от растоптанной грязи, - все равно новоприбывшие пробивали себе путь и с жадностью глотали ее[514].

Жалкая, беспомощная и деморализованная армия Никиаса не могла и думать о дальнейшем сопротивлении. Он сдался Гилиппу, чтобы с ним поступили по усмотрению этого полководца и лакедемонян,[515] убедительно попросив остановить резню беззащитных солдат.

Соответственно, Гилипп отдал приказ больше не убивать, а остальных отдать в плен. Многие были убиты еще до того, как этот приказ был понят; но из тех, кто остался, почти все были взяты в плен, и лишь немногие спаслись. Даже отряд из трехсот человек, вырвавшийся ночью и, казалось, не знавший, куда идти, был схвачен, и приведен посланными для этой цели войсками.[516] Триумф сиракузян был во всех отношениях полным, они развесили на деревьях на берегу Асинара афинские паноплии в качестве трофея, а пленных в радостной процессии понесли обратно в город.

Фукидид не уточняет количество пленных, как в случае с дивизией Демосфена, которая капитулировала и сложила оружие в массе у стен оливкового поля. Из пленных из дивизии Никиаса большая часть была захвачена частными лицами и обманным путем утаена для собственной выгоды; число, полученное для государства, было сравнительно небольшим, кажется, не более тысячи.[517] Различные сицилийские города вскоре наполнились этими пленными, проданными в рабство за частные деньги.

За шесть дней до этого из афинского лагеря, чтобы начать отступление, отправилось не менее сорока тысяч человек в общей сложности. Вероятно, многие из них, раненые или неспособные по другим причинам даже в начале марша, вскоре оказались не в состоянии идти в ногу со временем и были оставлены на произвол судьбы. Каждый из шести дней был днем тяжелых боев и раздражения от неугомонной толпы легких войск, которым почти нечего было есть, а в конце концов, казалось, и вовсе нечего. Таким образом, численность войска последовательно уменьшалась из-за ран, лишений и разбегания, так что шесть тысяч, взятых с Демосфеном, и, возможно, три тысячи или четыре тысячи, захваченных с Никиасом, составили печальный остаток. Однако мы рады узнать, что многим из беглецов во время похода удалось спастись от сиракузской конницы и добраться до Катаны, где нашли убежище и те, кто впоследствии бежал из рабства у частных хозяев.[518] Эти беглецы афиняне служили вспомогательными войсками при отражении нападения сиракузцев на Катану.[519]

Именно таким образом Афины вновь приняли в свое лоно нескольких из тех злосчастных сыновей, которых она отправила в Сицилию в составе двух столь великолепных дивизий. Ведь из тех, кто был доставлен в Сиракузы в качестве пленников, лишь немногие смогли вернуться домой. Вместе с другими пленниками их поместили в каменные каменоломни Сиракуз, которых было несколько, частично на южном спуске внешнего города к Некрополю, или с более высокого уровня на более низкий уровень Ахрадины, частично в предместье, названном впоследствии Неаполисом, под южным утесом Эпиполеи. В эти каменоломни - глубокие впадины замкнутого пространства, с обрывистыми боками и открытыми к небу вершинами - спускали несчастных узников, которые лежали, прижавшись друг к другу, без малейшей защиты и удобств. Для пропитания они получали каждый день по одной пинте пшеничного хлеба - половину дневного рациона раба - и не более половины пинты воды, так что они не были защищены ни от голода, ни от жажды. Кроме того, жара полуденного солнца, чередующаяся с прохладой осенних ночей, была одинаково мучительной и губительной; а все жизненные потребности приходилось выполнять там, где они были, без облегчения, грязь и зловоние вскоре стали невыносимыми. Больные и раненые еще в момент прибытия, многие из них быстро умирали; и счастливее всех был тот, кто умирал первым, оставляя бессознательный труп, который сиракузяне не решались убрать, чтобы причинить страдания и заразить оставшихся в живых. В таком состоянии они оставались семьдесят дней; вероятно, они служили зрелищем для торжествующего сиракузского населения с их женами и детьми, чтобы прийти и посмотреть вниз, и поздравить себя с тем, что им самим удалось избежать страданий, подобных по крайней

мере по виду, если не по степени. После этого новизна зрелища исчезла, а место, должно быть, превратилось в притон мерзости и неудобства, невыносимые даже для самих горожан. Поэтому всех оставшихся в живых пленников, кроме коренных афинян и немногих италийских или сицилийских греков, вывезли. Всех вывезенных продали в рабство;^[520] а трупы, вероятно, в то же время унесли, и тюрьма стала несколько менее отвратительной. Что стало с оставшимися заключенными, нам не известно; можно предположить, что тем, кто смог пережить столь сильные страдания, через некоторое время позволили вернуться в Афины под выкуп. Возможно, некоторые из них добились освобождения, как это произошло, как нам говорят, с несколькими из тех, кто был продан частным хозяевам, благодаря изяществу их достижений и достоинству их поведения. Драмы Еврипида были настолько популярны во всей Сицилии, что афинские пленники, знавшие наизусть значительную их часть, завоевали расположение своих хозяев. Утверждают, что некоторые из них, даже отставшие от армии, благодаря той же привлекательности получили кров и гостеприимство во время своего бегства. Еврипид, как нам сообщают, дожил до того, что после возвращения в Афины получил благодарность от некоторых из этих несчастных страдальцев.^[521] Я не могу удержаться от упоминания этой истории, хотя боюсь, что ее достоверность как факта значительно уступает ее пафосу и интересу.

По поводу обращения с Никиасом и Демосфеном советовались не только сиракузяне, но и присутствовавшие союзники, и мнения сильно разделились. По-видимому, Гермократес отстаивал мнение просто держать их в заключении, не предавая смерти.^[522] Но Гилипп, находившийся тогда в полном превосходстве и вызывавший глубокую благодарность за свои неоценимые услуги, просил в качестве награды разрешить ему доставить их в качестве пленников обратно в Спарту. Добившись этого, он заслужил бы большую честь в глазах своих соотечественников; ведь если Демосфенес, после его успеха в Пилосе, был их ненавистным врагом, то Никиас всегда проявлял себя их другом, насколько это вообще возможно для афинянина. Именно ему они были обязаны освобождением пленных, взятых в Сфактерии, и он рассчитывал на это обязательство, когда сдался в плен Гилиппу, а не сиракузянам.

Однако, несмотря на все свое влияние, Гилипп не смог добиться своего. Во-первых, коринфяне и сами решительно выступали против него, и убеждали других союзников сделать то же самое. Они опасались, что богатство Никиаса всегда позволит ему избежать заключения, чтобы нанести им еще больший вред, и настаивали на том, чтобы его предали смерти. Далее, те сиракузяне, которые вели тайную переписку с Никиасом во время осады, еще больше стремились убрать его с дороги, опасаясь, что под пытками их политических противников он может раскрыть их имена и интриги. Такое влияние возобладало, и Никиас, так же как и Демосфенес, был приказан предать смерти постановлением общественного собрания, к большому неудовольствию Гилиппа. Гермократес тщетно противился этому решению, но, понимая, что оно непременно будет принято, послал им частное уведомление до окончания обсуждения и через одного из дозорных обеспечил им возможность умереть собственными руками. Их тела были публично выставлены перед городскими воротами на обозрение сиракузских граждан;^[523] а день, когда был окончательно захвачен Никиас и его армия, стал отмечаться как ежегодный праздник под названием Асинарии, на двадцать шестой день дорийского месяца Карнея^[524].

Так завершилась экспедиция, вернее, две экспедиции, предпринятые Афинами против Сиракуз. Никогда в греческой истории не было столь крупных, столь дорогостоящих, столь эффективных и столь полных обещаний и уверенности сил; никогда в греческой истории не

было столь полного и масштабного разорения и столь славной и неожиданной победы.^[525] Ее последствия ощущались от одного конца греческого мира до другого, как будет показано в следующих главах.

Уважение и восхищение, испытываемые в Афинах по отношению к Никиасу, все время были высокими и непоколебимыми; после его смерти они сменились позором. Его имя было опущено, в то время как имя его коллеги Демосфена было выгравировано на погребальном столбе, воздвигнутом в память о павших воинах. Это различие Павсаний объясняет тем, что Никиас, по его мнению, опозорил себя как военный человек своей добровольной сдачей в плен, которую Демосфен не принял^[526].

Мнение Фукидида заслуживает особого внимания перед лицом этого суждения его соотечественников. Хотя он ни слова не говорит о Демосфенесе, кроме факта его казни, он добавляет в отношении Никиаса несколько слов, выражающих симпатию и похвалу. "Таковы, или почти таковы, - говорит он, - были причины, по которым Никиас был предан смерти; хотя он, несомненно, среди всех греков моего времени меньше всего заслуживал такого крайнего несчастья, учитывая его точное исполнение установленных обязанностей перед божеством"^[527].

Если бы мы судили о Никиасе только как о частном человеке и сопоставляли его личное поведение на одной чаше весов с его личными страданиями на другой, замечание Фукидида было бы естественным и понятным. Но генерал великой экспедиции, от поведения которого зависят жизни тысяч храбрецов, а также важнейшие интересы его страны, не может быть оценен по такому стандарту. Его личные заслуги становятся второстепенными по сравнению с выполнением им ответственных государственных обязанностей, по которым он должен стоять или падать.

Если судить по этому более подходящему стандарту, что мы должны сказать о Никиасе? Мы вынуждены сказать, что если его личные страдания и можно рассматривать в свете искупления или в сравнении с теми бедами, которые он сам принес и своей армии, и своей стране, то они не превосходят его заслуг. Я не буду здесь повторять отдельные моменты его поведения, которые оправдывают эту точку зрения и которые были изложены, как они имели место, на предыдущих страницах. Признавая в полной мере и добрые намерения Никиаса, и его личную храбрость, доходившую даже до героизма в последние дни пребывания в Сицилии, не менее неоспоримо, что, во-первых, провал предприятия, во-вторых, уничтожение вооружения, следует однозначно отнести на счет его прискорбного просчета. То мелкие пустяки, то апатия и бездействие, то самонадеянное пренебрежение, то упрямая слепота даже к срочным и очевидным нуждам - тот или иной из этих печальных умственных дефектов будет обнаружен на каждом шагу, благодаря чему это роковое вооружение погрузится из буйной эффективности в последнюю глубину общего разорения и индивидуального страдания. О его импровизации и неспособности свидетельствует не только повествование историка, но даже его собственное письмо афинянам и его речи как перед экспедицией, так и во время ее последних злоключений, когда они контрастируют с реальностью его действий. Человек, чья вопиющая некомпетентность привела к такому массовому разорению двух прекрасных армий, вверенных его командованию, афинской морской империи и, в конечном счете, самих Афин, должен быть занесен на скрижали истории под самым суровым осуждением, даже если бы его личные достоинства были выше, чем у Никиаса.

И все же наш великий историк, посвятив этой экспедиции две бессмертные книги, убедительно описав и славу ее рассвета, и убогость ее конца, с драматическим гением, не уступающим софокловскому *Oedipus Tyrannus*, Когда он переходит к рассказу о печальном конце двух полководцев, у него не находится слов для Демосфена, гораздо более удачливого офицера из них, погибшего не по своей вине, но он оставляет свои цветы, чтобы возложить их на могилу Никиаса, виновника всего бедствия: "Какая жалость! Такой уважаемый и религиозный человек!"

Фукидид тем более поучителен, что он точно отражает настроения афинской общественности по отношению к Никиасу при его жизни. Они не могли вынести осуждения, недоверия, увольнения или отказа от столь уважаемого и религиозного гражданина. Личные качества Никиаса не только давали ему право на самое снисходительное отношение ко всем его общественным недостаткам, но и обеспечивали ему кредит политической и военной компетентности, совершенно несоизмеримый с его заслугами. Когда мы видим, что Фукидид, поведав о стольких импровизациях и бесхозяйственности в крупных масштабах, все еще удерживает внимание на личной морали и приличиях Никиаса, как если бы это составляло главную черту его характера, мы можем понять, как афинский народ изначально переоценивал этого несчастного лидера и продолжал переоценивать его с упорной верностью даже после вопиющих доказательств его неспособности. Никогда еще в политической истории Афин народ не совершал столь фатальной ошибки в своем доверии.

Рассматривая причины народных заблуждений, историки склонны уделять большое, если не исключительное, внимание демагогам и демагогическим влияниям. Человечество обычно рассматривается в свете управляемого материала или как инструмент для возвышения, вооружения и украшения своих правителей, и все, что делает его более трудным для обращения в этом качестве, занимает первое место в категории пороков. Нельзя отрицать и того, что это было реальной и серьезной причиной: ловкие криминальные ораторы часто выдавали себя за нечто выше своей реальной ценности; хотя они были полезны и незаменимы в качестве защиты от худшего, они иногда вводили народ в заблуждение, заставляя его принимать меры неполиткорректные или несправедливые. Но даже если мы признаем за указанной здесь причиной заблуждения большую практическую эффективность, чем справедливо утверждает история, все равно это лишь одна из причин среди других, более злонамеренных. Никогда еще ни один человек в Афинах, просто силой демагогических качеств, не приобретал такого преувеличенного и долговременного уважения, в сочетании с такой силой нанесения вреда своим согражданам, как антидемагогический Никиас. Человек, который, не ограничиваясь своими убогими маневрами по поводу экспедиции в Сфакторию и неосторожным жертвованием афинских интересов в союзе со Спартой, нанес своей стране ту жестокую рану, которая уничтожила столько ее граждан, а также ее морскую империю, был не продавцом кожи с дерзким и криминальным красноречием, но человеком древнего рода и наследственного богатства, благородным и приветливым, заслуживающим похвалы не только за щедрость, которую он даровал, но и за все обиды, которые он, будучи богатым человеком, мог бы совершить, но не совершил, - свободным от всякой денежной коррупции, - храбрым человеком, и прежде всего ультрарелигиозным, считавшимся поэтому высоко стоящим в благосклонности богов и удачливым. Афиняне так почитали этот союз хороших качеств, чисто личных и отрицательных, с высоким положением, что предполагали высшие способности к командованию,^[528] и предполагали их, к несчастью, после доказательства их несуществования, после доказательства того, что то, что они принимали за осторожность, было лишь апатией и умственной слабостью. Никакие демагогические искусства и красноречие не смогли бы создать в народе столь глубокую иллюзию, как внушительная

респектабельность Никиаса. Именно против чрезмерного возвышения такой благопристойной и благочестивой некомпетентности, опирающейся на богатство и семейные преимущества, демагогическое обвинительное красноречие должно было служить естественным барьером и корректором. Выполняя функции конституционной оппозиции, оно давало единственный шанс на то опекунское воздействие, благодаря которому ошибки и недостатки могли быть вовремя остановлены. Насколько недостаточным был тот контроль, который она обеспечивала, - даже в Афинах, где все осуждают ее за то, что она преобладала в пожирающем избытке, - история Никиаса является живым свидетельством.

ГЛАВА LXI.

ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ АФИНСКОГО ВООРУЖЕНИЯ НА СИЦИЛИИ ДО ОЛИГАРХИЧЕСКОГО ЗАГОВОРА ЧЕТЫРЕХСОТ В АФИНАХ.

В предыдущей главе мы проследили за тем, как в конце сентября 413 года до н. э. объединенное войско Никиаса и Демосфена, сначала в гавани, а затем в окрестностях Сиракуз, меланхолично завершилось.

Первое впечатление, которое мы получаем от прочтения этого повествования, - сочувствие к непосредственно заинтересованным сторонам, главным образом к числу доблестных афинян, которые таким образом несчастно погибли, а также к сиракузским победителям, которые за несколько месяцев до этого сами находились на грани очевидного разорения. Но отдаленные и побочные последствия катастрофы по всей Греции были еще более значительными, чем те, что были в пределах острова, на котором она произошла.

Я уже упоминал, что даже в тот момент, когда Демосфен со своим мощным вооружением покинул Пирей и отправился в Сицилию, военные действия Пелопоннесской конфедерации против самих Афин уже возобновились. Спартанский царь Агис не только опустошал Аттику, но и завершал гораздо более важное дело - укрепление Декелеи для размещения постоянного гарнизона. Эта крепость, начатая примерно в середине марта, к июню, вероятно, была готова принять гарнизон, состоявший из периодически комплектуемых и поочередно сменяющих друг друга отрядов из разных государств конфедерации под постоянным командованием самого царя Агиса.

И вот начались непрекращающиеся набеги на врагов-домицилианцев, которым суждено было продлиться девять лет до окончательного взятия Афин, что частично предполагалось еще в начале Пелопоннесской войны, а недавно, с полным осознанием ее катастрофических последствий, было приведено в исполнение яростной антипатией изгнанника Алкивиада.^[529] Все предыдущие вторжения в Аттику были временными, продолжались не более пяти-шести недель и оставляли страну в покое до конца года. Но отныне афинянам предстояло пережить роковой опыт вражеского гарнизона в пятнадцати милях от их города; этот опыт был особенно болезненным в это лето, как из-за его новизны, так и из-за необычайной энергичности, которую проявил Агис в своих операциях. Его походы были столь обширны, что ни одна часть Аттики не была защищена и не могла стать продуктивной. Не только все овцы и скот были уничтожены, но и рабы, особенно самые ценные, или

ремесленники, стали в огромном количестве уходить в Декелею; вскоре таким образом исчезло более двадцати тысяч из них. Столь ужасная потеря доходов, как для владельцев земли, так и для работодателей в городе, была еще более усугублена возросшей стоимостью и сложностью импорта из Эвбеи. Провизия и скот с этого острова раньше доставлялись по суше из Оропа, но поскольку этот путь был полностью прегражден гарнизоном Декелеи, теперь их приходилось отправлять вокруг мыса Суний морем; этот путь был более кружным и дорогим, к тому же он был открыт для нападения вражеских каперов.^[530] В разгар таких тяжелых лишений требования к гражданам и метисам в отношении военной повинности умножались сверх меры. Присутствие врага в Декелее заставляло их день и ночь нести вахту по всей протяженности стены, охватывающей Афины и Пирей: днем гоплиты города сменяли друг друга на страже, а ночью почти все они находились либо на крепостных стенах, либо на различных военных постах в городе. Вместо города Афины, по сути, превратились в подобие военного поста.^[531] Более того, богатые граждане государства, которые служили всадниками, разделяли общие тяготы; будучи призваны на ежедневную службу, чтобы хотя бы сдерживать, поскольку они не могли полностью предотвратить, вылазки гарнизона Декелеи, их эффективность, однако, вскоре снижалась из-за хромоты их лошадей на твердой и каменистой почве.^[532]

Помимо личных усилий граждан, подобные нужды сильно давили на финансовые ресурсы государства. Уже огромные расходы на оснащение Сицилии двумя крупными вооружениями исчерпали все накопления, отложенные в казну за время, прошедшее со времени Никиасского мира; так что нападения из Декелеи, не только налагавшие тяжелые дополнительные расходы, но в то же время сокращавшие платежные средства, привели финансы Афин в серьезное затруднение. Чтобы увеличить свои доходы, она изменила принцип, по которому до сих пор оценивались ее союзники: вместо фиксированной суммы ежегодной дани она теперь требовала от них уплаты пошлины в размере пяти процентов на весь импорт и экспорт по морю.^[533] Как действовал этот новый принцип оценки, мы, к сожалению, не имеем сведений. Чтобы собирать пошлину и принимать меры против уклонения, в каждом союзном городе должен был находиться афинский таможенный чиновник. Однако трудно понять, как Афины могли ввести новую, обширную, досадную и обременительную для плательщиков систему, когда мы видим, насколько ослабла ее власть над этими плательщиками, а также ее военно-морские силы еще до окончания фактического года^[534].

Обедневшие финансы также вынудили ее уволить фракийских наемников, чья помощь была бы очень полезна против врага в Декелее. Эти фракийские пельтасты, числом тринадцать сотен, были наняты по драхме в день на человека, чтобы отправиться с Демосфеном в Сиракузы, но не достигли Афин вовремя. Как только они прибыли туда, афиняне отдали их под командование Дитрефеса, чтобы он проводил их обратно на родину, с указанием нанести ущерб беотийцам, если представится возможность, на своем пути через Эврип. Посадив их на корабль, Дитрефес отплыл вокруг Суниума и на север вдоль восточного побережья Аттики. После короткой высадки у Танагры он перешел в Халкис в Эвбее, в самой узкой части пролива, откуда ночью переправился на противоположный берег Беотии и прошел некоторое расстояние от моря до окрестностей беотийского города Микалексуса. Он прибыл сюда незамеченным, затаился у храма Гермеса на расстоянии около двух миль и неожиданно обрушился на город с рассветом. Для микалессцев, живущих в центре Беотии, недалеко от Фив и на значительном расстоянии от моря, такое нападение было не только неожиданным, но и грозным. Их укрепления были слабыми, местами низкими, местами даже

разрушенными; они даже не позаботились о том, чтобы закрыть свои ворота на ночь, так что варвары под командованием Дитрефеса, войдя в город без малейших затруднений, сразу же приступили к грабежу и разрушению. Последовавшая за этим сцена была в равной степени необычной и отвратительной для греческих глаз. Мало того, что все дома и даже храмы были разграблены, фракийцы еще и проявили ту неистовую жажду крови, которая, казалось, была присуща их расе. Они убивали все живое, что попадалось им на пути: мужчин, женщин, детей, лошадей, скот и т.д. Они ворвались в школу, где только что собралось много мальчиков, и расправились со всеми. Об этой сцене кровопролития, совершенной варварами, которых не видели в Греции со времен Ксеркса, с ужасом и сочувствием рассказывали во всех греческих общинах, хотя сам по себе Микалексус был городом второго или третьего сорта[535].

Помощь, принесенная из Фив микалесскими беглецами, прибыла, к несчастью, лишь для того, чтобы отомстить, но не спасти жителей. Фракийцы уже отступали с добычей, которую смогли унести, когда их нагнал бётарх Скирфондас с конницей и гоплитами, умертвив нескольких жадных грабителей, которые слишком долго задержались в городе. Он заставил их отказаться от большей части добычи и преследовал их до морского берега, не без мужественного сопротивления со стороны этих пельтастов, у которых была особая манера боя, смутившая фиванцев. Но когда они подошли к берегу моря, афинские корабли не сочли безопасным подходить близко, так что не менее двухсот пятидесяти фракийцев были убиты, прежде чем они смогли взойти на борт;[536] а афинский командир Дитрефес был так тяжело ранен, что вскоре умер. Остальные продолжили плавание в обратном направлении.

Тем временем важная станция Наупактус и устье Коринфского залива снова стали театром морских столкновений. Вспомним, что именно здесь были одержаны памятные победы афинским адмиралом Формионом на втором году Пелопоннесской войны,[537] в которых так ярко проявилось морское превосходство Афин над своими врагами в отношении кораблей, экипажей и адмиралов. Теперь ситуация значительно изменилась. Если афинский флот со времен Формиона пришел в упадок, то флот ее противника улучшился: Аристон и другие искусные коринфские флотоводцы, не пытаясь копировать афинскую тактику, изучили лучшие способы борьбы с ней и соответствующим образом изменили конструкцию своих трирем,[538] как в Коринфе, так и в Сиракузах. За семнадцать лет до этого Формион с восемнадцатью афинскими триерами считал себя вполне достойным противником двадцати пяти коринфских; Но афинский адмирал этого года, Конон, тоже отменно храбрый человек, теперь рассуждал настолько иначе, что заставил Демосфена и Эвримедона усилить свои восемнадцать трирем десятью другими, - из лучшего своего флота, в то время, когда у них не было ни одной лишней, - на том основании, что коринфский флот напротив, из двадцати пяти парусов, собирался перейти в наступление против него.[539]

Вскоре после этого на смену Конону прибыл Дифил с несколькими свежими кораблями из Афин, и общее число трирем составило тридцать три. Коринфский флот, усиленный почти до такой же численности, занял позицию на побережье Ахайи напротив Наупакта, в местечке под названием Эриней, на территории Рипса. Они расположились в устье небольшого углубления берега, или залива, в форме полумесяца, с двумя выступающими мысами в качестве рогов: каждый из этих мысов был занят дружественным сухопутным войском, поддерживая таким образом линию трирем на обоих флангах. Такая позиция не позволяла афинянам ни проплыть сквозь линию, ни маневрировать вокруг нее и в тылу. Поэтому, когда флот Дифила вышел из Наупакта, он некоторое время оставался перед коринфянами, причем ни одна из сторон не решалась атаковать; прямое столкновение было губительно для афинских кораблей с их острыми, но легкими и слабыми клювами, но благоприятно для

массивных носов и толстых эфотидов, или ушных выступов, коринфских трирем. После значительной задержки коринфяне начали атаку со своей стороны, но не продвинулись достаточно далеко в море, чтобы афиняне могли маневрировать и действовать. Сражение продолжалось некоторое время, но закончилось без решающего преимущества для обеих сторон. Три коринфские триремы были полностью выведены из строя, хотя экипажи всех спаслись, доплыв до своих друзей на берегу: с афинской стороны не одна трирема оказалась полностью затопленной, но семь были так сильно повреждены прямым столкновением с более сильными носами противника, что стали почти бесполезными после возвращения в Наупактус. Преимущество афинян было настолько велико, что они сохранили свою позицию, а коринфяне не решились возобновить бой: к тому же и ветер, и течение направились к северному берегу, так что плавающие обломки и мертвые тела оказались в руках афинян. Каждая сторона считала себя вправе воздвигнуть трофей, но реальное ощущение победы было на стороне Коринфа, а поражения - на стороне Афин. Обе стороны считали, что морское превосходство последних уменьшилось; такое впечатление, несомненно, сложилось бы и у Формиона, если бы он был жив и видел это[540].

Эта битва, насколько мы можем судить, произошла за некоторое время до прибытия Демосфена в Сиракузы, примерно в конце мая. Мы не сомневаемся, что афиняне с большой тревогой ожидали вестей от этого офицера с рассказами о победах, одержанных в Сицилии, чтобы утешить себя тем, что отослали его в тот момент, когда его услуги были так жестоко востребованы дома. Возможно, они даже питали надежды на скорое взятие Сиракуз как на средство восстановления своих пошатнувшихся финансов. Их разочарование стало бы еще более горьким, когда в конце июня или начале июля они получили депеши, сообщающие о крупном поражении Демосфена в его попытке взять Эпиполе и, как следствие, об исчезновении всякой надежды на то, что Сиракузы когда-либо будут взяты. После этих депеш можно усомниться в том, что какие-либо другие впоследствии достигли Афин. Генералы не стали писать домой в течение следующего месяца нерешительности, когда Демосфен настаивал на отступлении, а Никиас сопротивлялся ему. Однако они могли бы написать сразу после принятия решения об отступлении, в то время, когда они послали в Катану запретить дальнейшие поставки провизии, но это была последняя возможная возможность, поскольку вскоре после этого последовало морское поражение и блокирование устья Великой гавани. Простое отсутствие сведений удовлетворило бы афинян в том, что их дела на Сицилии идут плохо; но о завершающей серии бедствий, вплоть до окончательной катастрофы, они узнали только косвенно, частично через триумфальные депеши, переданные из Сиракуз в Спарту, Коринф и Фивы, частично через отдельных солдат их собственного вооружения, которые спаслись.

Согласно рассказу Плутарха, в Афинах эта новость впервые стала известна благодаря незнакомцу, который, прибыв в Пирей, зашел в цирюльню и начал говорить о ней, как о теме, которая, конечно, должна быть на первом месте у каждого человека.

Изумленный цирюльник, впервые услышав столь страшную весть, побежал в Афины, чтобы сообщить ее архонтам, а также публике на рыночной площади. Вскоре было созвано общественное собрание, и он предстал перед ним, потребовав предъявить свои полномочия, чего он сделать не смог, так как незнакомец исчез. Поэтому его сочли фабрикантом неподтвержденных слухов, нарушающих общественное спокойствие, и даже подвергли пытке.[541] Насколько эта неправдоподобная история соответствует действительности, мы не можем определить; но мы легко можем поверить, что нейтралы, проезжавшие из Коринфа или Мегары в Пирей, были самыми первыми свидетелями несчастий Никиаса и Демосфена в Сицилии в июле и августе. Вскоре прибыли отдельные

воины, уцелевшие от поражения и нашедшие дорогу домой; таким образом, дурные вести получили слишком полное подтверждение. Но афиняне долго не могли заставить себя поверить, даже по свидетельству этих беглецов, насколько полно было уничтожено два их великолепных вооружения, не оставив даже слабого остатка, который мог бы их утешить[542].

Как только все масштабы потерь стали очевидны, город представил собой сцену глубочайшей скорби, ужаса и страха. Помимо частного траура по утрате друзей и родственников, охватившего почти весь город, царило полное отчаяние в отношении общественной безопасности. Афинская империя была не только потеряна, но и сами Афины казались совершенно незащищенными. Ее казна была пуста, в ее доках почти не было трирем, цветков ее гоплитов, а также ее моряков погиб в Сицилии, не оставив после себя себе подобных, и ее морская репутация была безвозвратно подорвана; в то время как ее враги, напротив, одушевленные чувством преувеличенной уверенности и триумфа, еще больше усилились благодаря присоединению их новых сицилийских союзников. В эти меланхоличные месяцы - октябрь, ноябрь 413 года до н. э. - афиняне ожидали не что иное, как энергичного нападения, как по суше, так и по морю, со стороны пелопоннесских и сицилийских сил, объединенных при помощи их собственных восставших союзников, нападения, которое, как они знали, они не в состоянии были отразить[543].

На фоне столь мрачной перспективы, без единого луча надежды, который мог бы ободрить их с какой-либо стороны, им оставалось лишь с трудом вымещать свое недовольство на главных ораторах, рекомендовавших их недавнюю катастрофическую экспедицию, или на тех пророках и глашатаях, которые обещали им божественное благословение на нее.[544] Однако после этой первой вспышки горя и гнева они постепенно начали смотреть в лицо своему реальному положению; и более энергичные ораторы, несомненно, давали им спасительный урок, напоминая, как многого добились их предки за шестьдесят семь лет до этого, когда приближение Ксеркса грозило им не менее непреодолимыми опасностями. Под влиянием опасности момента энергия отчаяния возродилась в их груди; они решили как можно скорее собрать корабли и деньги, следить за своими союзниками, особенно за Эвбеей, и защищаться до последнего. Был назначен совет из десяти пожилых людей под названием Пробули, который должен был проанализировать расходы, предложить все возможные меры экономии и на будущее, если того потребует случай. Предложения этих пробулов были в большинстве своем приняты с таким единодушием и быстротой, которые редко можно было наблюдать в афинском собрании, возникнув под давлением и тревогой момента, которые заглушили всякую критику.[545] Среди прочего, афиняне сократили дорогостоящую пышность своих хорических и литургических церемоний на родине и вернули гарнизон, который они недавно установили на лаконском побережье; в то же время они собрали древесину, начали строительство новых кораблей и укрепили мыс Сунимум, чтобы защитить свои многочисленные транспортные суда во время перехода из Эвбеи в Пейреус.

Пока Афины боролись со своими несчастьями, вся остальная Греция была полна волнений и агрессивных интриг против нее. Такого грандиозного события, как уничтожение этого огромного вооружения, не случалось со времен похода Ксеркса на Грецию. Оно взбудоражило не только самые отдаленные города греческого мира, но и персидских сатрапов и двор Суз. Он побудил врагов Афин к удвоенной активности; он подтолкнул ее подданных к восстанию; он подтолкнул нейтральные государства, которые все боялись, что она сделает в случае успеха против Сиракуз, теперь объявить ей войну и поставить точку в ее

могуществе и амбициях. Все они, и враги, и подданные, и нейтралы, одинаково верили, что гибель Афин предreshена, и, что грядущей весной она будет захвачена. Раньше наступающей весны лакедемоняне не считали нужным действовать; но они разослали союзникам инструкции, чтобы те начали операции на суше и на море; все эти союзники были готовы сделать все возможное, надеясь, что это усилие будет последним, которое от них потребуется, и самым богатым вознаграждением. Против весны было приказано подготовить флот из ста трирем; пятьдесят из них в равной пропорции были наложены на лакедемонян и беотийцев; пятнадцать на Коринф; пятнадцать на фокийцев и локрийцев; десять на аркадян с Пелленком и Сикионом; десять на Мегару, Трезен, Эпидавр и Гермину. По-видимому, считалось, что эти корабли могут быть построены и спущены на воду в промежутке между сентябрем и мартом.[547] Те же большие надежды, которые действовали на умы людей в начале войны, теперь снова бурлили в груди пелопоннесцев;[548] тем более что мощная сила из Сицилии, в получении которой они тогда разочаровались, теперь могла ожидать с достаточной уверенностью, как действительно прибывшая.[549]

Агис, который в течение этой осени передвигался с частью гарнизона Декелии, требовал от мелких союзников денежные взносы на предполагаемый флот. В ходе своего похода он посетил город Ираклию, расположенный у Малиакского залива, и взимал большие взносы с окрестных удмитрийцев в качестве возмездия за грабеж, который они взяли в этом городе, а также с фтиотских ахейцев и других подданных фессалийцев, хотя последние тщетно протестовали против его действий[550].

Именно во время похода Агиса по Беотии жители Эвбеи - вероятно, Халкиса и Эретрии - обратились к нему с просьбой о помощи, чтобы дать им возможность восстать из Афин; он охотно обещал это, послав за Алкаменесом во главе трехсот гоплитов Неодамода из Спарты, чтобы переправить их на остров в качестве хармоста. Имея в своем распоряжении постоянное войско и полную свободу военных действий, спартанский царь в Декелее был более влиятельным, чем власти дома, так что недовольные союзники Афин обращались к нему. Вскоре к нему прибыли посланцы с Лесбоса. Беотийцы (их родственники из эолийской расы) так настойчиво требовали предоставить им в помощь десять трирем, если Агис пришлет еще десять, что он был вынужден отложить свое обещание эвбейцам и направить Алкаменеса в качестве гармоста на Лесбос вместо Эвбеи,[551] нисколько не посоветовавшись с властями Спарты.

Угроза восстания Лесбоса и Эвбеи, особенно последней, стала жизненно важным ударом для Афинской империи. Но это было еще не самое худшее. В то самое время, когда эти два острова вели переговоры с Агисом, посланцы с Хиоса, первого и самого могущественного из всех афинских союзников, отправились в Спарту с той же целью. Правительство Хиоса - олигархия, но отличавшаяся благоразумием в управлении и осторожностью в избежании риска, - считая, что Афины сейчас находятся на грани разорения даже в оценке самих афинян, вместе с расположенным напротив городом Эритреей решило принять меры для достижения независимости[552].

Помимо этих трех великих союзников, чьему примеру в восстании непременно должны были последовать другие, Афины теперь находились под ударом других, еще более неожиданных врагов - двух персидских сатрапов Азиатского побережья, Тиссаферна и Фарнабаза. Не успела афинская катастрофа на Сицилии стать известной при дворе в Сузах, как великий царь потребовал от этих двух сатрапов дань, причитающуюся с азиатских греков на побережье, за которую они всегда числились в данниках, хотя она никогда не взималась со времени полного основания Афинской империи. Единственным способом реализовать эту дань, должниками которой стали сатрапы, было отторжение городов от Афин и распад

империи;^[553] с этой целью Тиссаферн отправил посланника в Спарту вместе с посланниками хианцев и эритрейцев. Он приглашал лакедемонян заключить союз с великим царем для совместных действий против Афинской империи в Азии, обещая обеспечить жалование и содержание всем войскам, которые они могут послать, из расчета одна драхма в день на каждого человека из экипажа корабля.^[554] Он также надеялся с помощью этой помощи усмирить Аморгаса, мятежного сына покойного сатрапа Писсуфнеса, который обосновался в сильном приморском городе Иасусе с греческими наемниками и значительными сокровищами и находился в союзе с Афинами. Великий царь послал императивный приказ, согласно которому Аморгес должен быть либо доставлен пленником в Сузы, либо убит.

В тот же момент, хотя и без всякого согласования, в Спарту прибыли Каллигейт и Тимагор, два греческих изгнанника на службе у Фарнабаза, которые привезли предложения аналогичного характера от этого сатрапа, чье правительство^[555] охватывало прибрежные земли к северу от Иолиса, от Эвксинского и Пропонтиского морей до северо-восточного угла Эгейского залива. Стремясь получить помощь лакедемонского флота, чтобы оторвать эллиспонтийских греков от Афин и получить дань, требуемую сузским двором, Фарнабаз в то же время желал помешать Тиссаферну как посреднику в союзе между Спартой и великим царем. Таким образом, обе миссии прибыли в Спарту одновременно, и между ними возникло сильное соперничество: одна стремилась привлечь предполагаемую экспедицию на Хиос, другая - в Геллеспонт:^[556] для последней цели Каллигейт привез двадцать пять талантов, которые он предложил в качестве первого взноса.

Таким образом, со всех сторон против Афин в час их бедствия выступили новые враги, и лакедемонянам оставалось только выбрать, кого предпочесть; в этом выборе им очень помог изгнанник Алкивиад. Так случилось, что его друг семьи Эндий в этот момент входил в совет эфоров, а его личный враг царь Агис, с женой которого Тимеей он вел интригу,^[557] отсутствовал, командуя в Декелее. Зная об огромной силе и значении Хиоса, Алкивиад настойчиво убеждал спартанские власти уделить первоочередное внимание этому острову. Перизкус по имени Фринис, посланный туда, чтобы проверить, действительно ли имеются ресурсы, о которых говорили посланники, привез удовлетворительный отчет о том, что хиосский флот насчитывает не менее шестидесяти трирем, после чего лакедемоняне заключили союз с Хиосом и Эритреей, обязавшись послать им на помощь флот из сорока кораблей. Десять из этих трирем, находившихся наготове в лакедемонских портах - возможно, в Гитиуме, - были немедленно направлены на Хиос под командованием адмирала Меланхрида. Кажется, была уже середина зимы, но Алкивиад, а еще больше хиосские посланники, настаивали на необходимости быстрых действий, опасаясь, что афиняне обнаружат интригу. Однако произошедшее землетрясение спартанцы расценили как знак божественного недовольства, поэтому они не стали упорствовать в отправке ни того же командира, ни тех же кораблей. Вместо Меланхрида был назначен Халкидей, а пять новых кораблей было приказано снарядить, чтобы они были готовы отплыть ранней весной вместе с большим флотом из Коринфа^[558].

Как только наступила весна, три спартанских комиссара были отправлены в Коринф - в соответствии с настоятельными просьбами хианских посланников - чтобы переправить через перешеек из Коринфского в Саронический залив тридцать девять трирем, которые сейчас находились в коринфском порту Лехейум. Сначала предлагалось отправить на Хиос все триремы одновременно, даже те, которые Агис снарядил для помощи Лесбосу; но Каллий гейтус отказался от всякой заботы о Хиосе и от пожертвования на эти цели денег, которые он привез. В Коринфе состоялся общий синод депутатов от союзников, на котором было

решено, с согласия Агиса, направить флот сначала на Хиос под командованием Халкидея, затем на Лесбос под командованием Алкаменеса и, наконец, в Геллеспонт под командованием Клиарха. Но было решено разделить флот и переправить двадцать одну трирему из тридцати девяти, чтобы отвлечь внимание Афин и разделить их средства сопротивления. Оценка этих средств была настолько низкой, что лакедемоняне не побрезговали открыто направить свою экспедицию из Саронического залива, где афиняне могли быть полностью осведомлены как о ее численности, так и о ее передвижениях[559].

Однако едва двадцать одна триера была доставлена в Кенхрею, как возникла новая задержка, препятствующая их отплытию. Приближался Истмийский праздник, который коринфяне отмечали каждый год и считали особенно священным; они не соглашались начинать военные действия до его завершения, хотя Агис пытался уклониться от их угрызений совести, предлагая принять намеченную экспедицию как свою собственную. Именно во время этой задержки у афинян впервые возникли подозрения относительно Хиоса, куда они отправили Аристократа, одного из генералов этого года. Хиосские власти упорно отрицали все проекты восстания, и когда Аристократ потребовал от них доказательств своей добросовестности, отправили вместе с ним семь трирем на помощь Афинам. Они были вынуждены действовать во многом против своей воли, но они знали, что хианский народ в целом не одобряет идею восстания против Афин, и не чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы объявить о своих тайных замыслах без какого-либо проявления поддержки из Пелопоннеса, которая так долго задерживалась, что они не знали, когда она придет. Афиняне, находясь в состоянии слабости, возможно, сочли благоразумным принять недостаточные заверения, опасаясь подтолкнуть этот могущественный остров к открытому восстанию. Но во время Истмийского праздника, на который они были приглашены вместе с другими греками, они обнаружили еще больше доказательств заговора, который происходил, и решили строго следить за передвижениями флота, собранного в Кенхреях, подозревая, что эта эскадра предназначена для того, чтобы поддержать восставшую партию на Хиосе.[560]

Вскоре после истмийского праздника эскадра под командованием Алкаменеса действительно отправилась из Кенхреи на Хиос; но столько же афинских кораблей следили за ними, пока они плыли вдоль берега, и пытались заманить их дальше в море, чтобы сразиться с ними. Однако Алкаменес, желая избежать сражения, счел за лучшее вернуться назад, после чего афиняне также вернулись в Пирей, не доверяя верности семи хианских трирем, составлявших часть их флота. Вскоре они вновь появились с большей эскадрой из тридцати семи трирем, преследовали Алкаменеса, который снова начал плавание вдоль берега на юг, и напали на него у необитаемой гавани Пейреум, на границе Коринфа и Эпидавра. Здесь они одержали победу, захватили один из его кораблей и повредили или вывели из строя большинство остальных. Сам Алкаменес был убит, а корабли выброшены на берег, куда на следующий день прибыл поннесский сухопутный отряд Пело в количестве, достаточном для их защиты. Однако их положение в этом пустынном месте было настолько неудобным, что они решили сначала сжечь корабли и уйти. Не без труда, отчасти благодаря примеру царя Агиса, их убедили охранять корабли до тех пор, пока не представится возможность ускользнуть от блокирующего афинского флота; часть его по-прежнему несла вахту у берега, а остальные расположились на соседнем острове[561].

Спартанские эфоры приказали Алкаменесу в момент отплытия из Кенхреи отправить гонца в Спарту, чтобы пять трирем под командованием Халкидея и Алкивиада в тот же момент покинули Лаконию. И, судя по всему, последние уже были в пути, когда второй гонец принес известие о поражении и гибели Алкаменеса при Пейреуме. Кроме того, что эфоры были

обескуражены такой проверкой в самом начале своих планов против Ионии, они считали невозможным начинать операции с такой маленькой эскадрой, как пять трирем, поэтому отплытие Халкидея было пока отменено. Это решение, вполне естественное, было отменено только по настойчивому требованию афинского изгнанника Алкивиада, который убеждал их разрешить Халкидею и ему самому немедленно отправиться в путь. Как ни мала была эскадра, но, поскольку она достигнет Хиоса до того, как станет известно о поражении при Пейреуме, ее можно будет выдать за предшественницу основного флота; при этом он (Алкивиад) обязался обеспечить восстание Хиоса и других ионийских городов благодаря личной связи с ведущими людьми, которые будут уверены в его заверениях о беспомощности Афин, а также в твердой решимости Спарты поддержать их. К этим аргументам Алкивиад добавил апелляцию к личному тщеславию Эндия, которого он подстрекал взять на себя славу освобождения Ионии и первого начала персидского союза, вместо того чтобы оставить это предприятие царю Агису[562].

С помощью этих аргументов, несомненно, подкрепленных его личным влиянием, поскольку его советы относительно Гиlipпа и Декелеи оказались столь успешными, Алкивиад получил согласие спартанских эфоров и вместе с Халкидеем отплыл на пяти триерах в Хиос. Ничто иное, как его энергия и превосходство, не могло заставить людей, тупых и отсталых, принять столь опрометчивое решение, но, несмотря на такую видимость, прекрасно задуманное и имеющее огромное значение. Если бы хиане дождались флота, блокированного в Пейреуме, их восстание, по крайней мере, затянулось бы надолго, а возможно, и вовсе не состоялось бы: осуществление этого восстания маленькой эскадрой Алкивиада стало непосредственной причиной всех спартанских успехов в Ионии, а в конечном счете - средством даже отвлечения внимания Афин от флота в Пейреуме. Как хорошо этот беспринципный изгнанник, играя в игру Спарты, знал, где нанести опасные раны своей стране!

Переправляться через Эгейское море в Ионию с такой маленькой эскадрой было не так уж и опасно, ведь у Афин в их нынешнем нищенском состоянии не было флота, и хотя Стромбихидес с восемью триремами был отряжен из блокадного флота у Пейреума, чтобы преследовать Халкидея и Алкивиада, как только стало известно об их отплытии, он сильно отстал от них и вскоре вернулся без успеха. Чтобы сохранить свое плавание в тайне, они задерживали встречавшиеся им лодки и суда и не освобождали их, пока не достигли Корикуса в Малой Азии, горной земли к югу от Эритреи. Здесь их посетили их главные партизаны с Хиоса, которые убеждали их немедленно отплыть туда, пока об их прибытии еще не объявили. Они достигли города Хиос на восточном побережье острова, прямо напротив Эритреи на континенте, к удивлению и ужасу всех, кроме пригласивших их олигархических заговорщиков. По уловке этих последних, совет был найден только что собранным, так что Алкивиад был принят без промедления и приглашен изложить свое дело. Опустив все упоминания о поражении при Пейреуме, он представил свою эскадру как передовую часть большого лакедемонского флота, который находился в море и приближался, и заявил, что Афины теперь беспомощны как на море, так и на суше и не в состоянии удерживать своих союзников в дальнейшем. Под этим впечатлением, пока население еще находилось под первым импульсом удивления и тревоги, олигархический совет принял решение о восстании. Его примеру последовала Эритрея, а вскоре после подопечные Клазомены, определяемые тремя триремами из Хиоса. Клазомены до сих пор жили на островке, расположенном недалеко от континента; на этом островке, однако, находилась часть их города, называемого Полихнэ, который они теперь решили, в ожидании нападения со

стороны Афин, укрепить как свою главную резиденцию. И хианы, и эритрейцы также активно занимались укреплением своих городов и подготовкой к войне[563].

Рассматривая этот рассказ о восстании на Хиосе, мы находим повод повторить замечания, уже высказанные по поводу предыдущих восстаний других союзников Афин - Лесбоса, Аканта, Торона, Мендека, Амфиполя и т. д. Вопреки распространенному мнению историков, мы можем заметить, во-первых, что Афины не вмешивались систематически, чтобы навязать свое демократическое правительство своим союзникам; во-вторых, что Афинская империя, хотя и поддерживалась в основном устоявшейся верой в ее превосходную силу, тем не менее, ни в коем случае не была одиозной, и предложение восстать против нее не было приемлемым для всего населения ее союзников. В этот момент у нее не было сил в Ионии; а олигархическому правительству Хиоса, желавшему восстать, помешало открыто заявить о своем намерении лишь нежелание его собственного населения, которое оно преодолело отчасти благодаря неожиданности, вызванной внезапным прибытием Алкивиада и Халкидея, отчасти благодаря обманчивым заверениям о приближении еще большей пелопоннесской силы.[564] Да и сами хианские олигархи не решились бы на восстание, если бы их не убедили, что это более безопасный путь, поскольку Афины теперь разорены, и их власть защищать, не менее чем угнетать, подошла к концу.[Посланники Тиссафернеса сопровождали посланников Хиоса в Спарту, так что хиосское правительство ясно видело, что несчастья Афин лишь возродили агрессию и притязания их бывшего иностранного хозяина, от которого Афины защищали их последние пятьдесят лет. Поэтому мы можем сомневаться, что это благоразумное правительство рассматривало перемены как в целом выгодные. Но у них не было мотивов поддерживать Афины в их несчастьях, а здравая политика, казалось, теперь советовала своевременно заключить союз со Спартой как с преобладающей силой. Отношение к Афинам со стороны ее союзников, как я уже отмечал, было скорее отрицательным, чем положительным. Оно было скорее благоприятным, чем противоположным, в умах широких слоев населения, которым она не причиняла особых трудностей или притеснений; но оно было неблагоприятным, в определенной степени, в умах их ведущих людей, поскольку она ранила их достоинство и оскорбляла любовь к автономии городов, которая была инстинктивной в греческом политическом сознании.]

Восстание Хиоса, о котором быстро объявили, привело в ужас всех жителей Афин. Это был самый страшный симптом, а также самое тяжелое обострение их падшего состояния; тем более что были все основания предполагать, что примеру этого первого и величайшего из союзников вскоре последуют остальные. У афинян не было ни флота, ни сил даже для попытки повторного завоевания, но теперь они почувствовали всю важность того запаса в тысячу талантов, который Перикл отложил в первый год войны на случай особой опасности - приближения вражеского флота к Пейрею. Смертная казнь была уготована тому, кто предложит использовать этот фонд на другие цели; и, несмотря на сильное финансовое давление, он оставался нетронутым в течение двадцати лет. Однако теперь, хотя особых непредвиденных обстоятельств еще не возникло, дела дошли до такой крайности, что единственным шансом спасти оставшуюся империю было выделение этих денег. В соответствии с этим было принято единогласное решение об отмене уголовного постановления или постоянного приказа, запрещающего предлагать любой другой способ ассигнования; после чего было принято решение направить эти деньги на текущие нужды[566].

С помощью этого нового фонда они смогли найти оплату и снаряжение для всех трирем, готовых или почти готовых в их гавани, и таким образом выделить часть из своего флота, блокирующего Пейреум; из них Стромбихидес со своей эскадрой из восьми трирем был

немедленно отправлен в Ионию; за ним, через короткий промежуток времени, последовал Фрасиклес с двенадцатью другими. В то же время семь хианских трирем, которые также входили в состав этого флота, были очищены от экипажей; среди них те, кто был рабами, были освобождены, а свободные были взяты под стражу. Помимо оснащения равного количества новых кораблей для поддержания численности блокадного флота, афиняне с величайшим усердием работали над подготовкой тридцати дополнительных трирем. Крайняя необходимость сложившейся ситуации, поскольку Хиос восстал, ощущалась всеми: однако при всех усилиях силы, которые они смогли направить, поначалу были крайне недостаточны. Стромбихидес, прибыв на Самос и обнаружив, что Хиос, Эритрея и Клазомена уже восстали, усилил свою маленькую эскадру одной саамской триремой и отплыл к Теосу - на материк, к южному берегу того перешейка, на северном из которых находится Клазомена, - в надежде сохранить это место. Но не успел он там долго пробыть, как из Хиоса прибыл Халкид с двадцатью тремя триремами, все или в основном хианские; в то время как силы Эритреи и Клазоменей подошли по суше. Стромбихидес был вынужден поспешно бежать обратно на Самос, тщетно преследуемый хианским флотом. После такого доказательства слабости афинян и превосходства врага тейцы впустили в свой город сухопутные войска, с помощью которых они теперь разрушили стену, ранее построенную Афинами для защиты города от нападения изнутри. Часть войск Тиссафернеса помогла в разрушении, и город был полностью открыт для сатрапа, который, к тому же, вскоре после этого сам пришел, чтобы завершить работу[567].

Восстав из Афин, хианское правительство из соображений собственной безопасности было вынуждено подстрекать к восстанию все остальные афинские области; и Алкивиад, воспользовавшись их бесцеремонностью, предпринял попытку напасть на Милет. Он стремился овладеть этим важным городом, первым среди всех континентальных союзников Афин, своими силами и силами Хиоса, прежде чем флот успеет прибыть из Пейреума; чтобы слава этого подвига была застрахована за Эндием, а не за Агисом. Поэтому он вместе с Халкидеем покинул Хиос с флотом из двадцати пяти трирем, двадцать из которых были хианскими, вместе с пятью, которые они сами привели из Лаконии: последние пять были укомплектованы хианскими экипажами, а пелопоннесские экипажи были вооружены как гоплиты и оставлены в качестве гарнизона на острове. Проводя свое путешествие как можно более скрытно, ему посчастливилось пройти незамеченным мимо афинского поста на Самосе, где Стромбихидес только что был усилен Фрасиклесом двенадцатью свежими триремами из блокадного флота в Пейреуме. Прибыв в Милет, где у него были налажены связи с ведущими людьми и где он, как и на Хиосе, уже готовился к восстанию, Алкивиад уговаривал их немедленно порвать с Афинами, так что когда Стромбихидес и Фрасикл, отправившиеся в погоню, узнав о его передвижениях, приблизились, они нашли порт закрытым для них и были вынуждены занять станцию на соседнем острове Ладек. Хиане так беспокоились за успех этого предприятия Алкивиадеса, что с десятью свежими триремами двинулись вдоль азиатского побережья до Анэи, напротив Самоса, чтобы узнать результат и оказать помощь, если потребуется. Послание от Халкидея известило их, что он хозяин Милета и что Аморгес, персидский союзник Афин в Иасе, находится на пути во главе армии; после этого они вернулись на Хиос, но были неожиданно замечены на пути у храма Зевса, между Лебедосом и Колофоном, и преследуемы шестнадцатью новыми кораблями, только что прибывшими из Афин, под командованием Диомедона. Из десяти хианских трирем одна нашла убежище в Эфесе, а пять - в Теосе: остальные четыре были вынуждены выброситься на берег и стали призами, хотя все экипажи спаслись. Однако, несмотря на это, хианцы снова вышли в море со свежими кораблями и сухопутными войсками, как только афинский флот вернулся на Самос, и добились восстания Лебедоса и Эрæ из Афин[568].

Именно в Милете, сразу после восстания, был заключен первый договор между Тиссафернесом от себя и Великого Царя и Халкидой от имени Спарты и ее союзников. Вероятно, помощь Тиссафернеса была сочтена необходимой для удержания города, когда афинский флот так пристально следил за ним на соседнем острове: по крайней мере, трудно объяснить иначе столь бесчестное и невыгодное для греков соглашение.

"Лакедемоняне и их союзники заключили союз с Великим царем и Тиссафернесом на следующих условиях: Царь будет владеть теми территориями и городами, которые были у него самого или у его предшественников до него. Царь и лакедемоняне со своими союзниками будут совместно препятствовать афинянам получать денежные или иные выгоды от всех тех городов, которые до сих пор предоставляли им таковые. Они должны совместно вести войну против афинян и не отказываться от нее иначе, как по общему согласию. Кто восстанет против царя, тот будет рассматриваться лакедемонянами и их союзниками как враг; кто восстанет против лакедемонян, тот точно так же будет рассматриваться царем как враг"[569].

В качестве первого шага к исполнению этого договора Милет был передан Тиссафернесу, который немедленно возвел цитадель и разместил в ней гарнизон. [Если бы условия договора были полностью выполнены, то Великий царь стал бы хозяином не только всех азиатских греков и всех островитян в Эгейском море, но и всей Фессалии и Беотии, а также всей земли, которая когда-то была под властью Ксеркса. 571 Помимо этого чудовищного условия, договор обязывал лакедемонян помогать царю держать в рабстве всех греков, которые могут оказаться под его властью. С другой стороны, он не обеспечивал им никакой денежной помощи для оплаты вооружения, что было их главным мотивом для обращения к нему за союзом. Впоследствии лакедемонские власти сами откажутся ратифицировать договор, мотивируя это непомерными уступками. Но это служит печальным свидетельством нового источника бед, открывшегося перед азиатскими и островными греками в момент распада Афинской империи, возрожденных притязаний их древнего повелителя и хозяина, которого до сих пор, в течение последних пятидесяти лет, ничто не сдерживало, кроме Афин, сначала как представителя и исполнительного агента, а затем как преемника и хозяйки Делосской конфедерации. Таким образом, мы видим, от каких бед Афины защищали их до сих пор: теперь мы увидим, что частично раскрывается в этом самом договоре, как Спарта выполнила свое обещание предоставить автономию каждому отдельному греческому государству.

Теперь основное напряжение войны было перенесено в Ионию и на азиатскую сторону Эгейского моря. Враги Афин рассчитывали, что вся ее империя в этом регионе станет легкой добычей, но, несмотря на два таких серьезных отступления, как Хиос и Милет, она проявила неожиданную энергию, чтобы удержать оставшуюся часть. Ее великой и главной станцией с настоящего времени и до конца войны был Самос; и произошедшая революция, обеспечившая верность этого острова ее союзу, была условием, необходимым для поддержания борьбы в Ионии.

Мы ничего не слышали о Самосе на протяжении всей войны, с тех пор как он был вновь завоеван афинянами после восстания 440 года до н. э.: но теперь мы находим его под управлением олигархии, называемой гефморами, владельцами земли, как в Сиракузах до правления Гелона. Не приходится сомневаться, что эти гефморгы были склонны последовать примеру хиосской олигархии и восстать из Афин, в то время как жители Самоса, как и Хиоса, были против таких перемен. При таком положении дел хиосская олигархия сговорилась со

Спартой, чтобы с помощью пяти пелопоннесских кораблей обманом и врасплох принудить свой Демос к восстанию. То же самое произошло бы и на Самосе, если бы жители хранили молчание. Но они воспользовались недавним предупреждением, опередили замыслы своей олигархии и подняли восстание с помощью трех афинских трирем, случайно оказавшихся в порту. Олигархия была полностью разгромлена, но не без жестокой и кровавой борьбы; двести из них были убиты, а четыреста изгнаны. Эта революция обеспечила - и, вероятно, ничто иное, как демократическая революция, не могло обеспечить при существующем состоянии эллинских дел - присоединение Самоса к афинянам, которые немедленно признали новую демократию и предоставили ей привилегию равного и независимого союзника. Самосцы конфисковали и разделили между собой имущество тех гефморов, которые были убиты или изгнаны:[572] остальные были лишены всех политических привилегий, и им даже было запрещено вступать в брак с кем-либо из семей оставшихся граждан.[573] Мы можем справедливо подозревать, что этот последний запрет является лишь возмездием за подобное исключение, которое олигархия, находясь у власти, ввела для сохранения чистоты своей собственной крови. То, что они установили как привилегию, теперь было отброшено назад как оскорбление.

С другой стороны, афинский блокирующий флот был удивлен и разбит, потеряв четыре триремы, пелопоннесским флотом в Пейреуме, который таким образом смог добраться до Кенхреев и переоборудоваться для отправки в Ионию. Шестнадцать пелопоннесских кораблей, сражавшихся у Сиракуз, уже вернулись в Лехей, несмотря на препятствия, чинимые на их пути афинской эскадрой под командованием Гиппоклаза в Наупактусе.[Лакедемонский адмирал Астиох был послан в Кенхрею, чтобы принять командование и отправиться в Ионию в качестве главного адмирала, но прошло некоторое время, прежде чем он смог отплыть на Хиос, куда он прибыл только с четырьмя триремами, за которыми последовали еще шесть][575].

Однако прежде чем он достиг этого острова, хиосцы, ревностно относящиеся к новой роли, которую они взяли на себя, и заинтересованные ради собственной безопасности в увеличении числа отступников из Афин, сами взялись за осуществление планов, согласованных Агисом и лакедемонянами в Коринфе. Они организовали собственную экспедицию с тринадцатью триремами под командованием лакедемонского перизка по имени Дейниадас, чтобы добиться восстания на Лесбосе; в случае успеха они намеревались впоследствии сделать то же самое в зависимых от Афин районах Геллеспонта. Сухопутный отряд под командованием спартанца Эвласа, частично пелопоннесский, частично азиатский, двинулся вдоль побережья материка на север к Киме, чтобы сотрудничать в этих двух целях. В это время Лесбос был разделен, по крайней мере, на пять отдельных городских правительств: Метимна на севере острова, Митилен на юго-востоке, Антисса, Эресус и Пирра на западе. Были ли эти правительства олигархическими или демократическими, мы не знаем, но афинские клерухи, которые были посланы в Митилену после ее восстания шестнадцать лет назад, должно быть, давно исчезли.[576] Хианский флот сначала отправился в Метимну и добился восстания в этом месте, где четыре триремы были оставлены для охраны, а остальные девять поплыли вперед к Митилене, и им удалось захватить и этот важный город.[577].

Их действия, однако, не остались незамеченными афинским флотом на Самосе. Не сумев вернуть себе владение Теосом, Диомедон был вынужден довольствоваться нейтралитетом этого города и пропуском судов как Афин, так и их врагов; кроме того, он потерпел неудачу в нападении на Эре.[578] Но с тех пор он укрепился частично благодаря демократической

революции на Самосе, частично благодаря прибытию Леона с десятью дополнительными триремами из Афин, так что эти два командира теперь могли отплыть с двадцатью пятью триремами на помощь Лесбосу. Достигнув Митилены - крупнейшего города острова - вскоре после восстания, они вошли в гавань, когда их никто не ждал, захватили девять хианских кораблей без особого сопротивления и после успешного сражения на берегу вновь овладели городом. Лакедемонский адмирал Астиох, который всего три дня назад прибыл на Хиос из Кенхреи со своими четырьмя триремами, увидел, как афинский флот проходит через канал между Хиосом и материком, направляясь на Лесбос, и в тот же вечер последовал за ним на этот остров, чтобы оказать посильную помощь, с одной хиосской триремой, добавленной к его собственным четырем, и несколькими гоплитами на борту. Сначала он отплыл в Пирру, а на следующий день - в Эресус, на западной стороне острова, где он впервые узнал о захвате Митилены афинянами. Здесь же к нему присоединились три из четырех хианских трирем, оставленных для защиты этого места и оттесненных, с потерей одного из них, частью афинского флота, двинувшегося к нему из Митилены. Астиох убедил Эресу восстать из Афин и, вооружив жителей, отправил их по суше вместе со своими гоплитами под командованием Этеоника в Метимну в надежде сохранить это место, куда он также направился со своим флотом вдоль побережья. Но, несмотря на все его усилия, Метимна, а также Эресус и весь Лесбос были возвращены афинянами, а сам он был вынужден вернуться со своими войсками на Хиос. Сухопутные войска, совершившие марш вдоль материка с целью дальнейших операций у Геллеспонта, были возвращены на Хиос и отправлены по своим домам[579].

Восстановление Лесбоса, который афиняне теперь поставили в более выгодное положение для обороны, имело большое значение само по себе и на время приостановило все операции против них на Геллеспонте. Их флот с Лесбоса был сначала использован для восстановления Клазомен, которые они снова вернули на свой первоначальный островок у берега; новый город на материке, названный Полихна, хотя и строился, но еще не был достаточно укреплен, чтобы защищать себя. Ведущие антиафиняне в городе сбежали и отправились дальше по стране в Дафнус. Воодушевленные таким дополнительным успехом, а также победой, которую афиняне, блокировавшие Милет, одержали над Халкидеем, где этот офицер был убит, Леон и Диомедон решили начать агрессивные действия против Хиоса, который теперь был их самым активным врагом в Ионии. Их флот из двадцати пяти парусов был хорошо оснащен эпибатами, которые, хотя при обычных обстоятельствах они были тетами, вооруженными за государственный счет, но в нынешней напряженной обстановке были списаны с высших гоплитов в городском муштре.[580] Они заняли маленькие островки, называемые *Σενυσσæ*, недалеко от Хиоса на северо-востоке, а также форты Сидусса и Птелеус на территории Эритреи; с этих позиций они начали ряд изнурительных операций против самого Хиоса. Высадившись на острове в Кардамиле и Болиссе, они не только опустошили окрестности, но и нанесли хиосским войскам кровавое поражение. После еще двух поражений, при Фане и Лейкони, хианы уже не осмеливались покидать свои укрепления, так что захватчикам оставалось только разорять по своему усмотрению всю территорию, одновременно являясь хозяевами моря вокруг и блокируя порт.

Теперь афиняне мстили Хиосу за те тяготы, от которых страдала сама Аттика; тяготы тем более болезненные, что это был первый случай появления врага на острове с момента отпора Ксеркса из Греции и организации Делосской конфедерации, более чем за шестьдесят лет до этого. Территория Хиоса была высококультурной,[581] торговля - обширной, а богатства - одними из самых больших во всей Греции. В действительности, при афинской империи ее процветание было настолько заметным и непрерывным, что Фукидид выражает свое удивление неизменным благоразумием и осмотрительностью правительства, несмотря на обстоятельства, вполне рассчитанные на то, чтобы склонить их к расточительности. "Кроме

Спарты (говорит он),^[582] Хиос - единственное известное мне государство, которое сохраняло трезвый рассудок на протяжении всей карьеры процветания и становилось еще более бдительным в отношении безопасности, пропорционально росту своего могущества". Он добавляет, что шаг восстания из Афин, хотя правительство Цианы теперь обнаружило, что он был ошибкой, был, во всяком случае, простительной ошибкой; ведь он был предпринят под впечатлением, всеобщим для всей Греции и распространенным даже в самих Афинах после катастрофы в Сиракузах, что афинской власти, если не афинской независимости, пришел конец, и предпринят в сочетании с союзниками, казалось бы, более чем достаточными для ее поддержания. Это замечательное замечание Фукидида, несомненно, содержит косвенное порицание его собственного города, как злоупотребляющего своим процветанием в целях безмерного возвеличивания: порицание, не являющееся незаслуженным в отношении предприятия против Сицилии. Но в то же время это ценное свидетельство о состоянии союзников Афин под властью Афинской империи, и оно является значительным ответом на обвинения в практическом угнетении императорского города.

Операции, проводимые сейчас на Хиосе, свидетельствовали о столь неожиданном обновлении афинских дел, что одна из партий на острове стала выступать за воссоединение с Афинами. Хиосское правительство было вынуждено вызвать из Эритреи Астивоха с четырьмя пелопоннесскими кораблями, чтобы укрепить свои руки и сдержать сопротивление, захватив заложников у подозреваемых сторон, а также приняв другие меры предосторожности. Пока хианы подвергались такой опасности у себя дома, афинские интересы в Ионии еще больше укрепились благодаря прибытию на Самос свежего афинского войска. Фриних, Ономаклес и Скиронидаес вели флот из сорока восьми трирем, некоторые из которых использовались для перевозки гоплитов; на борту последних находилась тысяча афинян и пятнадцать сотен аргейцев. Пятьсот из этих аргейцев, прибывших в Афины без оружия, были одеты в афинские паноплии для службы. Вновь прибывшее войско немедленно отплыло с Самоса в Милет, где высадилось вместе с теми афинянами, которые наблюдали за этим местом с острова Ладек. Милесийцы выступили в поход, чтобы дать им бой; они собрали восемьсот своих гоплитов вместе с пелопоннесскими моряками с пяти трирем, переправленных Халкидеем, и войско, в основном конницу, но с несколькими наемными гоплитами, под командованием сатрапа Тиссафернеса. Алкивиад также присутствовал и участвовал в сражении. Аргейцы были настолько полны презрения к ионийцам из Милета, стоявшим напротив них, что бросились вперед, пренебрегая чинами и порядком; это самонадеянность, которую они оправдали полным поражением, потеряв триста человек. Но афиняне на своем фланге одержали такую полную победу над пелопоннесцами и другими противниками, что все войско последних и даже сами милесийцы, вернувшись после преследования аргейцев, были вынуждены укрыться в стенах города. Исход этого боя вызвал большое удивление, так как с каждой стороны ионийские гоплиты одержали победу над дорийскими^[583].

На какое-то время афинская армия, хозяйничавшая под стенами Милета, предалась надежде взять этот город в блокаду, построив стену через перешеек, соединявший его с континентом. Но эти надежды быстро развеялись, когда в самый вечер битвы они узнали, что главный пелопоннесский и сицилийский флот, состоящий из пятидесяти пяти трирем, находится в поле зрения. Из этих пятидесяти пяти двадцать две были сицилийскими - двадцать из Сиракуз и две из Селина, - отправленными по настоянию Гермocrates и под его командованием для нанесения последнего удара по Афинам; так, по крайней мере, предполагалось в начале 412 года до н. э. Остальные тридцать три триремы были пелопоннесскими, и весь флот был передан под временное командование Фераменеса, пока он не сможет присоединиться к адмиралу Астивоху. Остановившись сначала у острова Лерус,

расположенного у побережья, к югу от Милета, Фераменес получил первые сведения о недавней победе афинян и решил остановиться на ночь в соседнем заливе Иасус. Здесь его и обнаружил Алкивиад, который на коне, со всей поспешностью, прибыл из Милета в милезийский город Тейхиусса на берегу этого залива. Алкивиад настойчиво убеждал его немедленно оказать помощь милетянам, чтобы предотвратить строительство предполагаемой стены блокады; он уверял, что если этот город будет захвачен, то все надежды пелопоннесцев в Ионии будут погашены. Соответственно, он приготовился отплыть туда на следующее утро, но ночью афиняне сочли разумным оставить позицию у Милета и вернуться на Самос с ранеными и багажом. Узнав о прибытии Фераменеса с его флотом, они предпочли оставить свою победу незакрепленной, чем рисковать вступить в генеральное сражение. Двое из трех полководцев, правда, сначала склонялись к последнему варианту, настаивая на том, что морская честь Афин будет запятнана отступлением перед врагом. Но третий, Фриних, с таким упорством противился предложению сражаться, что в конце концов убедил своих коллег удалиться. Флот, по его словам, прибыл не подготовленным к морскому сражению, а полным гоплитов для сухопутных операций против Милета: численность прибывших пелопоннесцев не была точно известна, а поражение на море при существующих обстоятельствах было бы для Афин полным разорением. Фукидид воздаст должное Фриниху за мудрость этого совета, который был немедленно принят к исполнению. Афинский флот отплыл обратно на Самос; оттуда аргейские гоплиты, удрученные недавним поражением, потребовали, чтобы их отвезли домой[584].

На следующее утро пелопоннесский флот отплыл из Ясского залива в Милет, рассчитывая найти афинян и сразиться с ними, и оставил свои мачты, паруса и оснастку, как это обычно делалось при вступлении в бой, в Тейхиуссе. Обнаружив, что Милет уже освобожден от врага, они пробыли там всего один день, чтобы подкрепить себя двадцатью пятью триремами, которые Халкидей привел туда первоначально и которые с тех пор были заблокированы афинским флотом в Ладке, а затем отплыли обратно в Тейхиуссу, чтобы забрать сданные там снасти. Находясь теперь недалеко от Иасуса, резиденции Аморгаса, Тиссафернес уговорил их напасть на него по морю в сотрудничестве со своими сухопутными войсками. Никто в Иасусе не знал о прибытии пелопоннесского флота: приближающиеся триремы были приняты за афинян и друзей, так что место было захвачено врасплох;[585] хотя оно было сильным по положению и укреплениям и защищалось мощным отрядом греческих наемников. Взятие Иасуса, в котором сиракузяне отличились, было очень выгодным из-за обильной добычи, которую оно распространило среди армии; это место было богатым с древних времен и, вероятно, содержало запасы сатрапа Писсуфнеса, отца Аморгаса. Она была передана Тиссафернесу вместе со всеми пленными, за каждую голову которых он заплатил по дарийскому статеру или двадцать аттических драхм, а также с самим Аморгесом, который был взят живым и которого сатрап смог отправить в Сузы. Захваченные там греческие наемники были зачислены на службу к похитителям и отправлены по суше под командованием Педарита в Эритрею, чтобы оттуда они могли переправиться на Хиос[586].

Прибытие недавних подкреплений к обоим враждующим флотам и взятие Иасуса произошло около осеннего равноденствия или в конце сентября; в это время пелопоннесский флот был собран в Милете, и Тиссафернес выплатил им жалованье экипажам из расчета одна аттическая драхма на голову в день, как он и обещал своему посланнику в Спарте. Но в то же время он предупредил на будущее - отчасти по наущению Алкивиада, о чем будет сказано далее, - что не может продолжать платить столь высокую плату, если не получит прямых указаний из Суз, и что, пока такие указания не поступят, он должен выдавать только полдрахмы в день. Тераменес, будучи командиром только на время, до соединения с Астиохом, был безразличен к тому, сколько платили людям, - жалкая ревность, которая

отмечает низкий характер многих из этих спартанских офицеров, - но сиракузец Гермократес так громко выступал против сокращения, что добился от Тиссафернеса обещания немного увеличить жалование сверх половины драхмы, хотя и не смог добиться сохранения всей драхмы.[Однако в настоящее время моряки пребывали в хорошем настроении не только из-за высокого жалования, но и из-за обильной добычи, недавно полученной в Иасусе,[588] а Астиох и хианы также были воодушевлены прибытием такого большого флота. Тем не менее, афиняне со своей стороны были также усилены тридцатью пятью свежими триремами, которые достигли Самоса под командованием Стромбихидеса, Хармина и Эвктемона. Теперь афинский флот с Хиоса был отозван на Самос, где командующие собрали все свои военно-морские силы, чтобы разделить их для дальнейших операций.

Если учесть, что осенью предыдущего года, сразу после сиракузской катастрофы, флот Афин был не только скуден по количеству кораблей, но и несовершенен по оснащению, то мы с изумлением читаем, что теперь на Самосе у нее было не менее ста четырех трирем в полном порядке и пригодных для службы, кроме того, еще несколько специально предназначенных для перевозки войск. Действительно, общее число отправленных ею трирем, вместе с отдельными эскадрами, составляло сто двадцать восемь.[589] Столь энергичные усилия и столь неожиданное улучшение дел после безнадежного прошлогоднего прозябания не могли быть предприняты ни одним греческим государством, кроме Афин; не помог бы ей и резервный фонд, освященный за двадцать лет до этого дальновидным расчетом Перикласа.

Афиняне решили использовать тридцать трирем для высадки и создания укрепленного поста на Хиосе; по жребию, который был проведен среди генералов, Стромбихидес и двое других были назначены командирами. Остальные семьдесят четыре триремы, оставаясь хозяевами моря, спустились у Милета и тщетно пытались выманить пелопоннесский флот из этой гавани. Прошло некоторое время, прежде чем Астиох действительно отправился туда, чтобы принять свое новое командование: он был занят операциями вблизи Хиоса, который остался сравнительно свободным после того, как афинский флот был отозван на Самос для общего сбора. Отправившись с двадцатью триремами - десятью пелопоннесскими и десятью хиосскими, - он совершил бесплодную атаку на Птелеус, афинский укрепленный пункт на территории Эритреи; после этого он отплыл к Клазоменам, недавно переведенным с континента на соседний островок. Здесь он вместе с Тамосом, персидским полководцем округа, призвал клазоменцев вновь порвать с Афинами, покинуть свой островок и поселиться в Дафнусе, где со времен прежнего восстания еще оставалась фило-пелопоннесская партия. Отвергнув это требование, он напал на Клазомены, но был отбит, хотя город был не укреплен, и вскоре был отброшен сильной бурей, от которой он укрылся в Киме и Фокее. Некоторые из его кораблей укрылись во время той же бури на островках, расположенных неподалеку от Клазомен, на которых они пробыли восемь дней, уничтожая и грабя имущество жителей, а затем вновь присоединились к Астиоху. Теперь этот адмирал хотел предпринять попытку напасть на Лесбос, откуда он получил посланцев с обещанием восстать из Афин. Но коринфяне и другие члены его флота были настолько против этого предприятия, что он был вынужден отказаться от него и отплыть обратно на Хиос; его флот, прежде чем он прибыл туда, был снова рассеян бурями, частыми в ноябре[590].

Тем временем Педарит, отправленный по суше из Милета во главе наемников, взятых в плен в Иасе, а также пятисот пелопоннесских моряков, которые первоначально переправились через море с Халкидеем и с тех пор служили гоплитами, достиг Эритреи и оттуда переправился через канал на Хиос. Ему и хианцам Астиох предложил предпринять экспедицию на Лесбос; но он встретил у них такое же нежелание, как и у коринфян, -

убедительное доказательство того, что тон чувств на Лесбосе во время предыдущей экспедиции был решительно фило-афинским. Педарит даже категорически отказался предоставить ему хианские триремы для подобных целей - акт прямого неповиновения лакедемонского офицера главному адмиралу, который так сильно возмутил Астиоха, что он немедленно отплыл с Хиоса в Милет, забрав с собой все пелопоннесские триремы и заявив хианцам в выражениях сильного недовольства, что они могут напрасно искать у него помощи, если она им понадобится. Он остановился со своим флотом на ночь под мысом Корикус (на территории Эритреи), на северной стороне; но, находясь там, он получил известие о предполагаемом заговоре с целью предать Эритрею с помощью пленных, отправленных с афинской станции на Самосе. Вместо того чтобы продолжить плавание в Милет, он на следующий день вернулся в Эритрею, чтобы расследовать этот заговор, который оказался уловкой самих пленников с целью добиться своего освобождения[591].

То, что он вернулся в Эритрею, вместо того чтобы продолжить плавание, случайно оказалось спасением для его флота. Ибо случилось так, что в ту же ночь афинский флот под командованием Стромбихидеса - тридцать трирем в сопровождении нескольких трирем с гоплитами - расположился на южной стороне того же мыса. Ни один из них не знал о положении другого, и Астиох, если бы он на следующий день двинулся вперед к Милету, столкнулся бы с превосходящим числом своих врагов. Он спасся от страшной бури, в которую попали афиняне, когда удвоили мыс, двигаясь на север. Заметив три хианские триремы, они бросились в погоню, но буря стала настолько сильной, что даже хианам с большим трудом удалось войти в свою гавань, а три самых больших афинских корабля потерпели крушение на соседнем берегу, причем все экипажи либо погибли, либо попали в плен.[592] Остальная часть афинского флота нашла убежище в гавани Финикии на противоположном материке, под высокой горой Мимас, к северу от Эритреи.

Как только позволила погода, они продолжили плавание к Лесбосу, с которого начали свои операции захвату Хиоса и созданию в нем постоянного укрепленного пункта. Перебросив свои сухопутные войска с Лесбоса, они заняли сильное морское место под названием Дельфиний, представляющее собой выступающий мыс с защищенной гаванью с каждой стороны, недалеко от города Хиос.[593] Они потратили много труда и времени на укрепление этого поста, как на суше, так и на море, и во время этого процесса их почти не прерывали ни хиосцы, ни Педарит со своим гарнизоном; их бездействие было вызвано не только унынием от предыдущих поражений, но и политическими разногласиями, которые теперь царили в городе. Сильная фило-афинская партия заявила о себе; и хотя лидер ее Тидей был схвачен Педаритом и предан смерти, все же оставшиеся его сторонники были столь многочисленны, что правительство было доведено до олигархии, более узкой, чем когда-либо, и до крайней степени ревнивой осторожности, не зная, кому доверять. Несмотря на многочисленные послания к Милету с мольбами о помощи и с описанием опасности, которой подвергался этот величайший из всех ионийских союзников Спарты, Астиох остался при своих прощальных угрозах и отказался подчиниться. Возмущенный Педарит послал в Спарту жалобу на него как на предателя. Тем временем крепость в Дельфинии настолько приблизилась к завершению, что Хиос стал страдать от нее не меньше, чем Афины от Декелеи, да к тому же был заблокирован с моря. Рабы на этом богатом острове - в основном иностранцы, приобретенные путем покупки, но более многочисленные, чем в любом другом греческом государстве, кроме Лаконии, - под влиянием явного превосходства и уверенного положения захватчиков стали толпами дезертировать; потери не только от их бегства, но и от ценных сведений и помощи, которые они давали врагу, были огромны.[594] Расстройство острова увеличивалось с каждым днем, и ничто не могло его облегчить, кроме помощи извне, которую Астиох по-прежнему не принимал.

Этот офицер, достигнув Милета, обнаружил, что пелопоннесские силы на азиатской стороне Эгейского моря только что были усилены эскадрой из двенадцати трирем под командованием Дориея; в основном из Фурий, которые пережили политический переворот после афинской катастрофы в Сиракузах и теперь находились в руках активной фило-лаконской партии; главные лица, дружественные Афинам, были изгнаны.[Дорией с эскадрой, переплыв Эгейское море в южных широтах, благополучно прибыл в Книд, уже отвоеванный Тиссафернесом у Афин и получивший персидский гарнизон. 596] Из Милета было послано приказание, чтобы половина этой вновь прибывшей эскадры оставалась на страже в Книде, а другая половина крейсировала у Триопского мыса для перехвата торговых судов из Египта. Но афиняне, также узнавшие о прибытии Дориея, послали из Самоса мощную эскадру, которая захватила все эти шесть трирем у мыса Триопиум, хотя экипажи спаслись на берегу. Далее они предприняли попытку вернуть Книдус, которая едва не увенчалась успехом, поскольку город не был укреплен со стороны моря. На следующий день атака была возобновлена, но за ночь были созданы дополнительные укрепления, а экипажи кораблей, захваченных у Триопиума, пришли на помощь, так что афиняне были вынуждены вернуться на Самос без каких-либо преимуществ, кроме опустошения территории Книда. Астiox не предпринял ни одного шага, чтобы перехватить их, и не считал себя достаточно сильным, чтобы удержать море против семидесяти четырех афинских трирем в Самосе, хотя его флот в Милете в этот момент был в отличном состоянии. Богатая добыча, полученная при Иасусе, была некон суммирована; милетяне ревностно относились к делу конфедерации, а жалование из Тиссафернеса продолжало поступать с достаточной регулярностью, хотя и по сниженной ставке, о которой говорилось чуть выше[597].

Хотя у пелопоннессцев еще не было оснований жаловаться на сатрапа за нерегулярность выплат, но мощный флот, находившийся в Милете, внушал военачальникам новый оттенок доверия, так что они стали стыдиться условий договора, которому подчинились Халкид и Алкивиад, когда впервые высадились в Милете со своим скудным вооружением. Поэтому Астiox вскоре после прибытия в Милет и еще до отъезда Фераменеса, чьи полномочия истекли, когда он передал флот, настоял на заключении нового договора с Тиссафернесом, который был согласован следующим образом.

"Между лакедемонянами с их союзниками и царем Дарием, его сыновьями и Тиссафернесом заключен договор и союз на следующих условиях. Лакедемоняне и их союзники не будут нападать на территории и города, принадлежащие Дарию или принадлежавшие его отцу или предкам, и не будут взимать дань ни с одного из указанных городов. Ни Дарий, ни кто-либо из его подданных не должен нападать на лакедемонян или их союзников или причинять им вред. Если лакедемоняне или их союзники будут иметь какое-либо дело к царю, или если царь будет иметь какое-либо дело к лакедемонянам или их союзникам, пусть каждый из них удовлетворит, насколько это возможно, желания, выраженные другим. Обе стороны будут совместно вести войну против Афин и их союзников: ни одна из сторон не должна прекращать войну без взаимного согласия. Царь будет оплачивать и содержать любое войско, за которым он может послать и которое может быть использовано на его территории. Если какой-либо из городов, участвующих в настоящем договоре, нападет на территорию короля, остальные обязуются препятствовать ему и защищать короля всеми своими силами. Если же кто-либо на территории царя или на подвластной ему территории[598] нападет на лакедемонян или их союзников, царь будет препятствовать им и оказывать свою лучшую оборонительную помощь".

Если взглянуть на этот второй договор Астioxа и Фераменеса с точки зрения общегреческого патриотизма, то он был менее позорным, чем первый договор Халкидея. Он не провозглашал

официально, что все те греческие города, которые когда-либо принадлежали царю или его предкам, должны по-прежнему считаться его подданными, и не обязывал лакедемонян помогать царю в том, чтобы помешать кому-либо из них добиться своей свободы. Тем не менее, он косвенно признавал все те же неограниченные пределы владений царя, которые были максимальными при его предшественниках; все те же неопределенные права царя вмешиваться в греческие дела; все тот же безоговорочный отказ от всех греков на континенте Азии. Заключение этого договора было последним действием, совершенным Фераменесом, который вскоре после этого погиб в море, возвращаясь домой на маленькой лодке, никто не знал как.

Астиох, оставшийся теперь один на посту командующего, все еще испытывал настоятельные просьбы бедствующих хианцев о помощи и, несмотря на свое нежелание, был вынужден под ропот собственной армии прислушаться к ним, когда произошел новый случай, давший ему, по крайней мере, хороший предлог для того, чтобы направить свое внимание на юг. Пелопоннесская эскадра из двадцати семи трирем под командованием Антисфена, стартовав с мыса Малейя около зимнего тропика или ближе к 412 году до н. э., сначала пересекла море до Мелоса, где рассеяла десять афинских трирем и захватила три из них; затем, опасаясь, что эти беглые афиняне сообщат о ее приближении на Самосе, сделала длинный круг вокруг Креты и в конце концов достигла Кауна на юго-восточной оконечности Малой Азии. Это была та самая эскадра, которую снарядили Каллигейт и Тимагор, прибывшие с этой целью за год до этого в качестве посланников сатрапа Фарнабаза. Антисфену было поручено сначала добраться до Милета и соединиться с главным лакедемонским флотом, а затем направить эти триремы или другую равную по силе эскадру под командованием Клиарха к Геллеспонту, чтобы совместно с Фарнабазом выступить против афинских владений в этом регионе. Одиннадцать спартанцев, главным из которых был Лихас, сопровождали Антисфена, чтобы быть приставленными к Астиоху в качестве советников, согласно практике, нередкой у лакедемонян. Этим людям было поручено не только следить за состоянием дел в Милете и осуществлять контроль совместно с Астиохом, но и, если они сочтут нужным, уволить самого адмирала, на которого жалобы Педарита из Хиоса навели подозрение, и назначить на его место Антистенеса^[600].

Не успел Астиох узнать в Милете о прибытии Антисфена в Каунус, как отложил всякую мысль о помощи Хиосу и немедленно отплыл, чтобы соединиться с двадцатью семью новыми триерами, а также с новыми спартанскими советниками. Во время плавания на юг он захватил город Кос, неукрепленный и полуразрушенный недавним землетрясением, а затем перешел в Книд, где жители настойчиво убеждали его немедленно идти вперед, даже не высаживая своих людей, чтобы застать врасплох афинскую эскадру из двадцати трирем под командованием Хармина, которая была послана с Самоса после известий, полученных с Мелоса, чтобы атаковать и отразить эскадру под командованием Антисфена. Хармин, расположившись в Симе, крейсировал у Родоса и ликийского побережья, чтобы наблюдать за пелопоннесским флотом, только что прибывшим в Каунус, хотя и не мог сдержать его. В таком положении его застал гораздо более многочисленный флот Астиоха, приближения которого он совсем не ожидал. Но дождливая и туманная погода настолько рассеяла его, что Хармион, увидев сначала лишь несколько кораблей отдельно от остальных, принял их за меньшую эскадру новоприбывших. Атаковав замеченные триремы, он сначала получил значительное преимущество, отбив три и повредив несколько других. Но вскоре рассеянные корабли главного флота появились в поле зрения и сомкнулись вокруг него, так что он был вынужден из всех сил бежать, сначала к острову под названием Тевтлусса, а затем к Галикарнасу. Ему удалось спастись, не потеряв шести кораблей, а победоносные пелопоннессцы, воздвигнув свой трофей на острове Симе, вернулись в Книд, где теперь был

собран весь флот, включая двадцать семь вновь прибывших трирем.[Афиняне на Самосе, чьи дела теперь находились в смятении по причинам, которые будут объяснены в следующей главе, не следили за передвижениями главного пелопоннесского флота в Милете и, похоже, не знали о его отплытии, пока не узнали о поражении Хармины. Затем они отплыли в Симк, забрали паруса и такелаж, принадлежавшие той эскадре, которые были там сданы на хранение, а затем, после нападения на Лориму, вернули весь свой флот, вероятно, включая остатки эскадры Хармина, на Самос[602].

Хотя пелопоннесский флот, собранный теперь в Книде, состоял из девяноста четырех трирем, значительно превосходящих по численности афинский, он не пытался спровоцировать какие-либо общие действия. Время Лихаса и его братьев-комиссаров сначала ушло на переговоры с Тиссафернесом, который присоединился к ним в Книде, и против которого они обнаружили сильное чувство недовольства, распространенное на флоте. Этот сатрап, действовавший теперь во многом по совету Алкивиада, о чем также будет сказано в следующей главе, в последние недели своего пребывания в Милете проявлял вялость в пелопоннесском деле и нерегулярно выдавал жалованье своим морякам. В то же время он был полон обещаний, парализуя все их действия заверениями, что приведет им на помощь огромный феникийский флот, но на самом деле его целью было, под благовидным предлогом, лишь затянуть борьбу и растратить силы обеих сторон. Прибыв в разгар такого настроения и обсудив с Тиссафернесом дальнейшее ведение войны, Лихас не только выразил удовольствие от своего прошлого поведения, но даже выступил против двух конвенций, заключенных Халкидеем и Фераменесом, как позорящих имя эллинов, как с одной, так и с другой стороны. По условиям первого и по последствиям второго, не только все острова Эгейского моря, но даже Фессалия и Беотия признавались подвластными Персии; таким образом, Спарта, если бы она согласилась на такие условия, просто навязала бы грекам персидский скипетр вместо общей свободы, за которую она, по ее словам, боролась. Лихас, заявив, что он скорее откажется от всякой перспективы получить персидское жалованье, чем подчинится таким условиям, предложил заключить новый договор на других и лучших условиях, и это предложение Тиссафернес отверг с таким негодованием, что уехал, так ничего и не решив[603].

Его дезертирство не обескуражило пелопоннесских советников. Обладая флотом, большим, чем когда-либо до этого в Азии, вместе с многочисленными союзниками, они рассчитывали, что смогут получить деньги для оплаты своих людей без помощи персов; и приглашение, которое они только что получили от различных влиятельных людей на Родосе, способствовало укреплению этой уверенности. Остров Родос, населенный значительным по численности дорийским населением и отличавшийся мореходным искусством, в это время был разделен между тремя отдельными городскими правительствами, как это было в эпоху гомеровского каталога, - Линдом, Иалисом и Камейром; город под названием Родос, образовавшийся в результате слияния всех этих трех городов, возник только через два или три года после того периода, до которого мы сейчас дошли. Приглашенный несколькими богатыми людьми острова, пелопоннесский флот сначала напал на Камеир, население которого, запуганное силой девяноста четырех трирем и совершенно не осведомленное об их приближении, оставило свой город, не имевший защиты, и бежало в горы.[604] Все три родосских города, лишённые укреплений, были частично убеждены, частично напуганы, чтобы сделать шаг к восстанию против Афин и вступить в союз с пелопоннесцами. Афинский флот, командиры которого были слишком заняты политическими интригами, чтобы нести военную вахту, прибыл с Самоса слишком поздно, чтобы спасти Родос, и вскоре вернулся на прежний остров, оставив отряды в Халке и Косе, чтобы досаждал пелопоннесцам пустыми нападениями.

Теперь пелопоннесцы взимали с родосцев контрибуцию в размере тридцати двух талантов и выбрали этот остров в качестве главной стоянки для своего флота вместо Милета. Мы можем объяснить эту перемену места недавней недружественной беседой с Тиссафернесом и желанием быть более недосыгаемыми для него. ⁶⁰⁵ Но что мы не можем так легко объяснить, так это то, что они оставались на острове без движения или военных действий и фактически вытащили свои триремы на берег в течение не менее восьмидесяти дней, то есть примерно с середины января до конца марта 411 года до н.э. Пока их мощный флот из девяноста четырех трирем, превосходящий афинский на Самосе, лежал без дела, их союзники на Хиосе, как известно, терпели тяжелые и все возрастающие бедствия и неоднократно обращались за помощью:^[606] более того, обещание послать для сотрудничества с Фарнабазом против афинских зависимых территорий на Геллеспонте осталось невыполненным.^[607] Мы можем приписать такую крайнюю военную медлительность главным образом коварной политике Тиссафернеса, который теперь вел двойную игру между Спартой и Афинами. Он по-прежнему поддерживал связь с пелопоннесцами на Родосе, парализовал их энергию заверениями в том, что феникийский флот действительно направляется к ним на помощь, и обеспечивал успех этих интриг взятками, распределяемыми сыном среди генералов и триерархов. Даже Астiox, главнокомандующий, принял участие в этой коррупционной сделке, против которой не выступил никто, кроме сиракузца Гермocrates.^[608] Такое длительное бездействие вооружения в момент его наибольшей силы, таким образом, было не просто плодом честной ошибки, как опоздание Никиаса в Сицилии, а проистекало из нечестности и личной алчности пелопоннесских офицеров.

Я уже не раз обращал внимание на многочисленные свидетельства распространенности личной коррупции - даже в самой грубой форме, в виде прямого взяточничества - среди ведущих греков всех городов, когда они действовали индивидуально. Среди таких свидетельств описанный здесь случай не является самым примечательным. Этот общий факт также не должен забываться теми, кто обсуждает вопрос о соотношении олигархии и демократии, как это было в греческом мире. Уверенные притязания богатых и олигархических греков на высшую добродетель, как общественную, так и частную, - и спокойное повторение различными писателями, современными и древними, хвалебных эпитетов, подразумевающих такую предполагаемую добродетель, - настолько далеки от подтверждения историей, что эти люди были постоянно готовы как государственные деятели предать своих соотечественников или как генералы даже предать интересы своих солдат, ради того чтобы самим приобрести деньги. Конечно, не имеется в виду, что так было со всеми из них; но это случалось достаточно часто, чтобы рассматривать это как случайность более чем вероятную. Если, говоря в среднем, ведущие люди греческой общины не были выше совершения политических проступков, столь очевидных и таких, которые невозможно скрыть даже от самих себя, то гораздо меньше они были бы выше пороков, всегда более или менее смешанных с самообманом, - гордости, стремления к власти, партийных антипатий или симпатий, любви к легкости и т. д. И если у общества была хоть какая-то гарантия против таких злоупотреблений, то она могла быть только благодаря полной свободе обвинения преступников, и уверенности в том, что суд будет проходить перед судьями, заинтересованными в интересах самого народа. Таковы были гарантии, которые греческие демократии, особенно афинская, пытались обеспечить; не всегда мудро, не всегда эффективно, но, безусловно, оправданно, в высшей степени, в силу остроты и распространенности зла. Однако в распространенных представлениях об афинских делах это зло упускается из виду или замалчивается; меры предосторожности, принятые против него, осуждаются как многочисленные свидетельства демократического произвола и несправедливости; а люди, по чьей инициативе такие меры предосторожности были приняты, презираются как демагоги и *сикофанты*. Если бы эти пелопоннесские генералы и

триерархи, которые под влиянием взяток провели два важных месяца в бездействии, были афинянами, возможно, был бы какой-то шанс, что их будут судить и наказывать; хотя даже в Афинах шанс безнаказанности преступников, благодаря влиятельным политическим клубам и другим зловещим уловкам, был гораздо больше, чем следовало бы. Так мало соответствует истине, как бы часто это ни утверждалось, что судебное обвинение было слишком легким, а судебное осуждение - слишком частым. Когда судебные меры предосторожности, предусмотренные в Афинах, рассматриваются, как и положено, бок о бок со злом, они оказываются несовершенными, конечно, как в плане, так и в действии, но, безусловно, не являются ни неоправданными, ни чрезмерными.

ФУТБОЛЬНЫЕ ССЫЛКИ

[1] Thucyd. v, 17-29.

[2] Thucyd. v, 18.

[3] Thucyd. v, 14, 22, 76.

[4] Плутарх, Никиас, с. 10.

[5] Thucyd. v, 21, 22.

[6] Thucyd. v, 23. Союзный договор, по-видимому, был составлен в Спарте, одобрен или согласован с афинскими посланниками, затем отправлен в Афины и там принят народом, после чего обе стороны поклялись в его соблюдении. Интервал между этим вторым договором и первым (οὐ πολλῶ ὕστερον, v, 24), возможно, составлял более месяца; ведь он включал в себя посещение лакедемонскими посланниками Амфиполя и других городов Фракии, проявление сопротивления в этих городах и возвращение Клирида в Спарту, чтобы дать отчет о своем поведении.

[7] Thucyd. v, 24.

[8] Thucyd. iv, 19. Λακεδαιμόνιοι δὲ ὑμᾶς προκαλοῦνται ἐς σπονδὰς καὶ διάλυσιν πολέμου, διδόντες μὲν εἰρήνην καὶ συμμαχίαν καὶ ἄλλην φιλίαν πολλήν καὶ οἰκειότητα ἐς ἀλλήλους ὑπάρχειν, ἀνταίτοῦντες δὲ τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἄνδρας.

[9] Thucyd. v, 26. οὐκ εἰκὸς ὃν εἰρήνην αὐτὴν κριθῆναι и т. д.

[10] Thucyd. v, 28. κατὰ γὰρ τὸν χρόνον τοῦτον ἥ τε Λακεδαίμων μάλιστα δὴ κακῶς ἤκουσε καὶ ὑπερώφθη διὰ τὰς συμφορὰς.-(Νικίας) λέγων ἐν μὲν τῷ σφετέρῳ καλῶ (афинский) ἐν δὲ τῷ ἐκείνων ἀπρεπεῖ (лакедемонский) τὸν πόλεμον ἀναβάλλεσθαι, etc. (v, 46)-Οἷς πρῶτον μὲν (лакедемонцам) διὰ συμφορῶν ἢ ζύμβασις, etc.

[11] Aristophan. Pac. 665-887.

[12] Thucyd. v, 21-35.

[13] Thucyd. v, 32.

[14] Thucyd. v, 35. λέγοντες ἀεὶ ὥς μετ' Ἀθηναίων τούτους, ἦν μὴ θέλωσι, κοινῇ ἀναγκάσουσι- χρόνους δὲ προὔθεντο ἄνευ συγγραφῆς, ἐν οἷς χρῆν τοὺς μὴ ἐσιόντας ἀμφοτέροις πολεμίους εἶναι.

[15] Thucyd. v, 35. τούτων οὖν ὁρῶντες οἱ Ἀθηναῖοι οὐδὲν ἔργῳ γιγνόμενον, ὑπετόπτεον τοὺς Λακεδαιμονίους μηδὲν δίκαιον διανοεῖσθαι, ὥστε οὔτε Πύλον ἀπαιτοῦντων αὐτῶν ἀπεδίδοσαν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἄνδρας μετεμέλοντο ἀποδεδωκότες, etc.

[16] Thucyd. v, 35. πολλάκις δὲ καὶ πολλῶν λόγων γενομένων ἐν τῷ θέρει τούτῳ, etc.

[17] Thucyd. v, 28. Aristophan. Pac. 467, об аргейцах, δίχοθεν μισθοφοροῦντες ἄλφита.

Он характеризует аргейцев как стремящихся по этой причине затянуть войну между Афинами и Спартой. Этот отрывок, как и весь сюжет пьесы, дает основание утверждать, что Пакс был представлен зимой, непосредственно предшествующей Никиасскому миру, примерно через четыре или пять месяцев после битвы при Амфиполе и гибели Клеона и Брасидаса; а не через два года, как хотел бы сказать г-н Клинтон, на основании даты в самой пьесе, на которую он делает слишком большой упор.

[18] Thucyd. v, 67. Ἀργείων οἱ Χίλιοι λογάδες, οἷς ἡ πόλις ἐκ πολλοῦ ἄσκησιν τῶν ἐς τὸν πόλεμον δημοσίᾳ παρεῖχε.

Диодор (xii, 75) представляет первое формирование этого Тысячного полка в Аргосе как произошедшее примерно в это время, и я думаю, что он здесь заслуживает доверия; так что я не считаю выражение Фукидида ἐκ πολλοῦ как указывающее на время более чем за два года до битвы при Мантинее. Для греческой военной подготовки два года постоянных тренировок *были бы большим* сроком. Невозможно представить, что аргейская демократия понесла бы расходы и опасности, связанные с содержанием этого отборного полка в течение всего периода их длительного мира, который только что подошел к концу".

[19] Thucyd. v, 29. μὴ μετὰ Ἀθηναίων σφᾶς βούλονται Λακεδαιμόνιοι δουλώσασθαι: ср. Diodorus, xii, 75.

[20] Thucyd. v, 28.

[21] Thucyd. iv, 134.

[22] Thucyd. v, 29. τοῖς γὰρ Μαντινεῦσι μέρος τι τῆς Ἀρκαδίας κατέστραπτο ὑπήκοον, ἔτι τοῦ πρὸς Ἀθηναίους πολέμου ὄντος, καὶ ἐνόμιζον οὐ περιόψεσθαι σφᾶς τοὺς Λακεδαιμονίους ἄρχειν, ἐπειδὴ καὶ σχολὴν ἦγον.

О том, как соглашение членов конфедерации изменило отношения между подчиненными и имперскими государствами, см. далее, стр. 25 и 26, в случае Элиды и Лепреума.

[23] Thucyd. i, 125.

[24] Thucyd. v, 29. Ἀποστάντων δὲ τῶν Μαντινέων, καὶ ἡ ἄλλη Πελοπόννησος ἐς θροῦν καθίστατο ὥς καὶ σφίσι ποιητέον τοῦτο, νομίζοντες πλέον τέ τι εἰδότες μεταστῆναι αὐτοῦς, καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους ἅμα δι' ὀργῆς ἔχοντες, etc.

[25] Thucyd. v, 30. Κορίνθιοι δὲ παρόντων σφίσι τῶν συμμάχων, ὅσοι οὐδ' αὐτοὶ ἐδέξαντο τὰς σπονδὰς (παρεκάλεσαν δὲ αὐτοὺς αὐτοὶ πρότερον) ἀντέλεγον τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἃ μὲν ἡδικοῦντο, οὐ δηλοῦντες ἀντικρυς, etc.

[26] Thucyd. v, 30.

[27] Thucyd. v, 31. Βοιωτοὶ δὲ καὶ Μεγαρῆς τὸ αὐτὸ λέγοντες ἡσύχαζον, περιορώμενοι ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων, καὶ νομίζοντες σφίσι τὴν Ἀργείων δημοκρατίαν αὐτοῖς ὀλιγαρχουμένοις ἦσσαν ξύμφορον εἶναι τῆς Λακεδαιμονίων πολιτείας.

Эти слова, περιόρμενοι ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων, неясны и вызвали много смущений у комментаторов, а также несколько предложений по изменению текста. Несомненно, смысл был бы улучшен, если бы нам разрешили (вместе с Добри) исключить слова ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων как глоссу и, таким образом, трактовать περιόρμενοι как средний глагол, "ожидающий события", или буквально, "следящий за ними". Но если принять текст в его нынешнем виде, то смысл, который я ему придал, кажется наилучшим из всех возможных.

Большинство критиков переводят περιόρμενοι как "пренебрегаемый или презираемый лакедемонянами". Но, во-первых, это не так на самом деле: во-вторых, если бы это было так, то перед νομίζοντες следовало бы поставить союзы вместо καὶ, так как тенденция двух указанных мотивов была бы в противоположных направлениях. "Беотийцы, хотя и презираемые лакедемонянами, все же считали опасным соединение с аргейской демократией". И это тот смысл, который предлагает Хаак, хотя он и делает большое насилие над словом καὶ.

Д-р Тирлуолл и д-р Арнольд переводят περιόρμενοι как "чувствующие себя обделенными"; последний говорит: "Беотийцы и мегаряне не приняли ни одну из сторон; ни лакедемонскую, потому что они чувствовали, что лакедемоняне обделили их; ни аргивскую, потому что они считали, что аргивская демократия подходит им меньше, чем конституция Спарты". Но это снова придает недопустимый смысл слову ἡσύχαζον, которое означает "стояли, как стояли". Беотийцев не призывали выбирать между двумя сторонами или двумя позитивными схемами действий: им предложили вступить в союз с Аргосом, и они отказываются это сделать: они предпочитают *оставаться такими, какие они есть*, союзниками Лакедемонии, но отказываются стать участниками мира. Более того, в смысле, предложенном д-ром Арнольдом, мы должны были бы, несомненно, найти на месте καὶ союзительную связку.

Я утверждаю, что слово περιόρᾱν не обязательно означает "пренебрегать или презирать", но иногда "оставлять в покое, не обращать внимания, воздерживаться от вмешательства". Так, Thucyd. i, 24. Ἐπιδάμνιοι-πέμπουσιν ἐς τὴν Κερκύραν πρέσβεις-δεόμενοι μὴ σφᾶς περιόρᾱν φθειρομένους, etc. Опять же, i, 69, καὶ νῦν τοὺς Ἀθηναίους οὐχ ἑκάς ἀλλ' ἐγγὺς ὄντας περιόρᾱτε, и т. д. Таков же смысл περιίδεῖν и περιόψεσθαι, ii, 20. Во всех этих отрывках в слове не подразумевается *презрение*: "оставить в покое" или "воздержаться от вмешательства" проистекает из чувств, совершенно отличных от презрения.

Так и в рассматриваемом нами отрывке περιόρμενοι представляется *пассивным* причастием в этом смысле. Фукидид, только что описав энергичный протест, направленный спартанцами, чтобы предотвратить присоединение Коринфа к Аргосу, хочет намекнуть (словами, которые здесь обсуждаются), что они *не* прибегали к подобному *вмешательству*, чтобы предотвратить присоединение к ней беотийцев и мегарцев: "Беотийцы и мегаряне остались на прежнем месте, *предоставленные самим себе лакедемонянами* и считая аргейскую демократию менее подходящей для себя, чем олигархия Спарты".

[28] Thucyd. v, 31. Καὶ μέχρι τοῦ Ἀττικοῦ πολέμου ἀπέφερον- ἔπειτα παυσαμένων διὰ πρόφασιν τοῦ πολέμου, οἱ Ἥλεῖοι ἐπηνάγκαζον, οἱ δ' ἐτράποντο πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους.

О соглашении, о котором здесь говорится, см. несколько строк вперед.

[29] Thucyd. v, 31. τὴν ξυνθήκην προφέροντες ἐν ᾗ εἰρήνη, ἃ ἔχοντες ἐς τὸν Ἀττικὸν πόλεμον καθίσταντό τινες, ταῦτα ἔχοντας καὶ ἐξελεῖν, ὥς οὐκ ἴσον ἔχοντες ἀφίστανται, etc.

О соглашении между членами Пелопоннесской конфедерации, о котором здесь говорится, мы слышим только в этом отрывке. Оно было чрезвычайно важно для тех конфедератов,

которые были имперскими городами, то есть имели подчиненных или подвластных союзников.

Поппо и Блумфилд удивляются, что коринфяне не апеллировали к этому соглашению, чтобы добиться возвращения Соллиума и Анакториума. Но они неправильно понимают сферу действия соглашения, которое не касалось захватов, сделанных во время войны общим врагом. Конфедерации было бы бесполезно заключать официальное соглашение о том, что ни один из ее членов не должен ничего терять из-за захвата, произведенного врагом. Это было бы вопросом превосходства силы, поскольку никакое соглашение не могло бы связать врага. Но конфедерация вполне могла бы заключить между собой соглашение, касающееся отношений между ее *непосредственными* имперскими членами, а также *посредническими* или подчиненными зависимостями каждого из них. Каждое имперское государство соглашалось отказаться от дани или услуг своего зависимого государства, если последнее было призвано оказать помощь в общих усилиях конфедерации против общего врага. Но конфедерация в то же время давала гарантию, что имперское государство вернет себе эти приостановленные права, как только закончится война. Эта гарантия была явно нарушена Спартой в случае с Элисом и Лепреем. Напротив, в случае с Мантинеей, о котором говорилось несколько страниц назад, стр. 19, мантинейцы нарушили максимуму конфедерации, и Спарта была оправдана, вмешавшись по просьбе своих подданных, чтобы сохранить автономию последних.

[30] Thucyd. v, 32. Κορινθίους δὲ ἀνακωχῇ ἄσπονδος ἦν πρὸς Ἀθηναίους.

По этому поводу д-р Арнольд замечает: "Под ἄσπονδος подразумевается простое соглашение на словах, не подтвержденное торжественными религиозными обрядами. А греки, как мы видели, считали нарушение своего слова совсем иным, чем нарушение клятвы".

Здесь имеется в виду совсем не то, что предполагает доктор Арнольд. Не было никакого соглашения ни на словах, ни на клятве. Имело место простое отсутствие военных действий, *де-факто*, не вытекающее из какого-либо признанного обещания. Таков смысл ἀνακωχῇ, i, 66; iii, 25, 26.

Ответ афинян на заявление Коринфа нелегко понять. Они могли бы с гораздо большим основанием отказаться заключить десятидневное перемирие с *беотийцами*, поскольку те все еще оставались союзниками Спарты, хотя и отказались присоединиться к общему миру; тогда как коринфяне, присоединившись к Аргосу, имели меньше права считаться союзниками Спарты. Тем не менее, мы все еще находим их присутствующими на собраниях в Спарте и действующими как союзники последней".

[31] Thucyd. v, 33, 34. Неодамоды были гелотами, ранее получившими право голоса, или сыновьями таковых.

[32] Thucyd. iv, 80.

[33] Thucyd. v, 34. Ἀτίμους ἐποίησαν, ἀτιμίαν δὲ τοιαύτην, ὥστε μήτε ἄρχειν, μήτε πριαμένους τι, ἢ πωλοῦντας, κυρίου εἶναι.

[34] Thucyd. v, 32.

[35] Thucyd. v, 35-39. Я согласен с д-ром Тирлуоллом и д-ром Арнольдом, предпочитая предположение Поппо, Χαλκιδῆς, в этом месте.

[36] Thucyd. v, 36.

[37] Thucyd. v, 37. ἐπεσταλμένοι ἀπὸ τε τοῦ Κλεοβούλου καὶ Ξενάρχους καὶ ὅσοι φίλοι ἦσαν αὐτοῖς, etc.

[38] Thucyd. v, 36.

[39] Thucyd. v, 38. οἰόμενοι τὴν βουλὴν, κἂν μὴ εἴπωσιν, οὐκ ἄλλα ψηφιεῖσθαι ἢ ἃ σφίσι προδιαγνόντες παραινοῦσιν ... ταῖς τέσσαρσι βουλαῖς τῶν Βοιωτῶν, αἵπερ ἅπαν τὸ κύρος ἔχουσι.

[40] Thucyd. v, 38.

[41] См. Colonel Leake, Travels in Northern Greece, vol. ii, ch. xvii, p. 370.

[42] Thucyd. v, 3.

[43] Thucyd. v, 41. Τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις τὸ μὲν πρῶτον ἐδόκει μωρία εἶναι ταῦτα- ἔπειτα (ἐπεθύμουν γὰρ τὸ Ἄργος πάντως φίλιον ἔχειν) ξυνεχώρησαν ἐφ' οἷς ἠξίουσαν, καὶ ξυνεγράψαντο.

По сохранившимся формам договора можно сделать вывод, что договор не подписывался никакими подписями, а составлялся секретарем или уполномоченным лицом и в конечном итоге выгравировывался на колонне. Имена тех, кто приносит присягу, записаны, но официальной подписи, по-видимому, нет".

[44] Thucyd. v. 42.

[45] Thucyd. v. 42.

[46] Thucyd. v. 43. Ἀλκιβιάδης ... ἀνὴρ ἡλικία μὲν ὣν ἔτι τότε νέος, ὡς ἐν ἄλλῃ πόλει, ἀξιώματι δὲ προγόνων τιμώμενος.

Однако выражение Плутарха, ἔτι μειράκιον, кажется преувеличением (Alkibiad. c. 10).

Критий и Хариклес, отвечая на вопрос Сократеса, которому они запретили разговаривать с юношами или учить их, определили, что *юноша* - это тот, кто не достиг тридцати лет, сенаторского возраста в Афинах (Ксенофонт, Memor. i. 2. 35).

[47] Платон, Протагор, с. 10, с. 320; Плутарх, Алкивиад, с. 2, 3, 4; Исократес, De Bigis, Orat. xvi, p. 353, sect. 33, 34; Cornel. Nepos, Alkibiad. c. 1.

[48] Πέπονθα δὲ πρὸς τοῦτον (Σωκράτη) μόνον ἀνθρώπων, ὃ οὐκ ἂν τις οἶοιτο ἐν ἐμοὶ ἐνεῖναι, τὸ αἰσχύνεσθαι ὄντινοῦν.

Это часть языка, который Платон вкладывает в уста Алкивиада в Симпозиуме, с. 32, p. 216; см. также Платон, Алкивиад. i, с. 1, 2, 3.

Сравните с другим его современником, Ксенофонтом, Memor. i, 2, 16-25.

Φύσει δὲ πολλῶν ὄντων καὶ μεγάλων πάθων ἐν αὐτῷ τὸ φιλόνεικον ἰσχυρότατον ἦν καὶ τὸ φιλόπρωτον, ὡς δῆλόν ἐστι τοῖς παιδικοῖς ὑπομνήμασι (Plutarch, Alkib. c. 2).

[49] Я перевожу, с некоторым уменьшением силы слов, выражение современного автора, Ксенофонта, Memorab. i, 2. 24. Ἀλκιβιάδης δ' αὖ διὰ μὲν κάλλος ὑπὸ πολλῶν καὶ σεμνῶν γυναικῶν *θηρώμενος*, etc.

[50] Demosthen. cont. Meidiam, с. 49; Thucyd. vi, 16; Antipho apud Athenæum, xii, p. 525.

[51] Athenæus, ix, p. 407.

[52] Thucyd. vi, 15. Я перевожу выражение Фукидида, имеющее большую силу и значение - φοβηθέντες γὰρ αὐτοῦ οἱ πολλοὶ τὸ μέγεθος τῆς τε κατὰ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα παρανομίας ἐς τὴν δίαιταν, и т. д. Это же слово повторяет историк, vi, 28. τὴν ἄλλην αὐτοῦ ἐς τὰ ἐπιτηδεύματα οὐ δημοτικὴν παρανομίαν.

Та же фраза встречается и в коротком отрывке из λοιδορία Антифона (Athenæus, xii, p. 525).

Описание Алкивиада, данное в "Рассуждении" под названием Ἑρωτικὸς Λόγος, ошибочно приписываемом Демосфену (с. 12, р. 1414), является более разборчивым, чем мы обычно находим в риторических сочинениях. Τοῦτο δ' Ἀλκιβιάδην εὐρήσεις φύσει μὲν πρὸς ἀρετὴν πολλῶ χειρόν διακείμενον, καὶ τὰ μὲν ὑπερηφάνως, τὰ δὲ ταπεινῶς, τὰ δ' ὑπεράκρως, ζῆν προηρημένον- ἀπὸ δὲ τῆς Σωκράτους ὁμιλίας πολλὰ μὲν ἐπανορθωθέντα τοῦ βίου, τὰ δὲ λοιπὰ τῶ μετέθει τῶν ἄλλων ἔργων ἐπικρουσάμενον.

Из трех эпитетов, которыми автор описывает дурные наклонности Алкивиада, полные иллюстрации можно увидеть в его трудах, которые будут описаны далее. Улучшающее влияние, приписываемое здесь Сократесу, к сожалению, подтверждается гораздо меньше.

[53] Плутарх, Алкивиад. с. 4; Cornel. Непос, Алкивиад. с. 2; Платон, Протагор, с. 1.

Я не знаю, насколько памятный рассказ, приписываемый Алкивиаду в Симпозиуме Платона (с. 33, 34, pp. 216, 217), может считаться фактическим и историческим материалом в отношении Сократеса; но он является обильным доказательством в отношении общих отношений Алкивиада с другими: сравните Ксенофонт, Memorab. i, 2, 29, 30; iv. 1-2.

Несколько диалогов Платона представляют нам поразительные картины палестры, с мальчиками, юношами, учителями гимнастики, занимающимися своими упражнениями или отдыхающими от них, и философами и зрителями, которые приходили туда для развлечений и бесед. См. особенно первые главы "Лисия" и "Чармидеса"; также "Ривалы", где сцена происходит в доме γραμματιστῆς, или школьного учителя. В "Лисисе" Сократес утверждает, что его собственная беседа с этими интересными юношами является противоядием от развращающей лести большинства тех, кто стремился завоевать их расположение. Οὕτω χρῆ, ὃ Ἰππόθαλες, τοῖς παιδικοῖς διαλέγεσθαι, ταπεινοῦντα καὶ συστέλλοντα, ἀλλὰ μὴ, ὥσπερ σὺ, χαυνοῦντα καὶ διαθρύπτοντα (Lysis, с. 7, р. 210).

В качестве иллюстрации к тому, что здесь говорится об Алкивиаде в юности, см. Euripid. Supplic. 906 (о Парфенопее), а также прекрасные строки в "Атисе" Катулла, 60-69.

Не может быть сомнений в том, что на характеры всех греческих юношей с любыми притязаниями значительно повлияло это общество и разговоры их мальчишеских лет; хотя эта тема - одна из тех, по которой невозможно представить и обсудить все доказательства.

[54] Плутарх, Алкивиад, с. 10.

[55] См. описание в Протагоре Платона, с. 8, р. 317.

[56] См. Ксенофонт, Memorab. i, 2, 12-24, 39-47.

Κριτίας μὲν καὶ Ἀλκιβιάδης, οὐκ ἀρέσκοντος αὐτοῖς Σωκράτους ὠμιλησάτην, ὃν χρόνον ὠμιλείτην αὐτῶ, ἀλλ' εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὠρμηκότε προεστάναι τῆς πόλεως. Ἔτι γὰρ Σωκράτει ξυνόντες οὐκ ἄλλοις τισὶ μᾶλλον ἐπεχείρουν διαλέγεσθαι ἢ τοῖς μάλιστα πράττουσι τὰ πολιτικά.... Ἐπεὶ τοίνυν τάχιστα τῶν πολιτευομένων ὑπέλαβον κρείττονες εἶναι, Σωκράτει μὲν οὐκ ἔτι προσήεσαν, οὐδὲ

γὰρ αὐτοῖς ἄλλως ἤρεσκεν- εἴτε προσέλθοιεν, ὑπὲρ ὧν, ἡμάρτανον ἐλεγχόμενοι ἤχθοντο- τὰ δὲ τῆς πόλεως ἔπραττον, ὧνπερ ἔνεκεν καὶ Σωκράτει προσῆλθον. Сравните Платон, Apolog. Sokrat. с. 10, р. 23; с. 22, р. 33.

Ксенофонт представляет Алкивиада и Крития как часто посещающих общество Сократа по той же причине и с теми же целями, что и Платон, утверждающий, что молодые люди обычно ходили к софистам: см. Plato, Sophist. с. 20, р. 232 D.

"Nam et Socrati (замечает Квинтилиан, Inst. Or. ii, 16) objiciunt comici, docere cum, quomodo pejorem causam meliorem reddat; et contra Tisiam et Gorgiam similia dicit polliceri Plato."

Представление Платона о большом влиянии, которое приобрел Сократес на Алкивиада, а также о почтении и покорности последнего, явно не следует воспринимать как историческое, даже если бы у нас не было более простой и достоверной картины Ксенофонта. Исократес заходит так далеко, что говорит, что Сократес никогда не был известен как учитель Алкивиада: это преувеличение в другую сторону. Isokratês, Busiris, Or. xi. sect. 6, р. 222.

[57] Платон, Симпозиум, с. 35-36, р. 220 и др.

[58] См. изображение в "Протагоре" Платона нрава, в котором молодой и богатый Гиппократес отправляется за наставлениями к Протагору, и целей, которые Протагор ставит перед собой, давая эти наставления. Платон, Протагор, с. 2, р. 310 D.; с. 8, р. 316 C.; с. 9, р. 318, etc.: сравните также Платона, Мено. р. 91, и Горгия, с. 4. р. 449 E., утверждающего связь, по мнению Горгия, между обучением говорить и обучением думать - λέγειν καὶ φρονεῖν, etc.

Было бы неразумно повторять, как истинные и справедливые, все полемические обвинения против тех, кого называют софистами, даже в том виде, в каком мы находим их у Платона, без тщательной проверки и рассмотрения. Но современные писатели, пишущие о греческих делах, опускают софистов еще больше, чем Платон, и не обращают внимания на признания в их пользу, которые он, хотя и их противник, постоянно делает.

Это очень обширная тема, к которой я надеюсь еще вернуться.

[59] Я полностью не согласен с суждением д-ра Тирлуолла, который повторяет обычное представление о Сократесе и софистах, изображая Алкивиада "завлеченным в ловушку софистами", в то время как Сократес описывается как добрый гений, уберегший его от их развращения (Hist. of Greece, vol. iii, ch. xxiv, pp. 312, 313, 314). Я считаю его также ошибочным, когда он так резко отличает Сократеса от софистов; когда он описывает софистов как "претендентов на мудрость", как "новую школу", как "учение о том, что не существует реальной разницы между истиной и ложью, правильным и неправильным" и т. д.

Все правдоподобие, которое есть в этом представлении, возникает из-за путаницы между первоначальным и современным смыслом слова "софист"; последний, похоже, впервые придали этому слову Платон и Аристотель. В общепринятом древнем понимании этого слова в Афинах оно означало не *школу* людей, исповедующих общие доктрины, а *класс* людей, носящих одно и то же имя, поскольку они черпали свою известность из схожих предметов изучения и общих интеллектуальных занятий. Софисты были людьми схожего призвания и занятий, отчасти спекулятивных, отчасти профессиональных; но они сильно отличались друг от друга как по методу, так и по доктрине. (См. например, Isokratês, cont. Софисты, Orat. xiii; Платон, Мено. р. 87 B.) Софистом называли того, кто занимался умозрительными занятиями и передавал свои мнения в публичных лекциях, дискуссиях или беседах, независимо от того, какие выводы он пытался изложить или защитить. Разница между получением денег и

безвозмездным изложением, на которой так любил останавливаться сам Сократес (Xenoph. Memor. i, 6, 12), очевидно, не имеет существенного значения для дела. Когда оратор Эсхин напоминает дикастам: "Вспомните, что вы, афиняне, предали смерти *софиста Сократеса*, потому что было доказано, что он был учителем Крития" (Æschin. cont. Timarch. c. 34, p. 74), он употребляет это слово в его естественном и истинно афинском смысле. Ему нечего возразить Сократесу, который к тому времени умер более сорока лет назад; но он описывает его по профессии или роду занятий, как если бы он сказал: *Гиппократес - врач, Фидий - скульптор* и т. д. Дионисий Галикарнский называет и Платона, и Исократа софистами (Ars Rhetor. De Compos. Verborum, p. 208 R.). Нубы Аристофана и защита, выдвинутая Платоном и Ксенофонтом, показывают, что Сократес не только назывался софистом, но и рассматривался в том же свете, в котором д-р Тирлуолл представляет нам то, что он называет "новой школой софистов"; как "развратитель молодежи, безразличный к истине или лжи, праву или неправде" и т. д. См. поразительный отрывок в "Политике" Платона, с. 38, p. 299 B. Тот, кто, как и я, считает, что эти обвинения были выдвинуты против Сократеса ложно, должен быть осторожен в том, как он выдвигает их против общей профессии, к которой принадлежал Сократес.

То, что среди софистов были беспринципные и безнравственные люди - как есть и всегда были среди директоров школ, профессоров, адвокатов и т. д., да и среди всех других групп людей, - я не сомневаюсь; в какой пропорции, мы не можем определить. Но мы почувствуем, насколько трудно вынести огульное осуждение огромному числу интеллектуальных учителей в Афинах и канонизировать исключительно Сократеса и его последователей, если вспомним, что известный "Аполог", называемый "*Выбор Геракла*", был работой софиста Продикуса и его любимой темой для лекций (Ксенофонт, Memor. ii, 1, 21-34). И по сей день этот "Аполог" не имеет себе равных по впечатляющей простоте, с которой он излагает одну из важнейших точек зрения на моральные обязательства: он вошел в большее число книг по элементарной морали, чем что-либо из Сократа, Платона или Ксенофонта. Отношение к автору "Апологии" и классу, к которому он принадлежал, как к учению о том, что "не существует реальной разницы между добром и злом, истиной и ложью" и т. д., - это критика, не согласующаяся со справедливым и либеральным тоном истории доктора Тирлуолла.

Добавлю, что сам Платон в очень важном отрывке "Республики" (vi, c. 6, 7, pp. 492-493) опровергает обвинение софистов в том, что они специально развращали молодежь. Он представляет их как прививающих своим юным ученикам ту мораль, которая была принята как истинная и справедливая в их эпоху и обществе; ничего лучшего, ничего худшего. Главным развратителем, говорит он, является само общество; софисты лишь повторяют голос и суждения общества. Не задаваясь сейчас вопросом, насколько Платон или Сократес были правы, осуждая принятую мораль своих соотечественников, я полностью принимаю его утверждение, что большая часть современных профессиональных учителей преподавала то, что считалось хорошей моралью среди афинской публики: несомненно, были и те, кто преподавал лучшую мораль, и те, кто преподавал худшую. И это можно с равной долей правды сказать о большом количестве профессиональных учителей в любой эпохе и в любой стране.

Ксенофонт перечисляет различные причины, которым он приписывает испорченность характера Алкивиада: богатство, звание, личная красота, льстецы и т. д.; но он не называет среди них софистов (Memorab. i, 2. 24, 25).

Οὐ γὰρ τοιοῦτων δεῖ, τοιοῦτος εἰμ' ἐγώ, говорит Одиссей в "Филоктете" Софоклеса.

[61] Я следую критике, которую Плутарх цитирует у Теофраста, кажущейся разборчивой и взвешенной: гораздо более надежной, чем туманные восхваления Непоса или даже Демосфена (конечно, не из его собственных знаний) о красноречии Алкивиада (Плутарх, *Alkib.* с. 10); Плутарх, *Reipubl. Gerend. Præsept.* с. 8, р. 804.

Антистен, соратник и ученик Сократеса, родоначальник так называемой кинической философии, современник и лично знакомый с Алкивиадом, был полон восхищения его необычайной личной красотой и называл его сильным, мужественным и дерзким, но неученым, *ἀπαιδευτον*. Его скандалы о незаконной жизни Алкивиада, однако, превышают то, что мы можем обоснованно признать даже от современника (*Antisthenês ap. Athenæum*, v, р. 220, xii, р. 534). Антистенес написал диалог под названием "Алкивиад" (*Diog. Laërt.* vi, 15).

См. сборник "Фрагменты Антисфена" (A. G. Winckelmann, Zurich, 1842, pp. 17-19).

Комические писатели того времени - Эвполис, Аристофан, Ферекратес и другие - похоже, изобиловали шутками и пасквилями на действительные или мнимые излишества Алкивиада. Существовала неправдивая, но распространенная в комической традиции история о том, что Алкивиад, который не терпел безнаказанных оскорблений, утопил Эвполиса в море в отместку за его комедию о Крестителях. См. Мейнеке, *Fragm. Com. Græ. Eupolidis Βάπται and Κόλακες* (vol. ii, pp. 447-494), и *Aristophanês Τριφάλης*, р. 1166: также первый том Мейнеке, *Historia Critica Comic. Græc.* pp. 124-136; и *Dissertat.* xix, в *Mythologus* Буттманна, о Бапте и Котиттии.

[62] *Thucyd.* vi, 15. Сравните Плутарх, *Reip. Ger. Præc.* с. 4, р. 800. Эскиз, который Платон рисует в первых трех главах девятой книги "Республики", о гражданине, который возводит себя в ранг деспота и порабощает своих сограждан, точно соответствует характеру Алкивиада. См. также тот же трактат, vi, 6-8, с. 491-494, и предисловие Шлейермахера к его переводу платоновского диалога под названием "Алкивиад первый".

[63] *Aristophan. Ranæ*, 1445-1453; Плутарх, Алкивиад, с. 16; Плутарх, Никиас, с. 9.

[64] *Thucyd.* v, 43, vi, 90; *Isokratês, De Bigis, Or.* xvi, р. 352, sect. 27-30.

Плутарх (*Alkibiad.* с. 14) неосторожно представляет Алкивиада как фактически проксена Спарты в Афинах.

[65] *Thucyd.* v, 43. Οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ φρονήματι φιλονεικῶν ἤγαντιοῦτο, ὅτι Λακεδαιμόνιοι διὰ Νικίου καὶ Λάχητος ἔπραξαν τὰς σπονδὰς, αὐτὸν διὰ τὴν νεότητά ὑπεριδόντες καὶ κατὰ τὴν παλαιὰν προξενίαν ποτὲ οὔσαν οὐ τιμήσαντες, ἦν τοῦ πάππου ἀπειπόντος αὐτὸς τοὺς ἐκ τῆς νήσου αὐτῶν αἰχμαλώτους θεραπεύων διενοεῖτο ἀνανεώσασθαι. Πανταχόθεν τε νομίζων ἐλασσοῦσθαι τό τε πρῶτον ἀντεῖπεν, etc.

[66] *Thucyd.* v, 43.

[67] *Thucyd.* v, 48.

[68] *Thucyd.* v, 44. Ἀφίκοντο δὲ καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεις κατὰ τάχος, etc.

[69] *Thucyd.* viii, 6. Ἐνδῖω τῷ ἐφορεύοντι πατρικὸς ἐς τὰ μάλιστα φίλος-ᾧθεν καὶ τοῦνομα Λακωνικὸν ἢ οἰκία αὐτῶν κατὰ τὴν ξενίαν ἔσχεν- "Ἐνδιος γὰρ Ἀλκιβιάδου ἐκαλεῖτο.

На основании этого отрывка я склонен подозревать, что отца Эндия звали не Алкивиад, но что сам Эндий, тем не менее, носил имя "Ἐνδιος Ἀλκιβιάδου, в силу особой близости связи с

афинской семьей, в которой встречалось это имя. Если бы отец Эндия действительно носил имя Алкивиад, то сам Эндий, естественно, по общему обычаю, был бы назван Ἐνδιος Ἀλκιβιάδου: в этом обозначении не было бы ничего такого, что могло бы вызвать особое замечание Фукидида. Но, согласно мнению схолиаста и большинства комментаторов, Фукидид хочет объяснить, как отец Эндия получил имя Алкивиада. Если бы он имел в виду именно это, то, конечно, не стал бы использовать те термины, которые мы читаем: объясняемое обстоятельство относилось бы к отцу Эндия, а не к самому Эндю и не к семье в целом. Его слова подразумевают, что семья, то есть каждый последующий член семьи, получила свое лаконское обозначение (не от имени своего отца, а) от его тесной связи гостеприимства с афинским родом Алкивиадов. Каждый последующий человек присоединял к своему личному имени родительный падеж Ἀλκιβιάδου, а не родительный падеж имени своего настоящего отца. Несомненно, это было аномалией в греческой практике; но в данном случае мы должны ожидать чего-то аномального; если бы это было не так, Фукидид не стал бы отходить в сторону, чтобы уточнить это.

[70] Thucyd. v, 45. Μηχανᾶται δὲ πρὸς αὐτοὺς τοῖονδὲ τι ὁ Ἀλκιβιάδης- τοὺς Λακεδαιμονίους πείθει, πίστιν αὐτοῖς δοῦς, ἣν μὴ ὁμολογήσωσιν ἐν τῷ δήμῳ αὐτοκράτορες ἥκειν, Πύλον τε αὐτοῖς ἀποδώσειν (πεῖσειν γὰρ αὐτὸς Ἀθηναίους, ὥσπερ καὶ νῦν ἀντιλέγειν) καὶ τᾶλλα ξυναλλάξειν. Βουλόμενος δὲ αὐτοὺς Νικίου τε ἀποστήσαι ταῦτα ἔπραττε, καὶ ὅπως ἐν τῷ δήμῳ διαβαλὼν αὐτοὺς ὥς οὐδὲν ἀληθὲς ἐν νῶ ἔχουσιν, οὐδὲ λέγουσιν οὐδέποτε ταῦτα, τοὺς Ἀργεῖους συμμάχους ποιήσει.

[71] Плутарх (Алкивиад. с. 14). Ταῦτα δ' εἰπὼν ὄρκους ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ μετέστησεν ἀπὸ τοῦ Νικίου παντάπασι πιστεύοντας αὐτῷ, καὶ θαυμάζοντας ἅμα τὴν δεινότητα καὶ σύνεσιν, ὥς οὐ τοῦ τυχόντος ἀνδρὸς οὔσαν. Опять же, Плутарх, Никиас, с. 10.

[72] Плутарх, Алкиб. с. 14. Ἐρωτώμενοι δ' ὑπὸ τοῦ Ἀλκιβιάδου πάνυ φιλανθρώπως, ἐφ' οἷς ἀφιγμένοι τυγχάνουσιν, οὐκ ἔφασαν ἥκειν αὐτοκράτορες.

[73] Thucyd. v, 45. Οἱ Ἀθηναῖοι οὐκέτι ἠνείχοντο, ἀλλὰ τοῦ Ἀλκιβιάδου πολλῷ μᾶλλον ἢ πρότερον καταβοῶντος τῶν Λακεδαιμονίων, ἐσήκουόν τε καὶ ἐτοῖμοι ἦσαν εὐθὺς παραγαγεῖν τοὺς Ἀργεῖους, и т. д.

Сравните Плутарх, Алкиб. с. 14; и Плутарх, Никиас, с. 10.

[74] Euripid. Andromach. 445-455; Herodot. ix, 54.

[75] Thucyd. v, 46.

[76] Thucyd. v, 46; Плутарх, Никиас, с. 10.

[77] Thucyd. v, 47. ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν συμμάχων ὧν ἄρχουσιν ἑκάτεροι.

[78] Thucyd. v, 48. καὶ τῶν συμμάχων ὧν ἂν ἄρχουσιν ἕκαστοι. Время и фраза здесь заслуживают внимания, в отличие от фразы в предыдущей части договора -τῶν συμμάχων ὧν ἄρχουσιν ἑκάτεροι.

Положение, налагающее фактическую обязанность препятствовать проходу войск, должно было быть оставлено открытым для применения к действительному времени.

[79] Thucyd. v, 47.

[80] Thucyd. v, 48.

[81] Thucyd. v, 48-50.

[82] Καταθέντων δὲ καὶ Ὀλυμπίασι στήλην χαλκὴν κοινῇ Ὀλυμπίοις τοῖς νυνί (Thucyd. v, 47), слова договора.

[83] Доризэ Родосский был победителем в панкратионе, как в Olymp. 88 и 89, (428-424 гг. до н.э.). Родос был включен в число союзников-трибунов Афин. Но атлеты, приехавшие на состязания, были привилегированными и (как бы) священными лицами, к которым никогда не приставали и не препятствовали приехать на праздник, если они решали приехать, ни при каком военном положении. Их неприкосновенность никогда не нарушалась, вплоть до суровых действий Арата (Плутарх, Арат, с. 28).

Но это не доказывает, что родосские посетители в целом или родосский теорий могли спокойно приехать в Олимпию между 431-421 годами.

По присутствию отдельных лиц, даже в качестве зрителей, можно сделать мало выводов: ведь даже на этом самом олимпийском празднике 420 г. до н. э. спартанец Лихас присутствовал в качестве зрителя, хотя все лакедемоняне были формально исключены провозглашением элейцев (Thucyd. v, 50).

[84] О вкусе и изяществе, с которым эти выставки обычно устраивались в Афинах, превосходящих в целом все остальные города Греции, см. замечательное свидетельство в Xenophon, Memorabil. iii, 3, 12.

[85] Thucyd. vi, 16. Οἱ γὰρ Ἕλληνες καὶ ὑπὲρ δύνανιν μείζω ἡμῶν τὴν πόλιν ἐνόμισαν τῷ ἐμῷ διαπρεπεῖ τῆς Ὀλυμπιάζε θεωρίας, πρότερον ἐλπίζοντες αὐτὴν καταπεπολεμῆσθαι- διότι ἄρματα μὲν ἑπτὰ καθῆκα, ὅσα οὐδεὶς πω ἰδιώτης πρότερον, ἐνίκησά τε, καὶ δεύτερος καὶ τέταρτος ἐγενόμην, καὶ τᾶλλα ἀξίως τῆς νίκης παρεσκευασάμην.

Всю силу этого грандиозного представления можно почувствовать, только если вспомнить особое положение Афин и афинских союзников по отношению к Олимпии, а также самого Алкивиада по отношению к Афинам, Аргосу и остальной Греции в первой половине 420 года до н.э.

Алкивиад добился от Еврипида чести написать эпиникийскую оду, или триумфальную песнь, в честь этого события; несколько строк из нее сохранились у Плутарха (Alkib. с. 11). Любопытно, что поэт утверждает, что Алкивиад был первым, вторым и *третьим* на дистанции; в то время как сам Алкивиад, более скромный и, несомненно, более точный, претендует только на первое, второе и *четвертое*. Еврипид сообщает нам, что Алкивиад был дважды коронован и дважды провозглашен -δῖς στεφθέντ' ἐλαίᾳ κάρυκι βοῶν παραδοῦναι. Рейске, Корей и Шефер сочли правильным изменить это слово δῖς на τρῖς, не имея на то никаких оснований, что полностью меняет утверждаемый факт. Синтенис в своем издании Плутарха правильно восстановил слово δῖς.

О том, как долго воспоминания об этом знаменитом олимпийском празднике сохранялись в афинском общественном сознании, свидетельствует, в частности, Oratio de Bigis Исократека, написанная в защиту сына Алкивиада по крайней мере двадцать пять лет спустя, а возможно, и больше. Исократес повторяет вольное утверждение Еврипида, πρῶτος, δεύτερος и τρίτος (Or. xvi, р. 353, sect. 40). Поддельная оратория под названием "Оратория Андокидеса против Алкивиада" также сохранила многие из существующих рассказов, некоторые из которых я включил в текст, потому что считаю их вероятными сами по себе и потому что саму ораторию можно с полным основанием считать сочинением середины IV века до н. э. В этой оратории все действия Алкивиада изложены в очень

недоброжелательном тоне и с явным преувеличением. История о том, как Алкивиад ограбил афинянина Диомедеса, отобрав у него прекрасную колесницу, кажется вариацией на тему истории о Тисиасе, которая фигурирует в оратории Исократа; см. Andokid. cont. Alkib. sect. 26: возможно, Алкивиад оставил одну из упряжек неоплаченной. Помощь, оказанная Алкивиаду хианами, эфесцами и т. д., описанная в этой оратории, вероятно, в значительной степени соответствует действительности и легко объяснима. Сравните Athenæ. i, p. 3.

Наши сведения о том, как проходили гонки на колесницах в Олимпии, весьма несовершенны. Мы не знаем точно, как семь колесниц Алкивиада участвовали в гонках, - в скольких гонках, - потому что все семь, по моему мнению, не могли участвовать в одной и той же гонке. Должно было быть много других колесниц, принадлежащих другим участникам: трудно поверить, что в одной и той же гонке могло участвовать больше десяти колесниц, поскольку дистанция включала *двенадцать* раз объехать ворота (Pindar, Ol. iii, 33; vi, 75). В гонке, описанной Софоклесом (Electr. 708), участвуют десять колесниц, и если бы мы рискнули строго истолковать выражение поэта - *δέκατον ἐκπληρῶν ὄχον*, - то, по-видимому, десять было крайним числом, допущенным к гонке. Даже такое большое число, как десять, было сопряжено с опасностью для занимающихся, в чем можно убедиться, прочитав описание у Софокла (ср. Demosth. 'Ερωτ. Λογ. p. 1410), который, правда, ссылается на пифийское, а не олимпийское торжество: но основные обстоятельства должны были быть общими для обоих; и мы знаем, что двенадцать оборотов (*δωδεκάγυμπττον δωδεκάδρομον*) были общими для обоих (Pindar, Pyth. v, 31).

Алкивиад был не единственным, кто одержал победу на колеснице на этой 90-й Олимпиаде 420 г. до н. э. Лихас Лакедемон также одержал ее (Thucyd. v, 50), хотя колесница должна была быть записана на другое имя, поскольку лакедемонянам было запрещено присутствовать на соревнованиях.

Д-р Тирлуолл (Hist. of Greece, vol. iii, ch. xxiv, p. 316) говорит: "Мы не знаем, что Олимпиада, на которой были одержаны эти победы на колесницах Алкивиада, может быть четко определена. Но, вероятно, это была Олимпиада 89 года до н.э. 89, 424 Г. ДО Н.Э."

По моему мнению, оба Olymp. 88 (428 г. до н. э.) и Olymp. 89 (424 г. до н. э.) исключаются из возможного предположения тем, что в оба периода шла всеобщая война. Предполагать, что в середине лета этих двух боевых лет на месяц наступило олимпийское перемирие, позволившее Афинам и их союзникам отправить туда свои торжественные делегации, колесницы для соревнований и многочисленных индивидуальных гостей, мне представляется противоречащим всякой вероятности. Олимпийский месяц 424 года до н. э. пришелся как раз на то время, когда Брасидас на перешейке собирал войска для намеченной экспедиции во Фракию и когда он спас Мегару от нападения афинян. Это было бы не очень спокойное время для мирных афинских гостей, которые с дорогими золотыми и серебряными украшениями и показным богослужением проходили мимо, направляясь в Олимпию. В то время, когда спартанцы заняли Декелею, торжественные процессии причастников Элевсинских мистерий никогда не могли пройти по Священному пути из Афин в Элевсис. Xen. Hell. i, 4, 20.

Более того, мы видим, что первая статья как перемирия на один год, так и Никиасского мира прямо предусматривает свободу для всех посещать общие храмы и праздники. Первая из них относится непосредственно к Дельфам, вторая - общая, охватывающая как Олимпию, так и Дельфы. Если бы афиняне беспрепятственно посетили Олимпию в 428 или 424 году до н. э., эти положения договоров не имели бы ни цели, ни смысла. Но тот факт, что они стоят на первом месте в договоре, доказывает, что они представляли большой интерес и важность.

Олимпийский праздник, на котором Алкивиад состязался со своими семью колесницами в 420 году до н. э., я поместил в мирное время, но сразу после войны. Никакой другой праздник не кажется мне подходящим.

Д-р Тирлуолл далее предполагает, как само собой разумеющееся, что на этом олимпийском фестивале была только одна гонка колесниц, что все семь колесниц Алкивиада участвовали в этой одной гонке, и что на фестивале 420 года до н. э. Лихас получил приз: таким образом подразумевается, что Алкивиад не мог получить приз на том же фестивале.

Я не знаю, есть ли какие-либо доказательства, подтверждающие любое из этих трех предположений. Все они кажутся мне неправдоподобными и необоснованными.

Из Павсания (vi, 13, 2) мы знаем, что даже в случае со стадиодрами, или бегунами, которые соревновались на стадионе, все они не выводились на одну дистанцию. Они были распределены по группам или партиям, число которых нам неизвестно. Каждый набор проводил свой забег, и победители в каждом из них затем соревновались друг с другом в новом забеге; таким образом, победитель, получивший главный финальный приз, обязательно выигрывал два забега.

Если такая практика была принята у пеших бегунов, то тем более она будет принята у колесничих, если на один праздник приедет много колесниц. Опасность уменьшится, спортивность возрастет, а слава участников возрастет. Олимпийский фестиваль длился пять дней, что было очень долго для развлечения такой огромной толпы зрителей. Поэтому Алкивиад и Лихас могли одержать победу на колесницах на одном и том же фестивале: конечно, только один из них мог получить главный финальный приз, и кто из них двоих это был, сказать невозможно.

[86] Thucyd. v, 49, 50.

[87] Thucyd. v, 50. Λακεδαιμόνιοι μὲν εἵργοντο τοῦ ἱεροῦ, θυσίας καὶ ἀγώνων, καὶ οἴκοι ἔθουον- οἱ δὲ ἄλλοι Ἑλλήνες ἐθεώρουν, πλὴν Λεπρεατῶν.

[88] Thucyd. v, 28. Κατὰ γὰρ τὸν χρόνον τοῦτον ἥ τε Λακεδαίμων μάλιστα δὴ κακῶς ἦκουσε, καὶ ὑπερώφθη διὰ τὰς ξυμφορὰς, οἳ τε Ἀργεῖοι ἄριστα ἔσχον τοῖς πᾶσι, etc.

[89] См. предыдущее примечание, с. 56.

[90] Thucyd. v, 50. Λίχας ὁ Ἀρκεσιλάου Λακεδαιμόνιος ἐν τῷ ἀγῶνι ὑπὸ τῶν ῥαβδούχων πληγὰς ἔλαβεν, ὅτι νικῶντος τοῦ ἑαυτοῦ ζεύγους, καὶ ἀνακηρυχθέντος Βοιωτῶν δημοσίου κατὰ τὴν οὐκ ἐξουσίαν τῆς ἀγωνίσεως προελθὼν ἐς τὸν ἀγῶνα ἀνέδραμε τὸν ἡνίοχον, βουλόμενος δηλῶσαι ὅτι ἑαυτοῦ ἦν τὸ ἄρμα.

В сравнении с этим инцидентом мы видим, насколько менее грубой и жесткой была манера поведения в Афинах и насколько более серьезными считались легкие удары по лицу. На афинском празднике Дионисии, если кто-либо нарушал порядок или проникал в не принадлежащее ему место в театре, архонт или его должностные лица имели право и обязаны были пресечь беспорядок, выгнав человека и оштрафовав его, если это было необходимо. Но они ни в коем случае не должны были бить его. Если же они это делали, то впоследствии сами подвергались наказанию со стороны дикастерия (Demosth. cont. Meidiam, с. 49).

[91] Однако можно заметить, что лакедемоняне вспомнили и отомстили элейцам за это оскорбление через двенадцать лет после этого, во время расцвета своей власти (Xenoph. Hellen. iii, 2, 21; Diodor. xiv, 17).

[92] Thucyd. v, 51, 52.

[93] Thucyd. v, 48-50.

[94] Plato, Symposion, c. 35, p. 220. δεινοὶ γὰρ αὐτόθι χειμῶνες, πάγου οἴου δεινοτάτου, etc.

[95] Thucyd. v, 52. Исократес (De Bigis, sect. 17, p. 349) говорит об этой экспедиции Алкивиада своим обычным вольным и преувеличенным языком: но он имеет право обратить на нее внимание как на нечто очень памятное в то время.

[96] Thucyd. v, 52.

[97] Thucyd. v, 53, с примечанием д-ра Арнольда.

[98] Thucyd. v, 54. ἦδεῖ δὲ οὐδεὶς ὅποι στρατεύουσιν οὐδὲ αἱ πόλεις ἐξ ὧν ἐπέμφθησαν.

Этот случай показывает, что Спарта использовала военную силу своих союзников, не считаясь с их чувствами, так же решительно, как и Афины; хотя среди них были некоторые слишком могущественные, чтобы с ними можно было так обращаться.

[99] Thucyd. v, 54. Ἀργεῖοι δ' ἀναχωρησάντων αὐτῶν (лакедемоняне), τοῦ πρὸ τοῦ Καρνείου μηνὸς ἐξελθόντες τετράδι φθίνοντος, καὶ ἄγοντες τὴν ἡμέραν ταύτην πάντα τὸν χρόνον, ἐσέβαλον ἐς τὴν Ἐπιδαυρίαν καὶ ἐδήρουν- Ἐπιδαυριοὶ δὲ τοὺς συμμαχοὺς ἐπεκαλοῦντο- ὧν οἱ μὲν τὸν μῆνα προῤῥασίσαντο, οἱ δὲ καὶ ἐς μεθορίαν τῆς Ἐπιδαυρίας ἐλθόντες ἠσύχαζον.

Объясняя этот отрывок, я осмеливаюсь отступить от мнения всех комментаторов; с тем меньшим остервенением, что, как мне кажется, даже лучшие из них здесь смущены и неудовлетворительны.

Значение, которое я придаю этим словам, является наиболее строгим и буквальным из всех возможных: "Аргей, отправившись 26 числа месяца до Карнея и *придерживаясь этого дня в течение всего времени*, вторглись на территорию Эпидавра и продолжали ее опустошать". Под "в течение всего времени" подразумевается, что экспедиция длилась все это время. То есть, по моему мнению, они держали двадцать шестой день предшествующего месяца в течение целой недели или около того; они называли каждый последующий день тем же именем; они остановили исчисляемое шествие времени; двадцать седьмое так и не было признано наступившим. Д-р Тирлуолл переводит это так (Hist. Gr. vol. iii, ch. xxiv, p. 331): "Они начали свой поход в день, который они *всегда* привыкли считать святым". Но, конечно, слова πάντα τὸν χρόνον должны обозначать какой-то определенный промежуток времени и вряд ли могут быть истолкованы как эквивалент αἰεί. Кроме того, эти слова, как их истолковывает доктор Тирлуолл, вводят новый факт, который не имеет никакого видимого отношения к основному утверждению предложения.

Смысл, который я привожу, может быть поставлен под сомнение на том основании, что такая подделка календаря слишком абсурдна и ребячлива, чтобы быть действительно совершенной. Однако оно не более абсурдно, чем два голоса афинского собрания (в 290 году до н. э.), которое, находясь в месяце Мунихион, сначала проголосовало за то, чтобы этот месяц стал месяцем Антестекрион, а затем за то, чтобы он стал месяцем Бокдромион, чтобы Деметрий Полиоркетс мог быть посвящен как в малые, так и в большие таинства Дкеметра, причем одновременно и в одно время. Деметрий прибыл в Афины в месяце Мунихион и

прошел обе церемонии почти без задержки; религиозные предрассудки и достоинство двух богинь были сохранены благодаря двукратному изменению названия месяца (Plutarch, Demetrius, с. 26).

Кроме того, если мы обратимся к поведению самих аргейцев в более поздний период (389 г. до н. э., Ксенофонт, Hellen. iv, 7, 2, 5; v, 1, 29), то увидим, что они разыграли аналогичный трюк с календарем, чтобы получить выгоду от священного перемирия. Когда лакедемоняне вторглись в Аргос, аргейцы послали глашатаев с венками и соответствующими знаками отличия, чтобы предупредить их, ссылаясь на то, что это время священного перемирия, - хотя на самом деле это было не так, - οὐχ ὅποτε κάθηκοι ὁ χρόνος, ἀλλ' ὅποτε ἐμβάλλειν μέλλοιεν Λακεδαιμόνιοι, τότε ὑπέφερον τοὺς μῆνας-Οἱ δ' Ἀργεῖοι ἐπεὶ ἔγνωσαν οὐ δυνησόμενοι κωλύειν, ἔπεμψαν, ὥσπερ εἰώθεσαν, ἑσπεφανωμένους δύο κήρυκας ὑποφέροντας σπονδάς. Не раз эта уловка приносила успех: лакедемоняне не решались действовать вопреки призывам глашатаев, которые утверждали, что наступило время перемирия, хотя на самом деле это было не так. Наконец, спартанский царь Агесиполис отправился в Олимпию и Дельфы, чтобы задать оракулам вопрос, обязан ли он принять перемирие в любой момент, правильный или неправильный, когда аргейцам будет удобно выдвинуть его в качестве фиктивной мольбы (ὑποφέρειν). Оракулы сказали ему, что он не обязан подчиняться такому предлогу; поэтому он отослал глашатаев назад, отказавшись выполнить их призыв, и вторгся на территорию Аргей.

Здесь как раз тот случай, с той лишь разницей, что аргейцы, захватив Эпидавр, подделывают календарь, чтобы уничтожить священное перемирие там, где оно действительно должно было наступить, а когда они сами являются захваченной стороной, они совершают подобную фальсификацию, чтобы ввести перемирие там, где оно не должно быть законным. Поэтому я полагаю, что подобный случай полностью оправдывает толкование, которое я дал рассматриваемому нами отрывку из Фукидида.

Но даже если бы я не смог привести столь точно параллельный случай, я все равно должен был бы защищать это толкование. Если взглянуть на состояние древнегреческих календарей, то на действия, вменяемые аргейцам, не следовало бы смотреть как на слишком нелепые и абсурдные для принятия, с той же точки зрения, с какой мы должны смотреть на них сейчас.

За исключением Афин, мы не знаем полностью календаря ни одного другого греческого города: но мы знаем, что месяцы во всех из них были лунными, и что практика интеркаляции для предотвращения неудобных расхождений между лунным и солнечным временем была различной в каждом городе. Соответственно, лунный месяц одного города не мог, кроме как случайно, начинаться или заканчиваться в то же время, что и лунный месяц другого. М. Бёкх замечает (ad Corp. Inscr. t. i, p. 734): "Variorum populorum menses, qui sibi secundum legitimos annorum cardines respondent, non quovis conveniunt anno, nisi cyclus intercalationum utriusque populi idem sit: sed ubi differunt cycli, altero populo prius intercalante mensem dum non intercalat alter, eorum qui non intercalarunt mensis certus cedit jam in eum mensem alterorum qui praecedat illum cui vulgo respondet certus iste mensis: quod tamen negligere solent chronologi." Сравните также ценную диссертацию К. Ф. Германа, Ueber die Griechische Monatskunde, Götting. 1844, pp. 21-27, где хорошо собрано все, что известно о греческих названиях и расположении месяцев.

Названия аргейских месяцев нам почти совсем неизвестны (см. К. F. Hermann, pp. 84-124): действительно, единственное название, опирающееся на положительные доказательства, - это название месяца *Hermæus*. Насколько аргосские месяцы совпадали с месяцами

Эпидавра или Спарты, мы не знаем, да и не имеем права предполагать, что они совпадали. Также ни в коем случае не ясно, что в каждом городе Греции существовала *система* интеркаляции, которую можно назвать правильной, настолько правильной, чтобы поддерживать календарь без частых произвольных вмешательств. Даже в Афинах еще не доказано, что Метонов календарь был принят в гражданское пользование. Цицерон, описывая практику сицилийских греков по отсчету времени, характеризует их вмешательства с целью исправления календаря как эпизодические, а не систематические. Веррес воспользовался этими вмешательствами, чтобы произвести еще более сильное изменение, объявив январские иды мартовскими (Cicero, Verr. ii, 52, 129).

Теперь, когда народ привык ошибаться в своем календаре и видеть периодические вмешательства, вносимые властью для его исправления, шаг, который, как я предполагаю, предприняли аргейцы в связи с вторжением в Эпидавр, не покажется абсурдным и нелепым. Аргейцы сделали бы вид, что настоящее время для празднования праздника Карнея еще не наступило. В этом вопросе они не обязаны были следовать мнениям других дорийских государств, поскольку, похоже, не было никакого признанного авторитета для объявления начала Карнейского перемирия, как элейцы объявляли Олимпийское, а коринфяне - Истмийское перемирие. Поэтому, заявив, что двадцать шестое число месяца, предшествующего Карнею, должно быть повторено, а двадцать седьмое не должно признаваться наступившим в течение двух или трех недель, аргейское правительство лишь использовало способ, к которому уже прибегали раньше, хотя в рассматриваемом нами случае он был использован с обманной целью.

Спартанский месяц *Гекатомб*, по-видимому, соответствовал аттическому месяцу Гекатомбæон; следующий за ним спартанский месяц *Карней* - аттическому месяцу Метагейтнийон (Hermann, p. 112), нашим месяцам июлю и августу; такое соответствие отнюдь не является точным или постоянным. И д-р Арнольд, и Гёллер говорят о Гекатомбее, как об *аргейском* месяце, предшествующем Карнею, но мы знаем его только как *спартанский* месяц. Его название не встречается среди месяцев дорийских городов Сицилии, среди которых, тем не менее, Карней кажется универсальным. См. Franz, Comm. ad Corp. Inscript. Græc. No. 5475, 5491, 5640. Часть xxxii, p. 640.

Трюки с календарем в Риме, разыгрываемые политическими властями в партийных целях, хорошо известны каждому. И даже в некоторых государствах Греции ход календаря был настолько неопределенным, что служил пословичным выражением для обозначения неразрешимой путаницы. См. Гесихий -'Εν Κέω τις ἡμέρα; Ἐπὶ τῶν οὐκ εὐγνώστον- οὐδεὶς γὰρ οἶδεν ἐν Κέω τις ἡμέρα, ὅτι οὐκ ἔστ᾿αἰν αἱ ἡμέραι, ἀλλ' ὥς ἕκαστοι θέλουσιν ἄγουσι. См. также Aristoph. Nubes, 605.

[100] Thucyd. v, 55. καὶ Ἀθηναίων αὐτοῖς χίλιοι ἐβοήθησαν ὀπλῖται καὶ Ἀλκιβιάδης στρατηγός: πυθόμενοι τοὺς Λακεδαιμονίους ἐξεστρατεῦσθαι- καὶ ὥς οὐδὲν ἔτι αὐτῶν ἔδει, ἀπῆλθον. Это чтение, которое принимают или рекомендуют Портус, Блумфилд, Дидо и Гёллер; опустив частицу δὲ, которая стоит в общем тексте после πυθόμενοι.

Если мы не примем это чтение, то должны будем истолковать ἐξεστρατεῦσθαι, как это делают д-р Арнольд и Поппо, в смысле "уже закончили свою экспедицию и вернулись домой". Но нет никаких оснований придавать такое значение глаголу ἐκστρατεύω: а мнение д-ра Арнольда, который считает, что это значение принадлежит исключительно претериту или плюсквамперфекту, убедительно опровергается использованием слова ἐξεστρατευμένων (ii, 7), того же глагола и того же времени, но в значении, противоположном тому, которое он приписывает.

Мне представляется наименее предосудительным из двух вариантов отказаться от частицы δέ.

[101] Thucyd. v, 56.

[102] Thucyd. v, 37.

[103] Thucyd. v, 58. Οἱ δὲ Ἀργεῖοι γνόντες ἐβοήθουν *ἡμέρας ἤδη* ἐκ τῆς Νεμέας, etc.

[104] Thucyd. v, 60. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι εἶποντο μὲν ὡς ἡγεῖτο διὰ τὸν νόμον, ἐν αἰτία δὲ εἶχον κατ' ἀλλήλους πολλῇ τὸν Ἄγιν, etc.

[105] Thucyd. v, 60. Ἀργεῖοι δὲ καὶ αὐτοὶ ἔτι ἐν πολλῷ πλέονι αἰτία εἶχον *τοὺς σπεισμένους ἄνευ τοῦ πλήθους*, etc.

[106] Thucyd. v, 60.

[107] Thucyd. v, 62.

[108] Thucyd. v, 64. ὅσον οὐκ ἀφέστηκεν и т. д.

[109] Thucyd. v, 63.

[110] Thucyd. v, 64. ἐνταῦθα δὲ βοήθεια τῶν Λακεδαιμονίων γίνεται αὐτῶν τε καὶ τῶν Εἰλώτων πανδημεὶ ὀξεῖα καὶ οἷα οὕτω πρότερον. Выдвижение спартанцев перед битвой при Платее (описанное в Herodot. vii, 10), однако, кажется, было столь же быстрым и мгновенным.

[111] Thucyd. v, 64. ξυνέκληγε γὰρ διὰ μέσου.

[112] Лакедемонские цари, по-видимому, испытывали чувство защиты, разбив лагерь возле храма Геракла, своего героического прародителя (см. Ксенофонт, Hellen. vii, 1, 31).

[113] Thucyd. v, 65. См. восклицание старого спартанца, упомянутое как имеющее важные последствия, в момент, когда должна была начаться битва, в Xenophon, Hellen. vii, 4, 25.

[114] Thucyd. v, 66. μάλιστα δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐς ὃ ἐμέμνηντο, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἐξεπλάγησαν διὰ βραχείας γὰρ μελλήσεως ἢ παρασκευῇ αὐτοῖς ἐγίγνετο, etc.

[115] Thucyd. v, 66. Σχεδὸν γάρ τι πᾶν, πλην ὀλίγου, τὸ στρατόπεδον τῶν Λακεδαιμονίων ἄρχοντες ἀρχόντων εἰσὶ, καὶ τὸ ἐπιμελὲς τοῦ δρωμένου πολλοῖς προσήκει.

Ксенофонт, De Republ. Laced. xi, 5. Αἱ παραγωγαὶ ὥσπερ ὑπὸ κήρυκος ὑπὸ τοῦ ἐνωμοτάρχου λόγῳ δηλοῦνται: ср. xi, 8, τῷ ἐνωμοτάρχῃ παρεγγυᾶται εἰς μέτωπον παρ' ἄσπιδα καθίστασθαι и др.

[116] Thucyd. v, 66. εὐθύς ὑπὸ σπουδῆς καθίσταντο *ἐς κόσμον τὸν ἑαυτῶν*, Ἄγιδος τοῦ βασιλέως ἕκαστα ἐξηγουμένου κατὰ τὸν νόμον, etc.

[117] Xenophon, Cyrop. iv, 2. 1: см. Diodor. xv, с. 32; Xenophon, Rep. Laced. xiii, 6.

[118] Thucyd. v, 67.

[119] Очень мало можно сказать о структуре лакедемонской армии. Мы знаем, что эномотия была элементарным подразделением, военной единицей: что пентекостия состояла из определенного (не всегда одинакового) числа эномотий: что лохус также состоял из определенного (не всегда одинакового) числа пентекостий. Мора, по-видимому, была еще

более крупным подразделением, состоявшим из стольких лохий (согласно Ксенофону, из четырех лохий): но Фукидид говорит, будто он не знает подразделений крупнее лохий.

Кроме этой весьма скудной информации, кажется, нет других точно установленных фактов о распределении лакедемонских войск. Не следует также ожидать, что эти слова *enômoty*, *pentekosty*, *lochus* и т. д. обозначают какое-либо фиксированное число людей: наши собственные названия *полк*, *рота*, *отряд*, *бригада*, *дивизия* и т. д. более или менее неопределенны в отношении положительного числа и соотношения друг с другом.

Что было свойственно лакедемонскому учению, так это обучение небольшого числа мужчин, как эномотия (двадцать пять, тридцать два, тридцать шесть человек, как мы иногда находим), чтобы выполнять свои упражнения под командованием своего эномотарха. Когда это было достигнуто, вероятно, сочетание этих элементарных подразделений оставалось определяться в каждом случае обстоятельствами.

Фукидид констатирует два разных факта. 1. В каждой эномотии *было по четыре человека впереди*. 2. *Глубина* каждого эномотия *варьировалась* в зависимости от выбора каждого лохага. Теперь Добри с большим основанием спрашивает, как можно согласовать эти два утверждения? Учитывая количество людей впереди, глубина эномотии, конечно, определяется, без всякой ссылки на усмотрение кого-либо. Эти два утверждения явно противоречат друг другу; если только мы не предположим (во что очень трудно поверить), что из-за лохани один или два из четырех файлов одной и той же эномотии могут быть глубже остальных. Добри предлагает в качестве средства устранения этой трудности исключить некоторые слова из текста. Однако в этом предположении нельзя быть уверенным.

[120] Thucyd. v, 69. Λακεδαιμόνιοι δὲ καθ' ἐκάστους τε καὶ μετὰ τῶν πολεμικῶν νόμων ἐν σφίσιν αὐτοῖς ὧν ἠπίσταντο τὴν παρακέλευσιν τῆς μνήμης ἀγαθοῖς οὖσιν ἐποιοῦντο, εἰδότες ἔργων ἐκ πολλοῦ μελέτην πλείω σῶζουσιν ἢ λόγων δι' ὀλίγου καλῶς ῥηθέντων παραίνεσιν.

[121] Thucyd. v, 70. Ἀργεῖοι μὲν καὶ οἱ ξύμμαχοι, ἐντόνως καὶ ὀργῇ χωροῦντες, Λακεδαιμόνιοι δὲ, βραδέως καὶ ὑπὸ αὐλητῶν πολλῶν νόμῳ ἐγκαθεστῶτων, οὐ τοῦ θεοῦ χάριν, ἀλλ' ἵνα ὁμαλῶς μετὰ ῥυθμοῦ βαίνοντες προσέλθοιεν καὶ μὴ διασπασθείη αὐτῶν ἡ τάξις, ὅπερ φιλεῖ τὰ μεγάλα στρατόπεδα ἐν ταῖς προσόδοις ποιεῖν.

[122] Thucyd. v, 67. Τότε δὲ κέρας μὲν εὐώνυμον σκίρῃται αὐτοῖς καθίσταντο, *ἀεὶ ταύτην τὴν τάξιν μόνοι Λακεδαιμονίων ἐπὶ σφῶν αὐτῶν ἔχοντες*, etc.

Сильный и точный язык, который здесь использует Фукидид, показывает, что это была привилегия, которую особо отметили и очень почитали: среди лакедемонян, особенно, древняя рутина ценилась больше, чем в других местах. И это обстоятельство необходимо принять к сведению, чтобы оценить полководческий талант Агиса, который был подвергнут довольно жесткой критике.

[123] Thucyd. v, 72. (Οἱ Λακεδαιμόνιοι τοὺς Ἀργείους) Ἐτρεψαν οὐδὲ ἐς χεῖρας τοὺς πολλοὺς ὑπομείναντας, ἀλλ' ὥς ἐπῆσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι εὐθύς ἐνδόντας, καὶ ἐστὶν οὖς καὶ καταπατηθέντας, τοῦ μὴ φθῆναι τὴν ἐγκατάληψιν.

Последние слова этого предложения представляют собой трудность, которая озадачила всех комментаторов и которую ни один из них до сих пор не смог удовлетворительно разрешить.

Все они признают, что выражения *τοῦ*, *τοῦ μὴ*, предшествующие инфинитиву, как здесь, означают *замысел* или *цель*; ἔνεκα подразумевается. Но ни один из них не может

удовлетворительно истолковать предложение с этим значением: соответственно, они приписывают здесь этим словам другое, исключительное значение. См. примечания Поппо, Гёллера и д-ра Арнольда, в которых приводятся и обсуждаются мнения других критиков.

Одни говорят, что τοῦ μὴ в этом месте означает то же, что и ὥστε μὴ: другие утверждают, что оно тождественно с διὰ τὸ μὴ или с τῷ μὴ. "Формула τοῦ, τοῦ μὴ (говорят Бауэр и Гёллер), plerumque *consilium* significat: interdum *effectum* (то есть ὥστε μὴ); hic *causam* indicat (то есть διὰ τὸ μὴ, или τῷ μὴ)". Но я согласен с д-ром Арнольдом в том, что последнее из этих трех предполагаемых значений совершенно неправомерно; второе же, которое принимает сам д-р Арнольд, поддерживается лишь слабыми и сомнительными доказательствами; ведь отрывок из Фукидида (ii, 4. τοῦ μὴ ἐκφεύγειν) может быть так же хорошо истолкован, как предполагает примечание Поппо, без какого-либо такого предполагаемого исключительного смысла этих слов.

Теперь мне кажется вполне возможным истолковать здесь слова τοῦ μὴ φθῆναι в их обычном и законном смысле *ἐνεκα* τοῦ, или *consilium*. Но сначала необходимо устранить ошибку, которая пронизывает взгляды большинства комментаторов. Они полагают, что те аргейцы, о которых здесь говорится, что они были "растоптаны ногами", были растоптаны лакедемонянами во время их наступления. Но это во всех отношениях неправдоподобно. Лакедемоняне были особенно медлительны в движении, ровны в строю и отходчивы в преследовании - качества, на которых останавливается Фукидид в связи с этим сражением. Они вряд ли догнали бы таких перепуганных людей, которые стремились только убежать: более того, если бы они их и догнали, то пронзили бы копьем, а не топтали бы ногами.

Быть растоптанным ногами, хотя это и возможно со стороны многочисленной персидской конницы (Herodot. vii, 173; Xenoph. Hellen. iii, 4, 12), - это не то обращение, с которым побежденные солдаты встречаются с победоносной вражеской пехотой в поле, особенно с лакедемонской пехотой. Но это именно то обращение, с которым они сталкиваются, если находятся в одной из задних шеренг, от своих же товарищей в передней шеренге, охваченных паникой, которые видят, что враг приближается к ним, и бешено бросаются назад, чтобы оторваться от него. Конечно же, именно аргейцы в передней шеренге были охвачены самой сильной паникой, и поэтому они обрушились на своих товарищей в задней шеренге, опрокидывая и сбивая их с ног, чтобы спастись самим. Кажется совершенно очевидным, что именно аргейцы впереди, а не лакедемоняне, повалили своих товарищей в тылу (вероятно, в каждом ряду было шесть или восемь человек), чтобы спастись самим, пока лакедемоняне не настигли их: ср. Xen. Hellenic. iv, 4, 11; Oeconomic. viii, 5.

Таким образом, во всей сцене, которую описывает Фукидид, есть три разных сюжета: 1. Лакедемоняне 2. Аргейские солдаты, которые были растерзаны. 3. Другие аргейские солдаты, которые повалили их, чтобы самим уйти. Из этих трех слов он указывает только первые два; третье же присутствует в его сознании и подразумевается в его рассказе так же, как если бы он написал καταπατηθέντας ὑπ' ἄλλων, или ὑπ' ἀλλήλων, как в Xenoph. Hellen. iv, 4, 11.

Именно к этому третьему предмету, подразумеваемому в повествовании, но формально не указанному (т. е. к тем аргейцам, которые попирали своих товарищей, чтобы самим уйти), или, скорее, ко второму и третьему вместе и вперемешку, относится *замысел* или *цель* (*consilium*) в словах τοῦ μὴ φθῆναι.

Далее, все комментаторы толкуют τοῦ μὴ φθῆναι τὴν ἐγκατάληψιν, как если бы последнее слово было винительным падежом, идущим *после* φθῆναι и управляемым им. Но есть и другая конструкция, не менее хорошая греческая и гораздо более подходящая по смыслу. По

моему мнению, τὴν ἐγκατάληψιν является здесь винительным падежом, стоящим *перед* φθῆναι и образующим его *подлежащее*. Таким образом, слова будут читаться (ἔνεκα) τοῦ τὴν ἐγκατάληψιν μὴ φθῆναι (ἐπελθοῦσαν αὐτοῖς): "чтобы лакедемоняне не настигли их раньше времени"; "не настигли их слишком скоро", т.е. "раньше, чем они успеют уйти". А поскольку слово ἐγκατάληψις является абстрактным активным субстантивом, то, чтобы уловить здесь истинный смысл, мы можем заменить конкретные слова, с которыми оно соотносится, *то есть* τοὺς Λακεδαιμονίους ἐγκатаλαβόντας, субъект, а также атрибут, поскольку активное причастие здесь существенно.

Тогда предложение будет выглядеть так, если предположить, что многоточие заполнено и смысл выражен полными и конкретными словами -ἔστιν οὖς καὶ καταπατηθέντας ὑπ' ἀλλήλων φευγόντων (или βιαζομένων), ἔνεκα τοῦ τοὺς Λακεδαιμονίους μὴ φθῆναι ἐγκатаλαβόντας αὐτοὺς (τοὺς φεύγοντας): "Как только лакедемоняне приблизились, аргейцы сразу же сдались, не оставаясь для рукопашной схватки, а некоторые даже были растерзаны друг другом или своими товарищами, убежавшими, чтобы лакедемоняне не успели поймать их раньше, чем они смогут убежать".

При таком толковании предложения в его нынешнем виде мы имеем τοῦ μὴ φθῆναι в его обычном и законном значении *цели*, или *consilium*. Кроме того, мы имеем простое и естественное положение дел, полностью соответствующее общему повествованию. Нет также никакого насилия над словами. Ничего больше не сделано, кроме как расширить очень эллиптическое предложение и заполнить то целое предложение, которое было в голове у писателя. Сделать это правильно - главная обязанность, а также главная трудность толкователя Фукидида.

[124] Thucyd. v, 73; Diodor. xii, 79.

[125] Thucyd. v, 73.

[126] Thucyd. v, 75. Καὶ τὴν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τότε ἐπιφερομένην αἰτίαν ἔς τε μαλακίαν διὰ τὴν ἐν τῇ νήσῳ συμφορὰν, καὶ ἐς τὴν ἄλλην ἀβουλίαν τε καὶ βραδύτητα, ἐνὶ ἔργῳ τοῦτω ἀπελύσαντο-τύχη μὲν, ὡς ἐδόκουν, κακιζόμενοι, γνώμη δὲ, οἱ αὐτοὶ ἀεὶ ὄντες.

[127] Thucyd. v, 72.

[128] Thucyd. i, 141.

[129] Thucyd. v, 75.

[130] Thucyd. v, 75.

[131] Аристотель (Politic. v, 4, 9) прямо отмечает заслуги олигархических сил Аргоса в битве при Мантинее, как одну из главных причин последующей революции, несмотря на то, что аргейцы в целом были побеждены: *Οἱ γνώριμοι εὐδοκίμησαντες ἐν Μαντινείᾳ* и т. д.

Пример презрения победоносных войск к побежденным соотечественникам упоминается Ксенофонтom в афинском войске под командованием Алкивиада и Фрасилла, в один из последних годов Пелопоннесской войны: см. Xenophon, Hellen. i, 2, 15-17.

[132] Thucyd. v, 76; Diodor. xii, 80.

[133] Thucyd. v, 77. Текст Фукидида неизлечимо испорчен в отношении нескольких слов этого пункта; хотя общий смысл представляется достаточно определенным, что эпидаврянам

должно быть позволено очистить себя в отношении этого требования клятвой. Что касается этой очистительной клятвы, то, по-видимому, было необходимо, чтобы она была *принесена* одной стороной и *принята* другой: возможно, поэтому σέμεν или θέμεν λῆν (предположение Валькенаера) может быть предпочтительнее εἶμεν λῆν.

К Herodot. vi, 86, и Aristotel. Rhetoric. i, 16, 6, которые д-р Арнольд и другие комментаторы приводят в качестве иллюстрации этой практики, мы можем добавить поучительное изложение аналогичной практики в процедуре римского права, приведенное фон Савиньи в его System des heutigen Römischen Rechts, sects. 309-313, vol. vii, pp. 53-83. Это была клятва, которую одна сторона судебного процесса давала противоположной стороне в надежде, что последняя откажется ее принять; если клятва принималась, то она имела силу судебного решения в пользу клятвopреступника. Но римские юристы установили множество ограничений и формальностей в отношении этого *jusjurandum delatum*, которые фон Савиньи излагает со свойственной ему проницательностью.

[134] Thucyd. v, 77. Ἐπιδείξαντας δὲ τοῖς συμμάχοις συμβαλέσθαι, αἳ καὶ αὐτοῖς δοκῇ- αἱ δὲ τι καὶ ἄλλο δοκῇ τοῖς συμμάχοις, οἷκαδ' ἀπιάλλειν. См. примечание д-ра Арнольда и д-ра Тирлуолла, Hist. Gr. ch. xxiv. vol. iii, p. 342.

Нельзя с уверенностью сказать о значении этих двух последних слов, но я склоняюсь к тому, что они выражают императивное и почти враждебное настроение, как я уже приводил в тексте. Союзники, о которых здесь идет речь, - это Афины, Элида и Мантинея; все они враждебно настроены по отношению к Спарте. Лакедемоняне не могли отказать этим городам в участии в договоре в его нынешнем виде, но, вероятно, сочли бы уместным оттолкнуть их даже грубостью, если бы они пожелали каких-либо изменений.

Я также полагаю, что это последнее положение (ἐπιδείξαντας) относится исключительно к аргейцам, а не к лакедемонянам. Форма договора - резолюция, уже принятая в Спарте и отправленная на утверждение в Аргос.

[135] Thucyd. v, 79. Αἱ δὲ τινὶ τῶν πολιῶν ἢ ἀμφίλογα, ἢ τῶν ἐντὸς ἢ τῶν ἐκτὸς Πελοποννάσου, αἵτε περὶ ὄρων αἵτε περὶ ἄλλου τινὸς, διακριθῆμεν.

Цель этого пункта, как я полагаю, заключалась в том, чтобы совместные силы Лакедемона и Аргоса не были обязаны вмешиваться в каждый отдельный спор каждого отдельного союзника с иностранным государством, не входящим в союз. Так, в это время существовали постоянные споры между Беотией и Афинами, а также между Мегарой и Афинами: аргейцы, вероятно, не решились бы взять на себя обязательство вмешиваться в эти споры для поддержания предполагаемых прав Беотии и Мегары. В этом пункте они предохраняют себя от такой необходимости.

М. Н. Meier в своей недавней диссертации (Die Privat. Schiedsrichter und die öffentlichen Diäteten Athens (Halle, 1846), sect. 19, p. 41), дал анализ и объяснение этого договора, который представляется мне по многим пунктам неудовлетворительным.

[136] Все мелкие государства в Пелопоннесе объявляются по этому договору (если использовать язык, использованный по отношению к Дельфам, в частности, в Никиасском мире) αὐτονόμους, αὐτοτελεῖς, αὐτοδίκους, Thucyd. v, 19. Последний пункт этого договора гарантирует αὐτοδικίαν всем, хотя и в несколько иной формулировке: τοῖς δὲ ἔταις κατὰ πατρίαν δικάζεσθαι. Выражение αὐτοπόλιες в этом договоре в значительной степени эквивалентно αὐτοτελεῖς в первом.

Примечательно, что мы никогда не находим у Фукидида очень удобного геродотовского слова *δωσίδικοι* (Herodot. vi, 42), хотя в этих четвертой и пятой книгах есть случаи, когда оно было бы полезно для его смысла.

[137] Thucyd. v. 81; Diodor. xii, 81.

[138] Сравните Thucyd. v, 80, и v, 83.

[139] По-видимому, нередки случаи, когда греческие города меняли хозяев, когда граждане выходили из ворот все вместе или большая их часть на какой-нибудь религиозный праздник. См. случай со Смирной (Herodot. i, 150), а также предостережения военного писателя Энея в его трактате *Poliorketicus*, с. 17.

[140] Thucyd. v, 80. Καὶ ὕστερον Ἐπιδαυρίοις ἀνανεωσάμενοι τὰς σπονδὰς, αὐτοὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἀπέδοσαν τὸ τεῖχος. Здесь нам говорят, что афиняне возобновили свое перемирие с эпидаврами: но я не знаю никакого перемирия между ними, кроме общего перемирия на год, которое эпидавры поклялись заключить совместно со Спартой (iv, 119) в начале 423 г. до н. э.

[141] Thucyd. v, 81. Καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀργεῖοι, χίλιοι ἑκάτεροι, ξυστρατεύσαντες τὰ τ' ἐν Σικυῶνι ἐς ὀλίγους μᾶλλον κατέστησαν αὐτοὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐλθόντες, καὶ μετ' ἐκεῖνα ξυναμφοτέροι ἤδη καὶ τὸν ἐν Ἀργεῖ δῆμον κατέλυσαν, καὶ ὀλιγαρχία ἐπιτηδεῖα τοῖς Λακεδαιμονίοις κατέστη: сравните Diodor. xii, 80.

[142] Pausanias, ii, 20, 1.

[143] См. Herodot. v, 87; Euripid. Hecub. 1152, и примечание Масгрейва к строке 1135 этой драмы.

[144] Thucyd. v, 82; Diodor. xii, 80.

[145] Диодор (xii, 80) говорит, что она длилась восемь месяцев: но это, если вообще верно, должно быть принято за начало с союза между Спартой и Аргосом, а не с первого установления олигархии. Повествование Фукидида не допускает более четырех месяцев для продолжительности последнего.

[146] Thucyd. v, 82. ξυνήδεσαν δὲ τὸν τειχισμὸν καὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ τινὲς πόλεων.

[147] Thucyd. v, 82. Καὶ οἱ μὲν Ἀργεῖοι πανδημεῖ, καὶ αὐτοὶ καὶ γυναῖκες καὶ οἰκέται, ἐτείχιζον и др. Плутарх, Алкивиад. с. 15.

[148] Pausanias, ii, 36, 3.

[149] Thucyd. i, 107.

[150] Thucyd. v, 83. Диодор неточно сообщает, что аргейцы уже построили свои длинные стены до самого моря - *πυθόμενοι τοὺς Ἀργεῖους ὠκοδομηκέναι τὰ μακρὰ τεῖχη μέχρι τῆς θαλάσσης* (xii, 81). Фукидид использует причастие настоящего времени - *τὰ οἰκοδομοῦμενα* *τείχη ἐλόντες καὶ κατασκάψαντες* и т. д.

[151] Thucyd. v, 116. Λακεδαιμόνιοι, μελλήσαντες ἐς τὴν Ἀργεῖαν στρατεύειν ... ἀνεχώρησαν. Καὶ Ἀργεῖοι διὰ τὴν ἐκείνων μέλλουσιν τῶν ἐν τῇ πόλει τινὰς ὑποτοπήσαντες, τοὺς μὲν ξυνέλαβον, οἱ δ' αὐτοὺς καὶ διέφυγον.

Я предполагаю, что μέλλειν здесь не используется в своем обычном значении *бездельной задержки*, но должен быть истолкован через предыдущий глагол μελλήσαντες, и по аналогии с iv, 126 - "перспектива действия, немедленно надвигающегося": сравните Diodor. xii, 81.

[152] Thucyd. vi, 7.

[153] Thucyd. v, 115.

[154] Thucyd. vi, 105. Автор рыхлого и неточного Oratio de Pace, приписываемого Андокидесу, утверждает, что война была возобновлена Афинами против Спарты по убеждению аргейцев (Orat. de Pac. с. 1, 6, 3, 31, pp. 93-105). Это утверждение действительно отчасти верно: союз с Аргосом был одной из причин возобновления войны, но лишь одной из других, некоторые из которых были более весомыми. Фукидид рассказывает, что *уговоры* Аргоса побудить Афины отказаться от союза со Спартой были многократными и безуспешными.

[155] Thucyd. v, 83.

[156] Д-р Тирлуолл (History of Greece, vol. iii, ch. xxiv, p. 360) относит это голосование об остракизме к середине зимы или началу весны 415 г. до н. э., непосредственно перед сицилийской экспедицией.

Основания для такого мнения он черпает из оратории Андокидеса против Алкивиада, подлинность которой он, похоже, признает (см. его Приложение ii по этому вопросу, т. iii, с. 494, и далее).

Чем чаще я перечитываю эту ораторию, тем больше убеждаюсь в том, что она является подделкой, созданной на одно или два поколения позже того времени, к которому, как утверждается, она относится. Мои причины такого мнения уже были изложены в предыдущих заметках, и я не думаю, что Приложение д-ра Тирлуолла успешно устраняет возражения против подлинности этой речи. См. мой предыдущий том vi, гл. xlvii, с. 6, прим.

[157] Aristophan. Pac. 680.

[158] Thucyd. viii, 73. Ὑπέρβολόν τέ τινα τῶν Ἀθηναίων, μοχθηρὸν ἄνθρωπον, ὠστρακισμένον οὐ διὰ δυνάμεως καὶ ἀξιωματος φόβον, ἀλλὰ διὰ πονηρίαν καὶ αἰσχύνην τῆς πόλεως. Согласно Андротиону (Fragm. 48, ed. Didot.) - ὠστρακισμένον διὰ φαυλότητα.

Сравните о Гиперболе: Плутарх, Никиас, с. 11; Плутарх, Алкивиад, с. 13; Ælian. V. Н. xii, 43; Theopompus, Fragg. 102, 103, ed. Didot.

[159] Плутарх, Алкивиад. с. 13; Плутарх, Никиас, с. 11. Теофраст говорит, что яростная оппозиция вначале и коалиция впоследствии были не между Никиасом и Алкивиадом, а между Фераксом и Алкивиадом.

Коалиция голосов и партий вполне могла включать всех троих.

[160] Thucyd. iii, 91.

[161] В связи с этой аргументацией афинского посланника я обращаю внимание на нападение и бомбардировку Копенгагена английским правительством в 1807 году, а также на язык, использованный английским посланником при датском принце-регенте по этому вопросу. В "Истории консулата и империи" М. Тьерса мы читаем следующее.

"L'agent choisi étoit digne de sa mission. Это был мсье Джексон, который до прибытия лорда Уитворта в Париж был в свое время поверенным в делах во Франции, но не был допущен к

работе из-за плохого настроения, которое он проявлял по любому поводу. Введенный в курс дела регентом, он всецело опирался на предварительные условия, в силу которых Дания должна была, (не соглашаясь) с силой, участвовать в коалиции против Англии: *il donna comme raison d'agir la nécessité ou se trouvoit le cabinet Britannique de prendre des précautions pour que les forces navales du Danemark et le passage du Sund ne tombassent pas au pouvoir des François*: и, как следствие, он требует от своего правительства передать в распоряжение Англиканской армии фортерессу Кроненберга, который командует Сундом, портом Копенгаген и, наконец, флотом Эль-Мем, обещая сохранить все это в безопасности, за счет Данемарка, который будет владеть всем, что ему разрешат, пока не минует опасность. Месяе Джексон уверял, что Данемарк ничего не потеряет, что он будет жить у него в помощниках и друзьях, что британские трупы заплатят все, что им полагается... - А с чем же, - возмущенно ответил принц, - вы заплатите за свою честь, если мы согласимся на это позорное предложение? - *Le prince continuant, et opposant à cette perfide intention la conduite loyale du Danemark, qui n'avoit pris aucune précaution contre les Anglois, qui les avoit toutes prises contre les François, ce dont on abusoit pour le surprendre* - М. Джексон отвечает на это справедливое негодование наглой фамильярностью, заявляя, что война - это война, что нужно смириться с этими требованиями и держаться более стойко, пока человек еще не смирился. Принц обратился к англосаксонскому агенту с настоящими словами, и тот заявил, что хочет перевезти его в Копенгаген, чтобы он исполнил свои обязанности принца и гражданина Дании". (Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, tome viii, livre xxviii, p. 190.)

[162] Plutarch, Alkibiadês, с. 16. Это, несомненно, одно из утверждений, которое автор "Оратории Андокидеса против Алкивиада" счел актуальным в отношении поведения последнего (sect. 123). Также нет причин сомневаться в его истинности.

[163] Thucyd. v, 106. τὸ δὲ χωρίον αὐτοὶ ᾤκησαν, ἀποίκους ὕστερον πεντακοσίους πέμψαντες. Лисандр вернул часть мелийцев на остров после битвы при Игоспотаме (Xenoph. Hellen. ii, 2, 9): некоторые, следовательно, должны были спастись или быть пощажены.

[164] Такого же мнения придерживается д-р Тирлуолл, Hist. Gr. vol. iii, ch. xxiv, p. 348.

[165] Dionys. Hal. Judic. de Thucydid. с. 37-42, pp. 906-920, Reisk: сравните замечания в его Epistol. ad Cn. Pompeium, de Præcipuis Historicis, p. 774, Reisk.

[166] Plutarch, Alkibiad. 16. τοὺς Ἀθηναίους ἀεὶ τὰ πρᾶτᾶτα τῶν ὀνομάτων τοῖς ἀμαρτήμασι τιθεμένους, παιδίας καὶ φιланθρωπίας. С той же целью Плутарх, Солон, с. 15.

[167] Сравните также, что говорит Брасидас в своей речи к акантийцам, v, 86 ἰσχυρὸς δίκαιώσει, ἣν ἡ τύχη ἔδωκεν и т. д.

[168] Историю этих событий см. выше, т. V, гл. xliii, с. 204-239. Теперь я перехожу к этой главе.

[169] Г-н Митфорд, в обычном для него духе, рассказывая о страданиях, причиненных этим обширным переворотом как жителям, так и имуществу по всей Сицилии, не обращает внимания на причину его возникновения, а именно на количество иностранных наемников, которых династия Гелонов привезла и записала в новые граждане (один Гелон привез десять тысяч, Diodor. xi, 72), и на количество изгнанников, которых они изгнали и лишили собственности.

Здесь я отмечу лишь одно из его искажений относительно событий этого периода, поскольку оно не только определено, но и важно (vol. iv, p. 9, chap. xviii, sect. 1).

"Но таким образом (говорит он) в каждом маленьком государстве земли были оставлены, чтобы стать общественной собственностью или быть переданными новым индивидуальным владельцам. *Везде, таким образом, была принята эта любимая мера демократии - равный раздел земель государства*: мера, которую невозможно выполнить в совершенстве, невозможно поддерживать в том виде, в котором она была выполнена, и очень сомнительная польза, если бы она могла быть выполнена в совершенстве и поддерживаться в совершенстве".

И снова, раздел iii, стр. 23, он говорит о "том неполном и незаконном разделе земель" и т. д.

По этому поводу мы можем заметить следующее.

1. *Равное разделение земель* государства, утверждаемое здесь мистером Митфордом, является его собственной фантазией. У него нет никаких оснований для этого. Диодор говорит (xi, 76) о *катекληροῦχησαν τὴν χώραν* и т. д.; и снова (xi, 86) он говорит о *τὸν ἀναῤῥασμὸν τῆς χώρας*: *переделе* территории; но относительно *равенства раздела* он не говорит ни слова. Да и никакой принцип раздела в данном случае не может быть менее вероятным, чем равенство; ведь одним из главных мотивов передела было обеспечение тех изгнанников, которых лишила собственности династия Гелонов; и эти люди должны были получить жребий, больший или меньший, на основании компенсации за потери, большие или меньшие, какими бы они ни были. Кроме того, сразу после передела мы находим упоминание о богатых и бедных, как и прежде (xi, 86).

2. Далее, мистер Митфорд называет "равный раздел всех земель государства" *излюбленной мерой демократии*. Это утверждение не менее неверно. Насколько мне известно, в Греции нет ни одной демократии, в которой такой равный раздел был бы осуществлен. В афинской демократии, в особенности, не только постоянно существовало большое неравенство земельных владений, но и клятва, ежегодно приносимая народными гелиастическими судьями, содержала особый пункт, категорически протестующий против *передела земли или уничтожения долгов*.

[170] Thucyd. vi, 17.

[171] Diodor. xi, 86, 87. Это учреждение в Сиракузах называлось *лепестковым*, потому что при голосовании имя гражданина, которого хотели изгнать, писали на листе оливы, а не на раковине или горшке.

[172] Diodor. xi. 87, 88.

[173] Diodor. xi, 78, 88, 90. Действия Дукетия иллюстрируются описанием Дардануса в Илиаде, xx, 216:-

Κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὕτω Ἴλιος ἱρή

Ἐν πεδίῳ πεπόλιστο, πόλις μερόπων ἀνθρώπων,

Ἀλλ' ἔθ' ὑπωρείας ᾤκουν πολυτιδάκου Ἴδης.

Сравните Платон, de Legg. iii, pp. 681, 682.

[174] Diodor. xi, 76.

[175] Diodor. xi, 91, 92. Ὁ δὲ δῆμος ὥσπερ τινὶ μιᾷ φωνῇ σώζειν ἅπαντες ἐβόων τὸν ἱκέτην.

[176] Xenophon, Hellen. i, 5, 19; Pausanias, vi, 7, 2.

[177] Г-н Митфорд рассказывает о возвращении Дукетия в Сицилию: "Сиракузские вожди вернули Дукетия из Коринфа, очевидно, чтобы сделать его полезным для своих собственных идей по продвижению власти их сообщества. Они разрешили или, скорее, поощрили его основать колонию из смешанного народа, греков и сицилийцев, в Кале Акте, на северном побережье острова" (гл. xviii, раздел I, т. iv, с. 13).

Утверждение, что "сиракузяне вернули Дукетия, или побудили его вернуться, или основать колонию Калк-Акте", является полным отступлением от Диодора со стороны г-на Митфорда, который превращает нарушение условий договора со стороны сикельского *принца* в амбициозный маневр со стороны сиракузской *демократии*. Слова Диодора, единственного авторитета в этом деле, таковы (xii, 8): Οὗτος δὲ (Duketius) ὀλίγον χρόνον μέινας ἐν τῇ Κορίνθῳ, τὰς ὁμολογίας ἔλυσε, καὶ προσποισάμενος χρησὸν ὑπὸ τῶν θεῶν ἑαυτῷ δεδόσθαι, κτίσαι τὴν Καλὴν Ἀκτὴν ἐν Σικελίᾳ, κατέπλευσεν εἰς τὴν νῆσον μετὰ πολλῶν οἰκητόρων- συνεπελάβοντο δὲ καὶ τῶν Σικελῶν τινες, ἐν οἷς ἦν καὶ Ἀρχωνίδης, ὁ τῶν Ἑρβιταίων δυναστεύων. Οὗτος μὲν οὖν περὶ τὸν οἰκισμὸν τῆς Καλῆς Ἀκτῆς ἐγίνετο- Ἀκραγαντίνοι δὲ, ἅμα μὲν φθονοῦντες τοῖς Συρακοσίοις, ἅμα δ' ἐγκαλοῦντες αὐτοῖς ὅτι Δουκέτιον ὄντα κοινὸν πολέμιον διέσωσαν ἄνευ τῆς Ἀκραγαντίνων γνώμης, πόλεμον ἐξήνεγκαν τοῖς Συρακοσίοις.

[178] Diodor. xii, 8.

[179] Diodor. xii, 29. О повторном завоевании Моргантина см. Thucyd. iv, 65.

Относительно этого города Тринакия, известного только по приведенному здесь отрывку Диодора, Полмиер (цитируется в примечании Весселинга), а также Маннерт (Geographie der Griechen und Römer, b. x, ch. xv, p. 446), проявляют некоторый скептицизм; я разделяю его настолько, что считаю, что Диодор сильно переоценил его величину и значение.

Не может быть правдой и то, что Диодор утверждает, будто Тринакия была *единственным* сикельским городом, оставшимся непокоренным сиракузянами, и что, завоевав это место, они покорили их все. Мы знаем, что во время афинского вторжения в Сицилию (Thucyd. vi, 88; vii, 2) независимых сикелов было не так уж и мало.

[180] Diodor. xii, 30.

[181] Diodor. xiii, 81.

[182] Diodor. xiii. 82, 83, 90.

[183] См. Аристотеля, цитируемого Цицероном, Brut. с. 12; Платона, Phædr. p. 267, с. 113, 114; Dionys. Halic. Judicium de Isocrate, p. 534 R. и Epist. ii, ad Ammæum, p. 792; также Квинтилиан, iii, 1, 125. По словам Цицерона (de Inventione, ii, 2), трактаты этих древних риторов, "usque a principe illo et inventore Tisiâ", были вытеснены Аристотелем, который тщательно собрал их, "nominatim", и усовершенствовал их изложения. Дионисий сетует на то, что они были так вытеснены (Epist. ad Ammæ. p. 722).

[184] Diogen. Laërt. viii, 64-71; Seyfert, Akragas und sein Gebiet, sect. ii, p. 70; Ritter, Geschichte der Alten Philosophie, vol. i. ch. vi, p. 533, *seqq.*

[185] Thucyd. iv. 61-64. Таков тон речи, произнесенной Гермократесом на съезде в Геле на восьмом году Пелопоннесской войны. Примечателен его язык: он называет всех несицилийских греков ἄλλοφύλους.

[186] Надпись в Corpus Inscriptt. (№ 74, часть i, с. 112) Боэция, относящаяся к союзу между Афинами и Регием, дает мало определенных сведений. Бозций относит его к договору,

заключенному в Афинах во время архонтства Апсидея (Olymp. 86, 4, 433-432 гг. до н. э., за год до Пелопоннесской войны), возобновляя союз, который уже тогда имел давнюю историю. Но мне кажется, что предположение о возобновлении союза - это всего лишь его собственная догадка; и даже имя архонта, *Apseudês*, которое он восстановил с помощью правдоподобной догадки, вряд ли можно считать достоверным.

Если верить рассказу Юстина iv, 3, Регий должен был перестать быть ионическим до Пелопоннесской войны. Он утверждает, что во время беспорядков в Регии одна из сторон призвала вспомогательные войска из Гимеры. Эти гимерийские изгнанники, сначала уничтожив врагов, против которых их вызывали, затем расправились с друзьями, которые их вызывали: "*ausi facinus nulli tyranno comparandum*". Они женились на регийских женщинах и захватили город себе.

Я не знаю, что делать с этой историей, которая не упоминается у Фукидида и, кажется, не согласуется с тем, что он нам рассказывает".

[187] Thucyd. i, 36.

[188] Thucyd. ii, 7. Καὶ Λακεδαιμονίοις μὲν, πρὸς ταῖς αὐτοῦ ὑπαρχούσαις, ἐξ Ἰταλίας καὶ Σικελίας τοῖς τάκεινων ἐλομένοις, ναῦς ἐπετάχθησαν ποιεῖσθαι κατὰ μέγεθος τῶν πόλεων, ὥς ἐς τὸν πάντα ἀριθμὸν πεντακοσίων νεῶν ἐσόμενον, и т. д.

Относительно построения этого сложного отрывка читайте заметки д-ра Арнольда, Поппо и Гёллера: сравните Поппо, ad Thucyd. vol. i, ch. xv, p. 181.

Я согласен с д-ром Арнольдом и Гёллером, отвергая конструкцию αὐτοῦ с ἐξ Ἰταλίας καὶ Σικελίας, в смысле "те корабли, которые были в Пелопоннесе из Италии и Сицилии". Это было бы неверно с точки зрения фактов, как они замечают: в Пелопоннесе не было сицилийских военных кораблей.

Тем не менее, я думаю, отличаясь от них, что αὐτοῦ не является местоимением, относящимся к ἐξ Ἰταλίας καὶ Σικελίας, но используется в контрасте с этими словами, и действительно означает "в Пелопоннесе или около него". Предполагалось, что в Сицилии и Италии будут построены новые корабли в количестве, достаточном для того, чтобы общий флот лакедемонской конфедерации, включая триремы, уже находившиеся в Пелопоннесе, составлял пятьсот парусов. Но никогда не предполагалось, что триремы *только* в Италии и Сицилии должны составлять пятьсот парусов, как ошибочно полагает доктор Арнольд, по моему мнению. Пятьсот парусов для всей конфедерации было бы непомерно много: пятьсот парусов только для Сицилии и Италии было бы невероятно.

Чтобы истолковать предложение в его нынешнем виде, отбросив предположение о νῆες вместо ναῦς или ἐπετάχθη вместо ἐπετάχθησαν, что сделало бы его гладким, мы должны допустить предположение о разрыве или двойной конструкции, как это иногда встречается у Фукидида. Предложение начинается с одной формы конструкции, а завершается другой. Мы должны предположить, вместе с Гёллером, что αἱ πόλεις понимается как именительный падеж к ἐπετάχθησαν. Дательные падежи (Λακεδαιμονίοις-ἐλομένοις), как я полагаю, следует рассматривать как управляемые νῆες ἐπετάχθησαν: то есть эти дательные падежи принадлежат к первой форме построения, которую Фукидид не осуществил. Предложение начато так, как будто νῆες ἐπετάχθησαν должен был следовать за ним.

[189] Thucyd. vi, 34: сравните iii, 86.

[190] Thucyd. vi, 86.

[191] Thucyd. iii, 86; Diodor. xii, 53; Plato, Hipp. Maj. p. 282, В. Примечательно, что Фукидид, хотя и говорит, с большой долей вероятности, что он был в числе учеников Горгия, не упоминает этого ратора лично в числе посланников. Диодор, вероятно, копировал у Эфора, ученика Исократеса. Среди писателей исократовской школы личности выдающихся раторов и их предполагаемая политическая эффективность имели гораздо большее значение, чем в оценке Фукидида. Павсаний (vi, 17, 3) говорит о Тисиасе как о посланнике этой знаменитой легации.

[192] Thucyd. iii, 88; Diodor. xii, 54.

[193] Thucyd. iii, 90; vi, 6.

[194] Thucyd. iii, 99.

[195] Thucyd. iii, 103.

[196] Thucyd. iii, 115.

[197] Thucyd. iii, 115.

[198] См. предыдущий том vi, гл. lii.

[199] Thucyd. iv, 48.

[200] Thucyd. iii, 115; iv, 1.

[201] Thucyd. iv, 24. Καὶ νικηθέντες ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων διὰ τάχους ἀπέπλευσαν, ὡς ἕκαστοι ἔτυχον, ἐς τὰ οἰκεῖα στρατόπεδα, τό τε ἐν τῇ Μεσσήνῃ καὶ ἐν τῷ Ῥηγίῳ, μίαν ναῦν ἀπολέσαντες, и т. д.

Я согласен с объяснением д-ра Арнольда, но считаю, что слова ὡς ἕκαστοι ἔτυχον обозначают беспорядочное бегство, так как все локрийские корабли не вернулись на локрийскую станцию, как и все сиракузские корабли на сиракузскую станцию: но каждый отдельный корабль бежал либо к одному, либо к другому, как мог.

[202] Thucyd. iv, 25. ἀποσιμωσάντων ἐκείνων καὶ προεμβалόντων.

Я не очень отчетливо понимаю морское движение, выраженное ἀποσιμωσάντων, несмотря на примечания комментаторов. И я не могу не сомневаться в правильности объяснения д-ра Арнольда, когда он говорит: "Сиракузяне внезапно сбросили свои буксирные канаты, боковым движением вышли в открытое море и таким образом стали нападающими" и т. д. Открытое море было тем, что требовалось афинянам, чтобы воспользоваться преимуществами своего превосходства в мореходстве.

[203] Thucyd. iv, 25.

[204] Thucyd. iv, 48.

[205] Сравните аналогичное замечание, сделанное сиракузянином Гермократесом девять лет спустя, когда великая афинская экспедиция против Сиракуз была уже в пути, относительно возросшей склонности к союзу среди сицилийских городов, вызванной общим страхом перед Афинами (Thucyd. vi, 33).

[206] Thucyd. iv, 58.

[207] См. речь Гермократа, Thucyd. iv, 59-64. Одно выражение в этой речи указывает на то, что она была написана Фукидидом много лет спустя после ее правильной даты, впоследствии великой экспедиции афинян против Сиракуз в 415 г. до н. э.; хотя я не сомневаюсь, что Фукидид собрал для нее записи в то время.

Гермократес говорит: "Афиняне теперь рядом с нами с *несколькими кораблями*, подстерегая наши промахи" - οἱ δύναντι ἔχοντες μεγίστην τῶν Ἑλλήνων τάς τε ἁμαρτίας ἡμῶν τηροῦσιν, *ὀλίγαις ναυσὶ παρόντες*, и т. д. (iv, 60). (iv, 60).

Теперь флот под командованием Эвримедона и его коллег в Регии включал все или большинство кораблей, действовавших в Сфактерии и Коркире, а также те, которые ранее находились в Мессинском проливе под командованием Пифодара. В нем не могло быть меньше пятидесяти, а возможно, и шестидесяти парусов. Вряд ли можно представить, чтобы какой-нибудь грек, выступая ранней весной 424 года до н. э., говорил об этом как о *небольшом* флоте: конечно же, Гермократес не стал бы на него ссылаться, поскольку в интересах его аргументации было преувеличить, а не смягчить грозные проявления Афин.

Но Фукидид, сочиняя речь после великой афинской экспедиции 415 года до н. э., гораздо более многочисленной и внушительной во всех отношениях, мог неестественно представить флот Эвримедона как "несколько кораблей", когда он молчаливо сравнивал их. Это единственный известный мне способ объяснить подобное выражение.

Схолиаст замечает, что некоторые копии его времени опустили слова *ὀλίγαις ναυσὶ*: вероятно, они заметили противоречие, которое я отметил; и отрывок, конечно, *может* быть истолкован без этих слов.

[208] Thucyd. iv, 65. Мы узнаем от Полибия (Fragm. xii, 22, 23, одна из Excerpta, недавно опубликованных Майи, из Cod. Vatic.), что Тимей в своей двадцать первой книге подробно описал конгресс в Геле и составил подробную речь для Гермократа: эту речь Полибий осуждает, как пустую декламацию.

[209] Thucyd. v, 5.

[210] Thucyd. vi, 13-52.

[211] Thucyd. iv, 65.

[212] Thucyd. v, 4. Λεοντῖνοι γὰρ, ἀπελθόντων Ἀθηναίων ἐκ Σικελίας μετὰ τὴν ξύμβασιν, πολίτας τε ἐπεγράψαντο πολλοὺς, καὶ ὁ δῆμος τὴν γῆν ἐπενόει ἀναδάσασθαι. Οἱ δὲ δυνατοὶ αἰσθόμενοι Συρακοσίους τε ἐπάγονται καὶ ἐκβάλλουσι τὸν δῆμον. Καὶ οἱ μὲν ἐπλανήθησαν ὥς ἕκαστοι и т. д.

По этому поводу д-р Арнольд замечает: "Принцип, на котором основывалось требование этого ἀναδασμὸς γῆς, заключался в том, что каждый гражданин имел право на свою часть κλῆρος земли государства, и что принятие новых граждан делало передел имущества государства делом одновременно необходимости и справедливости. Маловероятно, что в любом случае фактические κλῆροι (имущество) старых граждан должны были быть разделены с новыми членами государства; но только, как в Риме, ager publicus, или земля, остающаяся государству, и не распределяемая между отдельными лицами. Однако эта земля, которой пользовались многие старые граждане либо как общим пастбищем, либо как фермой, которую разные люди обрабатывали на очень выгодных условиях, деление ее между вновь принятыми гражданами, хотя и не являлось, строго говоря, уничтожением

частной собственности, все же было серьезным потрясением для огромной массы существующих интересов, и поэтому всегда рассматривалось как революционная мера".

Я привожу эту заметку д-ра Арнольда скорее из соображений ее ценности, чем из убеждения, что между Римом и Леонтинами существовала аналогия аграрных отношений. Ager publicus в Риме был продуктом последовательных завоеваний у иностранных врагов города: возможно, первоначально существовал подобный ager publicus в своеобразных владениях самого Рима, до всех завоеваний; но он, во всяком случае, должен был быть очень мал и, вероятно, был весь поглощен и передан в частную собственность до начала аграрных споров.

Мы не можем предположить, что у леонтинцев был какой-либо ager publicus, приобретенный в результате завоевания, и не вправе предполагать, что у них вообще был какой-либо ager publicus, который можно было бы разделить. Скорее всего, участки для новых граждан должны были быть выделены из частной собственности. Но, к сожалению, мы не знаем, каким образом, на каких принципах и условиях. К какому классу людей относились новые эмигранты? Были ли они совсем бедными, не имея ничего, кроме своих рук, чтобы работать; или они привезли с собой какую-то сумму денег, чтобы начать свое поселение на плодородной и заманчивой равнине Леонтины? (Сравните Thucyd. i, 27, и Plato de Legib. v, p. 744, A.) Если последнее, то у нас нет оснований предполагать, что им будет позволено приобрести свои новые участки безвозмездно. Существующие владельцы были бы вынуждены продавать по фиксированной цене, но не уступать свои владения без компенсации. Я уже заметил, что для мелкого самостоятельного владельца, не имеющего рабов, было почти необходимо, чтобы его земля находилась недалеко от города; и если бы это было гарантировано, то для нового жителя, имеющего немного денег, но не имеющего земли в другом месте, это могло бы стать хорошей сделкой, чтобы приехать и купить ее.

У нас нет возможности ответить на эти вопросы: но в нескольких словах Фукидида эта мера не представляется революционной, не направлена против богатых или на благо бедных. На общественных основаниях предлагалось укрепить город за счет приобретения новых граждан. Это может быть разумной политикой в непосредственной близости от такого сомнительного и сильного города, как Сиракузы; хотя мы не можем судить о политике этой меры, не зная больше. Но, несомненно, представление мистера Митфорда ни в коем случае не может быть обосновано Фукидидом: "Время и обстоятельства сильно изменили состояние собственности во всех сицилийских содружествах, с тех пор как произошел *тот неполный и незаконный раздел земель*, который был произведен при общем установлении демократического правления, после изгнания семьи Гелона. В других городах бедняки смирились со своей участью; но в Леонтины они горячо выступали за *новый и равный раздел*; и чтобы укрепить себя против партии богачей, они провели в общем собрании декрет об объединении ряда новых граждан". (Mitford, H. G. ch. xviii, sect. ii, vol. iv, p. 23.)

Я уже отмечал в предыдущем примечании, что г-н Митфорд неверно представляет передел земель, произошедший после изгнания династии Гелонов. Этот передел не был основан на принципе равных участков: поэтому неверно утверждать, как это делает г-н Митфорд, что нынешнее движение в Леонтины возникло из-за нововведений, внесенных временем и обстоятельствами в этот равный раздел: столь же неверно говорить, что бедняки в Леонтины теперь желают "нового и равного раздела". Фукидид *не говорит ни слова о равном разделе*. Он выдвигает зачисление новых граждан как основное и главное решение, фактически принятое леонтинцами; передел земель - как меру, вытекающую из этого и вспомогательную, пока еще существующую только в проекте (ἔπενδοί). Г-н Митфорд утверждает, что новый и

равный раздел был реальным объектом желания, а зачисление новых граждан было предложено с целью его достижения. Его мнение сильно расходится с мнением Фукидида.

[213] Юстин (iv, 4) окружает сицилийских посланников в Афинах всеми знаками несчастья и унижения, обращаясь при этом к афинскому собранию: "Sordidâ veste, capillo barbâque promissis, et omni squaloris habitu ad misericordiam commovendam conquisito, concionem deformes adeunt."

[214] Thucyd. v, 4, 5.

[215] Thucyd. vi, 6; Diodor. xii, 82. Утверждение Диодора, что эгесты относились не только к Агригентуму, но и к Сиракузам, крайне неправдоподобно. Война, о которой он упоминает как о произошедшей за несколько лет до этого между Эгестой и Лилибеем (xi, 86) в 454 году до н. э., возможно, была войной между Эгестой и Селином.

[216] Thucyd. vi, 34.

[217] Thucyd. vi, 6; Diodor. xii, 83.

[218] Thucyd. vi, 6. ὧν ἀκούοντες οἱ Ἀθηναῖοι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῶν τε Ἑγεσταίων πολλάκις λεγόντων καὶ τῶν ξυναγορευόντων αὐτοῖς ἐψηφίσαντο, etc.

Г-н Митфорд не обращает внимания на все эти предыдущие споры, когда вменяет афинянам в вину поспешность и страсть при принятии окончательного решения (гл. xviii. раздел ii, т. iv, с. 30).

[219] Thucyd. vi, 46. ἰδίᾳ ξενίσσεις ποιοῦμενοι τῶν τριηριτῶν, τὰ τε ἐξ αὐτῆς Ἑγέστης ἐκπτώματα καὶ χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ ξυλλέξαντες, καὶ τὰ ἐκ τῶν ἐγγύς πόλεων καὶ Φοινικικῶν καὶ Ἑλληνίδων αἰτησάμενοι, ἐσέφερον ἐς τὰς ἐστιάσεις ὡς οἰκεῖα ἕκαστοι. Καὶ πάντων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῖς αὐτοῖς χρωμένων, καὶ πανταχοῦ πολλῶν φαινομένων, μεγάλην τὴν ἔκπληξιν τοῖς ἐκ τῶν τριήρων Ἀθηναίοις παρεῖχον, и т.д.

Такие займы золотых и серебряных пластин свидетельствуют о замечательной степени близости между различными городами".

[220] Thucyd. vi, 46; Diodor. xii, 83.

[221] К этой зиме или весне, возможно, можно отнести представление утраченной комедии Τριφάλης Аристофана. В ней упоминаются иберийцы, которых вводит Аристарх; по-видимому, иберийские наемники, о которых в это время говорили Алкивиад и другие видные советники экспедиции как о средстве завоевания Сицилии (Thucyd. vi, 90). Слово Τριφάλης было прозвищем (которое нетрудно понять), применявшимся к Алкивиаду, который как раз сейчас находился на пике своего значения и поэтому вполне мог быть выбран в качестве примера для комедии. См. немногие сохранившиеся фрагменты Τριφάλης в Meineke, *Fragm. Comic. Gr.* vol. ii, pp. 1162-1167.

[222] Thucyd. vi, 8; Diodor. xii, 83.

[223] Thucyd. vi, 8. Ὁ δὲ Νικίας, ἀκούσιος μὲν ἡρημένος ἄρχειν, etc. Чтение ἀκούσιος кажется лучше подтвержденным MSS и по сути более подходящим, чем ἀκούσας, которое, вероятно, возникло из-за исправления какого-то читателя, удивленного тем, что Никиас произнес во втором собрании речь, которая должным образом принадлежала первому, и объяснившего это предположением, что Никиас не присутствовал на первом собрании. Однако то, что он

не присутствовал, весьма маловероятно. Тем не менее, этот вопрос требует некоторого объяснения, и я постарался дать его в тексте.

[224] Thucyd. vi, 9-14. Καὶ σὺ, ὦ πρύτανι, ταῦτα, εἴπερ ἡγεῖ σοι προσήκειν κήδεσθαί τε τῆς πόλεως, καὶ βούλει γενέσθαι πολίτης ἀγαθός, ἐπιψήφизε, καὶ γνώμας προτίθει αὐθις Ἀθηναίοις, νομίσας, εἰ ὁρῶδεις τὸ ἀναψηφίσαι, τὸ μὲν λύειν τοὺς νόμους μὴ μετὰ τοσῶνδ' ἂν μαρτύρων αἰτίαν σχεῖν, τῆς δὲ πόλεως κακῶς βουλευσαμένης ἰατρὸς ἂν γενέσθαι, и т. д.

Я не могу согласиться с замечаниями д-ра Арнольда ни в отношении этого отрывка, ни в отношении параллельного случая возобновления дебатов в афинском собрании по вопросу о наказании митиленеев (см. выше, т. vi, гл. 1, с. 338, и Thucyd. iii, 36). Мне кажется, что Никиас здесь просит пританиса совершить незаконный поступок, который вполне мог подвергнуть его обвинению и наказанию. Вероятно, его обвинили бы на этом основании, если бы решение второго собрания отличалось от того, что получилось на самом деле; если бы они отменили решение первого собрания, но только небольшим большинством голосов.

Различие, проводимое д-ром Арнольдом между *незаконным* и просто *нерегулярным*, в Афинах было слабо выражено: и то, и другое называлось *незаконным*, τοὺς νόμους λύειν. Правила, которые афинское собрание, суверенное собрание, устанавливало для своих собственных дебатов и решений, были такими же *законами*, как и те, которые оно принимало для руководства частными гражданами. Английская палата общин - не суверенное собрание, а лишь часть суверенной власти: соответственно, правила, которые она устанавливает для своих дебатов, - это не *законы*, а распоряжения палаты: нарушение этих распоряжений при обсуждении какого-либо конкретного вопроса будет не незаконным, а просто нерегулярным или неформальным. То же самое происходило и с французской Палатой депутатов до февральской революции 1848 года: правила, которые она устанавливала для своих заседаний, были не законами, а просто *le règlement de la Chambre*. Примечательно, что нынешнее Национальное собрание, заседающее сейчас (март 1849 года), сохранило это выражение и приняло *регламент* для своих дел; хотя по сути оно является суверенным собранием, и правила, которые оно устанавливает, являются, собственно говоря, *законами*.

Как в этом случае, так и в митиленейском споре, я считаю, что афинский пританис совершил незаконное действие. В первом случае все рады этой незаконности, потому что она оказалась спасительной для стольких митиленцев. Во втором случае незаконность привела к практическим плохим последствиям, так как, похоже, привела к огромному расширению масштабов, на которые была рассчитана экспедиция. Но через несколько лет произойдет третий случай - осуждение шести генералов после битвы при Аргинусе, - в котором болезненно и наглядно проявится исключительная важность строгого соблюдения форм.

[225] Thucyd. vi, 16, 17.

[226] Thucyd. vi, 17. Καὶ νῦν οὐτε ἀνέλπιστοί πω μᾶλλον Πελοποννήσιοι ἐς ἡμᾶς ἐγένοντο, εἴτε καὶ πάνυ ἔρῶνται и т. д.

Конструкция ἀνέλπιστοι здесь не определена: но я не могу думать, что значение, которое доктор Арнольд и другие приписывают ему, является наиболее подходящим. Скорее, оно означает то же, что и в vii, 4 и vii, 47: "враги, с которыми мы не надеемся справиться".

[227] Thucyd. vi, 16-19.

[228] Thucyd. vi, 22.

[229] Thucyd. vi, 23. ὅπερ ἐγὼ φοβούμενος, καὶ εἰδὼς πολλὰ μὲν ἡμᾶς δέον βουλεύσασθαι, ἔτι δὲ πλείω εὐτυχῆσαι (χαλεπὸν δὲ ἀνθρώπους ὄντας), ὅτι ἐλάχιστα τῇ τύχῃ παραδοὺς ἑμαυτὸν βούλομαι ἐκπλεῖν, παρασκευῇ δὲ ἀπὸ τῶν εἰκότων ἀσφαλῆς ἐκπλεῦσαι. Ταῦτα γὰρ τῇ τε ξυμπάσῃ πόλει βεβαίότατα ἡγοῦμαι, καὶ ἡμῖν τοῖς στρατευσομένοις σωτήρια- εἰ δὲ τῷ ἄλλως δοκεῖ, παρήμι αὐτῷ τὴν ἀρχήν.

[230] Плутарх. Сравните Никиас и Красс, с. 3.

[231] Thucyd. vi, 1. οὐ πολλῶ τινι ὑποδεέστερον πόλεμον, etc.: compare vii, 28.

[232] Сравните Плутарх, Præcept. Reipubl. Gerend. p. 804.

[233] Thucyd. v, 99; vi, 1-6.

[234] Thucyd. vi, 6. ἐφίεμενοι μὲν τῇ ἀληθεστάτῃ προφάσει, τῆς πάσης (Σικελίας) ἄρξιν, βοηθεῖν δὲ ἅμα εὐπρεπῶς βουλόμενοι τοῖς ἑαυτῶν συγγένεσι καὶ τοῖς προσγεγεννημένοις συμμάχοις.

Даже в речи Алкивиада завоевание Сицилии упоминается лишь однажды, и то косвенно; скорее как благоприятная возможность, чем как результат, на который можно рассчитывать.

[235] Thucyd. vi, 15. Καὶ μάλιστα στρατηγῆσαί τε ἐπιθυμῶν καὶ ἐλπίζων Σικελίαν τε δι' αὐτοῦ καὶ Καρχηδόνα λήψεσθαι, καὶ τὰ ἴδια ἅμα εὐτυχήσας χρήμασί τε καὶ δόξῃ ὠφελήσιν. Ὦν γὰρ ἐν ἀξιώματι ὑπὲρ τῶν ἀστῶν, ταῖς ἐπιθυμίαις μείζουσιν ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν ἐχρήτο ἕς τε τὰς ἵπποτροφίας καὶ τὰς ἄλλας δαπάνας, и т. д.

Сравните vi, 90. Плутарх (Алкиб., с. 19; Никиас, с. 12). Плутарх иногда говорит, будто не один Алкивиад (или, по крайней мере, в сочетании с несколькими партизанами), а все афиняне отправились в путь, рассчитывая завоевать Карфаген, а также Сицилию. В речи, которую Алкивиад произнес в Спарте после своего изгнания (Thucyd. vi, 90), он действительно называет это общей целью экспедиции. Но кажется очевидным, что здесь он описывает своим соотечественникам планы, которые бродили только в его собственном мозгу, как мы можем понять при внимательном прочтении первых двадцати глав шестой книги Фукидида.

В неточной "Oratio de Pace", приписываемой Андокидесу (раздел 30), утверждается, что сиракузяне отправили посольство в Афины за некоторое время до этой экспедиции, умоляя принять их в союзники афинян и утверждая, что Сиракузы будут более ценным союзником для Афин, чем Эгесты или Катаны. Это утверждение полностью не соответствует действительности.

[236] Thucyd. viii, 1.

[237] Thucyd. vi, 31. ἐπιφοράς τε πρὸς τῷ ἐκ δημοσίου μισθῷ διδόντων τοῖς θρανίταις τῶν ναυτῶν καὶ ταῖς ὑπηρεσίαις, καὶ τᾶλλα σημείοις καὶ κατασκευαῖς πολυτελέσι χρησαμένων, etc.

Добри и д-р Арнольд объясняют, что ὑπηρεσίαις означает *мелких чиновников*, таких как κυβερνήτης, κελευστής и т. д. Гёллер и Поппо трактуют его как "*слуги матросов*". Ни одно из этих двух толкований не кажется мне удовлетворительным. Я думаю, что это слово означает "экипаж в целом"; слово ὑπερησία является совершенно общим словом, включающим всех, кто получал жалованье на корабле. Все примеры, приведенные в примечаниях комментаторов, свидетельствуют об этом значении, которое также встречается в самом тексте двумя строками ранее. Толкование слова ταῖς ὑπηρεσίαις как означающего "экипажи вообще или оставшиеся экипажи вместе с транитами", несомненно, более или менее неудобно. Но он меньше отклоняется от обычной конструкции, чем любой из двух смыслов, которые предлагают комментаторы.

[238] Thucyd. vii, 13. οἱ ξένοι, οἱ μὲν ἀναγκαστοὶ ἐσβάντες, etc.

[239] Thucyd. vi, 26. Я не доверяю утверждению, приведенному в Æschinês, De Fals. Legat. с. 54, р. 302, и в Andokidês, De Pace, sect. 8, что семь тысяч талантов были заложены как накопленное сокровище в акрополе во время Никиасского мира, и что четыреста трирем или триста трирем были построены заново. Многочисленные исторические неточности в этих орациях, касающиеся фактов до 400 г. до н. э., таковы, что лишают их всякого авторитета, за исключением тех случаев, когда они подтверждаются другими свидетельствами; даже если мы признаем орацию, приписываемую Андокидесу, подлинной, что, по всей вероятности, не так.

Но существует интересная надпись, которая доказывает, что в промежутке между заключением Никиасского мира и Сицилийской экспедицией в акрополе должна была быть отложена сумма не менее трех тысяч талантов; и что сверх этого накопленного фонда государство было в состоянии выплатить из текущих поступлений различные суммы, которые оно заняло во время предыдущей войны из казны различных храмов, и, похоже, имело, кроме того, излишки для доков и укреплений. Вышеупомянутая надпись фиксирует голосование, проведенное за списание этих долгов и за хранение выплаченных сумм в опистодоме, или задней камере, Парфенона, за счет тех богов, которым они соответственно принадлежали. См. книгу Боэция "Corp. Inscr. part ii, Inscr. Att. No. 76, р. 117; также Staats-haushaltung der Athener того же автора, vol. ii, р. 198. Эта надпись, несомненно, относится к одному из годов между 421-415 гг. до н. э., к какому году, мы сказать не можем.

[240] Thucyd. vi, 31; Diodor. xiii, 2, 3.

[241] Плутарх (Nikias, с. 12, 13; Alkibiad. с. 17). Сразу же после катастрофы в Сиракузах афиняне очень рассердились на тех пророков, которые обещали им успех (Thucyd. viii, 1).

[242] Цицерон, Legg. ii, 11. "Melius Græci atque nostri; qui, ut augerent pietatem in Deos, easdem illos urbes, quas nos, incolere voluerunt."

Насколько сильно греческий ум был проникнут идеей бога как фактического обитателя города, можно проиллюстрировать в оратории Лисия, cont. Andokid. sects. 15-46: сравните Геродот, v, 67; поразительная история, как показано в этой Истории, т. iii, гл. ix, с. 34; также Ксенофонт, Hellen. vi, 4-7; Ливий, xxxviii, 43.

В надписи из книги Боэция "Corp. Inscr. (ч. ii, № 190, с. 320) приводится список имен Прытанеев, во главе которого стоит имя Athênê Polias.

[243] Pausanias, i, 24, 3; iv, 33, 4; viii, 31, 4; viii, 48, 4; viii, 41, 4; Plutarch, An Seni sit Gerenda Respubl. ad finem; Aristophan. Plut. 1153, и Schol.: cp. O. Müller, Archäologie der Kunst, sect. 67; K. F. Hermann, Gottesdienstl. Alterth. der Griechen, sect. 15; Gerhard, De Religione Hermarum. Berlin, 1845.

[244] Thucyd. vi, 27. ὅσοι Ἑρμαῖ ἦσαν λίθινοι ἐν τῇ πόλει τῇ Ἀθηναίων ... μὴ νυκτὶ οἱ πλεῖστοι περιεκόπησαν τὰ πρόσωπα.

Андокидес (De Myst. sect. 63) прямо утверждает, что был пощажен только один-καὶ διὰ ταῦτα ὁ Ἑρμῆς ὃν ὀρᾷτε πάντες, ὁ παρὰ τὴν πατρῶαν οἰκίαν τὴν ἡμετέραν, οὐ περιεκόπη, μόνος τῶν Ἑρμῶν τῶν Ἀθηνησιν.

Корнелий Непос (Alkibiad. с. 3) и Плутарх (Alkib. с. 13) копируют Андокидеса: в своей жизни Никиаса (с. 18) последний использует выражение Фукидида - οἱ πλεῖστοι. Это выражение ни в

коей мере не противоречит Андокидесу, хотя и не совпадает с его утверждением. В ораторском искусстве Андокидеса есть большая смесь правды и лжи; но я думаю, что в этом вопросе ему можно доверять.

Диодор (xiii, 2) говорит, что все Гермæ были изуродованы, не признавая ни одного исключения. Корнелий Непос, с удивительной неточностью, говорит о том, что все Гермæ *были сброшены* (dejicerentur).

[245] Поистине поразительно читать рассказ об этом изувечении Гермеса и его последствиях, который приводит Вахсмут, Hellen. Alterthümer, vol. ii, sect. 65, pp. 191-196. Хотя он осуждает афинский народ за его поведение во время последующего расследования в самых безмерных выражениях, можно предположить, что инцидент, повергший его в такое душевное смятение в момент переполнявшей его надежды и уверенности, был пустяком: так кратко он проходит мимо него, не прилагая ни малейших усилий, чтобы показать, каким образом он глубоко ранил религиозное чувство Афин.

Бюттнер (Geschichte der politischen Hetærieen zu Athen. p. 65), хотя и очень кратко, придерживается более справедливой точки зрения, чем Вахсмут.

[246] Pausanias, i, 17, 1; i, 24, 3; Harpokration v, Ἑρμᾶϊ. См. Sluiter, Lectiones Andocideæ, cap. 2.

Особенно ἀγυιατῖδες θεραπείαι (Eurip. Ion. 187) были отмечены в Афинах: церемониальные знаки внимания к божественным лицам, охранявшим общественные улицы; эту функцию выполняли Аполлон Агийский, а также Гермес.

[247] Herodot. viii, 144; Æschylus, Pers. 810; Æschyl. Agam. 339. Гнев за любое оскорбление, нанесенное статуе бога или богини, и нетерпение наказать ее капитально, проявляется еще в древней эпической поэме Арктина: см. аргумент Ἰλίου Πέρις у Прокла, и Welcker, Griechische Tragödien, *Sophoklês*, sect. 21, vol. i, p. 162. Геродот не может объяснить оскорбления, нанесенные Камбисом египетским статуям и священным обычаям, ничем иным, кроме как безумием, ἐμᾶνῃ μεγάλως; Herod. iii, 37-38.

Сицилийский историк Тимей (писал около 320-290 гг. до н. э.) представлял последующее поражение афинян как божественную кару за осквернение Гермеса, нанесенную главным образом сиракузцем Гермократесом, сыном Гермона и потомком бога Гермеса (Timæi Fragm. 103-104, ed. Didot; Longinus, de Sublim. iv, 3).

Этимологическая связь между Гермесом и Гермократесом достаточно странна: но важно отметить глубоко укоренившееся убеждение, что такой поступок должен повлечь за собой божественную кару, и что афиняне как народ несут коллективную ответственность, если только не смогут умиротворить божественное недовольство. Если такого мнения придерживался историк Тимей спустя столетие и более после совершения преступления, то гораздо острее оно было представлено в сознании афинян того времени.

[248] Thucyd. viii, 97; Plato, Legg. ix, pp. 871 b, 881 d. ἡ τοῦ νόμου ἄρα, etc. Demosthen. Fals. Legat. p. 363, c. 24, p. 404, c. 60; Плутарх, Солон, c. 24.

[249] Доктор Тирлуолл замечает, говоря о чувствах в Афинах после увечья Гермеса: - "Мы действительно видим так мало связи между этими событиями.

"Мы действительно видим так мало связи между актами дерзкого нечестия и замыслами против государства, что с трудом можем понять, как они могли ассоциироваться вместе, как они были в сознании афинян. Но, возможно, эта трудность не без основания представлялась

гораздо меньшей современникам Алкивиада, которые по своим взглядам на религию скорее были склонны считать их неразделимыми". (Hist. Gr. ch. xxv, vol. iii, p. 394.)

Это замечание, как и многие другие в истории д-ра Тирлуолла, указывает на тон либеральности, составляющий разительный контраст с Вахсмутом; и оно действительно редко встречается среди ученых людей, взявшихся изображать афинскую демократию. Однако его можно было бы выразить гораздо резче; ведь афинскому гражданину было бы так же трудно понять наше *разделение* двух идей, как нам трудно понять его *объединение* этих двух идей".

[250] Thucyd. vi, 27. Καὶ τὸ πρᾶγμα μείζονως ἐλάμβανον- τοῦ τε γὰρ ἐκπλοῦ οἰωνὸς ἐδόκει εἶναι, καὶ ἐπὶ ξυνωμοσίᾳ ἅμα νεωτέρων πραγμάτων καὶ δήμου καταλύσεως γεγενῆσθαι.

Корнелий Непот, Алкивиад. с. 3. "Hoc quum appareret non sine magnimultorum consensione esse factam", etc.

[251] Plutarch, Alkibiad. с. 18; Pherekratês, Fr. Inc. 84, ed. Мейнеке; Фрагмент. Comic. Græc. vol. ii, p. 358, также p. 1164; Aristoph. Frag. Inc. 120.

[252] Плутарх, Alkib. с. 18; Псевдо-Плутарх, Vit. X, Orator. p. 834, который утверждает, что цитирует Кратиппа, автора, почти современного ему. Псевдо-Плутарх, однако, утверждает, что не может быть правдой, что коринфяне использовали агентов Леонтина и Эгестея, чтобы уничтожить Гермеса. Леонтинцы и эгестейцы были именно теми сторонами, которые были больше всего заинтересованы в том, чтобы сицилийская экспедиция началась: они - последние, кого коринфяне выбрали бы в качестве орудия. Дело в том, что никто из иностранцев не смог бы выполнить это задание: для этого нужно было хорошо знать все здания, дороги и проезжие части Афин.

Афинянин Филохор (писавший около 310-280 гг. до н. э.) приписывает коринфянам увечье Гермеса, если верить схолиасту об Аристофане, который, однако, не очень осторожен, поскольку говорит нам, что *Фукидид* приписывает это деяние Алкивиаду и его друзьям, что не соответствует действительности (Philochor. Frag. 110, ed. Didot; Schol. Aristoph. Lysistr. 1094).

[253] Thucyd. vi, 34.

[254] См. Thucyd. v, 45; v, 50; viii, 5. Xenophon, Hellen. iv, 7, 4.

[255] См. примечательный отрывок из современной речи Антифона на суде по делу об убийстве (Orat. ii. Tetralog. 1. 1, 10).

Ἀσύμφορόν θ' ὑμῖν ἐστὶ τόνδε μιὰρὸν καὶ ἄναγνον ὄντα εἰς τὰ τεμένη τῶν θεῶν εἰσιόντα μιαίνειν τὴν ἀγνείαν αὐτῶν ἐπὶ τε τὰς αὐτὰς τραπέζας ἰόντα συγκαταπιμπλάναι τοὺς ἀναιτίους- ἐκ γὰρ τούτων αἴ τε ἀφορίαι γίνονται δυστυχεῖς θ' αἱ πράξεις καθίστανται. Οἰκείαν οὖν χρή τὴν τιμωρίαν ἡγησαμένους, αὐτῷ τούτῳ τὰ τούτου ἀσεβήματα ἀναθέντας, ἰδίαν μὲν τὴν συμφορὰν καθαρὰν δὲ τὴν πόλιν καταστήσαι.

Сравните Антифонт, De Cæde Herodis, sect. 83 и Sophoklês, CEdip. Tyrann. 26, 96, 170 о бедствиях, которые обрушивались на страну, пока человек, виновный в убийстве, оставался загрязнять почву и пока его не убивали или не изгоняли. См. также Ксенофонт, Hiero. iv, 4, и Платон, Legg. x, p. 885-910, в начале и конце десятой книги. Платон относит (ὑβρις) надругательство над священными предметами к высшему и наиболее виновному виду ὑβρις, заслуживающему самого сурового наказания. Он считает, что человек, совершающий такое нечестие, если он не будет наказан или изгнан, навлекает зло и гнев богов на все население.

[256] Thucyd. vi, 27.

[257] Andokidês de Mysteriis, sect. 20.

[258] Andokidês de Mysteriis, sects. 14, 15, 36; Плутарх, Алкивиад. с. 18.

[259] Тем, кто склонен считать, что бурные чувства и разбирательства в Афинах в связи с изувечением Гермесы были следствием ее демократического правления, можно напомнить об аналогичном событии современности, от которого нас еще не отделяет и столетие.

В 1766 году в Аббевиле во Франции два молодых джентльмена из хорошей семьи - шевалье д'Эталлонде и шевалье де ла Барр - были преданы суду, осуждены и приговорены за то, что повредили деревянное распятие, стоявшее на мосту этого города; в дополнение к этому преступлению им было предъявлено обвинение в исполнении непристойных песен. Улики, подтверждающие эти пункты, были весьма сомнительны; тем не менее обоих приговорили к вырыванию языков с корнем, отрубанию правых рук у церковных ворот, а затем привязали железной цепью к столбу на рыночной площади и сожгли на медленном огне. Этот приговор, после того как он был представлен в виде апелляции в Парижский парламент и подтвержден им, был фактически приведен в исполнение после побега шевалье де ла Барре-д'Эталонде в июле 1766 года; с тем смягчением, что его позволили обезглавить перед сожжением; но в то же время с тем отягчением, что его подвергли пыткам, обычным и чрезвычайным, чтобы заставить его выдать своих сообщников (Voltaire, Relation de la Mort du Chevalier de la Barre, Œuvres, vol. xlii, pp. 361-379, ed. Beuchot: также Voltaire, Le Cri du Sang Innocent, vol. xii, p. 133).

Я привожу из этого трактата отрывок, показывающий, как - как в случае с изувечением Гермеса в Афинах - один акт святотатства переключает воображение, веру и разговоры людей на другие, реальные или воображаемые: - "Tandis que Belleval ourdissoit secrètement cette trame, il arriva malheureusement que le crucifix de bois, posé sur le pont dévéré.

"В то время, когда Бельваль отрекся от этой трагедии, он обнаружил, что деревянное распятие, установленное на мосту в Аббевиле, повреждено, и он подозревает, что солдаты из плюща совершили это дерзкое оскорбление.

"Невзирая на это, ефрейтор Амьена, будучи одновременно и ефрейтором Аббевилля, придает этому приключению особое значение и важность, которой оно не имело. Он укладывал мониторы: он совершал одиночное шествие к распятию; *и в Аббевиле не говорили о причастниках в течение одного года*. Говорят, что образовалась новая секта, которая разрушает распятие, вырывает с корнем все храмы и совершает перевороты. Уверяют, что они извлекли из себя очень много пепла. Есть женщины, которые разбились из-за того, что были убиты. Мы вновь вспомнили все те страшные истории, которые рассказывали о юифах во многих деревнях Европы. Вы знаете, месье, до какой степени население доверчиво и фанатично, но при этом постоянно поощряется со стороны простых людей.

"Когда процедура началась, возникла целая толпа голосов. Chacun disoit ce qu'il avoit vu ou cru voir-ce qu'il avoit entendu ou cru entendre."

Следует помнить, что приговор шевалье де ла Барре был вынесен не народом и не народным судом, а ограниченным судом профессиональных судей, заседавшим в Аббевиле, и впоследствии подтвержден Парижским парламентом, первым трибуналом профессиональных судей во Франции.

[260] Андокидес (De Myster. s. 11) точно отмечает это время - Ἦν μὲν γὰρ ἐκκλησίᾳ τοῖς στρατηγοῖς τοῖς εἰς Σικελίαν, Νικίᾳ καὶ Λαμάχῳ καὶ Ἀλκιβιάδῃ, καὶ τριήρης ἡ στρατηγὶς ἤδη ἐξώρμει ἡ Λαμάχου- ἀναστὰς δὲ Πυθόνικος ἐν τῷ δήμῳ εἶπεν, и т.д.

[261] Andokid. de Myster. s. 11-13.

[262] Thucyd. vi, 29. Исократ (Orat. xvi, De Bigis, sects. 7, 8) очень неточно представляет эти процедуры перед отъездом в Сицилию.

[263] Thucyd. vi, 29. Οἱ δ' ἐχθροὶ, δεδιότες τό τε στράτευμα, μὴ εὔνουν ἔχη, ἣν ἤδη ἀγωνίζεται, ὃ τε δῆμος μὴ μαλακίζεται, θεραπεύων ὅτι δι' ἐκεῖνον οἱ τ' Ἀργεῖοι ξυνεστράτευσον καὶ τῶν Μαντινέων τινες, ἀπέτρεπον καὶ ἀπέσπευδον, ἄλλους ῥήτορας ἐνιέντες, οἳ ἔλεγον νῦν μὲν πλεῖν αὐτὸν καὶ μὴ κατασχεῖν τὴν ἀγωγὴν, ἐλθόντα δὲ κρίνεσθαι ἐν ἡμέραις ῥηταῖς, βουλόμενοι ἐκ μείζονος διαβολῆς, ἣν ἔμελλον ῥᾶον αὐτοῦ ἀπόντος ποιεῖν, μετάπεμπτον κομισθέντα αὐτὸν ἀγωνίσασθαι.

Сравните Плутарх, Алкиб. с. 19.

[264] Рассказ Андокидеса о первом обвинении против Алкивиада, выдвинутом Пифоником на собрании перед отплытием флота, выглядит по существу верным, и я придерживаюсь его в тексте. Он согласуется с более краткими указаниями Фукидида. Но когда далее Андокидес говорит, что "в результате этих сведений Полистрат был схвачен и предан смерти, а остальные обличители бежали и были осуждены на смерть в их отсутствие" (раздел 13), это не может быть правдой. Алкивиад, несомненно, не бежал и не был осужден в *то время*. Если Алкивиада не судили тогда, то не могли судить и других лиц, которые были обвинены как его сообщники в том же преступлении. Я полагаю, что эта информация, впервые представленная врагами Алкивиада перед отплытием флота, была полностью отменена на это время, как против него, так и против его сообщников. Впоследствии она была возобновлена, когда информация самого Андокидеса удовлетворила афинян по вопросу о Гермокопидах: и обвинение, выдвинутое Фессалом, сыном Кимона, против Алкивиада, было основано, по крайней мере частично, на информации, представленной Андрوماхом.

Если Полистрата вообще предали смерти, то это могло произойти только в результате второго выдвижения обвинения, в то время, когда за ним послали Алкивиада и он отказался вернуться домой. Но мы вполне можем усомниться в том, что его предали смерти в то время и на том основании, когда увидим, насколько неточным является заявление Андокидеса о последствиях информации Андромаха. Он упоминает Панэтия как одного из тех, кто бежал вследствие этих сведений и был осужден в их отсутствие, но Панэтий впоследствии, в той же самой речи, оказывается, *не* бежал в то время (секты 13, 52, 67). Гарпократ утверждает (v. Πολύστρατος) на основании оратории, приписываемой Лисию, что Полистрат был предан смерти по обвинению в причастности к изувечиванию Гермеса. Это совершенно не похоже на утверждение Андокидеса и заставляет нас предположить, что Полистрат был одним из тех, против кого сообщил сам Андокидес.

[265] Thucyd. vi, 43; vii, 57.

[266] Thucyd. vi, 32; Diodor. xiii, 3.

[267] Thucyd. vi, 44.

[268] Thucyd. vi, 44-46.

[269] Thucyd. vi, 32-35. Мистер Митфорд замечает: "Историки не уточняют, но из рассказа Фукидида становится ясно, что в правительстве Сиракуз произошел переворот или, по

крайней мере, большие перемены в управлении, поскольку олигархические Леонтины были допущены к правам сиракузских граждан (гл. xviii, раздел iii, т. iv, с. 46). Демократическая партия теперь была в силе" и т. д.

Я не могу представить, на каком отрывке из Фукидида г-н Митфорд основывает эту догадку, которая кажется мне чистой фантазией. Он говорил о правительстве как о демократии раньше, он продолжает говорить о нем как о демократии сейчас, в том же неизменном витиеватом напряжении".

[270] Thucyd. vi, 41. τὰ δὲ καὶ ἐπιμεμελήμεθα ἤδη, etc.

[271] Thucyd. vi, 34. Ὁ δὲ μάλιστα ἐγὼ τε νομίζω ἐπίκαιρον, ὑμεῖς δὲ διὰ τὸ ξύνηθες ἤσυχον ἤκιστ' ἂν ὀξέως πείθοισθε, ὅμως εἰρήσεται.

Та "привычная тишина", которую Гермократес приписывает своим соотечественникам, составляет замечательный контраст с беспокойной активностью и вмешательством, доведенным до крайности, которые Периклес и Никиас порицают в афинянах (Thucyd. i, 144; vi, 7). Однако оба правительства были демократическими. Это служит уроком осторожности в отношении общих предсказаний обо всех демократиях; ведь несомненно, что одна демократия во многих отношениях отличалась от другой. Однако можно усомниться в том, что атрибут, который Гермократес приписывает своим соотечественникам, был действительно заслуженным в той степени, которую подразумевает его язык.

[272] Thucyd. vi, 33-36.

[273] Thucyd. vi, 32-35. τῶν δὲ Συρακοσίων ὁ δῆμος ἐν πολλῇ πρὸς ἀλλήλους ἔριδι ἦσαν, etc.

[274] Thucyd. vi, 35. παρελθὼν δ' αὐτοῖς Ἀθηναγόρας, ὃς δήμου τε προστάτης ἦν καὶ ἐν τῷ παρόντι πιθανώτατος τοῖς πολλοῖς, ἔλεγε τοιάδε, etc.

Должность, приписываемая здесь Афинагору, по-видимому, та же, что и у Клеона в Афинах - ἀνήρ δημαγωγὸς κατ' ἐκείνον τὸν χρόνον ὦν καὶ τῷ πλήθει πιθανώτατος, и т. д. (iv, 21).

Ни δήμου προστάτης, ни δημαγωγὸς, не обозначают никаких явных функций или титулярной должности (см. примечание д-ра Арнольда), по крайней мере, в этих местах. Не исключено, что в некоторых греческих городских конституциях существовала должность с таким названием, но утверждать это нельзя. Слова δήμου προστάτης также не всегда подразумевают равную степень власти: назначенный таким образом человек мог иметь больше власти в одном городе, чем в другом. Так, в Мегаре (iv, 67) кажется, что олигархическая партия была недавно изгнана: лидеры народной партии стали самыми влиятельными людьми в городе. См. также iii, 70, Пейтиас в Коркире.

[275] Thucyd. vi, 36-40. Я привожу суть того, что Фукидид приписывает Афинагору, не связывая себя словами.

[276] Thucyd. vi, 36. τοὺς δ' ἀγγέλλοντας τὰ τοιαῦτα καὶ περιφόβους ὑμᾶς ποιοῦντας τῆς μὲν τόλμης οὐ θαυμάζω, τῆς δὲ ἀσυνεσίας, εἰ μὴ οἶνται ἐνδηλοὶ εἶναι.

[277] Thucyd. vi, 38. Ἀλλὰ ταῦτα, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, οἳ τε Ἀθηναῖοι γινώσκοντες, τὰ σφέτερα αὐτῶν, εἴ οἱδ' ὅτι, σῶζουσι, καὶ ἐνθὲνδε ἄνδρες οὔτε ὄντα, οὔτε ἂν γενόμενα, λογοποιοῦσιν. Οὐς ἐγὼ οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλ' αἰεὶ ἐπίσταμαι, ἥτοι λόγοις γε τοιοῖσδε, καὶ ἔτι τούτων κακουργότεροις, ἢ

ἔργοις, βουλομένους καταπλήξαντας τὸ ὑμέτερον πλῆθος αὐτοὺς τῆς πόλεως ἄρχειν. Καὶ δέδοικα μέντοι μήποτε πολλὰ πειρῶντες καὶ κατορθώσωσιν и т.д.

[278] Thucyd. vi, 39. φήσκει τις δημοκρατίαν οὔτε ξυνετὸν οὔτ' ἴσον εἶναι, τοὺς δ' ἔχοντας τὰ χρήματα καὶ ἄρχειν ἄριστα βελτίστους. Ἐγὼ δὲ φημι πρῶτα μὲν, δῆμον ξύμπαν ὠνομάσθαι, ὀλιγαρχίαν δὲ μέρος- ἔπειτα, φύλακας μὲν *ἀρίστους εἶναι χρημάτων τοὺς πλουσίους*, βουλευσάι δ' ἂν βέλτιστα τοὺς ξυνετοὺς, κρίναι δ' ἂν ἀκούσαντας ἄριστα τοὺς πολλοὺς- καὶ ταῦτα ὁμοίως καὶ κατὰ μέρη καὶ ξύμπαντα ἐν δημοκρατίᾳ ἰσομοιρεῖν.

Доктор Арнольд переводит φύλακας χρημάτων, "имеющий попечение о государственной казне", как если бы это было φύλακας τῶν δημοσίων χρημάτων. Но мне кажется, что эти слова несут в себе более широкий смысл и относятся к частной собственности этих богачей, а не к их функциям хранителей того, что было собрано в виде налогов или дани. Если смотреть на богатого человека с точки зрения общества, то он хранит свою собственность до тех пор, пока нужды государства не потребуют, чтобы он потратил больше или меньше ее на общественную защиту или пользу: в это время он пользуется ею, как ему заблагорассудится, но в своих собственных интересах он будет заботиться о том, чтобы собственность не погибла (ср. Vi, 9). Такова служба, которую он, *quatenus, богач*, оказывает государству; он может служить ему и другими способами, но это будет связано с его личными качествами; так, например, он может быть умным и богатым (ξυνετὸς, а также πλούσιος), и тогда он может служить государству как *советник*, вторая из двух категорий, названных Афинагором. Здесь оратор отрицает более высокий титул и более высокую пригодность богатых к командованию, что и было выдвинуто от их имени. И далее он указывает, каково их реальное положение и служба в демократическом государстве; они должны пользоваться доходами и сохранять капитал своего богатства, при необходимости требуя его для общественных целей, но не ожидая командования, если только они лично не компетентны. Говоря правильно, то, что он здесь утверждает, справедливо как по отношению к мелким участкам собственности, взятым в массе, так и по отношению к крупным, и является одним из оснований защиты частной собственности против коммунизма. Но собственность богатого человека, взятая в индивидуальном порядке, представляет собой значительную ценность для государства; кроме того, он постоянно выдвигает несправедливые претензии на политическую власть, так что возникает необходимость определить, на какую сумму он действительно имеет право.

[279] Thucyd. vi, 39. Ὀλιγαρχία δὲ τῶν μὲν κινδύνων τοῖς πολλοῖς μεταδίδωσι, τῶν δ' ὠφελίμων οὐ πλεονεκτεῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ ξύμπαν ἀφελομένη ἔχει- ἃ ὑμῶν οἳ τε δυνάμενοι καὶ οἳ νέοι προθυμοῦνται, ἀδύνατα ἐν μεγάλῃ πόλει κατασχεῖν.

[280] См. выше, в этом томе, [гл. lvi](#).

[281] Thucyd. vi, 45.

[282] Thucyd. vi, 47; Плутарх, Никиас, с. 14.

[283] Thucyd. vi, 48. Οὕτως ἤδη Συρακούσαις καὶ Σελινοῦντι ἐπιχειρεῖν, ἣν μὴ οἱ μὲν Ἐγεσταίοις συμβαίνωσιν, οἱ δὲ Λεοντίους ἕως κατοικίξειν.

[284] Сравните iv, 104, где описывается неожиданное взятие Амфиполя Брасидасом.

[285] Thucyd. vi, 49.

[286] Thucyd. vi, 50.

[287] Полиэнус (i, 40, 4) рассматривает это приобретение катаны как результат не случайности, а заранее подготовленного заговора. Я следую рассказу Фукидида.

[288] Thucyd. vi, 52.

[289] Thucyd. vi. 53-61.

[290] Andokidês de Mysteriis, sects. 14, 15, 35. Что касается низложения Агаристка, то Андокидес снова включает Алкивиада в число тех, кто бежал в изгнание из-за этого. Если только мы не предполагаем другого Алкивиада, не полководца в Сицилии, это утверждение не может быть верным. Был еще один Алкивиад, из рода Фегус: но Андокид, упоминая о нем впоследствии (раздел 65), уточняет его род. Он был двоюродным братом Алкивиада и находился в изгнании одновременно с ним (Xenoph. Hellen. i, 2, 13).

[291] Андокидес (секты 13-34) утверждает, что некоторые из лиц, обвиненных Тевкрусом как изуевчившие Гермеса, были преданы смерти по его низложению. Но я оспариваю его точность в этом вопросе. Ведь Фукидид признает, что никто не был предан смерти, кроме тех, на кого доносил сам Андокид (см. vi, 27, 53, 61). Он особо останавливается на количестве людей, и людей с прекрасным характером, заключенных в тюрьму по подозрению; но он не упоминает никого, кто был бы предан смерти, кроме тех, против кого свидетельствовал Андокид. Он называет большой жестокостью и чрезвычайным доказательством царившего волнения то, что афиняне должны были задержать столько людей по подозрению, на основании показаний доносчиков, не заслуживающих доверия. Но он не назвал бы это задержание чрезвычайной жестокостью, если бы афиняне зашли так далеко, что по тем же показаниям предали смерти отдельных людей. Кроме того, предание смерти этих людей противоречило бы их собственной цели - полному и всестороннему раскрытию заговора и заговорщиков. Неведение, в котором они пребывали относительно своих внутренних врагов, было одним из самых мучительных из всех их чувств; и предание смерти любого заключенного до тех пор, пока они не придут или не сочтут, что пришли к знанию целого, лишило бы их шанса получить доказательства: ὁ δὲ δῆμος ὁ τῶν Ἀθηναίων ἄσμενος λαβὼν, ὡς ᾤετο, τὸ σαφές, καὶ δεῖνὸν ποιοῦμενοι πρότερον εἰ τοὺς ἐπιβουλευόντας σφῶν τῷ πλήθει μὴ εἶσονται, etc.

Вахсмут говорит (с. 194): "Кровожадные наклонности народа были возбуждены предыдущими убийствами: чем больше было жертв, подлежащих закланию, тем больше радовались люди" и т. д. Это неточность, вполне соответствующая общему духу его повествования. Она неявно опровергается теми самыми словами Фукидида, которые он переписывает в примечании 108.

[292] Andokid. de Mysteriis, sects. 27-28. καὶ Ἀνδροκλῆς ὑπὲρ τῆς βουλῆς.

[293] Andokid. de Myster. sect. 36. Кажется, что Диогнет, который был комиссаром дознания в то время, когда Пифоник представил первые сведения о рабе Андромaxe, сам был в числе тех, кого обличал Тевкрus (And. de Mys. sects. 14, 15).

[294] Thucyd. vi, 53-60. οὐ δοκιμάζοντες τοὺς μηνυτὰς, ἀλλὰ πάντας ὑπόπτως ἀποδεχόμενοι, διὰ πονηρῶν ἀνθρώπων πίστιν πάνυ χρηστοὺς τῶν πολιτῶν συλλαμβάνοντες κατέδουν, χρησιμώτερον ἡγούμενοι εἶναι βασανίσαι τὸ πρᾶγμα καὶ εὐρεῖν, ἢ διὰ μηνυτοῦ πονηρίαν τινὰ καὶ χρηστὸν δοκοῦντα εἶναι αἰτιαθέντα ἀνέλεγκτον διαφυγεῖν....

... δεῖνὸν ποιοῦμενοι, εἰ τοὺς ἐπιβουλευόντας σφῶν τῷ πλήθει μὴ εἶσονται....

[295] Andokid. de Myst. sect. 36.

[296] Плутарх (Alkib. с. 20) и Диодор (xiii, 2) утверждают, что это свидетельство было явно ложным, поскольку в ночь, о которой идет речь, было *новолуние*. Я предполагаю, по крайней мере, что замечание Диодора относится к низложению Диоклейдеса, хотя он никогда не упоминает имя последнего и даже описывает его со многими существенными изменениями по сравнению с Андокидесом. Замечание Плутарха, безусловно, относится к Диоклейдесу, чье заявление, по его словам, о том, что он видел и различал указанных лиц при свете луны в ночь новолуния, потрясло всех здравомыслящих людей, но не произвело никакого эффекта на слепую ярость народа. Вахсмут (Hellenisch. Alterth. vol. ii, ch. viii, p. 194) копирует это замечание у Плутарха.

Я совершенно не верю утверждению, что в ту ночь *было новолуние*. Андокидес очень подробно рассказывает о низложении Диоклейдеса, желая показать, что оно было ложным и вероломно придуманным. Но он нигде не упоминает о том, что в ту ночь *было новолуние*; хотя если мы прочтем его отчет и комментарии к низложению Диоклейдеса, то увидим, что он не мог упустить такого средства дискредитации всей истории, если бы факт был таковым (Andokid. de Myst. sects. 37-43). Кроме того, нужны очень веские доказательства, чтобы мы поверили, что подкупленный доносчик, давая показания вскоре после одной из самых памятных ночей, когда-либо прошедших в Афинах, был бы настолько неуклюж, чтобы особо ссылаться на то, что было *полнолуние* (εἶναι δὲ πανσέληνον), если бы на самом деле было *новолуние*.

[297] Andokid. de Myst. sects. 37-42.

[298] Учитывая крайнюю тревогу, охватившую тогда афинян, и их убежденность в том, что среди них есть предатели, которых они пока не могут опознать, следует отметить, что они устояли перед предложением своих комиссаров применить пытки. Мы должны помнить, что афиняне признавали принцип пытки как хороший способ добиться правды, а также проверить показания, поскольку они часто применяли ее к показаниям рабов, а иногда, по-видимому, и к показаниям метисов. Их привязанность к установленному закону, запрещавшему применять пытку к гражданам, должна была быть очень велика, чтобы они могли устоять перед особым и непосредственным соблазном применить ее в данном случае к Мантитею и Афепсиону, хотя бы в порядке исключения.

Применение пыток к свидетелям и подозреваемым, переданное из римского права, было таким же образом признано и пронизывало почти всю уголовную юриспруденцию Европы вплоть до прошлого века. Я надеюсь, что читатель, ознакомившись с мучительным повествованием о том, как афиняне расправились с Гермесом, найдет в себе силы прочесть для сравнения "*Историю несчастной Колонны*" выдающегося Александра Мандзони, автора "Обещаний". Этот небольшой том, включающий в себя переиздание "Оссервациони суллы Тортуры" Верри, полон интереса и поучительности. В нем рассказывается о судебных преступлениях, совершенных в Милане в 1630 году, когда там свирепствовал страшный мор, судьями и сенатом, чтобы получить доказательства против некоторых подозреваемых лиц, называемых *Untori*; то есть людей, которые, по твердому убеждению всего населения, за редким исключением, вызывали и распространяли мор с помощью определенной мази, которую они наносили на двери и стены домов. Манцони просто, красноречиво и впечатляюще рассказывает о невероятной варварской жестокости, с которой официальные адвокаты Милана, подчиненные сенату, силой пыток добились показаний против нескольких человек в совершении этого мнимого и невозможного преступления. Осужденные таким образом были казнены под ужасными пытками: дом одного из них, цирюльника по имени Мора, был снесен, а на его месте воздвигнут столб с надписью в память о содеянном. Этот столб, *Колонна Инфаме*, простоял в Милане до конца XVIII века. Из рассказа Мандзони

читатель поймет, до какой степени общественное возбуждение и тревога могут отравить и варваризировать отправление правосудия в христианском городе, без малейшего оттенка демократии, с профессиональными юристами и судьями, тайно руководящими всей процедурой, по сравнению с языческим городом, ультрадемократическим, где судебная процедура, как и решение, была устной, публичной и многолюдной.

[299] Andokid. de Myst. sects. 41-46.

[300] Andokid. de Myst. sect. 48: сравните Лисий, Orat. xiii, cont. Agorat. sect. 42.

[301] Плутарх (Alkib. с. 21) утверждает, что человека, который таким образом обратился к Андокиду и убедил его, звали Тимей. От кого он получил это имя, мы не знаем.

[302] Повествование, которое я здесь привел по существу, можно найти в Andokid. de Myst. sects. 48-66.

[303] Thucyd. vi, 60. Καὶ ὁ μὲν αὐτός τε καθ' ἑαυτοῦ καὶ κατ' ἄλλων μνηύει τὸ τῶν Ἑρμῶν и т. д.

В том же духе см. враждебную орацию Лисия против Андоцидема, Or. vi, sects. 36, 37, 51: также самого Андокидеса, De Mysteriis, sect. 71; De Reditu, sect. 7.

Если верить Псевдо-Плутарху (Vit. x, Orator, p. 834), Андокидес в прошлом был виновен в пьяном дебоше и повреждении статуи.

[304] Thucyd. vi, 60. ἐνταῦθα ἀναπείθεται εἰς τῶν δεδεμένων, ὅσπερ ἐδόκει αἰτιώτατος εἶναι, ὑπὸ τῶν ξυνδεδεσμένων τινός, εἴτε ἄρα καὶ τὰ ὄντα μνηῦσαι, εἴτε καὶ οὐ- ἐπ' ἀμφοτέρα γὰρ εἰκάζεται- τὸ δὲ σαφές οὐδεὶς οὔτε τότε οὔτε ὕστερον ἔχει εἰπεῖν περὶ τῶν δρασάντων τὸ ἔργον.

Если утверждение Андокидеса в Oratio de Mysteriis верно, то показания, данные ранее Тевкром-метиком, должны были быть правдивыми; хотя этот человек обычно осуждается среди лживых свидетелей (см. слова комического писателя Фриниха ап. Плутарха, Alkib. с. 20).

Фукидид отказывается даже упоминать имя Андокидеса и выражается об этой темной сделке более чем обычно сдержанно, как будто боится нанести обиду великим афинским семьям. Горькая вражда, которую она оставила после себя в Афинах на долгие годы, показана в двух орациях Лисия и Андокидеса. Если верен рассказ Дидима о том, что Фукидид после возвращения из ссылки в Афины умер насильственной смертью (см. Biogr. Thucyd. p. xvii. ed. Arnold), то представляется вероятным, что вся его сдержанность не защитила его от частной вражды, возникшей из-за его исторических утверждений.

[305] Thucyd. vi, 60. Ὁ δὲ δῆμος ὁ τῶν Ἀθηναίων ἄσμενος λαβὼν, ὡς ᾤετο, τὸ σαφές, etc.: ср. Andokid. de Mysteriis, sects. 67, 68.

[306] Andokid. de Myst. sect 66; Thucyd. vi, 60; Philochorus, Fragment. 111, ed. Didot.

[307] Thucyd. vi, 60. ἡ μὲντοι ἄλλη πόλις περιφανῶς ὠφέλητο: ср. Andokid. de Reditu, sect. 8.

[308] См. Andokid. de Mysteriis, sect. 17. В отношении этого γραφὴ παρανόμων, которое, как утверждает Андокид, его отец Леогор возбудил против сенатора Спевсиппа перед дикастерией из шести тысяч человек (число, в которое очень трудно поверить), из которых, по его словам, Спевсипп получил только двести голосов, есть несколько трудно объяснимых обстоятельств; Но если этот суд вообще имел место, мы не можем поверить, что он мог состояться до того, как общественное мнение было успокоено разоблачениями Андокидеса,

тем более что Леогор фактически находился в тюрьме вместе с Андокидесом непосредственно перед этими разоблачениями.

[309] Подтверждение этих общих положений относительно обстоятельств Андокидеса см. в трех орациях: Andokidês de Mysteriis, Andokidês de Reditu Suo и Lysias contra Andokidem.

[310] Гомер, Гимн. Cerer. 475. Сравните эпиграмму, приведенную в Lobeck, Eleusinia, p. 47.

[311] Lysias cont. Andokid. init. et fin.; Andokid. de Myster. sect. 29. Сравните фрагмент утраченной оратории Лисия против Кинесия (Fragm. xxxi, p. 490, Bekker; Athenæus, xii, p. 551), где Кинесий и его друзья обвиняются в многочисленных нечестивых поступках, один из которых заключался в праздновании праздников в несчастливые и запрещенные дни, "в насмешку над нашими богами и нашими законами" - ὥς καταλεγῶντες τῶν θεῶν καὶ τῶν νόμων τῶν ἡμετέρων. Далее излагаются плачевные последствия, к которым привело недовольство богов: все спутники Кинесия погибли, а сам Кинесий жил в жалком здравии и в состоянии, худшем, чем смерть: τὸ δ' οὕτως ἔχοντα τοσοῦτον χρόνον διατελεῖν, καὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκοντα μὴ δύνασθαι τελευτῆσαι τὸν βίον, τοῦτοις μόνοις προσήκει τοῖς τὰ τοιαῦτα ἄπερ οὗτος ἐξερματεκόσι.

Поэты-комики Стратис и Платон также выделяли Кинезия среди своих любимых предметов насмешек и клеветы и, кажется, особенно представляли его худобу и постоянное нездоровье как наказание богов за его нечестие. См. Meineke, Fragm. Comic. Græc. (Strattis), vol. ii, p. 768 (Платон), p. 679.

[312] Lysias cont. Andokid. sects. 50, 51; Cornel. Nepos, Alcib. c. 4. Выражения Пиндара (Fragm. 96) и Софокла (Fragm. 58, Brunck.-Cēdip. Kolon. 1058) относительно ценности элевсинских мистерий весьма поразительны: также Цицерон, Legg. ii, 14.

Гораций не позволит себе находиться под одной крышей или в одной лодке с тем, кто был виновен в разглашении этих тайн (Od. iii. 2, 26), а тем более в насмешках над ними.

Наиболее полную информацию об этих церемониях читатель найдет в "Элевсиниях", составляющих первый трактат в работе Лобека под названием "Аглаофам", а также в "Диссертации" под названием "Элевсиниум" в Kleine Schriften K. O. Мюллера. vol ii, p. 242, seqq.

[313] Diodor. xiii. 6

[314] В дальнейшем мы увидим, что эти священные семьи наиболее упорно сопротивляются возвращению Алкивиада из изгнания (Thucyd. viii, 53).

[315] Thucyd. vi, 53-61.

[316] Plutarch, Alkib. c. 22. Θέσσαλος Κίμωνος Λακιάδης, Ἀλκιβιάδην Κλεινίου Σκαμβωνίδην εἰσὴγγεῖλεν ἀδικεῖν περὶ τῷ θεῷ, τὴν Δήμητρα καὶ τὴν Κόρην, ἀπομιμούμενον τὰ μυστήρια, καὶ δεικνύοντα τοῖς αὐτοῦ ἐταίροις ἐν τῇ οἰκίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἔχοντα στολὴν οἷαν περ ἱεροφάντης ἔχων δεικνύει τὰ ἱερὰ, καὶ ὀνομάζοντα αὐτὸν μὲν ἱεροφάντην, Πολυτίωνα δὲ δαδοῦχον, κήρυκα δὲ Θεόδωρον Φηγέα- τοὺς δ' ἄλλους ἐταίρους, μύστας προσαγορεύοντα καὶ ἐπόπτας, παρὰ τὰ νόμιμα καὶ τὰ καθεστηκότα ὑπὸ τ' Εὐμολπιδῶν καὶ κηρύκων καὶ τῶν ἱερέων τῶν ἐξ Ἐλευσίνος.

[317] Thucyd. vi, 61.

[318] Xenoph. Hellen. i, 2, 13.

[319] Thucyd. vi. 61; Plutarch, Alkib. c. 22-33; Lysias, Orat. vi, cont. Andokid. sect. 42.

Плутарх говорит, что Алкивиаду было бы легко поднять мятеж в армии в Катане, если бы он решил воспротивиться приказу вернуться домой. Но это крайне маловероятно. Учитывая, как он вел себя сразу после этого, мы увидим веские основания полагать, что он пошел бы на этот шаг, если бы это было осуществимо.

[320] Чтобы правильно оценить бурные эмоции, вызванные в Афинах увечьем Гермеса и осквернением таинств, необходимо рассмотреть, как аналогичные акты святотатства рассматривались в христианском и католическом уголовном законодательстве, вплоть до времен первой Французской революции.

Я привожу следующую выдержку из авторитетного труда по французской уголовной юриспруденции - Jousse, *Traité de la Justice Criminelle*, Paris, 1771, part iv, tit. 27, vol. iii, p. 672:-

"Du Crime de Leze-Majesté Divine.-Les Crimes de Leze Majesté Divine, sont ceux qui attaquent Dieu immédiatement, et qu'on doit regarder par cette raison comme les plus atroces et les plus exécrables.-La Majesté de Dieu peut être offensée de plusieurs manières.-1. En niant l'existence de Dieu. 2. По преступлению тех, кто прямо противостоит Божественности: например, если осквернить или испортить ноги святым Хозяевам; или если *разрушить Образы Дьявола*, чтобы оскорбить их. Это и есть то, что мы называем *"преступлением Лезе-Маджесте Божественного повара"*".

Снова в той же работе, часть iv, тит. 46, п. 5, 8, 10, 11, vol. iv, pp. 97-99:-

"Осквернение Святынь и Таинств Религии - это святотатство более исключительное. Это преступление тех, кто использует священные вещи для общего и дурного употребления, для осквернения Таинств; тех, кто оскверняет святую Евхаристию или злоупотребляет ею по своему усмотрению; те, кто, оскверняя Религию, оскверняет Фонты Крещения; кто выбрасывает на землю святые Воинства или использует их в мерзких и профанных целях: *те, кто, при отступлении от наших святых Таинств, сбрасывает их в свои подземелья; те, кто разрушает, уродует, уничтожает изображения, посвященные Дию, или Святой Вьерге, или Святым*, в рамках религии; и, наконец, все те, кто совершает подобные преступления. Все эти преступления являются преступлениями божественного шефа Лезе-Мажеста, поскольку они направлены непосредственно на Дьявола и не вызывают ни малейшего желания, кроме как оскорбить его".

"... La peine du Sacrilège, par l'Ancien Testament, étoit celle du feu, et d'être lapidé. -Par les Loix Romaines, les coupables étoient condamnés au fer, au feu, et aux bêtes farouches, suivant les circonstances.-Во Франции наказание за преступление является произвольным и зависит от качества и обстоятельств преступления, места, времени и качества обвиняемого.-Для жертвоприношения первому повару, который атакует Божественность, Святую Вьергу и Святых, в. г. à l'égard de ceux qui foulent aux pieds les saintes Hosties, ou qui les jettent à terre, ou enusent, et qui les emploient à des usages vils et profanes, la peine est le feu, l'amende honorable, et le poing coupé. Il en est de même de ceux qui profanent les Fonts-Baptismaux; ceux qui, en dérision de nos Mystères, s'en moquent et les contrefont dans leurs débauches: ils doivent être punis de peine capitale, parce que ces crimes attaquent immédiatement la Divinité."

М. Далее Жюс приводит несколько примеров лиц, приговоренных к смерти за святотатство описанного выше характера.

[321] Различные авторы, в том числе д-р Тирлуолл, ссылаются на судебные процессы в Англии в 1678 и 1679 годах в связи с предполагаемым заговором папистов, считая их

аналогичными тем, которые произошли в Афинах после глумления над Гермой. Но есть много существенных различий, и все они, насколько я могу судить, в пользу Афин.

1. "Адский и проклятый заговор папистов-отступников" (если воспользоваться словами палат лордов и общин - см. Dr. Lingard's History of England, vol. xiii, ch. v, p. 88, - слова, подобные которым, несомненно, использовались в Афинах в отношении Гермокопидов) с самого начала был необоснованным, лживым и невероятным. Она не основывалась ни на одном реальном факте: вся она представляла собой ткань фальши и измышлений, исходящих от Оутса, Бедлоя и нескольких других информаторов самого худшего свойства.

В Афинах, несомненно, существовал заговор; Гермокопиды были настоящими заговорщиками, и их было не мало. Никто не мог сомневаться, что они замыслили и другие цели, кроме нанесения увечий Герме. В то же время никто не знал, что это были за цели и кто были сами заговорщики.

Если бы перед изувечением Гермеса такой человек, как Оутс, притворился, что раскрывает афинскому народу сфабрикованный заговор, в котором замешаны Алкивиад и другие, ему бы не поверили. Только после этого ужасающего инцидента афиняне стали доверять доносчикам. И мы должны помнить, что они никого не предавали смерти по показаниям этих доносчиков. Они довольствовались заключением в тюрьму по подозрению, пока не получили признание и показания Андокидеса. Те, кто был замешан в *этих* показаниях, были приговорены к смерти. Андокидес, как свидетель, заслуживает лишь очень ограниченного доверия; однако его невозможно поставить на одну ступень даже с Тевкрусом или Диоклейдесом, а тем более с Оутсом и Бедлоем. Мы не можем удивляться тому, что люди доверяли ему, и, учитывая особые обстоятельства дела, это было наименьшим злом, чтобы они ему доверяли. Свидетели, на основании показаний которых были осуждены заключенные по делу "Папистского заговора", даже уступали Тевкрусу и Диоклейдесу в предположительной достоверности.

Афинский народ порицали за глупость, когда он считал, что демократическая конституция в опасности из-за того, что Гермес был изуродован. Я попытался показать, что, если обратиться к их религиозным представлениям, нить связи между этими двумя идеями вполне объяснима. И почему мы должны ссориться с афинянами за то, что они взяли в руки оружие и стали на страже, когда лакедемонские или беотийские вооруженные силы находились на их границе?

Что касается осуждения Алкивиада и других за осквернение и разглашение Элевсинских тайн, то их ни на минуту нельзя ставить в один ряд с осуждениями в "Папском заговоре". Это были правдивые обвинения, по крайней мере, есть веские основания полагать, что они были правдивыми. Люди были осуждены и наказаны за действия, которые они действительно совершили и которые, как они знали, были законными преступлениями. Правильно ли считать такие действия законными преступлениями, или нет - это уже другой вопрос. Чудовищность Папского заговора заключалась в том, что людей наказывали за действия, которых они не совершали, и на основании показаний самых лживых и никчемных свидетелей.

Душевное состояние, в которое были приведены афиняне после разрубания Гермеса, действительно было очень похоже на то, в котором находился английский народ во время распространения Папского заговора. Страдания, ужас и смятение, как я полагаю, были в Афинах еще сильнее: но причина их была серьезнее и реальнее, а активная несправедливость, которую они породили, была гораздо меньше, чем в Англии.

"Я не буду задерживать читателя (говорит д-р Лингард, Hist. Engl. xiii, p. 105) рассказом о пристрастных процессах и судебных убийствах несчастных людей, чьи имена были вставлены Оутсом в его притворные открытия. Волнение было столь сильным, заблуждение, порожденное лжесвидетельством доносчика, столь всеобъемлющим, что голос разума и требования справедливости были в равной степени проигнорированы. И судья, и присяжные, казалось, не имели иной цели, кроме как отомстить предполагаемым предателям. Чтобы выступить в поддержку своих свидетелей или намекнуть на неправдоподобность доносов, требовалась сила духа, безрассудство перед последствиями, которые выпадают на долю немногих: даже сам король, убежденный в самозванстве и презрительно отзывавшийся о нем наедине, не осмелился воспользоваться своей прерогативой милосердия, чтобы спасти жизни невинных".

Следует отметить, что Палата лордов, как в качестве законодательного органа, так и в своем судебном качестве, когда перед ними предстал католический лорд Стаффорд (гл. VI, стр. 231-241), проявила степень предрассудков и несправедливости, совершенно равную той, которую проявляют судьи и присяжные в судах.

И английская судебная власть в этом случае, и миланская судебная власть в случае, о котором говорилось в предыдущем примечании, были более испорчены и доведены до большей несправедливости царящими предрассудками, чем чисто народная афинская дикастерия в этом деле о Гермесе и других профанациях".

[322] Plutarch, Alkib. c. 22.

[323] Thucyd. ii, 65. τὰ τε ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀμβλύτερα ἐπτοίουν, etc.

[324] Утверждения о возрасте и жизни Лаиса кажутся вовлеченными в неразрешимую путаницу. См. примечание Гёллера к "Филистии", Фрагмент. v.

[325] Diodor. viii, 6; Thucyd. vi, 62. Καὶ τὰνδράποδα ἀπέδοσαν, καὶ ἐγένοντο ἐξ αὐτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τάλαντα. Слово ἀπέδοσαν, по-видимому, означает, что пленники были переданы своим соотечественникам, естественным лицам, которые должны были вести переговоры об их освобождении, по частному договору на определенную сумму. Если бы Фукидид сказал ἀπέδοντο, это означало бы, что они были выставлены на аукцион за ту сумму, которую за них можно было бы выручить. Такое различие, по крайней мере, возможно, и, на мой взгляд, более приемлемо, чем предложенное в примечании д-ра Арнольда.

Однако если мы обратимся к Thucyd. vi, 88 с примечанием Дюкера, то увидим, что μεταπέμπειν иногда, хотя и редко, используется в значении μεταπέμπεσθαι. Возможно, так же обстоит дело и с ἀπέδοσαν для ἀπέδοντο.

[326] Thucyd. vi, 63; vii, 42.

[327] Thucyd. vi, 63; Diodor. xiii, 6.

[328] Thucyd. vi, 65, 66; Diodor. xiii, 6; Plutarch, Nikias, c. 13.

[329] Thucyd. vi, 67-69.

[330] Thucyd. vi, 68, 69. ἄλλως δὲ καὶ πρὸς ἄνδρας πανδημεῖ τε ἀμυνομένους, καὶ οὐκ ἀπολέκτους ὥσπερ ἡμᾶς- καὶ προσέτι Σικελιώτας, οἱ ὑπερφρονοῦσι μὲν ἡμᾶς, ὑπομένουσι δὲ οὐ- διὰ τὸ τὴν ἐπιστήμην τῆς τόλμης ἥσσω ἔχειν.

Этот отрывок очень наглядно иллюстрирует значение наречия πανδημεί. Сравните πανδαμεί, πανομιλει, Æschylus, Sept. Theb. 275.

[331] Thucyd. vi, 70. Τοῖς δ' ἐμπειροτέροις, τὰ μὲν γινόμενα, καὶ ὥρᾳ ἔτους περαίνεσθαι δοκεῖν, τοὺς δὲ ἀνθεστῶτας, πολὺ μείζω ἔκπληξιν μὴ νικωμένους παρέχειν.

Афиняне, к несчастью для себя, не были столь же безразличны к затмениям луны. Сила этого замечания будет видна в следующей главе, кроме одной.

[332] Thucyd. vi, 70.

[333] Thucyd. vi, 71. Плутарх (Nikias, с. 16) утверждает, что Никиас по религиозным соображениям отказался вторгнуться в священный участок, хотя его солдаты стремились захватить его содержимое.

Диодор (xiii, 6) ошибочно утверждает, что афиняне стали хозяевами Олимпиады. То же самое говорит и Павсаний (x, 28, 3), добавляя, что Никиас не стал тревожить ни сокровища, ни жертвоприношения, оставив их под присмотром сиракузских жрецов.

Плутарх также утверждает, что Никиас пробыл на своем посту несколько дней, прежде чем вернуться в Катану. Но язык Фукидида указывает на то, что афиняне вернулись на следующий день после битвы.

[334] Thucyd. vi, 71-74.

[335] Thucyd. vi, 21-26.

[336] Thucyd. vi, 20.

[337] Thucyd. i, 69. ἡσυχάζετε γὰρ μόνοι Ἑλλήνων, ὧς Λακεδαιμόνιοι, οὐ τῇ δυνάμει τινὰ ἀλλὰ τῇ μελλήσει ἀμυνόμενοι, καὶ μόνοι οὐκ ἀρχομένην τὴν αὔξησιν τῶν ἐχθρῶν, ἀλλὰ διπλασιουμένην, καταλύοντες.

[338] Αἰσχρὸν δὲ βιασθέντας ἀπελθεῖν, ἢ ὕστερον ἐπιμεταπέμπεσθαι, τὸ πρῶτον ἀσκέπτως βουλευσαμένους: "Позорно быть изгнанным из Сицилии превосходящими силами или возвращаться сюда потом за свежими подкреплениями по нашей собственной вине, когда мы сначала сделали неправильные расчеты". (Thucyd. vi, 21.)

Это была часть последней речи самого Никиаса в Афинах перед экспедицией. В ответ афинский народ проголосовал за то, чтобы он и его коллеги сами определили количество своих сил и получили все, о чем просят. Более того, в городе царило такое настроение, что каждый в отдельности стремился записать свое имя на службу (vi, 26-31). Фукидид едва ли найдет слова, достаточные для того, чтобы описать полноту, величие, богатство государственного и частного вооружения.

Как это подтверждает то, что я выдвинул в тексте, - что действия Никиаса в Сицилии более всего осуждаются его собственными предыдущими речами в Афинах, - так это, кажется, было забыто д-ром Арнольдом, когда он писал свой труд. Arnold, когда он писал свое примечание к замечательному отрывку, ii, 65, из Thucydidês, - ἐξ ὧν ἄλλα τε πολλὰ, ὡς ἐν μεγάλῃ πόλει, καὶ ἀρχὴν ἐχούσῃ, ἡμαρτήθη, καὶ ὁ ἐς Σικελίαν πλοῦς- ὅς οὐ τοσοῦτον γνώμης ἀμάρτημα ἦν πρὸς οὓς ἐπήεσαν, ὅσον οἱ ἐκπέμψαντες, οὐ τὰ πρόσφορα τοῖς οἰχομένοις ἐπιγινώσκοντες, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας διαβολὰς περὶ τῆς τοῦ δήμου προστασίας, τὰ τε ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀμβλύτερα ἐποιοῦν, καὶ τὰ περὶ τὴν πόλιν πρῶτον ἐν ἀλλήλοις ἐταράχθησαν. На что д-р Арнольд замечает:-.

"Фукидид выражает здесь то же мнение, которое он повторяет в двух других местах (vi, 31; vii, 42), а именно, что афинская сила была полностью достаточной для завоевания Сиракуз, *если бы экспедиция не была неправильно организована генералом и недостаточно снабжена правительством дома*. Слова οὐ τὰ πρόσφορα τοῖς οἰχομένοις ἐπιγυνώσκοντες означают "не проголосовав после этого за необходимые припасы к своему отсутствующему вооружению:", ибо Никиасу помешала улучшить его первую победу над сиракузянами нехватка конницы и денег; и вся зима была потеряна, прежде чем он смог получить снабжение из Афин. И впоследствии вооружение было доведено до большого расстройтва и слабости, прежде чем вторая экспедиция была отправлена для его усиления". Гёллер и Поппо согласны с этим объяснением.

Прежде всего, давайте обсудим приведенное здесь объяснение слов τὰ πρόσφορα ἐπιγυνώσκοντες. Мне кажется, что эти слова *не* означают "голосовать за необходимые припасы".

Слово ἐπιγυνώσκειν не может употребляться в том же смысле, что и ἐπιπέμπειν-παρασχεῖν (vii, 2-15), ἐκπορίζειν. Как недопустимо было бы говорить ἐπιγυνώσκειν ὄπλα, νῆας, ἵππους, χρήματα и т. д., так и не может быть правильным сказать ἐπιγυνώσκειν τὰ πρόσφορα, если бы это последнее слово употреблялось только как всеобъемлющее слово для этих частных, означающее "поставки". На самом деле эти слова означают: "принятие дальнейших решений (после отъезда экспедиции), *не подходящих или нежелательных для отсутствующего вооружения*". Πρόσφορα используется здесь в общем смысле, согласуясь с βουλευματα или каким-либо другим подобным словом: действительно, мы находим фразу τὰ πρόσφορα, используемую в самом общем смысле, для "того, что подходит"; "того, что выгодно или удобно": γυμνάσω τὰ πρόσφορα-πράσσεται τὰ πρόσφορα-τὰ πρόσφορ' ἤξιατ'-τὰ πρόσφορα δρωῆς ἄν-τὸ ταῖσδε πρόσφορον. Еврипид. Hippol. 112; Alkestis, 148; Iphig. Aul. 160, B; Helen. 1299; Трояды, 304.

Фукидид, по-видимому, имел в виду ожесточенные партийные споры, вспыхнувшие по поводу Гермеса и других иррелигиозных действий в Афинах после отбытия войска, особенно злодеяния по отзыву Алкивиада, которые выросли из этих споров. Он не упоминает об удержании припасов от вооружения; да и не было целью какой-либо из партий в Афинах удерживать их. Ярость партии была направлена исключительно против Алкивиада, а не против экспедиции.

Далее, что касается главного утверждения в записке д-ра Арнольда, что *одной из причин* неудачи афинской экспедиции в Сицилии было то, что она была "недостаточно снабжена Афинами". Из двух отрывков, на которые он ссылается в Фукидиде (vi, 31; vii, 42), первый явно противоречит этому утверждению, указывая на огромное количество отправленных сил; второй ничего не говорит об этом и косвенно отрицает это, останавливаясь на вопиющих промахах Никиаса.

После того как афиняне позволили Никиасу весной назвать и собрать те силы, которые он считал необходимыми, как они могли ожидать, что осенью получат требование о дальнейших подкреплениях, ведь армия фактически ничего не сделала? Тем не менее, припасы *были отправлены*, как только это стало возможным, и как только Никиас их ожидал. Если вся зима была потеряна, то это не вина афинян.

Еще сложнее доктору Арнольду утверждать, "что вооружение *было доведено* до большого расстройтва и слабости, прежде чем вторая экспедиция была отправлена для его усиления". Вторая экспедиция была отправлена в тот момент, когда Никиас заявил о своей

беде и попросил о ней; его заявление о беде пришло совершенно неожиданно, почти сразу после большинства успешных выступлений.

Мне кажется, что ничто не может быть более неверным или не соответствующим всей сути повествования Фукидида, чем обвинение афинян в том, что они уморили голодом свою экспедицию. На самом деле их обвиняют в том, что они потратили на нее несоразмерную часть всех своих сил, совершенно огромную и губительную. И Фукидид ясно представляет себе это, когда описывает вооружение Никиаса и Демосфена.

Фукидид очень сдержан в высказываниях против Никиаса, к которому он относится с величайшей снисходительностью и нежностью. Но он допускает достаточно падений, чтобы доказать, что он считал бесхозяйственность генерала *причиной* неудачи вооружения, а не "одной из двух причин", как это представляет доктор Арнольд. Конечно, я полностью признаю превосходное мастерство и агрессивную энергию, столь необычную для спартанца, Гилиппа, а также то эффективное влияние, которое это оказало на результат. Но Гилипп никогда бы не ступил в Сиракузы, если бы его не впустили, сначала из-за безразличия, а затем из-за пренебрежительного отношения к мерам предосторожности, проявленного Никиасом (vii, 42).

[339] Thucyd. v, 7. См. том vi этой Истории, гл. liv, p. 464.

[340] Thucyd. vi, 72, 73.

[341] Thucyd. vi, 75. Ἐτείχιζον δὲ οἱ Συρακόσιοι ἐν τῷ χειμῶνι πρὸς τε τῇ πόλει, τὸν Τεμενίτην ἐντὸς ποιησάμενοι, *τείχος παρὰ πᾶν τὸ πρὸς τὰς Ἐπιπολάς ὁρῶν, ὅπως μὴ δι' ἐλάσσονος εὐαποτείχιστοι ᾤσιν*, ἣν ἄρα σφάλλονται, и т.д.

Общее объяснение топографии Сиракуз я оставляю для следующей главы, когда начнется осада.

[342] Thucyd. vi, 75.

[343] Thucyd. vi, 77-80.

[344] Thucyd. vi, 83-87.

[345] Thucyd. vi, 86. ἡμεῖς μὲν γε οὔτε ἐμμεῖναι δυνατοὶ μὴ μεθ' ὑμῶν- εἴ τε καὶ γενόμενοι κακοὶ κατεργασαίμεθα, ἀδύνατοι κατασχεῖν, διὰ μῆκος τε πλοῦ καὶ ἀπορία φυλακῆς πόλεων μεγάλων καὶ παρασκευῇ ἡπειρωτίδων, и т. д.

Именно так говорит Никиас в своей речи к афинянам. vi, 11.

[346] Thucyd. vi, 88.

[347] Сравните замечания Алкивиада, Thucyd. vi, 91.

[348] Thucyd. vi, 88.

[349] Thucyd. vi, 88; vii, 42.

[350] Плутарх (Alkib. с. 23) говорит, что он отправился жить в Аргос; но это трудно согласовать с утверждением Фукидида (vi, 61) о том, что его друзья в Аргосе вызывали серьезные подозрения в измене.

Корнелий Непос (Alkib. с. 4) с большей долей вероятности утверждает, что Алкивиад отправился из Фурий сначала в Элиду, а затем в Фивы.

Исократес (De Bigis, Orat. xvi, s. 10) говорит, что афиняне изгнали его из всей Греции, начертали его имя на колонне и отправили посланцев требовать его персоны у аргейцев, так что Алкивиад *был вынужден* укрыться у лакедемонян. Все это изложение Исократеса крайне расплывчато и недостоверно, переноса начало заговора Четырехсот на время, предшествующее изгнанию Алкивиада. Но среди всех неясных предложений выделяется утверждение, что афиняне изгнали его из *всей Греции*. Они могли изгнать его только с территории Афин и их союзников. Отправился ли он в Аргос, как я уже говорил, представляется мне весьма сомнительным: возможно, Плутарх скопировал это утверждение из этого отрывка "Исократеса".

Но при всех обстоятельствах мы не должны верить, что Алкивиад обратился против своей страны или отправился в Спарту *по принуждению*. Первый акт его враждебности к Афинам - разочарование в приобретении Мессены - был совершен еще до того, как он покинул Сицилию. Более того, Фукидид изображает его нежелающим идти в Спарту, но только потому, что он боялся спартанцев; на самом деле он ждал от них безопасной доставки и приглашения. Фукидид ничего не упоминает о его поездке в Аргос (vi, 88).

[351] Thucyd. vi, 88.

[352] Thucyd. vi, 89. Τοῖς γὰρ τυράννοις αἰεὶ ποτε διάφοροί ἐσμεν, πᾶν δὲ τὸ ἐναντιούμενον τῷ δυναστεύοντι δῆμος ὠνόμασται- καὶ ἀπ' ἐκείνου συμπαρέμεινεν ἡ προστασία ἡμῖν τοῦ πλήθους.

Следует помнить, что лакедемоняне всегда выступали против τύραννοι, или деспотов, и особенно против Писистратида τύραννοι, которого они фактически низложили. Поэтому, объясняя свои демократические наклонности этим источником, Алкивиад использовал лучшее средство для их оправдания перед лакедемонской аудиторией.

[353] Thucyd. vi, 89. ἡμεῖς δὲ τοῦ ξύμπαντος προέστημεν, δικαιοῦντες ἐν ᾧ σχήματι μεγίστη ἡ πόλις ἔτυχε καὶ ἐλευθερωτάτη οὔσα, καὶ ὅπερ ἐδέξατο τις, τοῦτο ξυνδιασώζειν- ἐπεὶ δημοκρατίαν γε καὶ ἐγινώσκομεν οἱ φρονοῦντές τι, καὶ αὐτὸς οὐδενὸς ἂν χεῖρον, ὅσω καὶ λοιδορήσαιοι- ἀλλὰ περὶ ὁμολογουμένης ἀνοίας οὐδὲν ἂν καινὸν λέγοιτο- καὶ τὸ μεθιστάναι αὐτὴν οὐκ ἐδόκει ἡμῖν ἀσφαλὲς εἶναι, ὅμῶν πολεμίων προσκαθημένων.

[354] О создании и постоянном занятии укрепленного пункта в Аттике коринфяне помышляли еще до начала войны (Thucyd. i, 122).

[355] Thucyd. vi, 92. Καὶ χεῖρων οὐδενὶ ἀξιῶ δοκεῖν ὁμῶν εἶναι, εἰ τῇ ἐμαυτοῦ μετὰ τῶν πολεμιωτάτων, φιλόπολις ποτε δοκῶν εἶναι, νῦν ἐγκρατῶς ἐπέρχομαι.

[356] Thucyd. vi, 92. Τό τε φιλόπολι οὐκ ἐν ᾧ ἀδικοῦμαι ἔχω, ἀλλ' ἐν ᾧ ἀσφαλῶς ἐπολιτεύθην. Οὐδ' ἐπὶ πατρίδα οὔσαν ἔτι ἡγοῦμαι νῦν ἰέναι, πολὺ δὲ μᾶλλον τὴν οὐκ οὔσαν ἀνακτᾶσθαι. Καὶ φιλόπολις οὗτος ὀρθῶς, οὐχ ὅς ἂν τὴν ἐαυτοῦ ἀδίκως ἀπολέσας μὴ ἐπὶ, ἀλλ' ὅς ἂν ἐκ παντὸς τρόπου διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν πειραθῇ αὐτὴν ἀναλαβεῖν.

[357] Thucyd. vi, 89-92.

[358] Thucyd. vi, 28.

[359] См. замечательный отрывок из Thucyd. viii, 89, ῥᾶον τὰ ἀποβαίνοντα, ὥς οὐκ ἀπὸ τῶν ὁμοίων, ἐλασσούμενός τις φέρει, и примечание в пояснение к нему, в более поздней главе этой Истории, гл. lxii.

[360] Thucyd. vi, 12-17.

[361] Plutarch, Alkib. c. 17.

[362] Lucan, Pharsal. iv, 819.

[363] Thucyd. vi, 93; Plutarch, Alkib. c. 23; Diodor. xiii, 7.

[364] Thucyd. vi, 104.

[365] Лошадей так много разводили в Сицилии, что они даже попали в Атику и Центральную Грецию, Sophoklês, CEd. Kolon. 312:-

γυναῖχ' ὀρῶ

Στείχουσιν ἡμῖν, ἄσσον, Αἰτναίας ἐπὶ

Πῶλου βεβῶσαν.

Если верить схолиасту, сицилийские лошади были необычайно велики.

[366] Thucyd. vi, 95-98.

[367] В соседнем городе Гела также, немного в стороне от стен, стояла большая медная статуя Аполлона; настолько святая, красивая или известная, что карфагеняне при вторжении на остров, через семь лет после осады Сиракуз Никием, унесли ее с собой и перевезли в Тир (Diodor. xiii, 108).

[368] Thucyd. vi, 75. Ἐτείχιζον δὲ καὶ οἱ Συρακόσιοι ἐν τῷ χειμῶνι τούτῳ πρὸς τε τῇ πόλει, τὸν Τερμένιτην ἐντὸς ποιησάμενοι, *τείχος παρὰ πᾶν τὸ πρὸς τὰς Ἐπιπολάς ὀρῶν, ὅπως μὴ δι' ἐλάσσονος εὐαποτείχιστοι ᾤσιν*, ἣν ἄρα σφάλλονται, etc.

[369] Thucyd. vi, 96.

[370] Thucyd. vi, 97.

[371] Thucyd. vi, 98. ἐχώρουν πρὸς τὴν Συκῆν οἱ Ἀθηναῖοι, ἵνα περ καθεζόμενοι ἐτείχισαν τὸν κύκλον διὰ τάχους.

[372] Афиняне, кажется, превосходили всех других греков в усердии и мастерстве, с которым они выполняли укрепления: см. некоторые примеры, Thucyd. v, 75-82; Xenoph. Hellen. iv, 4, 18.

[373] Д-р Арнольд в своем примечании к Thucyd. vi, 98, говорит, что о Круге говорится в одном отрывке Thucydides, как будто он *никогда не был завершен*. Я трактую этот отрывок иначе, чем он (vii, 2, 4) - τῷ ἄλλῳ τοῦ κύκλου πρὸς τὸν Τρώγιλον ἐπὶ τὴν ἑτέραν θάλασσαν: где я думаю, что τῷ ἄλλῳ τοῦ κύκλου эквивалентно ἐτέρῳ τοῦ κύκλου, как ясно видно из сопутствующего упоминания о Трогиле и северном море. Я убежден, что "Круг" был завершен; и сам доктор Арнольд указывает на два отрывка, в которых ясно говорится, что он был завершен.

[374] Thucyd. vi, 99. Ὑποτειχίζειν δὲ ἄμεινον ἐδόκει εἶναι (τοῖς Συρακουσίοις) ἢ ἐκεῖνοι (афиняне) ἔμελλον ἄξειν τὸ τεῖχος- καὶ εἰ φθάσειαν, ἀποκλήσεις γίνεσθαι, καὶ ἅμα καὶ ἐν τούτῳ εἰ ἐπιβοηθοῖεν, μέρος ἀντιπέμπειν αὐτοῖ τῆς στρατιᾶς, καὶ φθάνειν ἂν αὐτοῖ τοῖς σταυροῖς προκαταλαμβάνοντες τὰς ἐφόδους- ἐκείνους δὲ ἂν παυομένους τοῦ ἔργου πάντας ἂν πρὸς σφᾶς τρέπεσθαι.

Схолиаст здесь объясняет τὰς ἐφόδους в смысле τὰ βάσιμα; добавляя ὀλίγα δὲ τὰ ἐπιβαθῆναι δυνάμενα, διὰ τὸ τελματῶδες εἶναι τὸ χωρίον. Хотя за ним здесь следуют лучшие комментаторы, я не могу считать его объяснение правильным. Он, очевидно, полагает, что

эта первая крепостная стена сиракузян была построена - как мы увидим вскоре, что и вторая - через болото или низменность между южным утесом Эпиполя и Великой гаванью.

"Местность была в целом болотистой (τελματῶδες), и было лишь несколько мест, где ее можно было пересечь". Но я считаю это предположение ошибочным. Первая контрстена сиракузян была проведена, как мне кажется, по склону Эпиполя, между афинским кругом и южным утесом: она начиналась у недавно возведенной сиракузянами передовой стены, охватывающей Теменитес. Все это была твердая, прочная земля, по которой афиняне могли маршировать в любой точке: возможно, там и сям встречались неровности, но они были бы лишь исключением из общего характера местности.

Мне кажется, что τὰς ἐφόδους означает просто "нападения афинян", без намерения обозначить какие-либо особые уязвимые места; проκαταλαμβάνειν τὰς ἐφόδους, означает "заблаговременно приступить к нападениям" (см. Thucyd. i, 57, v, 30.) Это более обычное значение ἔφοδος (ср. vii, 5; vii, 43; i, 6; v, 35; vi, 63), "нападать, приближаться, посещать" и т. д. Несомненно, есть и другие отрывки, в которых оно означает "путь или дорогу, по которой было совершено нападение": в одном из них, однако (vii, 51), все лучшие редакторы теперь читают ἐσόδου вместо ἐφόδου.

Как видно, аргументы основывались на недопустимом смысле, который схолиаст придает здесь слову ἔφοδος: см. Dr. Arnold, Memoir on the Map of Syracuse, Appendix to his ed. of Thucyd. vol. iii, p. 271.

[375] Thucyd. vi, 100.

[376] Thucyd. vi, 101. Τῇ δ' ὑστεραίᾳ ἀπὸ τοῦ κύκλου ἐτείχιζον οἱ Ἀθηναῖοι τὸν κρημνὸν τὸν ὑπὲρ τοῦ ἔλους, ὃς τῶν Ἐπιπολῶν ταύτῃ πρὸς τὸν μέγαν λιμένα ὄρεᾷ, καὶ ἥπερ αὐτοῖς βραχύτατον ἐγίγνετο καταβᾶσι διὰ τοῦ ὁμάλου καὶ τοῦ ἔλους ἐς τὸν λιμένα τὸ περτείχισμα.

Я привожу в тексте то, что считаю смыслом этого предложения, хотя слова ἀπὸ τοῦ κύκλου не ясны и были истолкованы по-разному. Гёллер в своем первом издании истолковал их так, как если бы стояло ἀρξάμενοι ἀπὸ τοῦ κύκλου: как если бы укрепление, начатое теперь на скале, было непрерывным и фактически соединялось с Кругом. Во втором издании он, кажется, отказывается от этого мнения и переводит их так же, как доктор Арнольд, который считает их эквивалентными ἀπὸ τοῦ κύκλου ὁρμώμενοι, но вовсе не подразумевая, что новые работы были непрерывными с Кругом, что, по его мнению, не было фактом. Если истолковать эти слова таким образом, то они будут означать: "начиная с Круга как базы операций".

Соглашаясь с доктором Арнольдом в его концепции означенного события, я склонен при толковании этих слов исходить из аналогии с двумя или тремя отрывками из Thucyd. i, 7; i, 46; i, 99; vi, 64-Αἱ δὲ παλαιαὶ πόλεις διὰ τὴν ληστείαν ἐπιπολὺ ἀντισχοῦσαν ἀπὸ θαλάσσης μάλλον ὤκισθησαν Ἔστι δὲ λιμὴν, καὶ πόλις ὑπὲρ αὐτοῦ κεῖται ἀπὸ θαλάσσης ἐν τῇ Ἐλαιάτιδι τῆς Θεσπρωτίδος, Ἐφύρη. В этих отрывках ἀπὸ используется в том же смысле, что и ἄποθεν, iv, 125, означая "отдельно от, на некотором расстоянии от", но не подразумевая никакой сопутствующей идеи движения или исхода, ни буквальной, ни метафорической.

"Афиняне начали укреплять, на некотором расстоянии от своего круга, утес над болотом" и т. д.

[377] Thucyd. vi, 102; Плутарх, Никиас, с. 18. Диодор ошибочно помещает битву, в которой был убит Ламах, после прибытия Гилиппа (xiii, 8).

[378] Thucyd. vi, 102.

[379] Thucyd. vi, 102.

[380] Thucyd. vi, 103. οἷα δὲ εἰκὸς ἀνθρώπων ἀπορούντων καὶ μᾶλλον ἢ πρὶν πολιορκουμένων, etc.

[381] Диодор, однако, ошибается, утверждая (xiii, 7), что афиняне заняли храм Зевса Олимпийского и полихну, или хутор, вокруг него, на правом берегу Анапа. Эти посты всегда оставались занятыми сиракузянами на протяжении всей войны (Thucyd. vii, 4, 37).

[382] Thucyd. vi, 103. πολλὰ ἐλέγετο πρὸς τε ἐκεῖνον καὶ πλείω ἔτι κατὰ τὴν πόλιν.

[383] Thucyd. vii, 55.

[384] Thucyd. vii, 49-86.

[385] Plutarch, Nikias, c. 18.

[386] Thucyd. vi, 104. ὡς αὐτοῖς αἱ ἀγγελίαι ἐφοίτων δειναὶ καὶ πᾶσαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐψευσμέναι, ὡς ἤδη παντελῶς ἀποτετειχισμένοι αἱ Συράκουσαι εἰσι, τῆς μὲν Σικελίας οὐκέτι ἐλπίδα οὐδεμίαν εἶχεν ὁ Γύλιππος, τὴν δὲ Ἰταλίαν βουλόμενος περιποιῆσαι и др. Сравните Плутарх, Никиас. с. 18.

Из Фукидида видно, что Гилипп услышал эту новость, когда еще находился в Леукасе.

[387] Thucyd. vi, 104. Ἄρας (Γύλιππος) παρέπλει τὴν Ἰταλίαν καὶ ἀρπασθεὶς ὑπ' ἀνέμου κατὰ τὸν Τερινᾶϊον κόλπον, ὃς ἐκπνεῖ ταύτῃ μέγας, κατὰ Βορέαν ἐστηκῶς ἀποφέρεται ἐς τὸ πέλαγος, καὶ πάλιν χειμασθεὶς ἐς τὰ μάλιστα Τάραντι προσμίσγει.

Хотя все комментаторы здесь толкуют слова κατὰ Βορέαν ἐστηκῶς так, как будто они согласуются с ὃς или ἄνεμος, я не могу не думать, что эти слова действительно согласуются с Γύλιππος. Гилипп был застигнут этим сильным прибрежным ветром, когда он плыл на юг вдоль восточного берега того, что сейчас называется Калабрия Ультра: "направив свой корабль к северу или *стоя к северу* (по английскому морскому выражению), он был вынесен в море, откуда, после больших трудностей, он снова попал в Тарентум". Если бы Гилиппа вынесло в море, когда он находился в таком положении и пытался добраться до Тарентума, он бы, естественно, взял курс на север. Что означают слова κατὰ Βορέαν ἐστηκῶς применительно к *ветру*, я, признаться, не понимаю; да и критики не проливают на это особого света. Всякий раз, когда точка компаса упоминается в связи с каким-либо ветром, это всегда означает точку, *откуда* дует ветер. Так вот, в то, что κατὰ Βορέαν ἐστηκῶς означает "ветер, дующий с севера", как утверждают комментаторы, я не могу поверить без более веских оснований, чем те, которые они приводят. Более того, Гилипп никогда не смог бы взять курс на Тарентум, если бы в этом направлении дул сильный ветер; в то время как такой ветер направил бы его в Локри, именно туда, куда он хотел попасть. Упоминание *Теринского* залива, конечно, смущает. Если слова верны (в чем, пожалуй, можно сомневаться), то объяснение доктора Арнольда в его примечании кажется лучшим из возможных. Возможно, действительно, - хотя это и маловероятно, но не полностью невозможно, - Фукидид мог сам совершить географическую неосторожность, полагая, что Теринский залив находится на восточной стороне Калабрии.

[388] Thucyd. vi, 104.

[389] Thucyd. vii, 1.

[390] Thucyd. vii, 2-7.

[391] Thucyd. vi, 103; vii, 2; Плутарх, Никиас, с. 19.

[392] Thucyd. vii, 2.

[393] Thucyd. vii, 3. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι, αἰφνιδίως τοῦ τε Γυλίππου καὶ τῶν Συρακοσίων σφίσιν ἐπιόντων, etc.

[394] Сравните случай, произошедший в следующем году, Thucyd. vii, 32. Афиняне, в момент, когда они стали намного слабее, чем сейчас, имели достаточно влияния среди сикельских племен, чтобы оказать сопротивление походу корпуса, прибывшего из внутренних районов на помощь Сиракузам. Этот вспомогательный корпус был разбит и почти уничтожен на своем марше.

[395] Thucyd. vii, 3.

[396] Thucyd. vii, 4.

[397] Thucyd. vii, 4.

[398] Thucyd. vii, 5; Плутарх, Никиас, с. 19.

[399] Thucyd. vii, 5, 6.

[400] Thucyd. vii, 7. Μετὰ δὲ τοῦτο, αἱ τε τῶν Κορινθίων νῆες καὶ Ἀμπρακιωτῶν καὶ Λευκαδίων ἐσέπλευσαν αἱ ὑπόλοιποι δώδεκα (ἦρχε δὲ αὐτῶν Ἑρασινίδης Κορίνθιος), καὶ ξυνετείχισαν τὸ λοιπὸν τοῖς Συρακοσίοις μέχρι τοῦ ἐγκαρσίου τείχους.

Эти слова Фукидида очень неясны, и разные комментаторы объясняли их по-разному. Объяснение, которое я привожу здесь, не совпадает, насколько мне известно, ни с одним из них; тем не менее я осмеливаюсь думать, что оно наиболее правдоподобно и единственно удовлетворительно. Сравните мемуары д-ра Арнольда о его карте Сиракуз (Arn. Thucyd. vol. iii, p. 273), а также заметки Поппо и Гёллера. Д-р Арнольд действительно настолько мало удовлетворен любым объяснением, которое ему предлагалось, что считает, что некоторые слова должны были выпасть.

[401] Thucyd. vii, 7.

[402] Thucyd. vii, 8.

[403] Thucyd. vii, 9. ἐν ἄλλαις πολλαῖς ἐπιστολαῖς. Слово *despatches*, которое я использую для перевода ἐπιστολαῖς, не является неприменимым как к устным, так и к письменным сообщениям, и, таким образом, сохраняет двусмысленность оригинала; ибо ἐπιστολαῖς, хотя обычно подразумевает, не обязательно подразумевает *письменные* сообщения.

Слова Фукидида (vii, 8), несомненно, *можно* истолковать так, что Никиас никогда ранее не посылал письменных сообщений в Афины; так же, хотя и не без колебаний, понимает их д-р Тирлуолл (Hist. Gr. ch. xxvi, vol. iii, p. 418). В то же время я считаю их приемлемыми для предположения, что Никиас мог ранее отправлять письменные депеши, хотя и гораздо более короткие, чем нынешние, оставляя детали и подробности на усмотрение офицера, который их перевозил.

Мистер Митфорд утверждает прямо противоположное тому, что понимает доктор Тирлуолл: "Никиас предусмотрительно часто отправлял депеши в письменном виде, с точным отчетом о каждой операции". (Ch. xviii, sect v, vol. iv, p. 100.)

Разумеется, заявление Фукидида не подразумевает этого.

[404] Похоже, что в греческом кораблестроении предпочитали влажную и неочищенную древесину, так как ее было легче согнуть в нужную форму (Теофраст, Hist. Plant. v, 7, 4).

[405] Thucyd. vii, 13. Καὶ οἱ ξένοι οἱ μὲν ἀναγκαστοὶ ἐσβάντες, εὐθὺς κατὰ τὰς πόλεις ἀποχωροῦσιν, οἱ δὲ ὑπὸ μεγάλου μισθοῦ τὸ πρῶτον ἐπαρθέντες, καὶ οἰόμενοι χρηματιεῖσθαι μᾶλλον ἢ μαχεῖσθαι, ἐπειδὴ παρὰ γνώμην ναυτικόν τε δὴ καὶ τᾶλλα ἀπὸ τῶν πολέμιων ἀνθεστῶτα ὀρῶσιν, οἱ μὲν ἐπ' αὐτομολίας προφάσει ἀπέρχονται, οἱ δὲ ὡς ἕκαστοι δύνανται- πολλὰ δ' ἡ Σικελία.

Все комментаторы одаривают длинными заметками в объяснение этой фразы ἐπ' αὐτομολίας προφάσει ἀπέρχονται: но я не могу считать, что кто-то из них преуспел. Есть даже такие, кто настолько отчаивается в успехе, что желает изменить αὐτομολίας путем догадок; см. цитаты в длинном примечании Поппо.

Но, несомненно, буквальный смысл слов здесь и оправдан, и поучителен: "Некоторые из них уходят под предлогом (или под видом) дезертиров к врагу". Все толкователи отвергают этот смысл, поскольку, по их словам, нелепо говорить о том, что человек заранее объявляет, что намерен дезертировать к врагу, и приводит *это* в качестве оправдания для ухода из лагеря. По моему мнению, слово προφάσει здесь не имеет такого значения. Оно обозначает не то, что человек сказал *перед тем, как* покинуть афинский лагерь, - о своем намерении он, конечно, никому не сказал бы, - а то, как он обрисовал свое поведение *после того, как* оказался в рядах сиракузян. Он представлялся им как дезертир, перешедший на сторону афинян; он выражал желание принять участие в обороне; он притворялся, что устал от деспотичного афинского владычества; следует помнить, что все или большинство этих дезертиров были людьми, принадлежавшими к афинским союзникам. Те, кто перешел на сторону сиракузян, естественно, рекомендовали себя, выдавая такое расположение духа, хотя на самом деле ничего подобного не чувствовали; их истинная причина заключалась в том, что афинская служба теперь стала утомительной, невыгодной и опасной, и самым простым способом уйти от нее было перейти в качестве дезертира в Сиракузы.

Никиас отличает этих людей от других, "которые уходили, как только находили возможность, в ту или иную часть Сицилии". Эти последние, конечно, держали свое намерение уйти в тайне, пока не добрались до какого-нибудь сицилийского города; но, оказавшись там, они не стали бы выдавать никаких чувств, которых не испытывали. Если бы они что-то сказали, то сказали бы чистую правду, что совершают побег из положения, которое теперь доставляет им больше хлопот, чем выгоды.

Мне кажется, что слова ἐπ' αὐτομολίας προφάσει прекрасно передают этот смысл, и что это настоящий смысл Никиаса.

Еще до начала Пелопоннесской войны коринфский посланник в Спарте утверждает, что афиняне не могут рассчитывать на то, что их моряки будут им верны, поскольку их флот был укомплектован скорее наемными иностранными моряками, чем туземцами - ὡνητῇ γὰρ ἡ Ἀθηναίων δύναμις μᾶλλον ἢ οἰκεία (Thucyd. i, 121). Высказывание Никиаса доказывает, что это замечание было в значительной степени обоснованным.

[406] Thucyd. vii, 11-15.

[407] Thucyd. vii, 10.

[408] Thucyd. vii, 16. Здесь есть сомнение в чтении: между ста двадцатью талантами или двадцатью талантами.

Я согласен с д-ром Арнольдом и другими комментаторами в том, что деньги, взятые Эвримедоном, скорее всего, были большей суммой из двух, чем меньшей. Первое чтение, кажется, заслуживает предпочтения. Кроме того, Диодор утверждает, что Эвримедон взял с собой сто сорок талантов: его авторитет, конечно, не так уж и много значит, но он что-то значит, в совпадении с определенной силой внутренней вероятности (Diodor. xiii, 8).

В подобном случае отправка очень небольшой суммы, например, двадцати талантов, произвела бы обескураживающий эффект на вооружение".

[409] Thucyd. vii, 42.

[410] Плутарх (Никиас, с. 20) рассказывает, что афиняне были настроены послать второе войско в Сицилию еще до того, как до них дошла депеша Никиаса, но им помешали некоторые люди, завидовавшие (φθόνῳ) славе и удаче Никиаса.

Никакое суждение не может быть более несовместимым с фактами дела, чем это, фактами, пересказанными в общих чертах даже самим Плутархом.

[411] Thucyd. vi, 93.

[412] Thucyd. vii, 18.

[413] Фукид. vi, 105; vii, 18.

[414] Thucyd. vii, 18.

[415] Diodor. xiii, 8.

[416] Thucyd. vii, 17.

[417] Thucyd. vii, 19-58. Σικυῶνιοι ἀναγκαστοὶ στρατεύοντες.

[418] Thucyd. vii, 19-28, с примечанием д-ра Арнольда.

[419] Thucyd. vii, 20. ἄμα τῆς Δεκελείας τῷ τειχισμῷ и т. д. Сравните Isokratês, Orat. viii, De Pace, s. 102, p. 236, Bekk.

[420] Thucyd. vii, 20-27.

[421] Thucyd. vii, 26.

[422] Thucyd. vii, 31. Ὅντι δ' αὐτῷ (Demosthenês) περὶ ταῦτα (Anaktorium) Εὐρυμέδων ἀπαντᾷ, ὃς τότε τοῦ χειμῶνος τὰ χρήματα ἄγων τῇ στρατιᾷ ἀπεπέμφθη, καὶ ἀγγέλλει и т. д.

Смысл этого отрывка представляется совершенно однозначным: Эвримедон был послан зимой в Сицилию, чтобы отвезти Никиасу сумму в сто двадцать талантов, и теперь возвращался обратно (см. Thucyd. vii, 11). Не без некоторого удивления я читаю у г-на Митфорда: "В Анакториуме Демосфен нашел Эвримедона, *собирающего провизию* для Сицилии" и т. д. Далее в примечании г-н Митфорд говорит (цитируя схолиаста, "Ἦτοι τὰ πρὸς τροφὴν χρήματα, καὶ τὰ λοιπὰ συντείνοντα αὐτοῖς, Schol.): "Это не единственный случай, когда Фукидид использует термин χρήματα для обозначения *предметов первой необходимости* в целом. Смит перевел соответствующим образом: но в латинском языке есть *resupiat*, что не выражает смысла, который здесь подразумевается" (гл. xviii, раздел vi, т. iv, с. 118).

Не может быть ни малейшего сомнения в том, что латынь здесь права. Определенный артикль делает это совершенно определенным, даже если бы было верно (в чем я сомневаюсь), что Фукидид иногда использует слово χρήματα для обозначения "предметов первой необходимости вообще". Я еще больше сомневаюсь, что он когда-либо использовал ἄγωνα в смысле "собирать".

[423] Thucyd. vii, 31.

[424] Thucyd. vii, 21. Среди тем, на которых останавливается Гермократес, примечательно, что он не упоминает о том, что, как показало продолжение, было самым важным из всех - о замкнутом пространстве гавани, которое делало афинские корабли и тактику бесполезными.

[425] Thucyd. vii, 23; Diod. xiii, 9; Plut. Nikias, c. 20.

[426] Thucyd. vii, 23, 24.

[427] Thucyd. vii, 25.

[428] Thucyd. vii, 25.

[429] Thucyd. vii, 38.

[430] Thucyd. vii, 25.

[431] Thucyd. vii, 32, 33.

[432] Thucyd. vii, 33.

[433] Thucyd. vii, 36. τῇ δὲ πρότερον ἀμαθίᾳ τῶν κυβερνητῶν δοκούσῃ εἶναι, τὸ ἀντίπρωρον ξυγκροῦσαι, μάλιστα' ἂν αὐτοὶ χρήσασθαι- πλείστον γὰρ ἐν αὐτῷ σχήσειν, etc.

Diodor. xiii, 10.

[434] Сравните Thucyd. vii, 34-30; Diodor. xiii. 10; Eurip. Iph. Taur. 1335. См. также примечания Арнольда, Поппо и Дидо к отрывкам из Фукидида.

Создается впечатление, что ἀντηρίδες или опорные балки были чем-то новым, впервые предусмотренным для того, чтобы укрепить эфотид и сделать его пригодным для столкновения с врагом. Слова, которые Фукидид использует для описания положения этих ἀντηρίδες, для меня очень неясны, и я не думаю, что кто-либо из комментаторов прояснил их удовлетворительно.

Диодор уточняет, что коринфяне опускали уровень носа, чтобы ударяться ближе к воде, о чем Фукидид не упоминает.

Пленный корабль, когда его буксировали в качестве приза, обезоруживали, лишая клюва (Athenæus, xii, p. 535). Лисандр сохранил клювы афинских трирем, захваченных при Игоспотаме, чтобы украсить свое триумфальное возвращение (Xenoph. Hellen. ii. 3, 8).

[435] Thucyd. vii, 37, 38.

[436] Плутарх, Никиас, с. 20. Диодор (xiii, 10) представляет битву как произошедшую вопреки желанию и намерению афинян в целом, не упоминая о каких-либо разногласиях между полководцами.

[437] Thucyd. vii, 41. αἱ κεραῖαι δελφινόφοροι: сравните Pollux, i, 85, и фрагмент vi, из комедии поэта Ферекратеса, под названием Ἄγριοι; Meineke, Fragm. Comic. Græc. vol. ii, p. 258, и Scholiast. ad Aristoph. Equit. 759.

[438] Thucyd. vii, 40. Οἱ δ' Ἀθηναῖοι, νομίσαντες αὐτοὺς ὡς ἡσσημένους σφῶν πρὸς τὴν πόλιν ἀνακρούσασθαι, etc.

[439] Thucyd. vii, 40.

[440] Thucyd. vii, 41.

[441] Thucyd. vii, 42.

[442] Thucyd. vii, 33-57.

[443] Thucyd. vii, 35.

[444] Plutarch, Nikias, c. 21.

[445] Thucyd. vii, 42.

[446] Thucyd. vii, 47-50.

[447] Thucyd. vii, 42.

[448] Thucyd. vii, 43.

[449] Thucyd. vii, 43. Диодор говорит нам, что Демосфенес взял с собой десять тысяч гоплитов и десять тысяч легких воинов - число, которому не стоит доверять (xiii, 11).

Плутарх (Никиас, с. 21) говорит, что Никиас был крайне не согласен с нападением на Эпиполь: Фукидид ничего подобного не замечает, и утверждение кажется неправдоподобным.

[450] Thucyd. vii, 42, 43. Καὶ (Demosthenês) ὁρῶν τὸ παρατείχισμα τῶν Συρακοσίων, ὃ ἐκώλυσαν περιτείχισαι σφᾶς τοὺς Ἀθηναίους, ἀπλοῦν τε ὄν, καὶ εἰ ἐπικρατήσειέ τις τῶν τε Ἐπιπολῶν τῆς ἀναβάσεως, καὶ αὖθις τοῦ ἐν αὐταῖς στρατοπέδου, ῥαδίως ἂν αὐτὸ ληφθέν (οὐδὲ γὰρ ὑπομεῖναι ἂν σφᾶς οὐδένα) ἠπείγετο ἐπιθέσθαι τῇ πεύρᾳ.

vii, 43. καὶ ἡμέρας μὲν ἀδύνατα ἐδόκει εἶναι λαθεῖν προσελθόντας καὶ ἀναβάντας, etc.

Д-р Арнольд и Гёллер толкуют это описание Фукидида (см. их примечания к этой главе и Приложение д-ра Арнольда, стр. 275) как то, что Никиас, как только сиракузская контр-стена пересекла его линию блокады, эвакуировал свой круг и работы на склоне Эпиполя и удалился исключительно в нижнюю часть земли вниз. Такого же мнения придерживается и д-р Тирлуолл (Hist. Gr. vol. iii, ch. xxvi, pp. 432-434).

Мне это кажется недозволенным и неверным. Какой мыслимый мотив может побудить Никиаса уступить врагу столь важное преимущество? Если бы он отказался от склона Эпиполе, чтобы занять исключительно болото под южным утесом, Гилип и сиракузяне позаботились бы о том, чтобы он никогда больше не смог подняться на этот утес; он также никогда не смог бы приблизиться к паратеίχισμα. Момент, когда афиняне наконец оставили свои укрепления на склоне Эпиполя (τὰ ἄνω τεῖχη), особо отмечен Фукидидом впоследствии, vii, 60: это было в последний момент отчаяния, когда все силы были нужны для последней морской битвы в Великой гавани. Доктор Арнольд (стр. 275), по моему мнению, неверно истолковывает этот отрывок, уклоняясь от его прямого смысла.

Слова Фукидида, vii, 42-εἰ ἐπικρατήσεῖ τις τῶν τε Ἐπιπολῶν τῆς ἀναβάσεως, καὶ αὖθις τοῦ ἐν αὐταῖς στρατοπέδου- более правильно воспринимаются М. Фирмин Дидо в примечании к своему переводу, чем Арнольд и Гёллер. Указанный здесь στρατόπεδον не означает афинский круг и их частично завершённую линию окружности на склоне Эпиполя. Это означает землю выше этого места, которую они сначала частично заняли при строительстве крепости Лабдалум, и которой они в значительной степени владели до прибытия Гиlipпа, который теперь превратил ее в лагерь или στρατόπεδον сиракузян.

[451] Diodor. xiii, 11.

[452] Thucyd. vii, 44, 45.

[453] Thucyd. vii, 46. Плутарх (Nikias, с. 21) утверждает, что число убитых составляло две тысячи. Диодор называет две тысячи пятьсот (xiii, 11). Фукидид вообще не называет эту цифру.

Эти два автора, вероятно, оба копировали с какого-то общего авторитета, не с Фукидида; возможно, с Филиста.

[454] Thucyd. vi, 47.

[455] Thucyd. vii, 48. Ὁ δὲ Νικίας ἐνόμιζε μὲν καὶ αὐτὸς πονηρὰ σφῶν τὰ πράγματα εἶναι, τῷ δὲ λόγῳ οὐκ ἐβούλετο αὐτὰ ἀσθενῆ ἀποδεικνύειν, οὐδ' ἐμφανῶς σφᾶς ψηφίζομένους μετὰ πολλῶν τὴν ἀναχώρησιν τοῖς πολεμίοις καταγγέλτους γίνεσθαι- λαθεῖν γὰρ ἂν, ὅποτε βούλοιντο, τοῦτο ποιοῦντες πολλῶ ἦττον.

Кажется вероятным, что некоторые из таксиархов и триерархов присутствовали на этом обсуждении, как мы видим в другом случае, описанном позже, с. 60. Возможно, Демосфен даже пожелал, чтобы они присутствовали как свидетели настроения армии, а также как сторонники, если впоследствии этот вопрос будет обсуждаться в общественном собрании в Афинах. Именно на это указывают слова ἐμφανῶς μετὰ πολλῶν.

[456] Thucyd. vii, 48. Οὐκοῦν βούλεσθαι αὐτός γε, ἐπιστάμενος τὰς Ἀθηναίων φύσεις, ἐπὶ αἰσχυρᾷ γε αἰτίᾳ καὶ ἀδίκῳ ὑπ' Ἀθηναίων ἀπολέσθαι, μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν πολεμίων, εἰ δεῖ, κινδυνεύσας τοῦτο παθεῖν, ἰδίᾳ.

Положение последнего слова ἰδίᾳ в этом предложении вызывает недоумение, так как его едва ли можно истолковать иначе, как ἀπολέσθαι или αὐτός γε: ведь Никиас не мог рисковать погибнуть *отдельно от* рук врага, если только мы не приписываем ему абсурдную родомонтану, совершенно не соответствующую его характеру. Сравните Плутарх Никиас, с. 22.

[457] Thucyd. vii, 48. τρίβειν οὖν ἔφη χρῆναι προσκαθημένους, etc.

[458] Thucyd. vii, 49. Ὁ δὲ Δημοσθένης περὶ μὲν τοῦ προσκαθῆσθαι οὐδ' ὅπως οὖν ἐνεδέχετο-τὸ δὲ ξύμπαν εἶπεῖν, οὐδενὶ τρόπῳ οἱ ἔφη ἀρέσκειν ἐν τῷ αὐτῷ ἔτι μένειν, ἀλλ' ὅτι τάχιστα ἦδη καὶ μὴ μέλλειν ἐξανίστασθαι. Καὶ ὁ Εὐρυμέδων αὐτῷ ταῦτα ξυνηγόρευεν.

[459] Thucyd. vii, 69; Diodor. xiii, 12.

[460] Thucyd. vii, 48. Ἄ ἐπιστάμενος, τῷ μὲν ἔργῳ ἔτι ἐπ' ἀμφοτέρω ἔχων καὶ διασκοπῶν ἀνεῖχε, τῷ δ' ἐμφανεῖ τότε λόγῳ οὐκ ἔφη ἀπάξειν τὴν στρατιάν.

О незначительности партии в Сиракузах, переписывавшейся с Никиасом, можно с полным основанием судить по Thucyd. vii, 55. Она состояла частично из тех леонтинцев, которые были включены в сиракузское гражданство (Diodor. xiii, 18).

У Полиэна (i, 43, 1) есть рассказ о восстании рабов или холопов (οἰκέται) в Сиракузах во время афинской осады под предводительством Сосикратеса, которое было подавлено благодаря хитрости Гермократеса. То, что различные попытки такого рода имели место в Сиракузах в течение этих двух тяжелых лет, отнюдь не является невероятным. На самом деле, трудно понять, как многочисленные рабы-предшественники поддерживали порядок во время большого давления и опасности, предшествовавших приходу Гилиппа.

[461] Thucyd. vii, 49. Ἀντιλέγοντος δὲ τοῦ Νικίου, ὅκνος τις καὶ μέλλησις ἐνεγένετο, καὶ ἅμα ὑπόνοια μή τι καὶ πλέον εἰδῶς ὁ Νικίας ἰσχυρίζεται.

Язык Юстина в отношении этого разбирательства справедлив и разборчив: "Nicias, seu pudore male actæ rei, seu metu destitutæ spei civium, seu impellente fato, manere contendit." (Justin, iv, 5.)

[462] Этот интервал может быть выведен (см. Dodwell, Ann. Thucyd. vii, 50) из состояния луны во время битвы при Эпиполе, по сравнению с последующим затмением.

[463] Thucyd. vii, 50. ὡς αὐτοῖς οὐδὲ ὁ Νικίας ἔτι ὁμοίως ἤναντιοῦτο и др. Diodor. xiii, 12. Ὁ Νικίας ἤναγκάσθη συγχωρῆσαι и т. д.

[464] Thucyd. vii, 60.

[465] Diodor. xiii, 12. Οἱ στρατιῶται τὰ σκεύη ἐνετίθεντο, etc. Плутарх, Никиас, с. 23.

[466] Луна была полностью затмена в эту ночь, 27 августа 413 г. до н. э., с двадцати семи минут девятого до тридцати четырех минут десятого вечера (Wurm, De Ponderib. Græcor. sect. xciv, p. 184), ссылаясь на наблюдателя в Сицилии.

Фукидид утверждает, что Никиас принял предписание пророков - оставаться *в пути трижды по девять* дней (vii, 50). Диодор говорит о *трех* днях. Плутарх намекает, что Никиас пошел дальше предписаний пророков, которые настаивали только на *трех* днях, тогда как он решил остаться на весь лунный период (Plutarch, Nikias, с. 23).

Я следую утверждению Фукидида: нет никаких оснований полагать, что Никиас удлинил бы время сверх того, что предписывали пророки.

Ошибочное утверждение относительно этого памятного события у такого уважаемого автора, как Полибий, не может не удивлять (Polyb. ix, 19).

[467] Плутарх, Никиас, с. 22; Диодор. xiii, 12; Фукид. vii, 50. Стилбидес был выдающимся в своей профессии пророка: см. Aristophan. Рас. 1029, с цитатами из Евполиса и Филохора в Схолии.

Сравните описание эффекта, произведенного затмением солнца в Фивах, непосредственно перед последней экспедицией Пелопида в Фессалию (Плутарх, Пелопид, с. 31).

[468] Plutarch, Nikias, с. 24.

[469] Thucyd. vii, 52, 53; Diodor. xiii, 13.

[470] Thucyd. vii, 55. Οἱ μὲν Ἀθηναῖοι ἐν παντὶ δὴ ἀθυμίας ἦσαν, καὶ ὁ παράλογος αὐτοῖς μέγας ἦν, πολὺ δὲ μείζων ἔτι τῆς στρατείας ὁ μετὰμελος.

[471] Thucyd. vii, 56. Οἱ δὲ Συρακόσιοι τὸν τε λιμένα εὐθύς παρέπλεον ἀδεῶς и т. д. Это восторженное и видимое проявление чувств не должно остаться незамеченным, как свидетельство греческого характера".

[472] Thucyd. vii, 56.

[473] Thucyd. vii, 57, 58.

[474] Thucyd. vii, 59; Diodor. xiii, 14.

[475] Плутарх, Никиас, с. 24.

[476] Thucyd. vii, 60.

[477] Thucyd. vii, 62. Ἄ δὲ ἄρωγὰ ἐνείδομεν ἐπὶ τῇ τοῦ λιμένος στενότητι πρὸς τὸν μέλλοντα ὄχλον τῶν νεῶν ἔσεσθαι, etc.

[478] Thucyd. vii, 62. Ἐς τοῦτο γὰρ δὴ ἠναγκάσμεθα, ὥστε πεζομαχεῖν ἀπὸ τῶν νεῶν, καὶ τὸ μήτε αὐτοὺς ἀνακροῦεσθαι, μήτε ἐκείνους ἔξιν, ὠφέλιμον φαίνεται.

[479] Thucyd. vii, 63. Τοῖς δὲ ναύταις παραινῶ, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τῷδε καὶ δέομαι, μὴ ἐκπεπλήχθαι τι ταῖς ξυμφοραῖς ἄγαν ... ἐκείνην τε τὴν ἡδονὴν ἐνθυμεῖσθαι, ὡς ἀξία ἐστὶ διασώσασθαι, οἱ τέως Ἀθηναῖοι νομιζόμενοι καὶ μὴ ὄντες ὑμῶν, τῆς τε φωνῆς τῇ ἐπιστήμῃ καὶ τῶν τρόπων τῇ μιμήσει, ἐθαυμάζεσθε κατὰ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς ἡμετέρας οὐκ ἔλασσον κατὰ τὸ ὠφελεῖσθαι, ἔς τε τὸ φοβερόν τοῖς ὑπηκόοις καὶ τὸ μὴ ἀδικεῖσθαι πολὺ πλεῖον, μετείχετε, ὥστε κοινωνοὶ μόνοι ἐλευθέρως ἡμῖν τῆς ἀρχῆς ὄντες, δικαίως αὐτὴν νῦν μὴ καταπροδίδετε, etc.

Д-р Арнольд (вместе с Гёллером и Поппо), следуя за Схолиастом, объясняет эти слова как относящиеся в первую очередь к метисам в афинском флоте. Но я не могу считать это правильным. Здесь обозначены все лица, состоявшие на этой службе - свободные, но не граждане Афин; частично, несомненно, митики, но частично и граждане островов и зависимых союзников - те ξένοι ναυβάται, о которых упоминали коринфяне и Периклес в начале Пелопоннесской войны (Thucyd. i, 121-143) как ὠνητὴ δύναμις μᾶλλον ἢ οἰκεία Αἰν. Несомненно, в афинском военном флоте было много иностранных моряков, которые получали от службы не только выгоду, но и большое уважение, и часто выдавали себя за афинских граждан, хотя на самом деле таковыми не являлись.

[480] Thucyd. vii, 64. Ὅτι οἱ ἐν ταῖς ναυσὶν ὑμῶν νῦν ἐσόμενοι, καὶ πέζοι τοῖς Ἀθηναίοις εἰσὶ καὶ νῆες, καὶ ἡ ὑπόλοιπος πόλις, καὶ τὸ μέγα ὄνομα τῶν Ἀθηνῶν....

[481] См. поразительную главу Thucyd. vii, 69. Даже спокойный стиль Диодора (xiii, 15) становится оживленным при описании этой сцены.

[482] Thucyd. vii, 65.

[483] Thucyd. vii, 66, 67.

[484] Thucyd. vii, 68. πρὸς οὖν ἀταξίαν τε τοιαύτην ... ὀργῇ προσμίξωμεν, καὶ νομίσωμεν ἅμα μὲν νομιμώτατον εἶναι πρὸς τοὺς ἐναντίους, οἱ ἂν ὡς ἐπὶ τιμωρίᾳ τοῦ προσπεσόντος δικαιώσωσιν ἀποπλῆσαι τῆς γνώμης τὸ θυμούμενον, ἅμα δὲ ἐχθροὺς ἀμύνασθαι ἐγγενησόμενον ἡμῖν, καὶ (τὸ λεγόμενόν που) ἥδιστον εἶναι.

Это открытое и нескрываемое обращение к гневным и мстительным страстям должно быть замечено, как признак характера и манеры.

[485] Диодор, xiii, 14. У Плутарха есть аналогичное заявление, касающееся предыдущей битвы: но я думаю, что он, должно быть, перепутал одну битву с другой, поскольку его рассказ вряд ли можно согласовать с Фукидидом (Plutarch, Nikias, с. 24).

Следует помнить, что и Плутарх, и Диодор, вероятно, читали описание сражений в Великой гавани Сиракуз, содержащееся в "Филисте"; это лучший свидетель, если бы мы имели перед собой его рассказ, даже чем Фукидид, поскольку он, вероятно, был в это время в Сиракузах и, возможно, действительно участвовал в сражении.

[486] Плутарх, Никиас, с. 24, 25. Тимей считал помощь Геракла одной из главных причин победы сиракузян над афинянами. Он привел несколько причин, по которым бог был спровоцирован против афинян: см. Timæus, Fragm. 104, ed. Didot.

[487] Разрушительный удар этих металлических масс в голову военных кораблей, а также перипл, практикуемый более легким кораблем, чтобы избежать прямого столкновения с более тяжелым, ярко иллюстрируется отрывком из "Жизни Лукулла" Плутарха, где описывается морское столкновение между римским полководцем и Неоптолемом, адмиралом Митридата. "Лукулл находился на борту родосской квинкримы, которой командовал Дамагор, искусный родосский лоцман; Неоптолем приближался с кораблем гораздо более тяжелым и вел его вперед до прямого столкновения; тогда Дамагор уклонился от удара, быстро обогнул корабль и ударил врага в корму". ... δείσας ὁ Δαμαγόρας τὸ βάρος τῆς βασιλικῆς, καὶ τὴν τραχύτητα τοῦ χαλκώματος, οὐκ ἐτόλμησε συμπεσεῖν ἀντίπρωρος, ἀλλ' ὀξέως ἐκ περιαγωγῆς ἀποστρέψας ἐκέλευσεν ἐπὶ πρύμναν ὥσασθαι- καὶ πιεσθείσης ἐνταῦθα τῆς νεώς ἐδέξατο τὴν πληγὴν ἀβλαβῇ γενομένην, ἅτε δὴ τοῖς θαλαττεύουσι τῆς νέως μέρεσι προσπεσοῦσαν.- Плутарх, Лукулл. с. 3.

[488] Thucyd. vii, 71.

[489] Thucyd. vii, 60. τὰς ναῦς ἀπάσας ὅσαι ἦσαν καὶ δυναταὶ καὶ ἀπλωότεραι.

[490] Thucyd. vii, 60. πάντα τινὰ ἐσβιβάζοντες πληρῶσαι-ἀναγκάσαντες ἐσβαίνειν ὅστις καὶ ὀπωσοῦν ἐδόκει ἡλικίας μετέχων ἐπιτήδειος εἶναι. Сравните также речь Гиlipпа, с. 67.

[491] Язык Феокрита, описывающего драку между Поллуксом и бeбрикийцем Амиком, неприменим к положению афинских кораблей и моряков, теснившихся в этой гавани (Idyll. xxii, 91): - ...

..... ἐκ δ' ἐτέρωθεν

Ἦρωες κρατερὸν Πολυδεύκεα θαρσύνεσκον,

Δειδιότες μὴ πῶς μιν ἐπιβρίσας δαμάσειεν,

Χώρῳ ἐνὶ στείνῳ, Τίτῳ ἐναλίγκιος ἀνὴρ.

Сравните изображение Вергилием Энтелла и Дареса, Энеида, v, 430.

[492] Thucyd. vii, 72.

[493] Diodor. xiii, 18.

[494] Thucyd. vii, 73; Diodor. xiii, 18.

[495] Thucyd. vi, 64.

[496] Xenophon, Anab. iv, 5, 15, 19; v, 8, 15.

[497] Thucyd. vii, 77.

[498] Thucyd. vii, 74.

[499] Thucyd. vii, 77. Καίτοι πολλὰ μὲν ἐς θεοὺς νόμιμα δεδιήτηται, πολλὰ δὲ ἐς ἀνθρώπους δίκαια καὶ ἀνεπίφθονα. Ἀνθ' ὧν ἡ μὲν ἐλπίς ὅμως θρασεῖα τοῦ μέλλοντος, αἱ δὲ ξυμφοραὶ οὐ κατ' ἀξίαν δὴ φοβοῦσι. Τάχα δ' ἂν καὶ λωφήσειαν- ἱκανὰ γὰρ τοῖς τε πολεμίοις εὐτύχηται, καὶ εἴ τῳ θεῶν ἐπίφθονοι ἐστρατεύσαμεν, ἀρκοῦντως ἤδη τετιμωρήμεθα.

Я перевел слова οὐ κατ' ἀξίαν и предложение, частью которого они являются, иначе, чем это до сих пор утверждалось комментаторами, которые толкуют κατ' ἀξίαν как означающее "согласно нашей пустыне", " понимают слова αἱ ξυμφοραὶ οὐ κατ' ἀξίαν как имеющие тот же смысл со словами ταῖς παρὰ τὴν ἀξίαν какоπραγίαις несколькими строками ранее; и так же толкуют οὐ не с φοβοῦσι, а с κατ' ἀξίαν, придавая φοβοῦσι утвердительный смысл. Они переводят: "Quare, *quamvis nostra fortuna, prorsus afflicta videatur* (эти слова не имеют параллели в оригинале) *rerum tamen futurarum spes est audax: sed clades, quas nullo nostro merito acceperimus, nos jam terrent. At fortasse cessabunt*" и т. д. М. Дидо переводит: "Aussi j'ai un ferme espoir dans l'avenir, *malgré l'effroi que des malheurs non mérités nous causent.*" Доктор Арнольд пропускает это предложение без внимания.

Такая манера перевода представляется мне не только неприемлемой с точки зрения духа и сути харанги, но и неудобной в отношении отдельных слов. Если обратиться к духу этой фразы, то цель ободрить удрученных солдат вряд ли будет достигнута повторением того, на что, по сути, уже был сделан достаточный и выразительный взгляд, - что "незаслуженные неудачи привели в ужас и Никиаса, и солдат". Что касается слов, то выражения ἀνθ' ὧν, ὅμως, μὲν и δὲ, как мне кажется, означают не только то, что обе половины предложения относятся к Никиасу, но и то, что первая половина предложения находится в гармонии, а не в противопоставлении со второй. Матфей (по моему мнению, ошибочно) относит (Gr. Gr. § 623) ὅμως к некоторым предшествующим словам; я же думаю, что ὅμως способствует сближению первого и второго утверждения предложения. Латинский перевод относит первую половину предложения к Никиасу, а последнюю - к солдатам, к которым он обращается; в то время как перевод М. Дидо, используя слово *malgré*, которому нет ничего соответствующего в греческом, ставит вторую половину в антитезу к первой.

Я не могу не думать, что οὐ следует толковать с φοβοῦσι, и что слова κατ' ἀξίαν не имеют того значения, которое им придают переводчики. Ἀξίαν означает не только "заслуга, достоинство, право на то, что человек заслужил своим поведением", как в предыдущей фразе παρὰ τὴν ἀξίαν, но и "цена, ценность, право на заботу, способность возбуждать большее или меньшее желание или отвращение", в последнем смысле оно предиктируется как атрибут не только моральных существ, но и других объектов. Так, Аристотель говорит (Ethic. Nikom. iii, 11): ὁ γὰρ οὕτως ἔχων μᾶλλον ἀγαπᾷ τὰς τοιαύτας ἡδονὰς τῆς ἀξίας- ὁ δὲ σώφρων οὐ τοιοῦτος, и т. д. Опять же, *ibid.* iii, 5. Ὁ μὲν οὖν ἂν δεῖ καὶ οὗ ἔνεκα, ὑπομένων καὶ φοβούμενος, καὶ ὥς δεῖ, καὶ ὅτε, ὁμοίως δὲ καὶ θαρρῶν, ἀνδρεῖος- κατ' ἀξίαν γὰρ, καὶ ὥς ἂν ὁ λόγος, πάσχει καὶ πράττει ὁ ἀνδρεῖος. Опять же, *ibid.* iv, 2. Διὰ τοῦτό ἐστι τοῦ μεγαλοπρεποῦς, ἐν ᾧ ἂν ποιῇ γένει, μεγαλοπρεπῶς ποιεῖν- τὸ γὰρ τοιοῦτον οὐκ εὐυπέρβλητον, καὶ ἔχον κατ' ἀξίαν τοῦ δαπανήματος. Опять же, *ibid.* viii, 14. Ἀχρεῖον γὰρ ὄντα οὗ φασι δεῖν ἴσον ἔχειν- λειτουργίαν τε γὰρ γίνεσθαι, καὶ οὐ φιλίαν, εἰ μὴ κατ' ἀξίαν τῶν ἔργων ἔσται τὰ ἐκ τῆς φιλίας. Сравните также *ib.* viii, 13.

Xenophon, Cyrop. viii, 4, 32. τὸ γὰρ πολλὰ δοκοῦντα ἔχειν μὴ κατ' ἀξίαν τῆς οὐσίας φαίνεσθαι ὠφελοῦντα τοὺς φίλους, ἀνελευθερίαν ἐμοίγε δοκεῖ περιάπτειν. Сравните Ксенофонт, Memorab. ii, 5, 2. ὥσπερ τῶν οἰκετῶν, οὕτω καὶ τῶν φίλων, εἰσὶν ἀξίαι; также ibid. i, 6, 11, и Isokratês, cont. Lochit. Or. xx, s. 8.

Слова κατ' ἀξίαν в Фукидиде, как мне кажется, имеют то же значение, что и в этих отрывках Ксенофонта и Аристотеля: "пропорционально их ценности" или их реальной величине. Если мы так их истолкуем, то слова ἀνθ' ὧν, ὅμως, μὲν и δὲ встанут в свой порядок: все предложение после ἀνθ' ὧν относится лично к Никиасу, является следствием того, что он утверждал ранее, и представляет собой подходящий момент в речи для ободрения своих удрученных солдат: "Посмотрите, как держусь я, у которого не меньше причин для скорби, чем у любого из вас. Я вел себя хорошо и по отношению к богам, и по отношению к людям, и за это я сравнительно спокоен и в будущем, и в настоящем: в будущем у меня есть твердые надежды; в то же время, что касается настоящего, я не подавлен нынешними несчастьями в пропорции к их непомерной интенсивности".

Это именно то, что должен сказать решительный человек по такому ужасному поводу.

Частица δὲ имеет соответствующее значение: αἱ δὲ συμφοραὶ οὐ κατ' ἀξίαν δὲ φοβοῦσι; "и нынешние бедствия, хотя они и ужасают меня, не ужасают меня, *конечно*, пропорционально их действительной величине". Наконец, частица καὶ (в последующей фразе τάχα δ' ἂν καὶ λωφῆσειαν) не подходит к предыдущему отрывку в обычном понимании: соответственно, латинский переводчик, как и М. Дидо, опускает ее и переводит: "At fortasse cessabunt". "Mais peut-être vont-ils cesser". Следует перевести: "И, возможно, они могут *даже* ослабеть", из чего следует, что утверждение, высказанное в предыдущем предложении, здесь не опровергается, а переносится и усиливается: см. Kühner, Griech. Gramm. sects. 725-728. В обычном понимании этого предложения это не так.

[500] Thucyd. vii, 77. Ἰκανὰ γὰρ τοῖς τε πολεμίοις εὐτύχηται, καὶ εἴ τῳ θεῶν ἐπίφθονοι ἐστρατεύσαμεν, ἀποχρώντως ἤδη τετιμωρήμεθα- ἦλθον γάρ που καὶ ἄλλοι τινὲς ἤδη ἐφ' ἑτέρους, καὶ ἀνθρώπεια δράσαντες ἀνεκτὰ ἔπαθον. Καὶ ἡμᾶς εἰκὸς νῦν τὰ τε ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐλπίζειν ἡπιώτερα ἔξειν- οἴκτου γὰρ ἀπ' αὐτῶν ἀξιώτεροι ἤδη ἐσμὲν ἢ φθόνου.

Это замечательная иллюстрация к учению, столь часто излагаемому Геродотом, о том, что боги завидовали любому человеку или народу, обладавшему огромной силой, удачей или процветанием. Никиас, вспоминая, с каким размахом и обещанием его вооружение стартовало из Пирея, теперь считает, что это вызвало ревность некоторых богов и привело к несчастьям на Сицилии. Он утешает своих солдат, говоря, что враг сейчас находится на той же опасной вершине возвышения, в то время как *они* исчерпали печальные последствия божественной ревности.

Сравните историю Амасиса и Поликрата у Геродота (iii, 39) и поразительные замечания, вложенные в уста Павла Эмилия Плутархом (Vit. Paul. Æmil. c. 36).

[501] Thucyd. vii, 77. Ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τεῖχη, οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναί.

[502] Thucyd. vii, 78.

[503] Thucyd. vii, 79. ἀφ' ὧν οἱ Ἀθηναῖοι μᾶλλον ἔτι ἡθύμουν, καὶ ἐνόμιζον ἐπὶ τῷ σφετέρῳ ὀλέθρῳ καὶ ταῦτα πάντα γίνεσθαι.

[504] Thucyd. vi, 70.

[505] Thucyd. vii, 80-82.

[506] Д-р Арнольд (Thucyd. vol. iii, p. 280, скопировано Гёллером, ad vii, 81) считает, что дивизия Демосфена дошла до реки Какипарис и перешла ее; и была захвачена между Какипарис и Эринеем. Но слова Фукида (Thucyd. vii, 80, 81) не подтверждают этого. Дивизия Никиаса с самого начала опередила Демосфена, и настигла его главным образом в начале похода, до рассвета; потому что именно тогда беспорядок в дивизии Демосфена был наиболее неудобен: см. с. 81-ὥς τῆς νυκτὸς τότε ξυνεταράχθησαν, и т.д. Поэтому, когда Фукидид говорит, что "на рассвете *они* прибыли к морю" (ἄμα δὲ τῇ ἑω ἄφικνοῦνται ἐς τὴν θάλατταν, с. 80), это не может быть верно *как* для Никии, так и для Демосфена. Если первый прибыл туда на рассвете, то второй не мог прийти в тот же пункт через некоторое время после рассвета. Никиас должен был быть впереди Демосфена, когда тот достиг моря, и значительно раньше, когда он достиг Какипариса: более того, нам прямо говорят, что Никиас не стал ждать своего коллегу, посчитав за лучшее как можно быстрее отправиться дальше со своим собственным отрядом.

Мне кажется, что слова ἄφικνοῦνται и т. д. (с. 80) не следует понимать как в отношении Никиаса, так и Демосфена, но что они отсылают к слову αὐτοῖς, стоящему двумя или тремя строками позже: "*афиняне (взятые в целом)* достигли моря", причем в тот момент не обращалось внимания на разницу между передними и задними частями. Можно сказать, что *афиняне* достигли моря в тот момент, когда его достигла дивизия Никиаса.

[507] Plutarch, Nikias, с. 27.

[508] Thucyd. vii, 81. Καὶ τότε γνοῦς (sc. Demosthenês) τοὺς Συρακοσίους διώκοντας οὐ προὔχωρει μᾶλλον ἢ ἐς μάχην ξυνετάσσετο, ἕως ἐνδιατρίβων κυκλοῦται τε ὑπ' αὐτῶν, καὶ ἐν πολλῷ θορύβῳ αὐτός τε καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ Ἀθηναῖοι ἦσαν- ἀνεληθέντες γὰρ ἕς τι χωρίον, ὃ κύκλῳ μὲν τεῖχιον περιῆν, ὁδὸς δὲ ἔνθεν τε καὶ ἔνθεν, ἐλάας δὲ οὐκ ὀλίγας εἶχεν, ἐβάλλοντο περισταδόν.

Я перевожу ὁδὸς δὲ ἔνθεν τε καὶ ἔνθεν иначе, чем доктор Арнольд, Митфорд и другие. Эти слова обычно понимают так, что плантация, обнесенная стеной, была ограничена двумя дорогами, по одной с каждой стороны. Конечно, эти слова *могут* иметь такое значение; но я думаю, что они могут иметь и то значение (ср. ii, 76), которое я привел в тексте и которое кажется более правдоподобным. Конечно, очень маловероятно, чтобы афиняне сошли с дороги, чтобы укрыться в плантации; ведь они прекрасно понимали, что никакой безопасности для них нет, кроме как убежать. Если предположить, что плантация находилась именно на дороге, то слово ἀνεληθέντες становится вполне объяснимым, и я не считаю комментарий д-ра Арнольда удовлетворительным. Давление войск с тыла в отверстие внутри, в то время как те, кто находился впереди, не могли выйти через более дальнее отверстие, естественно, вызвало бы эту толпу и *тесноту* внутри. Дорога, проходящая прямо через обнесенную стеной землю, входящая с одной стороны и выходящая с другой, вполне могла бы называться ὁδὸς δὲ ἔνθεν τε καὶ ἔνθεν. Сравните замечания д-ра Арнольда к карте Сиракуз, т. iii, стр. 281; а также его примечание к vii, 81.

Я полагаю, что оливковые деревья названы здесь не по одной из двух причин, упомянутых д-ром Арнольдом, а потому, что они мешали афинянам заранее ясно видеть природу замка, в который они спешили, и поэтому не позволяли принять какие-либо меры предосторожности, например, запретить входить сразу большому количеству войск и т. д.

[509] Plutarch, Nikias, с. 27; Thucyd. vii, 82.

[510] Это утверждение основывается на очень хорошем авторитете современного сиракузца Филиста: см. Pausanias, i, 29, 9; Philisti Fragm. 46, ed. Didot.

[511] Thucyd. vii, 83.

[512] Плутарх (Nikias. с. 27) говорит о *восьми* днях, неточно.

[513] Thucyd. vii, 85. См. примечание д-ра Арнольда.

[514] Thucyd. vii, 84. ... ἔβαλλον ἄνωθεν τοὺς Ἀθηναίους, πίνοντάς τε τοὺς πολλοὺς ἀσμένους, καὶ ἐν κοίλῳ ὄντι τῷ ποτάμῳ ἐν σφίσιν αὐτοῖς ταρασσομένους.

[515] Thucyd. vii, 85, 86; Philistus, Fragm. 46, ed. Didot; Pausanias, i. 29, 9.

[516] Thucyd. vii, 85; Plutarch, Nikias, с. 27.

[517] Фукидид утверждает, приблизительно, не претендуя на точные знания, что общее число пленников, доставленных в Сиракузы под государственным надзором, было не менее семи тысяч - ἐλήφθησαν δὲ οἱ ξύμπαντες, ἀκριβεῖα μὲν χαλεπὸν ἐξεῖπεῖν, ὅμως δὲ οὐκ ἐλάσσους ἑπτακισχίλιων (vii, 87). Так как число, взятое с Демосфеном, было шесть тысяч (vii, 82), то остается одна тысяча, как полученная от деления Никиаса.

[518] Thucyd. vii, 85. πολλοὶ δὲ ὅμως καὶ διέφυγον, οἱ μὲν καὶ παραυτίκα, οἱ δὲ καὶ δουλεύσαντες καὶ διαδιδράσκοντες ὕστερον. Слово παραυτίκα означает "во время отступления".

[519] Lysias pro Polystrato. Orat. xx, sects. 26-28, с. 6, p. 686 R.

[520] Thucyd. vii, 87. Диодор (xiii, 20-32) приводит две длинные речи, якобы произнесенные в сиракузском собрании, в которых обсуждался вопрос о том, как следует поступить с пленниками. Пожилой гражданин по имени Николай, потерявший на войне двух сыновей, выступает за гуманное обращение, а Гилипп представлен как оратор, рекомендуемый суровость и месть.

У кого Диодор это позаимствовал, я не знаю, но весь его рассказ об этом деле кажется мне недостоверным.

О его точности можно судить по тому, что он утверждает, что пленники получали по два ченикса ячменной муки вместо двух котилей; ченикс был в четыре раза больше котили (Diodor. xiii, 19).

[521] Плутарх, Никиас, с. 29; Диодор. xiii, 33. Читатель увидит, как карфагеняне обращались с греческими пленниками, которых они взяли в Сицилии, в Diodor. xiii, 111.

[522] Plutarch, Nikias, с. 28; Diodor. xiii, 19.

[523] Thucyd. vii, 86; Plutarch, Nikias, с. 28. Утверждение, которое Плутарх приводит из Тимея о вмешательстве Гермократа, не противоречит по существу Филисту и Фукидиду. В тексте Плутарха слово κελευσθέντας кажется явно предпочтительнее, чем καταλευσθέντας.

[524] Плутарх, Никиас, с. 28. Хотя Плутарх говорит, что месяц Карней - это "тот, который афиняне называют Метагейтнийон", все же небезопасно утверждать, что день убийства Асинара был 16-м числом аттического месяца Метагейтнийон. Мы знаем, что гражданские месяцы разных городов редко или никогда точно не совпадали. См. замечания Франца по этому поводу в его комментарии к ценным надписям Тавромения, Corp. Inscr. Gr. № 5640, часть xxxii, раздел 3, p. 640.

Сдача Никиаса должна была произойти, я думаю, не менее чем через двадцать четыре или двадцать пять дней после затмения, которое произошло 27 августа, то есть около 21 сентября. Мистер Файнс Клинтон (F. H. ad ann. 413 B.C.), как мне кажется, слишком сильно сжимает интервал между затмением и отступлением, считая, что этот интервал включает две большие битвы, с определенной задержкой до, между и после.

Отмеченное Фукидом μετόπισρον vii, 79. подходит к 21 сентября: сравните Плутарх, Никиас, с. 22.

[525] Thucyd. vii, 87.

[526] Pausan. i, 29, 9; Philist. Fragm. 46, ed. Didot.

Юстин ошибочно говорит, что Демосфенес действительно покончил с собой, вместо того чтобы сдаться, до того как сдался Никиас; который, по его словам, не решил последовать его примеру: - "Demosthenês, amisso, amisso, amisso, amisso, amisso".

"Demosthenês, amisso exercitu a captivitate gladio et voluntariâ morte se vindicat: Nicias autem, ne Demosthenis quidem exemplo, ut sibi consuleret, admonitus, cladem suorum auxit dedecore captivitatis." (Justin, iv, 5.)

Филист, которого Павсаний объявляет своим последователем, является прекрасным свидетелем реальных фактов в Сицилии, хотя и не таким хорошим свидетелем впечатления, которое сложилось в Афинах относительно этих фактов.

Даже Фукидид, кажется, уверен, что Никиас, сдаваясь Гилиппу, думал, что у него есть значительный шанс спасти свою жизнь; Плутарх тоже так интерпретирует этот поступок и осуждает его как позорный, см. его сравнение Никиаса и Красса, ближе к концу. Демосфенес не мог думать так же о себе: факт его попытки самоубийства представляется мне несомненным, на основании авторитета Филиста, хотя Фукидид его не замечает.

[527] Thucyd. vii, 86. Καὶ ὁ μὲν τοιαύτη ἢ ὅτι ἐγγύτατα τούτων αἰτίᾳ ἐτεθνήκει, ἥκιστα δὲ ἄξιός ὢν τῶν γε ἐπ' ἐμοῦ Ἑλλήνων ἐς τοῦτο δυστυχίας ἀφικέσθαι, διὰ τὴν νενομισμένην ἐς τὸ θεῖον ἐπιτήδευσιν.

Так стоял текст Thucydides, пока различные недавние редакторы не изменили последние слова, по авторитету некоторых MSS, на διὰ τὴν πᾶσαν ἐς ἀρετὴν νενομισμένην ἐπιτήδευσιν.

Хотя д-р Арнольд и некоторые из лучших критиков предпочитают и принимают второе чтение, мне, признаться, кажется, что первое более соответствует греческому направлению мысли, а также более соответствует истине о Никиасе.

Хорошая или плохая судьба человека, зависящая от благоприятного или неблагоприятного расположения к нему богов, как считалось, определяется скорее непосредственно его благочестием и религиозными обрядами, чем его добродетелью, см. отрывки в Isokratês de Permutation. Orat. xv, sect. 301; Lysias, cont. Nikomach. с. 5, р. 854, хотя, несомненно, эти две идеи в определенной степени сочетались. Люди могли расходиться во мнениях о добродетели Никиаса, но его благочестие было неоспоримым фактом, и его "удача" во времена, предшествовавшие сицилийской экспедиции, также была признана такими людьми, как Алкивиад, который, скорее всего, не был очень высокого мнения о его добродетели (Thucyd. vi, 17). Контраст между замечательным благочестием Никиаса и тем крайним несчастьем, которое ознаменовало конец его жизни, мог потрясти греческие представления в целом, и это было естественным обстоятельством для историка. Если же мы

читаем в отрывке πᾶσαν ἐς ἀρετὴν, то панегирик Никиасу становится и менее особенным, и более несоразмерным, выходящим за рамки того, что даже Фукидид (насколько мы можем судить по другим выражениям, см. ст. 16) был бы склонен ему дать - больше, чем он говорит в похвалу даже Периклесу.

[528] Многие из черт, изображенных Тацитом (Hist. i, 49) в Гальбе, подходят к характеру Никиаса гораздо больше, чем черты хищного и беспринципного Красса, с которым Плутарх сравнивает последнего: - "Vetus in familiâ".

"Vetus in familiâ nobilitas, magnæ opes: ipsi medium ingenium, magis extra vitia, quam cum virtutibus. Sed claritas natalium, et metus temporum, obtentui fuit, ut *quod segnitia fuit, sapientia* vocaretur. Dum vigeat ætas, militari laude apud Germanias floruit: proconsul, Africam moderate; jam senior, citeriorem Hispaniam, pari justitiâ continuit. *Major privato visus dum privatus fuit, et omnium consensu capax imperii, nisi imperasset.*"

[529] Thucyd. i, 122-142; vi, 90.

[530] Thucyd. viii. 4. Об обширных разрушениях, причиненных лакедемонянами оливковым плантациям в Аттике, см. Лисий, Or. vii, De Oleâ Sacrâ, sects. 6, 7.

Надпись, сохранившаяся в книге М. Бёкха "Corp. Inscr. (part ii, No. 93, p. 132), дает некоторый намек на то, как помещики и арендаторы встречали этот неизбежный ущерб от рук захватчиков. В демоне Иксонеи определенному арендатору сдается ферма на сорок лет с фиксированной арендной платой в сто сорок драхм; но если вторгшийся враг изгонит его или повредит его ферму, то вместо годовой арендной платы демону полагается половина годового продукта.

[531] Thucyd. vii, 28, 29.

[532] Thucyd. vii, 27.

[533] Thucyd. vii, 28.

[534] По поводу этой новой оценки союзников, определенной афинянами, г-н Митфорд замечает следующее:-

"Этот легкий, по сравнению с тем, что мы наложили на себя, налог был самым тяжелым, насколько мы знаем из истории, в то время известной в мире. Тем не менее он вызвал много недовольства среди зависимых государств; произвол, которым он был наложен, действительно вызывал обоснованное осуждение, хотя само бремя было сравнительно небольшим".

Это признание нелегко примирить с частыми ругательствами, в которых мистер Митфорд предается Афинской империи, как практикующей систему вымогательства и угнетения, губительную для подданных-союзников.

Я не знаю, однако, на каком основании он утверждает, что это был "самый тяжелый налог, известный в то время в мире", и что "он вызвал много недовольства среди подвластных содружеств". Последнее утверждение действительно было бы достаточно вероятным, если бы было правдой, что этот налог когда-либо вводился в действие; но мы не вправе утверждать это.

Учитывая, как скоро начались ужасные несчастья Афин, я не могу не считать, что вопрос о том, стал ли новый налог реальностью во всей Афинской империи, остается неясным. И тот

факт, что Фукидид не отмечает ее как дополнительную причину недовольства среди союзников, является одной из причин для таких сомнений".

[535] Thucyd. vii, 29, 30, 31. Я полагаю, что οὕσῃ οὐ μεγάλη является правильным чтением, а не οὕσῃ μεγάλῃ, применительно к Микалексу. Слова ὥς ἐπὶ μεγέθει в с. 31 относятся к размеру города.

Это чтение, однако, оспаривается критиками. Из языка Фукидида видно, что катастрофа в Микалексе произвела глубокое впечатление на всю Грецию.

[536] Thucyd. vii, 30; Pausanias. i, 23, 3. Сравните Meineke, ad Aristophanis Fragment. "Ἦρωες, vol. ii, p. 1069.

[537] См. выше, т. vi, гл. xlix, с. 196 этой Истории.

[538] См. предыдущую главу.

[539] Thucyd. vii, 31. Сравните с языком Формиона, ii. 88, 89.

[540] Thucyd. vii, 34.

[541] Плутарх, Никиас, с. 30. Он передает эту историю без особого доверия: Ἀθηναίους δὲ φασι и т. д.

[542] Thucyd. viii, 1.

[543] Thucyd. viii, 1. Πάντα δὲ πανταχόθεν αὐτοῦς ἐλύπει, etc.

[544] Thucyd. viii, 1. Ἐπειδὴ δὲ ἔγνωσαν, χαλεποὶ μὲν ἦσαν τοῖς συμπροθυμηθεῖσι τῶν ῥητόρων τὸν ἔκπλουν, ὥσπερ οὐκ αὐτοὶ ψηφισάμενοι и т. д.

Из этих последних слов следует, что Фукидид считал, что афиняне, приняв экспедицию своими голосами, лишили себя права жаловаться на тех ораторов, которые решительно выступали за этот шаг. Я вовсе не согласен с его мнением. Советник любой важной меры всегда несет моральную ответственность за ее справедливость, полезность и осуществимость; и он очень правильно навлекает на себя позор, больший или меньший в зависимости от случая, если она приводит к результатам, полностью противоположным тем, которые он предсказывал. Мы знаем, что афинский закон часто налагал на автора предложения не только моральную, но даже юридическую ответственность; это правило сомнительно уместно при других обстоятельствах, но я считаю, что в Афинах оно было полезным.

Однако следует признать, что советникам этой экспедиции пришлось нелегко, поскольку из-за полного уничтожения вооружения ни генералы, ни солдаты не вернулись, и они не смогли показать, насколько значительная часть разрушений возникла из-за недостатков в исполнении, а не в задуманном плане. Оратор в оратории Лисия -περὶ δημεύσεως τοῦ Νικίου ἀδελφοῦ (Or. xviii, sect. 2) - пытается переложить вину с Никиаса на советников экспедиции, что является явной несправедливостью.

Демосфен (в оратории De Coronâ, с. 73) решительно и благородно заявляет об ответственности, которую он с радостью принимает на себя как политический оратор и советник; ответственности за то, что он видит зачатки и понимает предвестники грядущих событий и заранее предупреждает своих соотечественников: ἰδεῖν τὰ πράγματα ἀρχόμενα καὶ προαισθῆσθαι καὶ προειπεῖν τοῖς ἄλλοις. Это справедливый взгляд на предмет; и, применяя

меры, предложенные Демосфеном, афиняне имели достаточно оснований быть недовольными своими ораторами.

[545] Thucyd. viii, 1. πάντα δὲ πρὸς τὸ παραχρῆμα περιδεῆς, ὅπερ φιλεῖ δῆμος ποιεῖν, ἐτοῖμοι ἦσαν εὐτακτεῖν; сравни Xenoph. Mem. iii, 5, 5.

[546] Thucyd. viii, 1-4. О функциях этой коллегии Пробыли было сказано много, для чего нет никаких оснований в Фукидиде: τῶν τε κατὰ τὴν πόλιν τι ἐς εὐτέλειαν σωφρονίσει, καὶ ἀρχὴν τινα πρεσβυτέρων ἀνδρῶν ἐλέσθαι, οἵτινες περὶ τῶν παρόντων ὡς ἂν καιρὸς ἦ προβουλευούσι. Πάντα δὲ πρὸς τὸ παραχρῆμα περιδεῆς, ὅπερ φιλεῖ δῆμος ποιεῖν, ἐτοῖμοι ἦσαν εὐτακτεῖν.

По этому поводу д-р Арнольд замечает: "То есть ни одна мера не должна была быть представлена народу, пока она не была предварительно одобрена этим советом старейшин". И таково общее мнение комментаторов.

Однако в слове Πρόβουλοι не обязательно заложен такой смысл. Конечно, можно предположить, что лица, обозначенные таким образом, могут быть наделены подобной властью; но мы не можем сделать вывод или утверждать это, просто исходя из названия. Отрывки из "Политики" Аристотеля, где встречается слово Πρόβουλοι, также не дают оснований для каких-либо выводов в отношении этого правления в конкретном случае Афин (Aristotel. Politic. iv, 11, 9; iv, 12, 8; vi, 5, 10-13).

Похоже, что в Афинах совет просуществовал лишь короткое время, поскольку был создан с временной целью, в момент особого давления и уныния. При таком настроении не было особой необходимости создавать дополнительные препятствия на пути новых предложений, которые должны были быть сделаны народу. Скорее, важно было *поощрять* предложения новых мер, исходящие от людей разумных и опытных. Совет, предназначенный лишь для контроля и создания препятствий, был бы не полезен, а вреден в условиях царившей в Афинах меланхолии.

Коллегия, несомненно, влилась в олигархию Четырехсот, как и все остальные магистратуры государства, и не была восстановлена после их низложения.

Я не могу считать допустимым делать выводы о функциях этой коллегии Пробылов в настоящее время, исходя из заседаний Пробылов в "Лисистрате" Аристофана, как это делают Вахсмут (Hellenische Alterthumskunde, i, 2, p. 198) и Ваттенбах (De Quadringentorum Athenis Factione, pp. 17-21, Berlin 1842).

Шеманн (Ant. Jur. Pub. Græcor. v, xii, p. 181) говорит об этих Πρόβουλοι: "Videtur autem eorum potestas fere annua fuisse". Я не совсем понимаю, что он имеет в виду под этими словами; то ли он имеет в виду, что совет оставался постоянным, но его члены ежегодно менялись. Если это его смысл, то я с ним не согласен. Я думаю, что Совет просуществовал до времени Четырехсотлетия, то есть примерно полтора года после своего первого учреждения".

[547] Thucyd. viii, 2, 3. Λακεδαιμόνιοι δὲ τὴν πρόσταξιν ταῖς πόλεσιν ἑκατὸν νεῶν τῆς ναυπηγίας ἐποιοῦντο, etc.; ср. также с. 4-παρεσκευάζοντο τὴν ναυπηγίαν, etc.

[548] Thucyd. viii, 5. ὄντων οὐδὲν ἄλλο ἢ ὥσπερ ἀρχομένων ἐν κατασκευῇ τοῦ πολέμου: ср. ii, 7.

[549] Thucyd. viii, 2: ср. ii, 7; iii, 86.

[550] Thucyd. viii, 3.

[551] Thucyd. viii, 5.

[552] Thucyd. viii, 7-24.

[553] Thucyd. viii, 5. Ὑπὸ βασιλέως γὰρ νεωστὶ ἐτύγχανε πεπραγμένος (Tissaphernes) τοὺς ἐκ τῆς ἑαυτοῦ ἀρχῆς φόρους, οὓς δι' Ἀθηναίους ἀπὸ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων οὐ δυνάμενος πράσσειν ἐπωφείλησε. Τούς τε οὖν φόρους μᾶλλον ἐνόμιζε κομιεῖσθαι κακώσας τοὺς Ἀθηναίους, и т.д.

Я уже подробно обсуждал этот важный отрывок в связи с договором, заключенным за тридцать семь лет до этого времени между Афинами и Персией. См. примечание к тому v, гл. xlv, с. 337-339, этой Истории.

[554] Thucyd. viii, 29. Καὶ μηνὸς μὲν τροφὴν, ὥσπερ ὑπέστη ἐν τῇ Λακεδαίμονι, ἐς δραχμὴν Ἀττικὴν ἐκάστῳ πάσαις ταῖς ναυσὶ διέδωκε, τοῦ δὲ λοιποῦ χρόνου ἐβούλετο τριώβολον διδόναι, etc.

[555] Сатрапия Тиссаферна простиралась на север до Антандра и Адрамитиума (Thucyd. viii, 108).

[556] Thucyd. viii, 6.

[557] Thucyd. viii, 6-12; Plutarch, Alkibiad. с. 23, 24; Cornelius Nepos, Alkibiad. с. 3.

[558] Thucyd. viii, 6.

[559] Thucyd. viii, 8.

[560] Thucyd. viii, 10. Ἐν δὲ τούτῳ τὰ Ἴσθμια ἐγένετο- καὶ οἱ Ἀθηναῖοι (ἐπηγγέλθησαν γὰρ) ἐθεώρουν ἐς αὐτά- καὶ κατὰδῃλα μᾶλλον αὐτοῖς τὰ τῶν Χίων ἐφάνη.

Язык Фукидида в этом отрывке заслуживает внимания. Афиняне враждовали с Коринфом: поэтому было примечательно и противоречило ожиданиям греков, что они должны присутствовать со своей теорией, или торжественным жертвоприношением, на истмийском празднике. Поэтому Фукидид, говоря о том, что они отправились туда, считает правильным добавить пояснение -ἐπηγγέλθησαν γὰρ - "потому что их пригласили"; "потому что им было официально объявлено о перемирии на празднике". То, что глашатаи, объявившие перемирие, пришли и объявили его государству, враждовавшему с Коринфом, было чем-то необычным и заслуживало особого внимания: в противном случае Фукидид никогда бы не счел нужным упоминать об этом объявлении, поскольку оно было общепринятой практикой.

Следует помнить, что это был первый истмийский праздник, состоявшийся после возобновления войны между Афинами и Пелопоннесским союзом. Привычка не упоминать Афины в воззваниях коринфских глашатаев еще не была возобновлена. Что касается Истмийского фестиваля, то, вероятно, было больше нежелания оставлять ее в стороне, потому что этот фестиваль был наполовину афинским по своему происхождению; говорят, что он был основан или возрожден после перерыва Тесеем, а афинская феерия занимала проεδρία, или привилегированное место, на играх (Плутарх, Тесей, с. 25; Argument. ad Pindar. Isthm. Schol.).

[561] Thucyd. viii, 11.

[562] Thucyd. viii, 12.

[563] Thucyd. viii, 14.

[564] Thucyd. viii, 9. Αἴτιον δ' ἐγένετο τῆς ἀποστολῆς τῶν νεῶν, οἳ μὲν πολλοὶ τῶν Χίων οὐκ εἰδότες τὰ πρασσόμενα, οἳ δὲ ὀλίγοι ξυνειδότες, τό τε πλῆθος οὐ βουλόμενοί πω πολέμιον ἔχειν, πρὶν τι καὶ ἰσχυρὸν λάβωσι, καὶ τοὺς Πελοποννησίους οὐκέτι προσδεχόμενοι ἦξειν, ὅτι διέτριβον.

Также viii, 14. Ὁ δὲ Ἀλκιβιάδης καὶ ὁ Χαλκιδεὺς ... προξυγγενόμενοι τῶν συμπρασσόντων Χίων τισι, καὶ κελευόντων καταπλεῖν μὴ προειπόντας ἐς τὴν πόλιν, ἀφικνοῦνται αἰφνίδιοι τοῖς Χίοις. Καὶ οἱ μὲν πολλοὶ ἐν θαύματι ἦσαν καὶ ἐκπλήξει- τοῖς δ' ὀλίγοις παρεσκεύαστο ὥστε βουλὴν τε τυχεῖν ξυλληγομένην, καὶ γενομένων λόγων ἀπὸ τε τοῦ Ἀλκιβιάδου, ὡς ἄλλαι τε νῆες πολλαὶ προσπλέουσι, καὶ τὰ περὶ τῆς πολιορκίας τῶν ἐν Πειραίῳ νεῶν οὐ δηλωσάντων, ἀφίστανται Χῖοι, καὶ αὖθις Ἐρυθραῖοι, Ἀθηναίων.

[565] См. замечательный отрывок Thucyd. viii, 24, о расчетах цианского правительства.

[566] Thucyd. viii, 15.

[567] Thucyd. viii, 16.

[568] Thucyd. viii, 17-19.

[569] Thucyd. viii, 18.

[570] Thucyd. viii, 84-109.

[571] Thucyd. viii, 44.

[572] Thucyd. viii, 21. Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον καὶ ἡ ἐν Σάμῳ ἐπανάστασις ὑπὸ τοῦ δήμου τοῖς δυνατοῖς, μετὰ Ἀθηναίων, οἳ ἔτυχον ἐν τρισὶ ναυσὶ παρόντες. Καὶ ὁ δῆμος ὁ Σαμίων ἐς διακοσίους μὲν τινὰς τοὺς πάντας τῶν δυνατῶν ἀπέκτεινε, τετρακοσίους δὲ φυγῇ ζημιώσαντες καὶ αὐτοὶ τὴν γῆν αὐτῶν καὶ οἰκίας νειμάμενοι, Ἀθηναίων τε σφίσιν αὐτονομίαν μετὰ ταῦτα ὡς βεβαίοις ἤδη ψηφισαμένων, τὰ λοιπὰ διώκουν τὴν πόλιν, καὶ τοῖς γεωμόροις μετεδίδοσαν οὔτε ἄλλου οὔδενος, οὔτε ἐκδοῦναι οὔδ' ἀγαγέσθαι παρ' ἐκείνων οὔδ' ἐς ἐκείνους οὔδενί ἔτι τοῦ δήμου ἐξῆν.

[573] Thucyd. viii, 21. Предрасположенность и планы "высших людей" на Самосе призвать пелопоннесцев и восстать из Афин полностью признаются даже г-ном Митфордом и подразумеваются д-ром Тирлуоллом, который утверждает, что правительство Самоса не могло быть олигархическим, потому что, если бы оно было таковым, остров уже восстал бы из Афин к пелопоннесцам.

Г-н Митфорд говорит (гл. xix, раздел iii, т. iv, с. 191): "Тем временем высшее население Самоса, более подавленное, чем все остальные, с тех пор, как оно уменьшилось в результате их прежнего восстания, собиралось воспользоваться возможностью, которая, казалось, открывалась благодаря распространению пелопоннесского оружия, чтобы поправить свое положение. Низшие люди, узнав об их замысле, поднялись на них и, при содействии экипажей трех афинских кораблей, находившихся в то время на Самосе, одолели их" и т. д. и т. п.

"Резня и грабеж были вознаграждены постановлением афинского народа, предоставившим виновным независимое управление делами их острова, который со времени последнего восстания находился под непосредственным контролем афинского правительства".

Назвать это *резней* - значит извратить язык. Это был мятеж и междоусобный конфликт, в котором "высшие люди" потерпели поражение, но в котором они также были зачинщиками, составив заговор, который сам мистер Митфорд признает как факт, с целью введения на остров иностранного врага. Неужели он думает, что "низшие люди" должны были сидеть и смотреть, как это происходит? И какие у них были средства предотвратить это, кроме восстания, которое неизбежно стало кровавым, потому что "высшие люди" были сильной партией, обладающей властью и большими возможностями для сопротивления. Потери со стороны нападавших нам не известны, как и потери в той мере, в какой они выпали на долю

последователей гефмори. Фукидид указывает только число самих геомори, которые были личностями, имевшими большое значение.

Я не совсем понимаю, какое представление о правительстве Самоса в это время формирует для себя г-н Митфорд. Похоже, он считает его демократическим, но находящимся под сильным непосредственным контролем Афин, и что оно держало "высших людей" в состоянии тяжелой депрессии, из которой они пытались выбраться с помощью пелопоннесского оружия.

Но если он подразумевает под выражением *"под непосредственным контролем афинского правительства"*, что на Самосе был какой-либо афинский губернатор или гарнизон, то рассказ Фукидида, приведенный здесь, явно опровергает его. Конфликт произошел между двумя внутренними партиями, "высшим народом и низшим народом". Единственными афинянами, принимавшими в нем участие, были экипажи трех трирем, да и те оказались там случайно (οἱ ἔτιυχοι παρόντες), а не в качестве регулярного гарнизона. Самос находился под местным управлением, но был подданным и союзником Афин, как и все остальные союзники, за исключением Хиоса и Метимны (Thucyd. vi, 85). После этого решения афиняне возвели его в ранг автономного союзника, что г-н Митфорд с удовольствием называет "наградой за резню и грабеж", говоря языком партийного оратора, а не историка.

Но было ли правительство Самоса, непосредственно перед этой междоусобной борьбой, олигархическим или демократическим? Язык Фукидида вызывает у меня полное убеждение в том, что оно было олигархическим, под властью исключительной аристократии, называвшейся Гефмори. Однако доктор Тирлуолл (чей откровенный и справедливый рассказ об этом событии составляет разительный контраст с рассказом мистера Митфорда) придерживается иного мнения. Он считает несомненным, что демократическое правительство было установлено на Самосе афинянами, когда он был вновь завоеван ими (440 г. до н.э.) после восстания. То, что правительство оставалось демократическим в первые годы Пелопоннесской войны, он считает доказанным враждебностью саамских изгнанников в Анэе, которых он рассматривает как олигархических беженцев. И хотя он не согласен с мнением г-на Митфорда об особом подавленном состоянии "высших людей" на Самосе в это позднее время, он все же считает, что они не были фактически во власти. "Тем не менее (говорит он), по мере того как остров постепенно восстанавливал свое процветание, привилегированный класс, похоже, также смотрел вверх, возможно, пытался вернуть себе часть власти под разными формами и, вероятно, проявлял сильную склонность возродить свои древние притязания при первой же возможности. *То, что она еще не продвинулась дальше этой точки, можно считать несомненным, потому что в противном случае Самос был бы одним из первых, кто восстал из Афин*: с другой стороны, не менее ясно, что состояние партий там было таким, чтобы возбудить высокую степень взаимной ревности и большую тревогу у афинян, для которых потеря острова в этот момент была бы почти непоправимой". (Hist. of Gr. ch. xxvii, vol. iii, p. 477 2d edit.) Мансо (Sparta, book iv, vol. ii, p. 266) придерживается того же мнения.

Конечно, вывод, который доктор Тирлуолл объявляет несомненным, не может основываться на адекватных предпосылках. Признавая, что на Самосе у власти находилась олигархия, вполне можно объяснить, почему эта олигархия до сих пор не привела в действие свое намерение восстать из Афин. Мы видим, что ни один из союзников Афин - даже Хиос, самый могущественный из всех, - не восстал без постороннего давления и поощрения со стороны иностранного флота. Алкивиад, завладев Хиосом, рассматривал Милет как следующий по значимости город, к тому же имевший особые связи с ведущими людьми (viii, 17), поэтому он предпринял следующую попытку отделить этот город от Афин. Милет, находящийся на

континенте, обеспечивал ему непосредственную связь с Тиссафернесом, по этой причине он, естественно, мог считать его по важности превосходящим в своих планах даже Самос. Кроме того, до Самоса не только не дошел ни один иностранный флот, но и прибыло несколько афинских кораблей: ведь Стромбихидес, переправившись через Эгейское море слишком поздно, чтобы спасти Хиос, превратил Самос в своего рода центральную станцию (viii, 16). Эти обстоятельства в сочетании с известной неохотой саамского демоса, или простонародья, несомненно, достаточно объясняют, почему саамская олигархия до сих пор не осуществила свои планы восстания. И поэтому тот факт, что восстания еще не произошло, не может служить основанием для вывода доктора Тирлуолла о том, что правительство *не* было олигархическим.

У нас нет сведений о том, как и когда возникло олигархическое правительство на Самосе. То, что саамские беженцы из Аннеи, так активно враждовавшие с Самосом и Афинами в течение первых десяти лет Пелопоннесской войны, были олигархическими изгнанниками, действовавшими против демократического правительства на Самосе (iv, 75), само по себе не является невероятным; однако это не подтверждается точно. Правительство Самоса могло быть олигархическим даже в то время; но если бы оно действовало в афинских интересах, то, несомненно, изгнанники искали бы возможности навредить ему, помогая врагам Афин.

Более того, мне кажется, что если мы прочитаем и соединим вместе отрывки из Фукидида, viii, 21, 63, 73, то невозможно без величайшего насилия придать им иной смысл, кроме того, что они означают, что правительство Самоса теперь находится в руках олигархии, или гефморов, и что демос восстал против них с окончательным триумфом. Естественный смысл слов ἐπανάστασις, ἐπανίσταμαι - *восстание против установленного правительства: это не означает "насильственное нападение одной партии на другую"; тем более это не означает "нападение, предпринятое партией, владеющей правительством"*, что, тем не менее, должно означать, если доктор Тирлуолл прав, полагая, что правительство Самосской области теперь было демократическим. Таким образом, в описании восстания саамитян из Афин - Thucyd. i, 115 (после того как Фукидид заявил, что афиняне установили демократическое правительство, он говорит, что саамские изгнанники в настоящее время пришли с наемным войском) - καὶ πρῶτον μὲν τῷ δήμῳ ἐπανεστήσαν, καὶ ἐκράτησαν τῶν πλείστων, и т. д. Опять же, v, 23 - о предполагаемом восстании гелиотов против спартанцев - ἥν δὲ ἡ δοῦλεια ἐπανίστηται: compare Xenoph. Hellen. v, 4, 19; Plato, Republ. iv, 18, p. 444; Herodot. iii, 39-120. Также δυνατοὶ входит в число слов, которые Фукидид использует для обозначения олигархической партии, либо в правительстве, либо в том, что можно назвать *оппозицией* (i, 24; v, 4). Но я не могу себе представить, чтобы Фукидид использовал слова ἡ ἐπανάστασις ὑπὸ τοῦ δήμου τοῖς δυνατοῖς - если бы демос в то время действительно находился в правительстве.

Опять же, viii, 63, он говорит, что афинская олигархическая партия при Пейсандре αὐτῶν τῶν Σαμίῳν προὔτρεψαντο τοὺς δυνατοὺς ὥστε πειρᾶσθαι μετὰ σφῶν ὀλιγαρχηθῆναι, καίπερ ἐπαναστάντας αὐτοὺς ἀλλήλοις ἵνα μὴ ὀλιγαρχῶνται. Здесь четко прослеживается мотив предыдущего ἐπανάστασις; это было сделано для того, чтобы они *не находились под олигархическим правлением*: ибо я согласен с Крюгером (в противовес Dr. Тирволлом), что это ясное значение слов, и что использование настоящего времени не позволяет нам истолковать их так: "чтобы их демократическое правительство не было ниспровергнуто и на них не была наложена олигархия", что должно было бы быть смыслом, если бы мнение д-ра Тирволла было справедливым.

Наконец, viii, 73, мы имеем οἱ γὰρ τότε τῶν Σαμίῳν ἐπαναστάντες τοῖς δυνατοῖς καὶ ὄντες δῆμος, μεταβαλλόμενοι αὐθις-ἐγένοντό τε ἐς τριακοσίους συνωμόται, καὶ ἔμελλον τοῖς ἄλλοις ὡς δήμῳ ὄντι

ἐπιθήσεσθαι. Конечно, эти слова - οἱ ἐπαναστάντες τοῖς δυνατοῖς καὶ ὄντες δῆμος - "те, кто поднялся с оружием в руках против богатых и сильных, были теперь демосом, или демократией", должны означать, *что лица, против которых произошло восстание, были правящей олигархией*. Несомненно также, что слова μεταβαλλόμενοι αὖθις не могут означать ничего другого, кроме как указывать на странную противоположность между поведением этих же людей в две различные эпохи, не очень далекие друг от друга. В первый раз они восстали против установленного олигархического правительства и создали демократическое правительство. Во второй раз они восстали в заговоре против этого самого демократического правительства, чтобы ниспровергнуть его и создать на его месте олигархию. Если предположить, что в первом случае установленное правительство уже было демократическим и что упомянутые здесь лица были не заговорщиками против установленной олигархии, а просто людьми, использовавшими полномочия демократического правительства для насилия над богатыми гражданами, то вся эта антитеза полностью исчезает.

В целом я удовлетворен тем, что правительство Самоса в то время, когда Хиос восстал из Афин, было олигархическим, как и сам Хиос. Я не вижу никаких трудностей в том, чтобы считать это фактом, хотя и не могу сказать, когда и как там установилась олигархия. До тех пор пока остров выполнял свой долг как союзник, Афины не вмешивались в форму его правления. И меньше всего она могла вмешиваться в течение семи лет мира, наступивших в 421-414 годах до н. э. Тогда не было ничего, что могло бы вызвать ее опасения. Степень вмешательства Афин во внутренние дела своих союзников, как мне кажется, сильно преувеличена.

Саамская олигархия, или гефморя, лишенные власти по этому случаю, были восстановлены Лисандром после победоносного завершения Пелопоннесской войны, - Xenoph. Hellen. iii, 3, 6, где они называются οἱ ἀρχαῖοι πολῖται.

[574] Thucyd. viii, 13.

[575] Thucyd. viii, 20-23.

[576] См. предыдущую часть этой истории, т. vi, гл. I, с. 257, 258.

[577] Thucyd. viii, 22.

[578] Thucyd. viii, 20.

[579] Thucyd. viii, 23. ἀπεκομίσθη δὲ πάλιν κατὰ πόλεις καὶ ὁ ἀπὸ τῶν νεῶν πεζός, ὃς ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἐμέλλησεν ἵεναι.

Д-р Арнольд и Гёллер полагают, что эти солдаты были перевезены на Лесбос, чтобы участвовать в отторжении острова от афинян. Но это не подразумевается в повествовании. Сухопутный отряд *шел по* суше в Клазомены и Кимку (ὁ πεζὸς ἄμα Πελοποννησίων τε τῶν παρόντων καὶ τῶν αὐτόθεν συμμάχων *παρήγει* ἐπὶ Κλαζομένων τε καὶ Κύμης). Фукидид не говорит, что они когда-либо переправлялись на Лесбос: они оставались возле Кима, готовые после завоевания этого острова идти вперед, к Геллеспонту.

Хааке, как мне кажется, прав, когда относит слова ὁ ἀπὸ τῶν νεῶν πεζός к тому, что было сказано в с. 17, что Алкивиад и Халкид, прибыв с пятью пелопоннесскими триерами на Хиос, высадили на этом острове своих пелопоннесских моряков и вооружили их как гоплитов для

сухопутных войск, взяв на борт свежие команды моряков с острова. Мотивом для такого обмена послужило превосходство пелопоннесцев в храбрости, в тяжелых доспехах и в бою в стойке, по сравнению с хианцами или азиатскими греками (см. Xenoph. Hell. iii, 2, 17). Эти пешие солдаты, взятые с пелопоннесских кораблей, те же самые, о которых говорится в с. 22: ὁ πεζὸς ἄμα Πελοποννησίων τε τῶν παρόντων καὶ τῶν αὐτόθεν ξυμμάχων ... ὁ ἀπὸ τῶν νεῶν πεζός.

Далее эти войска снова упоминаются в к. 24, как οἱ μετὰ Χαλκιδέως ἐλθόντες Πελοποννήσιοι, где доктор Арнольд снова говорит о них в своем примечании неправильно. Он говорит: "Пелопоннесцы, пришедшие с Халкидеем, должны были быть слишком малочисленны, чтобы оказать эффективное сопротивление тысяче тяжеловооруженных афинян, будучи лишь *эпибатами* из пяти кораблей". Дело в том, что это были не просто эпибаты, а *целые экипажи* пяти кораблей; состоявшие, вероятно, от восьмисот до тысячи человек (ἐκ μὲν τῶν ἐκ Πελοποννήσου νεῶν τοὺς ναύτας ὀπλίσαντες ἐν Χίῳ καταλιμπάνουσι, с. 17), так как от них осталось пятьсот человек после нескольких месяцев операций и серьезного поражения (viii, 32).

[580] Thucyd. viii, 24, с примечанием д-ра Арнольда.

[581] Aristotel. Politic. iv, 4, 1; Athenæus, vi, p. 265.

[582] Thucyd. viii, 24. Καὶ μετὰ τοῦτο οἱ μὲν Χῖοι ἤδη οὐκέτι ἐπεξήσαν, οἱ δὲ (Ἀθηναῖοι) τὴν χώραν, καλῶς κατεσκευασμένην καὶ ἀπαθῆ οὔσαν ἀπὸ τῶν Μηδικῶν μέχρι τότε, διεπόρθησαν. Χῖοι γὰρ μόνοι μετὰ Λακεδαιμονίους, ὧν ἐγὼ ἠσθόμην, εὐδαιμονήσαντες ἄμα καὶ ἐσωφρόνησαν, καὶ ὅσω ἐπεδίδου ἡ πόλις αὐτοῖς ἐπὶ τὸ μεῖζον, τόσω δὲ καὶ ἐκοσμοῦντο ἐχυρώτερον, etc.

viii. 45. Οἱ Χῖοι ... πλουσιώτατοι ὄντες τῶν Ἑλλήνων, etc.

[583] Thucyd. viii, 25, 26.

[584] Thucyd. viii, 26, 27.

[585] Афинский полководец Фриних был впоследствии смещен афинянами - по рекомендации Пейсандра, в то время, когда это смещение отвечало целям олигархических заговорщиков, - по обвинению в том, что он бросил и предал Аморгеса по этому случаю и стал причиной захвата Иасуса (Thucyd. viii, 54).

Фриних и его коллеги, несомненно, были виновны в серьезном упущении, не послав Аморгесу уведомление о внезапном отступлении афинского флота из Милета, незнание которого стало одной из причин того, что Аморгес принял пелопоннесские корабли за афинские.

[586] Thucyd. viii, 28.

[587] Thucyd. viii, 29. Какова была эта новая ставка жалованья и на какую долю она превышала половину драхмы - вопрос, который слова Фукидида не позволяют нам выяснить. Никто из комментаторов не может объяснить текст, не допуская некоторого изменения или пропуска слов: ни одно из приведенных объяснений не кажется мне убедительным. В целом, я склонен считать предположение и объяснение, данное Полмиром и Добри, более правдоподобным, чем предположение и объяснение д-ра Арнольда и Гёллера, а также Поппо и Германа".

[588] Thucyd. viii, 36.

[589] Thucyd. viii, 30; сравните примечание д-ра Арнольда.

[590] Thucyd. viii, 31, 32.

[591] Thucyd. viii, 32, 33.

[592] Thucyd. viii, 33, 34.

[593] Thucyd. viii, 34-38. Δελφίνιον-λιμένας ἔχον и т. д.

То, что афиняне выбрали Лесбос в этом случае в качестве базы своих операций и непосредственной сцены последних приготовлений против Хиоса, было лишь повторением того, что они уже однажды сделали (с. 24) и что они снова сделали после этого (с. 100). Я не испытываю затруднений, которые поражают Добри и доктора Тирлуолла. Несомненно, Дельфиния находилась к северу от города Хиос.

[594] Thucyd. viii, 38-40. О рабах на Хиосе см. выдержки из Феопомпа и Нимфодора в Athenæus, vi, p. 265.

Выписка из Нимфодоруса, по-видимому, не что иное, как романтическая местная легенда, связанная с часовней *Добросердечного Героя* (Ἡρώος εὐμένους) на Хиосе.

Даже в древности, хотя институт рабства был всеобщим и никем не одобрялся, работорговля, или купля-продажа рабов, считалась более или менее одиозной.

[595] См. жизнь Лисия Ритора в Дионисии Галикарнасском, с. i, p. 453, Reisk., и в Плутархе, Vit. x, Orat. p. 835.

[596] Thucyd. viii, 35-109.

[597] Thucyd. viii, 35, 36. καὶ γὰρ μισθὸς ἐδίδото ἀρκοῦντως, etc.

[598] Thucyd. viii, 37. Καὶ ἦν τις τῶν ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ, ἥ ὅσης βασιλεὺς ἄρχει, ἐπὶ τὴν Λακεδαιμονίων ἢ τῶν συμμαχῶν, βασιλεὺς κωλυέτω καὶ ἀμυνέτω κατὰ τὸ δυνατόν.

Заслуживает внимания проведенное здесь различие между *царской территорией* и *территорией, на которой царь владеет империей*. Под первой фразой, я полагаю, понимается континент Азии, на который двор Суз смотрел, вместе со всеми его жителями, как на владение, чрезвычайно священное и особенное (Herodot. i, 4): под второй - столько, сколько сатрап найдет удобным наложить руки, из того, что когда-то принадлежало Дарию, сыну Гистаспеса, или Ксерксу, в полноте их власти.

[599] Thucyd. viii, 38. ἀποπλέων ἐν κέλητι ἀφανίζεται.

[600] Thucyd. viii, 39. Καὶ εἶρητο αὐτοῖς, ἐς Μίλητον ἀφικομένους τῶν τε ἄλλων ξυνεπιμελεῖσθαι, ἢ μέλλει ἄριστα ἔξειν, etc.

[601] Thucyd. viii, 42.

[602] Thucyd. viii, 43. Это поражение Чармиона стало предметом шутки у Аристофана, Thesmophor. 810, с примечанием Польмье.

[603] Thucyd. viii, 43.

[604] Thucyd. viii, 44. Οἱ δ' ἐς τὴν Ῥόδον, ἐπικηρυκευομένων ἀπὸ τῶν δυνατωτάτων ἀνδρῶν, τὴν γνῶμην εἶχον πλεῖν и др.

... Καὶ προσβαλόντες Καμείρω τῆς Ῥοδίας πρώτη, ναυσὶ τέσσαρσι καὶ ἑνενήκοντα, ἐξεφόβησαν μὲν τοὺς πολλοὺς, οὐκ εἰδότας τὰ πρασσόμενα, καὶ ἔφυγον, ἄλλως τε καὶ ἀτειχίστου οὔσης τῆς πόλεως, и т. д.

Здесь, как и в прежних случаях восстаний среди зависимых союзников Афин, мы должны отметить, что население союзного города не проявляет ни прежнего недовольства, ни спонтанной склонности к восстанию. Влиятельные люди острова - те, кто, если бы правительство было демократическим, составляли олигархическое меньшинство, а если олигархическим - формировали само правительство, - сговариваются и вводят пелопоннесские силы, неизвестные основной массе граждан, и тем самым не оставляют последним свободы выбора. Настоящее чувство к Афинам со стороны основной массы граждан - это простое согласие, с небольшой привязанностью, с одной стороны, но без ненависти или чувства практического страдания, с другой".

[605] Thucyd. viii, 44: сравните с. 57.

[606] Thucyd. viii, 40-55.

[607] Thucyd. viii, 39.

[608] Thucyd. viii, 45. Предложения Алкивиада Тиссафернесу - Καὶ τοὺς τριηράρχους καὶ τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων ἐδίδασκεν ὥστε δόντα χρήματα αὐτὸν πεῖσαι, ὥστε συγχωρῆσαι ταῦτα ἑαυτῷ, πλὴν τῶν Συρακοσίων- τούτων δὲ, Ἑρμοκράτης ἦναντιοῦτο μόνος ὑπὲρ τοῦ ξύμπαντος ξυμμαχικοῦ.

О взятках самому Астиоху см. также с. 50.

Примечание переводчика

- Оригинальная орфография, дефис и пунктуация сохранены, но варианты написания приведены в соответствие, когда было выявлено преобладающее употребление.
- Сноски были перенумерованы и перенесены в конец книги.
- Пустые страницы пропущены.
- Очевидные типографские ошибки были исправлены после сравнения с более поздним изданием этой работы. Греческий текст также был исправлен после сверки с этим более поздним изданием и с Персеем, когда была найдена ссылка.
- Некоторые несоответствия в использовании ударений над собственными существительными (например, "Alkibiades" и "Alkibiadês") были сохранены.
- После сверки с "Персеем" и другими изданиями были также внесены следующие изменения:
прим. 337: "Thucyd. vi, 69" → "Thucyd, i, 69"
примечание 573: "vii, 73" → "viii, 73"
- Изображение обложки книги было создано транскриптором и размещено в общественном достоянии.